ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[3] 2005

РОМАН ЙОЗЕФА ШКВОРЕЦКОГО "ДВА УБИЙСТВА В МОЕЙ ДВОЙНОЙ ЖИЗНИ" / СТИХИ МИШЕЛЯ УЭЛЬБЕКА / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "ЧЕХИЯ: МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА В ЦЕНТРЕ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ" / НАШИ ГОСТИ: АЛЬФРЕД КОЛЛЕРИЧ / ПОЛ ОСТЕР В РУБРИКЕ "НАШИ ИНТЕРВЬЮ"

Основан в 1891 году

ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ
НАШИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ
ЗА 2003-2004 ГОДЫ

Премия ***ИЛлюминатор***
присуждена Соломону Апту
за выдающиеся достижения в области перевода
и исследования немецкоязычных литератур

Премия ***Инолит***
присуждена Вячеславу Середе
за перевод романа ПЕТЕРА ЭСТЕРХАЗИ *Исправленное издание. Приложение к роману "Harmonia caelestis"*

Премия ***Инолиттл***
присуждена Ирине Ковалевой
за публикацию: КОНСТАНТИНОС КАВАФИС *В ожидании варваров*

Почетный ***диплом критики зоИЛ***
присужден Леониду Мотылеву
за перевод романа ФИЛИПА РОТА *Людское клеймо*

[3]
2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Йозеф Шкворецкий *Два убийства в моей двойной жизни.* Детективный роман с двумя параллельными сюжетами. Перевод с английского Е. Домбаян

99 Мишель Уэльбек *Стихи.* Переводы с французского Ильи Кормильцева, Юлии Покровской, Ирины Кузнецовой, Натальи Шаховской

Документальная проза

107 Абель Поссе *Страсти по Эвите.* [Окончание.] Перевод с испанского Н. Беленькой. Ольга Докучаева *Героиня в аргентинской истории*

Литературный гид "Чехия: маленькая страна в центре большой истории"

161 Борис Дубин *Вступление*

163 Петр Шабах *Вода с сиропом.* Повесть. Перевод Антона Ширяева

221 Ярослав Сейферт *Эссе о Праге.* Перевод И. Безруковой

233 Патрик Оуржедник *Европеана, или Краткая история XX века.* Фрагменты книги. Перевод и послесловие Екатерины Бобраковой-Тимошкиной.

259 Ярослав Шимов *История как публицистика и публицистика как история.* О том, как чешские литераторы создали свой народ

270 Кирилл Кобрин *Конец игры*

Наши гости

278 *"Наш журнал – это объединение идеалистов"*

Наши интервью

285 *Пол Остер. Искусство жить*

Среди книг

291 А. Ливергант *"Ты Бога облетел и вспять помчался...".* Е. Соколова *Русская литература: взгляд из Швейцарии*

БиблиофИЛ

296 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер "ИЛ"

298

Авторы номера

301

© "Иностранная литература", 2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Йозеф Шкворецкий

Два убийства в моей двойной жизни

Детективный роман с двумя параллельными сюжетами

Перевод с английского Е. Домбаян

Посвящается Вацлаву Гавелу

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
Jen nevidět, jak žebrá poctivec,
Jak pýchou dme se pouhý parazit,
Jak pokřiví se každá dobra věc,
<...>

Znaven tím vším, já chci být, lásko, v hrobě,
Jen nemuset tím sbohem dát i tobě [1].

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
<...>

Всё мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг![2]

Уильям Шекспир *Сонет 66*

© 1999 by Josef Skvorecky
© Е. Домбаян. Перевод, 2005
1. Перевод М. Гильски.
2. Перевод С. Маршака.

Прежде чем начать рассказ

Жизнь в изгнании приводит в некотором роде к раздвоению личности. Чем дольше живешь в чужой стране, тем сильнее ощущаешь себя оторванным от родины и тем милее делается новый дом. Но старая родина никогда не исчезает с горизонта, а новая не становится для изгнанника открытой книгой, каковой она является для тех, кто на этой земле родился и потому читает такую книгу без затруднений.

Эта история — об изоляции в раю, но прежде всего это рассказ об убийстве в двух смыслах. Он состоит из двух частей, написанных в разных литературных жанрах. Та часть, где говорится о колледже Эденвейл, повествует о скрытых грехах праведника, по образному выражению У. Х. Одена[1]. Описание пражских событий — чистой воды старомодный реализм, который иностранцы могут принять за сюрреализм.

Согласно мировой статистике, по количеству убийств Северная Америка опережает другие страны, но преступления, совершенные тоталитарным режимом, американцам неведомы. В Европе и Азии его жертвами стали миллионы, в крупных странах — десятки миллионов людей, а мегаубийца, совершающий такое преступление, уничтожает не только плоть, но и саму душу — сущность сообщества, называемого словом "народ". Вряд ли найдется человек, способный сочинить детектив об убийстве души по политическим мотивам. Именно поэтому в части об Эденвейле содержатся все элементы, присущие рассказу о скрытых грехах. В части, посвященной Праге, таковые отсутствуют, а персонажи, по словам самого рассказчика, действуют не так, как принято в детективе, написанном, чтобы развлечь читателя: здесь все они — герои серьезного романа.

Й. Ш.

Глава первая
Две из множества девушек моей жизни и моя жена

СКВОЗЬ РАСКРЫТУЮ ДВЕРЬ моего кабинета был виден кабинет напротив. Там сидел он, звезда нашего колледжа, и, глядя в карманное зеркальце, щеточкой причесывал усики в стиле Кларка Гейбла. Внезапно картину заслонила девичья спина в пиджаке от Гуччи. Сам я не знаток женской моды, просто когда я как-то отметил, что она потрясающе выглядит в новом костюме, девушка улыбнулась и произнесла одно слово: "Гуччи". В нашем колледже нашлись бы студентки, которых возмутило бы мужское внимание, но она была выше того, чтобы тупо следовать новейшим правилам политкорректности. Ее светлые блестящие волосы спускались на плечи прелестными локонами, над которыми только что усердно потрудился парикмахер. Звали ее Кендейс Квентин. Она была королевой красоты нашего колледжа.

1. Уистен Хью Оден (1907–1973) — английский поэт, с 1939 г. жил в США. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Я окинул взглядом стройные ножки, видневшиеся из-под черной, доходившей до колен юбки, но в следующую минуту все детали, представлявшие для меня интерес, исчезли за дверью. Золотые буквы на черной табличке гласили, что за ней простираются владения профессора Фенимора П. Купера.

Происходившее немало удивляло. С тех пор как руководство колледжа распространило среди мужской половины преподавательского состава брошюру "Сексуальные домогательства", двери всех помещений (за исключением тех, где работали только женщины) держали нараспашку. Случись какой-нибудь студентке бездумно захлопнуть дверь, входя в кабинет преподавателя-мужчины, как тот бросался ее отворять.

Купер этого не сделал. Глядя на наручные часы, я подсчитывал, сколько времени девушка находится у него. Битых четверть часа я то и дело поглядывал на часы. Дверь оставалась закрытой. Восемнадцать минут спустя в холле появился бледный очкарик с встревоженным лицом и робко постучал в дверь. Купер, вероятно, не расслышал его пианиссимо – дверь не раскрылась. Очкарик с предельной осторожностью повернул ручку и заглянул в кабинет. Потом он громким шепотом выпалил: "Прошу прощения, профессор Купер! Я зайду попозже". Из-за двери послышался командный голос Купера: "Приходите завтра, Браунинг!" – "Конечно, профессор", – пролепетал юноша и смиренно ретировался. Во время этого короткого диалога ничего подсмотреть не удалось. Меня распирало от любопытства, ведь Купер всегда соблюдал правила, изложенные в брошюре о домогательствах. Следующие десять минут я почти не отрывал глаз от циферблата.

И тут ко мне ввалилась сержант полиции Дороти Сейерс, никогда не терявшая надежды остаться со мной наедине.

Как правило, в кабинете меня было не застать. Я предпочитал проводить индивидуальные занятия в "Хромой утке", пабе нашего колледжа. На сей раз Сейерс повезло, и она немедленно воспользовалась удачей. Ну а мне пришлось переключить внимание с черно-золотой таблички с именем Купера на женщину-полицейского, которая к тому же была моей студенткой. Время от времени я украдкой поглядывал поверх ее плеча на закрытую дверь. Едва сержант Сейерс закончила докладывать мне о работе над "Тайной запертой комнаты" словами "Сил моих больше нет, профессор!", дверь напротив распахнулась, и в холл вышла заплаканная Кендейс Квентин. Вернее, вылетела из кабинета и умчалась прочь, не закрыв за собою дверь. Никогда я не видел ее такой: она была гордой, уверенной в себе богиней. Неужели ее слезы вызваны любовным разочарованием? И кто в таком случае тому причина? Не этот же индюк со щеточкой для усов!

Как выяснилось позднее, когда я погрузился в разгадывание таинственного убийства на местной почве, не зря меня обуревали сомнения.

Теперь мне снова стал виден Купер: он взял со стола толстый журнал и сунул в рот трубку. Закурить ее он не мог, потому что декан под нажимом зеленых объявил наш учебный корпус зоной, свободной от курения.

Озадаченный тайной закрытой двери Купера, я мысленно вернулся к сержанту Сейерс, продолжавшей бубнить о другой тайне – запертой комнаты. Эту тему я предложил студентам моего семинара "Мастерская детектива", поставив перед ними задачу придумать и снабдить разгад-

кой историю об убийстве в запертой комнате, откуда преступник непостижимым образом исчез, а ключ остался в замке с внутренней стороны.

ДВЕ ДЕВУШКИ, Квентин и Сейерс, хотя и записались в мой семинар по разным причинам, заблуждались в одинаковой степени. Квентин решила, что заниматься у меня не сложнее, чем сочинять комиксы о похождениях Микки-Мауса, и потому предпочла детективы "Историческим хроникам Шекспира" и "Комедии периода Реставрации": по этим программам студенты обязаны были писать по четыре сочинения в семестр, причем требования к ним предъявлялись академические. Квентин надо было добрать только одну программу по английскому языку, поскольку ее профильной дисциплиной была наука, а именно математика, которую она постигала в кабинете Купера напротив моей комнаты. Сейерс же, наоборот, обосновала свой выбор тем, что мой семинар поможет ей в освоении криминалистики, которой она в будущем хотела посвятить свою полицейскую карьеру. На самом же деле Сейерс была в меня влюблена.

Эти девушки (я называю их девушками и вижу в них только девушек, хотя мне неоднократно указывали на то, что они — женщины) были столь же непохожи, сколь и причины, по которым они выбрали мой семинар. Квентин, блондинка с фигурой модели, была дочерью богатого предпринимателя. Сержант Сейерс, полная ее противоположность, служила в полиции округа Миссиссога и, чтоб избавиться от лишнего веса, регулярно бегала трусцой от своего полицейского участка до колледжа.

Веса в ней было чуть больше нормы — меня всегда поражало, сколько женщин с маниакальным упорством уличают себя в ожирении. Даже стройная Квентин, когда я однажды застал ее в кафетерии за порцией обезжиренного йогурта, сказала, что ей необходимо сбросить пять фунтов. Для меня ее бессмысленное насилие над собой было загадкой. Если бы Кендейс сбросила пять фунтов, от нее остались бы кожа да кости.

Сейерс оказывала мне недвусмысленные знаки внимания. Ее не смущало, что я состою в законном браке — девушке было невдомек, что наличие супруги может служить препятствием. Что до моей жены, она без труда узнала в Кендейс, королеве Эденвейл-колледжа, героиню детективной повести, над которой я тогда работал, и ее это ничуть не обеспокоило. Ей нравилось слушать истории о моих студентках, а мне нравилось их рассказывать. Жена моя, Сидония, была мудра и, несмотря на старомодное имя, отличалась передовыми взглядами на жизнь. Хотя вполне достаточно и того, что она была мудрой женщиной. Она видела меня насквозь и знала, что мое отношение к студенткам не затрагивает сексуальную область. А вот профессор Энн Кейт Болейн, специализировавшаяся на изучении гендерных проблем, меня не понимала и относилась ко мне с большим подозрением: не раз я перехватывал взгляд этой ученой дамы, наблюдавшей за тем, как я смотрю на девушек. Сидония знала: хоть я и не пишу ничего, кроме детективов, в душе я — поэт, как и мой любимый Реймонд Чандлер[1], а юные красотки для меня — со-

1. Реймонд Чандлер (1888–1959) — американский писатель, автор детективных рассказов и романов, классик так называемого "крутого" детектива.

всем не то, что мерещится профессору Болейн. Что же касается девушек, тут я готов повторять вслед за героем рассказа Хемингуэя "Солдат дома": глядишь на них — и глаз радуется. Я регулярно докладывал Сидонии о любовных атаках сержанта Сейерс, и она не придавала им значения — ей просто нравилось слушать мои истории. Что она знала обо мне — то знала.

И Я ЧТО ЗНАЛ О НЕЙ, то знал. Я знал, каково ей пришлось, когда в Праге, сорок лет тому назад, ее донимал агент КНБ[1]. А потом я узнал о списке осведомителей КНБ, который после падения коммунистического режима тайными путями попал в руки якобы простодушного, а на мой взгляд, подлого господина Мрквички и был опубликован в его еженедельнике "Смерть коммунизму!". Причина, по которой в КНБ допустили утечку этой информации, тоже не осталась для меня тайной.

К несчастью, в Списке оказалось имя моей жены, и, невзирая на мудрость, она не устояла и впала в глубочайшую депрессию. Сфабрикованные в ее адрес обвинения появились вскоре после того, как всемирно известный драматург, ставший президентом страны, вручил ей орден Белого Льва за то, что в течение двадцати пяти лет она тянула издательскую лямку в Торонто. Издательство было детищем ее ума. Благодаря ее стараниям увидело свет множество рукописей, преданных забвению коммунистической цензурой Праги. Среди них были и произведения знаменитого драматурга, написанные в интервалах между тюремными отсидками.

Тем не менее, в силу исторических обстоятельств, издательскую деятельность Сидонии в конце концов сочли излишней. Господин Мрквичка истолковал ее работу в неожиданном ключе. В статье под названием "Карты на стол, госпожа Сидония!" он обнародовал ее тайну: всю жизнь она якобы прослужила агентом КНБ и замуж, оказывается, вышла по заданию руководства, чтобы сподручнее было держать меня под круглосуточным наблюдением. Как писатель, сочинявший детективы наподобие американских триллеров, я вызывал серьезные подозрения у партийной верхушки. По этой же причине, руководствуясь указаниями сверху, Сидония увезла меня в эмиграцию в Канаду, где открыла свое издательское дело — ширму, под прикрытием которой госбезопасность могла контролировать эмигрантские публикации. Все издаваемые ею материалы должны были вначале получить добро Центрального Комитета Коммунистической партии. Далее в статье рассказывалось, как Сидония регулярно совершала тайные перелеты в Прагу, чтоб отчитываться перед боссами КНБ.

Чешская мудрость гласит, что в любой небылице есть зерно правды. Следовательно, едва уловимый намек на истину способен придать ореол достоверности самому необузданному вымыслу. Вскоре мы стали получать анонимные письма, в которых жене советовали уехать из Торонто. После откровений господина Мрквички и еще нескольких публикаций, добавивших ненависти к людям из Списка, Джули, старинная пражская подруга Сидонии, написала нам, что единственный способ снять с себя обвинения — подать в суд на Министерство внутренних дел. В аэропорту, когда мы ожидали объявления о начале посадки на

1. Корпус национальной безопасности (КНБ) в социалистической Чехословакии.

пражский рейс, к нам подошел член торонтского отделения Ассоциации политзаключенных коммунистического режима Ирусек и, засучив рукав, продемонстрировал шрамы от затушенных о его руку сигарет. "Полюбуйтесь, – сказал он Сидонии, – как меня обрабатывали в КНБ, пока вы на них работали!"

Я думал, Сидония умрет от стыда. В самолете я ей уши прожужжал: важно только то, что я о ней знаю, все же прочее – ложь, – и ко времени нашего приземления в Праге сумел привести ее в чувство.

В пражском киноклубе мы столкнулись с неприметным актером по имени Эмил Конрад, присвоившим себе после "бархатной революции"[1] графский титул и вторую фамилию Градский. Он едва не доконал Сидонию, громко, чтобы слышали окружающие, шепнув своей спутнице: "Отчего этой двурушнице не сидится в Канаде?" Когда я смотрел на Сидонию, оказавшуюся рядом с "графом" у барной стойки, перед глазами у меня впервые всплыл образ Мари Роже, героини Эдгара По, тело которой вытащили из Сены. Лицо моей жены напоминало посмертную маску изнасилованной, а затем убитой бедняжки, торговавшей сигарами в магазине Андерсона и послужившей прототипом француженки в страшном рассказе По.

Мои коллеги по Эденвейл-колледжу, разумеется, понятия не имели о том, что с нами происходило. Мы жили в двух разных мирах – они интересовались только своим миром.

Глава вторая
Как я подвез одну из девушек моей жизни

КУПЕР СТАЛ ЗВЕЗДОЙ нашего колледжа после того, как был выдвинут на Нобелевскую премию, но в области математики эту премию не присуждают, а к физике открытие Купера имело лишь косвенное отношение, поэтому чести стать лауреатом он так и не удостоился. Тем не менее он и без премии прославился на весь мир и прославил свой колледж как автор "теоремы Купера", которую с моими познаниями в математике не осилить. Насколько я мог уразуметь, теорема каким-то образом возвращала хаос микрокосма в область причинно-следственной связи и, видимо, уличала Эйнштейна – хотя, может, и Дарвина – в ошибке. В любом случае, по причине, моему рассудку столь же недоступной, как и сама теорема, Купер на короткое время сделался героем и для христианских фундаменталистов.

Он всегда был напыщенным индюком, а прославившись, раздулся до масштабов рекламы "Гудйер"[2]. Как-то раз в преподавательской я задал Куперу серьезный вопрос (хотя и облек его в шутливую форму): намерен ли он завалить на экзамене первую красавицу колледжа за "смотризм" (грех, в котором повинны женщины, отдающие дань мужскому вниманию)? И в пику ему добавил, что на моих занятиях, несмотря на неотразимую внешность, она проявила себя как способная и трудолюбивая ученица. Купер велеречиво ответил, что привлекательность

1. "Бархатной революцией" называют крах коммунизма и приход к власти демократов во главе с Вацлавом Гавелом в 1989 г.
2. Всемирно известная компания по производству автомобильных шин и аксессуаров.

Квентин отнюдь не компенсирует ее математическую безграмотность, следовательно, он не видит причин, по которым ей нельзя было бы выставить заслуженную отметку "плохо".

Однажды за стаканчиком виски коллега Макмаунтен поведал мне, что его студенты вкладывают в букву "П", с которой начинается второе имя Купера, непристойный смысл. Макмаунтен специализировался по канлиту – канадской литературе, и за последние десять лет, что мы были знакомы, сменил трех или четырех сожительниц – все дамы были подающими надежды канадскими романистками, изучение произведений которых он непременно включал в свои семинары. О жизни и творчестве двух из них он написал монографии, и, несмотря на внушительную исследовательскую часть, книги пользовались спросом благодаря раскрытым в них подробностям личной жизни и стремительной манере изложения, свойственной американской школе "крутого замеса". Поскольку лишь немногие канлитовские критики имели представление о стилистических установках, которым следует прожженная братия американских мастеров слова, Макмаунтен получил высокую оценку как новатор в области стилистики научной литературы.

Я не был уверен в проницательности студентов, присвоивших Куперу категорию "П". На мой взгляд, наше математическое светило не представляло угрозы для юных созданий. С другой стороны, возможно, он хранил свою тайну за семью печатями, – я помнил слезы Кендейс. Ходили сплетни и о том, что Купер голубой, но имена его друзей не назывались.

РАЗГОВОР С КУПЕРОМ в преподавательской, когда я пошутил насчет его грозных планов, заставил меня вспомнить, как несколько дней назад я рассказывал о слезах Кендейс моей рыжей любимице и личному осведомителю по колледжу, ирландке Венди Макфарлейн. Она утверждала, что я все неверно истолковал. "Зря вы так, профессор, – сказала мне Венди. – Между ней и Купером ничего такого нет. П-13 влепил ей неуды за все письменные работы, и она наверняка завалится на экзамене, если шпорами не сможет воспользоваться, ну а если изловчится и сможет – тогда сдаст. Только у него на экзамене шпаргалку вытащить такая же безнадега, как мне стать архиепископом Кентерберийским". Кличку П-13 Купер получил по названию фильма ужасов "Пятница, 13-е", где студентки колледжа одна за другой погибают ужасной смертью.

– Неужели она расстроилась до слез из-за неудов? – удивился я.

Согласно последним данным агентства "Маклинз"[1], отец Кендейс числился под номером сорок девять в списке самых богатых людей Канады, и она могла бы не заботиться о высоких оценках, от которых зависит студенческая стипендия.

– Квентин хочет поступать на юридический, – объяснила Венди, – а там надо математику сдавать. Если П-13 влепит ей итоговый неуд, ее даже к вступительным экзаменам не допустят.

Такое объяснение казалось убедительным. Но почему она все-таки сделала то, что в Эденвейл-колледже строго воспрещалось, – закрыла за собой дверь, войдя в кабинет Купера? Может, не я, а Венди заблуждалась насчет отношений между королевой красоты и преподавателем ма-

1. Канадское информационное агентство и одноименный журнал.

тематики? Возможно, Кендейс расплакалась потому, что индюк тем же тоном, которым говорил со мной в преподавательской, сообщил бедняжке, что, поскольку вопрос о ее итоговой отметке решен, обсуждать им больше нечего. А если уже выставленные плохие отметки за все письменные работы недвусмысленно предрекали ответ профессора, то какие аргументы попыталась привести Кендейс, невозмутимая королева Эденвейла, явившись к нему в кабинет?

— Вам, конечно, виднее, профессор, — сказала Венди, — но ваши грязные мысли завели вас не туда. Я знаю Кендейс лучше, чем кто бы то ни было. По церкви.

Моя ненаглядная, обсыпанная веснушками шпионка готовила себя к карьере священнослужителя англиканской церкви.

НОЧЬЮ, КОГДА мы возвращались с вечеринки у профессора Келли, произошло еще одно загадочное событие. Профессор Келли, как обычно, позволил себе лишнего, Сидония тоже злоупотребила, но не так сильно, хотя причин набраться у нее было побольше, нежели у Келли. Виски он не разбавлял и гостей любил потчевать на широкую ногу (ведь за все платила богатая жена), тем более что в приятной компании выпитых рюмок не считают. Но с годами вечеринки у Келли стали походить одна на другую, ничего занимательного не происходило, гостей привлекал лишь свободный доступ к спиртному. Однако на сей раз предсказуемый вечер имел неожиданное продолжение, которое прочно запечатлелось в моей памяти.

Случилось это сразу после полуночи, а сама ночь выдалась как нельзя более подходящей для съемок фильма ужасов. Гром и молния, сшибающий с ног ветер. Когда мы проезжали мимо викторианского особняка профессора Мэдер, я сказал жене, что своими неясными очертаниями дом напоминает мотель Бейтсов из "Психоза"[1]. В ответ Сидония пробурчала, что мне всюду мерещатся кадры из фильмов, и была права. Давным-давно мой отец держал кинотеатр в Костельце, и почти все свое отрочество я провел у экрана. А то, что происходит в юные годы, определяет последующую жизнь человека. Не поручусь за других, но в моем случае это aperçu[2] верно.

Вдруг в свете передних фар замаячила махавшая рукой девушка. Я нажал на тормоза. Она повернулась ко мне лицом, прикрываясь ладонью от слепящего света. Это была Квентин. Я открыл дверь и вышел из машины под дождь.

— Господи! Что вы тут делаете?

Она воззрилась на меня безумными глазами, и, вероятно, оттого, что во всем мне чудилось кино, я увидел лицо героини, только что увернувшейся от ножа неуловимого маньяка из последней версии "Пятницы, 13-е".

Я распахнул дверцу машины, девушка сразу прыгнула в салон. Благополучно разместившись на заднем сиденье, она успокоилась, и выражение ужаса — или назовите это как хотите — исчезло с ее лица. Возможно, она была всего лишь раздосадована тем, что дождь испортил ее свежую укладку.

1. "Психоз" — знаменитый фильм А. Хичкока.
2. Суждение, мнение (*франц.*).

Какая нелегкая занесла ее сюда одну, среди ночи, в жуткую непогоду?

Квентин тут же пустилась в объяснения.

– Моя машина встала на Крестхилл, а телефон в будке не работал. Вот и пошла пешком. Решила, кто-нибудь будет проезжать мимо и подберет.

Логично. Спрашивать о том, что она делала на Крестхилл, было бы неприлично, ведь она совершеннолетняя и вольна поступать, как ей нравится.

– А что вы делали на Крестхилл? – спросила моя жена.

– Была там на страшно занудной вечеринке.

– В Эденвейле есть люди, которые устраивают страшно занудные вечеринки? – поинтересовался я.

– Вы не поверите, но я их даже не знаю, – сказала она с едва уловимой иронией. – Я оказалась там с девчонками, которые танцевали в "Хромой утке". Я с ними едва знакома. Они, кажется, из Скарборо, в общем откуда-то из тех мест.

– Вероятно, и вправду отменная была вечеринка, – с такой же тенью иронии заметил я, – если даже вы знакомых не встретили.

У меня не было оснований вдаваться в расспросы. Просто любопытно, думал я, как это королева красоты Эденвейла, самая известная девушка в колледже, оказалась вдруг на вечеринке, где ее никто не знал.

– Вообще-то там было несколько парней из Эденвейла. Фредди Гамильтон и, по-моему, Уэйн, – хотя нет, его там не было. Еще, кажется, Лоррейн Хендерсон, но не могу поклясться, что это была она. В общем, скука смертная.

Мы миновали мост через речку Миссиссога и подъехали к студенческому городку. Голливудская буря не унималась.

– Где вас высадить? – спросил я.

– У корпуса 15-А, пожалуйста.

Впервые я увидел Квентин, когда она пришла записываться в мой семинар по детективам. В отличие от других студентов, она была не настолько глупа, чтобы поверить в возможность обучиться писательскому мастерству. Все, что ей требовалось, – не прилагая усилий, сдать экзамен по английской литературе. Сидя за рулем, я в очередной раз с недоумением рассуждал, с какой стати красивая и не лишенная мозгов дочь сорок девятого богача Канады учится не в Гарварде, а в Эденвейл-колледже, которому при всех его достоинствах далеко до "Лиги плюща"[1], причем не только потому, что находится он на территории Канады. Но все объяснялось просто: Эденвейл – alma mater папаши, а в те времена, когда он постигал азы бизнеса и коммерции, в карманах у него было негусто. Став первым богачом Виннипега, он, как и многие североамериканцы, сохранил нежные чувства к не старому, зато родному колледжу.

Промокшая насквозь Квентин исчезла за воротами спального корпуса. Сидония закурила и, нарочито громко вздохнув, произнесла:

– Чудненький сюжет для твоей очередной макулатуры! Красавица студентка, только что совершившая убийство.

– Могу поклясться, что у нее железное алиби.

1. В "Лигу плюща" входят восемь старейших и наиболее привилегированных колледжей и университетов Новой Англии.

— Я бы поостереглась клясться железным алиби этой дéвушки, — сказала Сидония.

НЕЗАДОЛГО ДО ЭТОГО СЛУЧАЯ в не столь ужасную погоду я ехал по Крестхилл с Войтехом Кисели. Я не жаждал его общества, он сам позвонил мне, когда расползлись слухи о том, что моя жена составляет сборник статей, написанных людьми, безвинно угодившими в Список господина Мрквички. Пока эти слухи кочевали из уст в уста, их исказили настолько, что, когда они наконец дошли до Кисели, у него сложилось впечатление, будто Сидония намерена опубликовать книгу о тайных осведомителях, и он предложил встретиться и поговорить. "Поговорить о чем?" — спросил я, а он без тени смущения сказал, что до эмиграции в Канаду был полковником госбезопасности.

Я согласился увидеться с ним в чешской пивной на Гольф-клаб-роуд, и там он поведал мне о своих подвигах так, словно речь шла о безобидных повседневных мелочах. У меня по спине пробежал холодок ужаса. Для начала он вкратце обрисовал свою жизнь: сирота из бедняцкой деревни в горной Моравии, в четырнадцать лет вступил в партизанский отряд, что в итоге привело его к поворотному моменту тяжелой, но героической жизни: "Ты, товарищ, из рабочего класса, так что вступай в партию!" — было сказано ему. Довод вполне убедительный. Сирота принял предложение, но поскольку парень он был не совсем дремучий, то испытывал угрызения совести, — возможно, причиной тому детство, которое он провел церковным служкой (о чем он тоже упомянул). После того как в 1968 году глава партии Дубчек[1] сделал попытку придать большевизму человеческое лицо, что так же просто, как превратить окружность в квадрат, сироте опостылела жизнь на родине и он переметнулся в Канаду. Здесь, после начальной проверки, длившейся месяц и состоявшей из бесед с агентами ФБР, он получил новое имя и зажил наконец по-человечески. Открыл собственное дело, сын и дочь окончили университет, обзавелись семьями.

Канада, ты наш дом, не совсем *родной*[2], но все-таки *наш*! Щедрый приют для всех и каждого! Чудо-земля, где сбываются радужные мечты! Сидя в пивной рядом с человеком, который "сделал себя сам" и посвятил меня в историю своей жизни, я чуть было не затянул национальный гимн Канады.

Но я не пел, я слушал дальше. Когда Кисели заканчивал свой двухчасовой монолог, я все еще недоумевал, что именно не устраивало его в прежней жизни. О службе в органах он рассказывал без особого энтузиазма, зато техническую сторону дела описывал увлеченно и напомнил мне доктора Маккормика, который, прежде чем уложить меня на операционный стол, детально разъяснил технологию замены бедренного сустава. Пили мы только растворимый кофе, но голова моя от Киселиевых рассказов пошла кругом, я запомнил только один из них, причем с самыми неприятными подробностями.

"...В общем, она стала нашим лучшим агентом", — сказал Кисели, удовлетворенно поставив точку в истории госпожи Копанек.

1. Александр Дубчек — президент ЧССР в 1968—1969 гг.
2. Первая строчка национального гимна Канады.

А началась эта история так: в пятидесятые годы известный чешский композитор Септимус потерял единственного сына. Кисели всячески обхаживал композитора, что отчасти входило в его служебные обязанности, но в то же время дружба со знаменитостью ему льстила. Он выразил свои соболезнования, а Септимус, вздохнув, сказал: "Да уж... но у меня есть два других мальчика. Не все еще потеряно".

Все знали, что скончавшийся юноша был *единственным* сыном вдовствующего Септимуса. Было чему удивляться. Несмотря на якобы еще двух мальчиков, Септимус безутешно горевал по усопшему, и Кисели распорядился его бедой профессионально. Из слезливых речей аморального композитора он вскоре вычислил, что мать двух единокровных братьев — не покойная жена Септимуса, а супруга его лучшего друга, популярного романиста Йозефа Копанека.

Илона мужа своего, как видно, любила: когда Кисели сбежал в Канаду, Копанеки по-прежнему состояли в браке. Но в свое время Илона излила душу Септимусу, поведав лучшему другу мужа, как они жаждут иметь ребенка: прожив в супружестве семь лет, пара оставалась бездетной. Естественным исходом этого начавшегося слезами tête-à-tête стали два композиторских сына, пережившие кровного брата.

Муж Илоны обладал немалой потенцией, и, видно, поэтому ему ни разу не пришла в голову мысль поискать медицинское объяснение своего бесплодия. Как человек со старомодными взглядами, он сваливал вину на Илону. Она пошла к хорошему гинекологу и принесла домой справку, согласно которой обвинения в ее адрес были совершенно необоснованы. Но и после этого Копанек отказался сдать анализы, а позднее, когда на свет появился первый мальчик, ничего не заподозрил — напротив, утвердился в своей правоте.

А Кисели, заполучивший все эти подробности в минуты душевной слабости композитора, пустил информацию в дело. "Когда мы прижали мадам Копанек фактами, — объяснял он мне, — она грохнулась в обморок. Зато потом из нее веревки можно было вить. В конце концов она стала нашим лучшим агентом".

Он верно рассчитал, что Илона, преданная мужу, будто прекрасная дама рыцарю, сделает все, только бы он не узнал правды. Нет, она его не боялась. Она бы скорее умерла, чем задела его чувства. К тому же она так мечтала о детях!

В терминологии, не вмещающейся в рамки социалистической морали, вся эта история — чистой воды шантаж.

Так оно и было. Но я не услышал от Кисели ни слова раскаяния, не заметил ни тени смущения. Казалось, ничто не могло совершить в его душе переворот, который заставил бы его променять выгодную службу на зыбкое будущее изгнанника в далекой заокеанской стране.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТОЙ НОЧЬЮ лечь в постель, я удостоверился, что Сидония спит, и на цыпочках пробрался в ее кабинет. Рядом с компьютером аккуратной стопочкой лежал ее новый, все еще не оконченный роман: с тех пор как господин Мрквичка обнародовал свой "документ", она перестала писать. Я знал, что под рукописью жена хранила эту газетенку, годную лишь на то, чтоб лежать в отхожем месте на случай, если кончится туалетная бумага. Именно так высказался о Списке старинный приятель Сидонии, драматург, а ныне президент, но значительная

часть сограждан эту точку зрения не разделяла, хотя в народе он пользовался огромной популярностью. Публикация была слишком лакомым куском для сплетен, тем паче что довольно известную Сидонию затмили гораздо более громкие имена.

Когда Список только появился, мы еще не знали, что Сидония тоже в него попала. Жили мы в Канаде, вдали от подобных кошмаров. Меня вообще не заинтересовал этот пасквиль. А уж когда мне позвонил один из так называемых приятелей, чтобы сообщить, что в Списке есть и мой дорогой друг Лестер, я понял: эта бумага — поклеп.

Я никогда не доверял расхожим теориям заговора (особенно если их распространяли люди, не согласные с президентом), поскольку такие теории — сущий рай для сплетников. Основываясь на личном опыте многолетнего общения с партийным руководством, я сделал вывод, который проливал свет на происходившее. Не сомневаюсь, что наряду со мной таким опытом обладал весь народ Чехословакии, но многим истина так и не открылась. Почему? Я писал о преступлениях и, в отличие от большинства соотечественников, не забывал об одном принципиальном вопросе. Прежде чем окунуться в упоительный процесс сочинительства, я мучился и ломал голову, подыскивая убедительный мотив для преступления.

Cui bono?[1].

В данном случае ответ был прост: публикация Списка на руку так называемому рабочему движению, которым прикрывалась Партия. Как только Список опубликовали, общество потеряло интерес к нескольким сотням несчастных чехов и словаков, еще в пятидесятые годы ставших жертвами рабочего движения. Люди с азартом включились в игру под названием "Кто в Списке?", и, поскольку Список не содержал фамилий членов партии, кроме исключенных из ее рядов дубчековцев, политическая цель была достигнута. Членство в коммунистической партии в скандально известные годы более не считалось постыдным. Вину за прошлое переложили на тех, кто по разным причинам уже пострадал от коммунистов: их снова пригвоздили к позорному столбу общественного презрения.

Что касается грязных интриг, тут коммунисты всегда действуют как блестящие психологи.

Я возненавидел эту бумажку. Но той ночью в кабинете Сидонии вытянул мерзкие листки из-под ее рукописи — могу поклясться, что раньше я ни разу не опускался до того, чтобы выискивать в Списке чье-то имя. Мне надо было удостовериться, правдива ли история, рассказанная бывшим полковником госбезопасности, или это всего лишь плод его необузданной фантазии. Я прошелся по страницам и добрался до буквы "К". Копанек, Илона, кличка "Илочка", родилась 19 августа 1920 года в Гумполеце.

Но ведь и Сидония Смирицкая тоже в Списке, хотя она...

И тут до меня дошла горькая истина: этот Список — смесь фактов и фальшивок.

Быть может, не совсем к месту, но мне припомнился мой любимый сочинитель ужасов Г. Ф. Лавкрафт[2]. Во всех своих литературных произ-

1. Кому это выгодно? (*лат.*)
2. Говард Филлипс Лавкрафт — американский писатель (1890–1937); по словам критиков, "Эдгар По 20-го века".

ведениях он время от времени приводит цитаты из небольшого набора странных книг. Такие заглавия, как "Necronomicon", "De Vermis Mysteriis", "Unaussprechliche Kulten", – плод его воображения, но наряду с ними встречаются названия хорошо известных книг, например, "Золотая ветвь" Фрэзера[1], щедро питавшая фантазию Т. С. Элиота, или "Колдовские культы Западной Европы" Марри[2]. Старый испытанный метод: оригинальные источники добавляют подлинности выдумкам. Но Список господина Мрквички, в отличие от лавкрафтовского "В горах безумия", не преследовал благородной цели доставить читателю удовольствие от леденящих кровь ужасов.

Я закрыл Список, положил листки обратно под незавершенный роман жены и пошел спать.

Ночь выдалась бессонная.

Глава третья
Что моя умная, но печальная жена обнаружила на вечеринке в колледже

СИДОНИЯ БЫЛА настоящей женщиной, без намека на андрогинность. Она обладала тем, что присуще истинным женщинам: нежным сердцем и глубокой интуицией. И еще она была наблюдательна.

Факультеты английского языка и математики располагались рядом, в одном коридоре, и отмечали окончание каждого семестра общей вечеринкой. Жены сотрудников колледжа обычно приносили американскую выпечку, которая зовется "кукис", а студенты, не отвыкшие еще от детских привычек, с удовольствием и безостановочно ее поглощали. Я же, ребенком простаивавший в воскресных очередях в кондитерскую, где продавались увесистые, восхитительные на вкус, пропитанные ромом торты и вафельные трубочки с кремом, к этим "кукисам", иначе говоря сухому приторному печенью, даже не притрагивался. Считалось, что профессорские дамы (не путать с дамами-профессорами) сами хлопочут у духовок. "Разве? – удивлялась моя проницательная жена. – Почему в таком случае они приносят угощение в коробках с логотипом 'Мастер Торт'?"

Много лет назад, когда мы готовились к нашей первой вечеринке в конце семестра, Сидония приняла невинную ложь профессорских жен за чистую монету и соорудила Pischingertorte[3]. Безуспешно обшарив весь Торонто, она наконец отыскала место – Гейдельберг, штат Онтарио, – где продавались вафельные коржи, из которых делается настоящий "Пишингер". Ее торт стал легендой факультета. Сидония была ревностной поклонницей кулинарного искусства, и сладкий артефакт, получивший всеобщее признание, льстил ее патриотическим чувствам. Правда, чувства эти немного омрачало немецкое происхождение торта, поэтому впоследствии Сидония стала приносить на вечеринки то "ко-

1. Джеймс Джордж Фрэзер (1854–1941) – английский антрополог, этнограф, исследователь мифологии и религии.
2. Маргарэт Элис Марри (1863–1963) – английский ученый-египтолог.
3. Вафельно-шоколадный торт с грецкими орехами, рецепт которого пришел в Чехию из Австрии.

лач" (как называют его в Чикаго), то жареные пирожочки с начинкой из фруктового джема, похожие на американские пончики, но оставшиеся без английского названия даже в Иллинойсе. Рецепт этих пирожков передала Сидонии ее тетушка, госпожа Слепичка, проживавшая в чешской деревушке Юкон, штат Оклахома.

После вечеринки, организованной несколько месяцев назад, Сидония спросила у меня, неужто плейбой в свитере с высоким "хомутом" и есть Реймонд Хэммет, муж Мэри Мэдер, которая сохранила девичью фамилию потому, что происходила из салемских Мэдеров, известных как охотники на ведьм[1].

– Сидония! Только не говори мне, что он тебе приглянулся.

– Сам знаешь, что приглянулся! В конце концов я женщина, а перед Хэмметом ни одна не устоит.

– Я убью его! – пообещал я игривым тоном, не подозревая о том, что́ вскоре случится.

– На виселицу захотелось? – спросила Сидония. – Туда тебя приведут женщины. Скорее всего кто-нибудь из твоих студенток.

Я знал, что последний канадский палач давно на пенсии, так что виселица мне не грозила. Тем не менее я сказал:

– Сидония, ты уверена?

– Абсолютно. И, будь спокоен, я спросила о Хэммете не потому, что готова пленяться его мужскими чарами. Просто захотелось узнать, действительно ли он муж профессора Мэдер. Под столом он пожимал ручку одной из твоих подопечных – если не ошибаюсь, ее зовут Лоррейн Хендерсон. Как правило, мужья профессорш так себя не ведут – или я не права?

В ответ я сказал, что лично я так себя не веду. Хотя Лоррейн Хендерсон мне нравилась. Яркая девица с копной тициановских волос, которыми дважды в неделю занимался представитель фирмы "Видал Сассун" в Стрэнбридж-молле. На прическу она тратила около двухсот баксов в неделю. Сущая ерунда для дочери отца, чья фамилия стояла в упомянутом рейтинге "Маклинз" гораздо выше фамилии Кендейс: он был двадцать седьмым в списке самых богатых людей Канады. Однажды Лоррейн оставила в моем кабинете модный каталог, я прихватил его домой, и Сидония три дня провалялась с ним в обнимку, не в силах оторваться от пестрых страниц. Каталог рассылался, вероятно, только по избранным адресам: Сидония сказала мне, что самой дешевой вещью в нем оказались мужские домашние тапочки из кожи питона стоимостью четыреста пятьдесят долларов, а самым дорогим творением дизайнеров – вечернее платье за шестьдесят тысяч. Причина, по которой жалкий кусок рогожи оценили в такую сумму, осталась для меня загадкой, но благодаря рассеянности Лоррейн Хендерсон нам по крайней мере удалось поглядеть, как живут пятьдесят самых богатых семей Канады.

А потом господин Мрквичка опубликовал свой Список, и Сидония впала в депрессию. Вначале она отказалась ехать на очередную семестровую вечеринку, но я настоял, полагая, что в обществе людей, интересы которых ограничивались рамками собственного мира, она развеет-

1. Коттон Мэдер (1663–1728) – американский пуританский священник, идеолог "охоты на ведьм"; стал известен в связи с процессом над "салемскими колдуньями" в 1692–1693 гг.

ся. Однако как назло, главной темой, обсуждавшейся в тот вечер, стала трагедия, обрушившаяся на коллегу Мэдер несколькими днями раньше.

Для кого-то, может, и трагедия, но как ни крути — преступление. Реймонд Хэммет, супруг профессора Мэдер, был умерщвлен.

В колледже лицо Сидонии стало еще печальнее. Она мрачно взирала на собравшихся преподавателей, которые напускали на себя серьезность, чтобы продемонстрировать, как глубоко сожалеют о потере человека своего круга, — на самом деле все с трудом скрывали радость по случаю окончания семестра.

На противоположном конце стола Купер распинался о чести, оказанной ему на днях старейшим университетом Старой и Новой Англии. На вечеринке он появился в пиджаке из настоящего твида, купленном в лондонском "Харродз"[1]; пуговицы на пиджаке смахивали на миниатюрные футбольные мячи. Рядом с ним сидела Кендейс Квентин, совсем недавно сбежавшая из его кабинета в слезах. Теперь она казалась вполне довольной собой и даже растянула губы в улыбке, когда Купер достиг высшей точки самовосхваления и сообщил о почетном звании, присвоенном ему на берегах Альбиона. Если не считать чуть покрасневший кончик носа, ничто в лице девушки не намекало на простуду, казалось, неизбежную после проливного дождя. Не будь Квентин красоткой, я бы и этого не заметил. А вот что касается более существенных деталей, они от моего внимания ускользнули.

Купер умолк, чтобы перевести дух, и тут Сидония перегнулась через стол и, схватив один из футбольных мячиков, произнесла: "Мужчина есть мужчина!" Купер пыжился еще мгновение, потом сдулся, как проколотая шина, а Квентин воззрилась на Сидонию глазами, полными удивления. Все притихли, я ощутил укол совести, вызванный высоким содержанием алкоголя в крови моей жены, она же слегка потянула за пуговицу и выдернула ее из пиджака Купера. "Болталась на одной нитке", — объяснила Сидония дома, и я, признанный мастер детективного жанра, устыдился собственной невнимательности в тех случаях, когда дело не касалось юных особ противоположного пола. "Наверняка сам пришивал, не снимая пиджака, — заключила Сидония. — Чего еще ожидать от мужчины?" — и вернулась к бутылке виски, початой перед тем, как мы уехали на вечеринку. Я хотел было сделать ей замечание, но она меня одернула: "Не твое дело!" — и ушла к себе в кабинет. Когда-то она написала в этой комнате прекрасный роман. После публикации Списка кабинет стал местом, где жена в одиночку напивалась. А я впадал в отчаяние, потому что все беды начались с меня.

СПУСТЯ ДВА ДНЯ после убийства Реймонда Хэммета в мой кабинет явилась сержант Сейерс.

Стараниями местной прессы я был подробно информирован о деле Хэммета: новость об убийстве в колледже привлекла особое внимание. Я знал, что убийца задушил Хэммета веревкой в кабинете его жены, и что Мэри Мэдер, жена, провела ту ночь в своем загородном доме на озере Симко — значит, у нее было алиби, — и что полиция допрашивала некоторых подозреваемых. На одного из них, преподавателя психологии

1. Один из самых фешенебельных и дорогих универмагов в Лондоне.

и знатного выпивоху Келли, полицию могла вывести налаженная в студенческом городке система испорченного телефона. Кто-то из коллег выболтал копам, будто недавно Келли в преподавательской заявил, что собственноручно придушит Хэммета за то, что тот переспал с его женой. Сержант взялась сообщить мне некоторые подробности.

— Послушайте, мисс Сейерс, — прервал я поток красноречия моей пухленькой студентки. — Может, не стоит рассказывать? В газетах об этом не писали. До тех пор, пока я сам не прочту...

— При обычных обстоятельствах, сэр, я бы не стала вам сообщать, — сказала сержант, глядя на меня из-под полуопущенных век. — Но я подумала: а что если вместо "Тайны запертой комнаты", которая, согласитесь, довольно абстрактна... В общем, я хочу сказать, что в середине девятнадцатого века, когда этот чудак дядюшка Абнер[1] ломал голову над "Тайной Думдорфа", люди плохо разбирались в баллистике — не то что мы сейчас. Но ружье, которое выстреливает оттого, что... — Дальше она изложила сюжет хрестоматийного рассказа Мелвилла Дэвиссона Поста о благочестивом сыщике дядюшке Абнере: сам Всевышний, обернувшись солнечным лучом, проникает сквозь запертую дверь и спускает курок охотничьего ружья, лежащего на двух приставленных к стене деревянных рогатинах, — так ружье становится орудием Божьего гнева. — Я бы предпочла линию, изложенную в "Тайне Мари Роже". Понимаете, о чем я?

Я уловил ход ее мыслей и задумался.

— Значит, вы хотите раскрыть настоящее, а не вымышленное убийство? Как Эдгар По? — Я взглянул на нее и добавил: — Вам известно, что его попытка закончилась неудачей? Он здорово напортачил: спутал неудачный аборт с убийством!

— Все это я знаю, — сказала Сейерс. — Вы проводили анализ этого рассказа для нас. Но все-таки я хочу попробовать. Я уверена, что найду убийцу раньше, чем капитан Уэббер. В конце концов именно я обнаружила самую вескую улику. До сих пор ничего больше не нашли.

Капитан Уэббер был ее начальником. Улик — кот наплакал. В железном шкафу, где хранились бумаги профессора Мэдер, один из ящиков был выдвинут и находящаяся в нем картотека открыта на имени "Пастернак, Мортимер". Кто-то явно рылся в папках, и на скоросшивателе с "Пастернаком" сержант обнаружила отколупнувшийся кусочек лака для ногтей. Сейерс пришла к выводу, что этот кусочек принадлежал особе, которая той хичкоковской ночью приезжала в дом профессора Мэдер на свидание с Хэмметом и убила его. И еще: из крепко сжатого кулака задушенного плейбоя сержант Сейерс извлекла пуговицу — такие обычно пришивают к твидовым пиджакам.

Капитан Уэббер сразу же изложил свои соображения по поводу лака для ногтей: убийца задушил Хэммета, а для этого требуется недюжинная сила, гораздо больше той, каковой, надо полагать, обладают особы, покрывающие ногти лаком. Политкорректностью вывод капитана не отличался, но, с другой стороны, он похвалил сержанта за то, как она истолковала вторую улику, и согласился с тем, что на убийце был твидовый пиджак.

1. Герой сборника детективных головоломок американского писателя Мелвилла Д. Поста (1871–1930) "Дядюшка Абнер, раскрывающий тайны".

Я не рассказал сержанту о пуговице, которую Сидония сорвала с пиджака из такой же ткани. Мне стало любопытно, удастся ли Сейерс напасть на след владельца утерянной пуговицы.

С самого начала расследования Уэббер не спешил с выводами об открытом ящике. После того как он узнал от профессора Мэдер, что та частенько забывает прикрывать дверь шкафа с бумагами и что, проверив после смерти мужа все важные бумаги, она не обнаружила никакой пропажи, капитан исключил и эту улику.

Глава четвертая
Как я подвел Сидонию, когда был нужен ей больше всего на свете

В ТОЙ СТРАНЕ, откуда мы с Сидонией родом, на нашу долю выпали беды, неведомые и потому неинтересные уроженцам страны, в которую мы перебрались. Однажды, когда я упомянул об этих бедах на какой-то вечеринке, присутствующие выказали любопытство, но оно было сродни моему интересу к шансам "Балтимор ориолз"[1] выбиться в мировую лигу чемпионов и другим вопросам того же порядка.

Какие же беды нас преследовали? Я написал роман, который не понравился одному высокопоставленному партийному деятелю, а отец Сидонии, без паспорта, на своих двоих, иногда ползком, хоронясь в кустах, пересек границу и эмигрировал в Америку. Мой "грешок" имел последствия более или менее сносные: по указанию ЦК партии роман вначале разнесли в пух и прах литературные критики, а вслед за ними — блюстители порядка. С должности главного редактора ежемесячника "Светова литература" меня сняли и понизили до корректора, существенно урезав зарплату. На жизни Сидонии поступок ее отца отразился гораздо серьезнее. Она пела в государственном ансамбле под названием "Маргаритка", выступавшем преимущественно за рубежом. Ансамбль зарабатывал деньги гастролями, а Сидония, как и многие девушки страны, в которой наличие заграничного паспорта еще не гарантировало выезда за рубеж, жаждала повидать отдаленные уголки мира. Но когда ансамбль отправлялся в эти самые уголки, Сидония оставалась дома из-за недопустимого проступка отца, который вдобавок нашел себе приют в Бронксе (в городе Нью-Йорке), и должна была без толку просиживать в конторе ансамбля, где жизнь замирала, лишь только "Маргаритка" выезжала за пределы родины.

В той стране многие занимались столь же непродуктивной деятельностью. К примеру, мой двоюродный брат Арношт Лустиг был секретарем райкома ничтожной по численности социалистической партии — в ее рядах состояли такие же, как он сам, оплачиваемые "секретари". Единственная причина существования оппозиционной партии заключалась в том, чтобы дать коммунистам возможность представлять государство как республику с многопартийной системой.

Люди, подобные моему двоюродному братцу-лоботрясу, вступали в должность, сознавая, что им не придется себя утруждать. Но Сидония

1. Американская бейсбольная команда.

стала петь в "Маргаритке" не потому, что была лентяйкой: во-первых, ей нужно было содержать малолетнюю сестру и безработную мать, лишившуюся заработков из-за мужниных планов стать американским гражданином, а во-вторых, она мечтала повидать большие заграничные города. Вслед за отцом и ее старший брат попытался перейти границу без документов, схлопотал пятнадцать лет и стал третьим иждивенцем на шее у Сидонии. Кроме того, Сидонии, в отличие от таких же, как она, получавших зарплату, но фактически не работающих граждан, грозило увольнение: государство не нуждалось в услугах лиц неблагонадежного классового происхождения.

И вот я, по великой своей глупости, последовал совету кузена Арношта, имевшего репутацию влиятельного человека, подтвержденную высокой оплатой его безделья, и отправился в Министерство внутренних дел. Там я записался на прием к товарищу, курировавшему "Маргаритку", намереваясь объяснить ему, что происхождение у Сидонии сугубо пролетарское и обвинять ее в "буржуазных корнях" только потому, что отец в Америке, а брат в лагере, неправильно.

ЕЩЕ ДО ТОГО, как Арношт дал мне свой идиотский совет, я задумал написать роман о жизни Сидонии, руководствуясь отнюдь не литературными побуждениями, – я хотел таким способом повысить ее социальный статус. Я сочинил опус в духе Диккенса о том, как жена моя появилась на свет в тяжелые времена Великой депрессии в убогом общежитии, куда ее безработного папашу переселили, вышвырнув из квартиры, принадлежавшей его семье. Чтобы разбавить повествование юмором, я решил включить в него диккенсовских персонажей второго плана: деда-шахтера, который всю жизнь пил ром, закусывая свиной грудинкой, и умер в сорок лет от цирроза печени, бабку-суфражистку с социал-демократическими убеждениями, таскавшую на митинги семерых своих детей, чтоб обеспечить себя клакерами, и подобных им героев. В их времена коммунистическая партия в Чехословакии еще не действовала, а позднее, когда коммунисты пришли к власти, они обвинили старых социал-демократов в симпатиях нацистам. Я хотел развенчать закрепившийся за Сидонией опасный образ и восстановить ее в правах как женщину из народа.

Несмотря на все мои потуги, вместо задуманного романа вышел короткий рассказ, запрещенный цензурой по причине немарксистского подхода к теме. История под названием "Ох уж этот папа!" начиналась фразой: "Беда моя в том, что я буржуазного происхождения. Но в те времена, когда это было привилегией, я к классу буржуазии не принадлежала". Цензор объяснил мне, что, согласно марксистско-ленинскому учению, классовое происхождение – неизменная постоянная, и порекомендовал изучить "Происхождение семьи" Энгельса.

Подобную же лекцию прочли мне в Министерстве внутренних дел. Я рассказывал о жизни Сидонии товарищу, который слушал меня, казалось, с отвращением, хотя, возможно, просто погрузился в тяжкую думу о классовом самосознании. Дома я проработал каждую деталь своего сочинения, начиная с того, как Сидонию не приняли в начальную школу из-за дистрофии, – и далее в том же духе вплоть до ареста ее отца гестаповцами после долгих лет безработицы. В общем, чтобы впечатлить сотрудника КНБ, я, используя метод соцреализма, написал ее биографи-

ческое полотно жирными мазками самых расхожих цветов. Когда я на миг умолк, переводя дыхание, он сказал: "Так", – раскрыл лежавшую перед ним папку и спросил: – "Вы закончили, товарищ?" – "Нет еще", – ответил я и, не сбавляя темпа, добавил несколько трогательных деталей, стараясь не дать ему раскрыть рта, но товарищ провел пальцем по строчкам какой-то бумаги из папки, остановил меня и задал другой вопрос: "Все, что вы мне рассказали, прекрасно, но как вы объясните тот факт, что мать вашей жены, которая, как вы утверждаете, дочь шахтера, находясь 12 мая 1954 года в мясном магазине по адресу: улица Карлина, 37, сказала, что товарищ президент болван?"

Объяснить, конечно, не составляло труда: мать Сидонии была права. Но не мог же я в самом деле так товарищу и ответить.

Вскоре после моего провала в Министерстве внутренних дел политически выдержанные коллеги Сидонии отправились в увлекательное турне то ли по Финляндии, то ли по Италии. Ее, как всегда, оставили в Праге коротать трудовые будни в опустевших комнатах. Тогда-то впервые и объявился в конторе "Маргаритки" Седлачек. А я, кретин, не усмотрел в его появлении никакой связи с моим недавним визитом в МВД.

БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ того же дня в полупустом кафетерии я застал сержанта Сейерс в мрачном раздумье. Она рассеянно глядела на экран телевизора, который то и дело взрывался раскатами отвратительного механического хохота. Я решил, что она печалится из-за неудачи с поимкой убийцы Хэммета и боится заработать у меня неуд. И, как обычно, промахнулся.

– Помните, как выглядела Опра еще месяц назад?

Она повернулась ко мне, в глазах – отчаяние.

– Кто?

– Опра.

Я не мог припомнить студентку с таким странным именем, а сержант указывала на экран, где красивая чернокожая женщина выпытывала подробности сексуальной жизни у супружеской пары. В очередной раз меня уличили в телевизионной безграмотности.

– Точь-в-точь была как я, и всего лишь месяц назад! – трагическим голосом объявила сержант, и в глазах ее блеснули слезы. – А я уже три месяца сижу на диете "Слимфаст". Ну в точности как она.

Я взглянул на негритянку, потом на сержанта, которая поднялась с места и встала лицом ко мне. Она не изменилась с тех пор, как впервые появилась на моих занятиях, даже джинсы на ней были те же самые, облегавшие тело так же плотно, как яблочная кожура – мякоть. Ясно, что она чуть полновата, всего несколько лишних килограммов. Но Сейерс вбила себе в голову, что килограммов этих гораздо больше.

– Не вижу большой разницы между вами и этой... – я поглядел на экран, – Оперой.

– Опрой, – с горечью поправила она. – Я знаю, вы добрый, но не надо лгать. Мне точно известно, что выгляжу я как гиппопотамша.

– Послушайте, сержант Сейерс...

– Нет, я знаю. Особенно на фоне Квентин и Хендерсон, – сказала она и промокнула глаза бумажной салфеткой.

Скрутив мокрую салфетку в шарик, она виртуозно пульнула им и попала точно в мусорную корзинку у противоположной стены – даром

что центровой игрок женской баскетбольной команды полиции округа Миссиссога. Она надеялась, что спорт поможет ей похудеть, – я так не считал. Когда-то говорили: судьба, потом стали пенять на обмен веществ, теперь виновата ДНК – а по-моему, один черт.

– Дороти, – мягким голосом произнес я, хотя знал, что вряд ли облегчу ее страдания, и она как истинный полицейский отвергла мой добрый порыв.

– Не обращайте внимания, – сказала Сейерс, вытирая слезы. – Нам пришлось вычеркнуть Келли из списка подозреваемых.

– СИДОНИЯ! – в ужасе воскликнул я.

Она как раз вернулась домой после первой встречи с Седлачеком и объявила, что согласилась представить письменный отчет.

– Мне сразу стало ясно, зачем ему понадобилось узнать о Джули, – проговорила Сидония дрогнувшим голосом. – Она продолжает встречаться с этим Марковичем из мединститута. Поэтому он и велел мне про нее написать. Маркович – серб, понимаешь? Подданный маршала Тито.

Маркович был хороший парень, но серб. В те годы это означало примерно то же, что еврей немного раньше.

– В общем, я решила, что помогу Джули. А если он попросит написать еще что-нибудь, пошлю его подальше, – сказала Сидония по-прежнему с дрожью в голосе.

Мне был знаком этот тремор. Несколько месяцев назад меня тоже допрашивали – по поводу вебстеровского словаря, который по моей просьбе прислал из Нью-Йорка отец Сидонии. От себя, *не* по моей просьбе, он приложил выпуск "Партизан ревью" со статьей о разрыве отношений между Москвой и президентом страны, откуда приехал студент Маркович. Чтобы успокоиться, я тогда три часа бродил по набережной Влтавы.

– И каким же образом, скажи на милость, ты ей поможешь?

– Напишу, что она встречается с болгарином. К болгарам они не имеют претензий, – ответила Сидония. – И еще напишу, что она хороший товарищ, хотя черта с два про нее такое скажешь. А для правдоподобности, чтоб не выглядела образцово-показательной, добавлю, что иногда бывает ленива и еще что голову редко моет. Это украсит ее характеристику.

С политической точки зрения судьба Джули была предрешена. Седлачек появился как раз тогда, когда кампания против буржуазного "смотризма" была в самом разгаре. Мою кузину Еву исключили из медицинского училища из-за того, что во время лабораторной работы по биологии профессор Ворел, ведущий чешский лысенковец, унюхал ее духи.

Именно тогда я жутко подвел Сидонию. Ей исполнился двадцать один год, она была гораздо неопытнее меня, и если бы я отсоветовал ей помогать Джули или любой другой подруге – в Пролетарской Империи подобное проявление солидарности всегда опасно, – она бы меня послушалась. Я же, напротив, одобрил ее глупую затею. В моем сознании блеснула безумная мысль: я вообразил, что план, который не удалось осуществить мне с помощью истории, рассказанной в Министерстве внутренних дел, возможно, осуществит Сидония, готовая оказать услугу агенту госбезопасности (хотя и не в той мере, в какой он рассчитывал).

На обсуждение вопроса у нас оставалось несколько минут: я убегал на культпросветзанятие для беспартийных сотрудников журнала "Светова литература". По мере того как тянулись шестьдесят минут занудных поучений, я все яснее осознавал, что я круглый, непробиваемый идиот. Когда я вернулся домой, было уже поздно — Сидония ушла. Она уже протягивала Седлачеку бумагу с характеристикой на образцово-показательного товарища Джули, которая, даже пользуясь шампунем, проявляла политическую грамотность и выбирала любовников только из братских стран.

В ужасе я думал о том, что́ может потребовать Седлачек в следующий раз и чем может пригрозить Сидонии в случае отказа сотрудничать на постоянной основе. Я пытался успокоить себя мыслью о том, что, кроме брата-лагерника и отца-американца, о которых и так всем известно, им нечем ее шантажировать. Что касается меня самого, в органах, вероятно, знали, что до Сидонии я встречался с некой Жеральдиной, но нас связывала только постель, о ее контактах с британскими дипломатами я и не подозревал. Впрочем, если начистоту, то все-таки *подозревал*, но, из соображений безопасности, никогда не интересовался подробностями. С тех пор как ее взяли, прошло целых два года, и меня оставили в покое. Был еще эпизод с американским агентством печати "Оатис", куда я заходил четыре года назад в поисках работы. Для меня там ничего не нашлось, поэтому, когда "Оатис" прикрыли, а главу агентства обвинили в том, что он руководил местной агентурной сетью ЦРУ, я задержан не был. Включать меня задним числом в конспиративный круг "Оатиса" или Жеральдины было поздно — так я по крайней мере рассуждал, почти не сомневаясь, что ради моей персоны органы не станут открывать новое дело. Был еще мой роман, но шантажировать меня книгой не имело смысла.

Тем не менее и вопреки всем разумным доводам некоторое время я маялся расстройством желудка. Седлачек больше не появлялся, и я, олух, решил, что письменная домашняя работа, которую Сидония сдала ему в виде характеристики на лучшую подругу, убедительно доказывала, что с такими недалекими осведомительницами повышения по службе ему не видать. Позднее я объяснил его равнодушие к моей жене действием молитв, которыми я докучал Господу в церкви Богородицы в Снегах. Сидония первой обнаружила в газете заметку "Трагедия на автостраде", но не придала значения описанной там аварии и никоим образом не связала это происшествие с собой. Читателям сообщали, что на Пелгримовском шоссе двадцатичетырехлетний Милан Несправны, не справившись с управлением мотоцикла "Харлей-Дэвидсон", сбил двенадцатилетнего Й. Н., который скончался на месте, сам же врезался в столб и умер затем в больнице Пелгримова.

На этот раз я, как заправский детектив, связал все концы и пришел к общему знаменателю: от Седлачека уже две недели не было ни слуху ни духу, притом что на второй и последней встрече с Сидонией он пригласил мою жену в следующий раз прокатиться за город на его "Харлей-Дэвидсоне".

— Но ведь его фамилия Седлачек, — возразила Сидония.

Я объяснил ей, что "Седлачек" — одна из вымышленных фамилий, которыми пользуются агенты КНБ. Я надеялся, что прав, и моя вымоленная надежда оправдалась: Седлачек молчал; не объявился он и через

два месяца. Мы успокоились, и вскоре история с письменным домашним заданием Сидонии была забыта, поскольку дурное, как правило, в памяти не остается.

Сохранилось главное – мой новоиспеченный брак с женщиной, которая с каждым днем становилась все краше. Может, она хорошеет благодаря близости со мной, думал я, хотя причина, конечно, была иной: у Сидонии и до меня были мужчины. Тогда я решил, что на нее, вероятно, подействовала духовная составляющая супружества, но потом отказался и от этой мысли. Сидония в Бога не верила и в церковь со мной не ходила.

В КНБ располагали теперь документом, в котором возлюбленный Джули удостоился звания почетного гражданина Болгарии, и дело, по-видимому, закрыли. К несчастью, прежде чем разбиться на автостраде, Седлачек успел завести досье на Сидонию. Но тогда нам об этом было неизвестно. Узнали мы о досье сорок лет спустя из еженедельника "Смерть коммунизму!", который выпускал господин Мрквичка.

– НЕУЖЕЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, что ваш босс всерьез подозревал Келли? – спросил я Сейерс. – Келли не маньяк-убийца, он заурядный алкоголик. Приревновать может, но он вам не итальянский работяга с крепкими бицепсами, а всего лишь ирландский профессор психологии.

– Мы проверяем каждого подозреваемого, таков принцип, – ответила сержант. – К сожалению, у Келли есть алиби, которое одним ударом разбило две наши версии.

– Сержант Сейерс, не могли бы вы изъясняться понятнее?

– В момент совершения преступления он изменял своей жене с Дженнифер Браун, и она подтвердила его алиби.

– А вторая версия?

– Неужели неясно, профессор? Браун сама находилась под подозрением.

СИДОНИЯ И ДЖУЛЬЕТТА были подруги, и, как выражались их сверстницы, подруги закадычные. Их союз мог показаться немного странным: Сидония слыла паршивой овцой "Маргаритки", в то время как фотографии Джульетты часто появлялись на Доске почета, их прикрепляла туда кнопками парторг Мария Сохова. Чтоб оправдать свою дружбу с Сидонией, Джульетта прибегала к помощи идеологии, говорила, что "влияет на Сидонию в нужном направлении". Все, что делала Джульетта, заслуживало поощрения, и она его получала. В юные годы ее убеждения были абсолютно искренними: в Соховой Джульетта видела чуть ли не личного представителя товарища Сталина в ансамбле "Маргаритка". Награждая Джули почетными грамотами, Сохова готовила ее к высочайшей милости – приему в ряды Коммунистической партии.

Однако мечту Соховой разрушили двое мужчин: Маркович и Седлачек. У Марковича было политически неприемлемое этническое происхождение. Седлачек погиб, прежде чем Сохова сообщила куда следует о том, что Сидония успела исказить: об истинных национальных корнях любовника Джули. Маркович, отказавшийся порвать со своей родиной, провел некоторое время в изоляторе, а затем был выдворен из Чехословакии. Партком "Маргаритки" не утвердил кандидатуру Джули, посчитав, что она еще не заслуживает столь высокой чести. На самом деле трагическая прогулка Седлачека верхом на "Харлей-Дэвидсоне" спасла

Джули от членства в партии. А если б он передал сочинение Сидонии туда, куда нужно, оказалось бы, что счастливое будущее Джули разрушила моя жена.

Случилось так, что вскоре Джули познакомилась с актером, снимавшимся в кинокомедиях, беспартийным, но невероятно популярным среди простого народа, — он-то и сбил ее с истинного пути. Она стала регулярно пользоваться шампунем, начала выпивать вместе с ним, забеременела, вышла за него замуж, бросила пить, родила троих детей и заставила мужа покончить со спиртным. Но комик был лишен тех биологических стимулов, которые принуждают женщин отказаться от алкоголя: он располнел и, не дотянув до старости, умер от цирроза печени. Джульетта так и не вступила в партию. Но факт оставался фактом: до замужества и всего, что за ним последовало, она была и осталась закадычной подружкой Сидонии, несмотря на девичьи раздоры и жизненные перипетии. Их связывали очень близкие отношения, какие часто возникают между девушками. Не могу ручаться, но подозреваю, что, как только я соблазнил Сидонию, она тут же поделилась этой новостью с Джули. Однажды я оказался в кофейне, где сидели Джульетта и ее популярный комик, и лишь только я туда вошел, она приклеилась ко мне взглядом и даже улыбалась краешком губ, а комик от этого взбесился до такой степени, что не спускал с меня злобных глаз. Не поверю, что Джули пыталась со мной флиртовать, хотя лучшие подруги частенько именно так и поступают.

Между ними не было ничего предосудительного — впрочем, сторонний наблюдатель вряд ли отличит нежную девичью дружбу от гомоэротической связи. Летом, за год до того, как я повстречал Сидонию, подружки не-разлей-вода отправились в поход по Восточной Словакии собирать народные песни и частушки, не получившие официального одобрения из-за обилия в них бранных слов. Ночевали в амбарах, с разрешения владельцев сельхозугодий, а перед тем, как уснуть, глядели на звезды сквозь крошечные оконца и болтали без умолку чуть ли не до зари. Обычно их будил какой-нибудь крестьянин, приходивший за сеном для скотины. Полуночные беседы молодых женщин, связанных близкой дружбой, — одна из тайн человечества. Что могли обсуждать две девчонки из ночи в ночь, от заката до восхода солнца в течение трех недель? Хотя до полных трех недель они недотянули: им пришлось убраться из Словакии незадолго до окончания каникул. Один селянин заявился в амбар не под утро, а среди ночи, и не затем, чтоб набрать корма для скота. Скатившись с лестницы, он сломал ногу, и закадычные подружки дали оттуда дёру еще до рассвета.

Глава пятая
Как сержант Сейерс отказалась идти по стопам Эдгара По и предпочла ему дядюшку Абнера

РАССЛЕДОВАНИЕ дошло до комизма. Такой коллизией мог бы удачно воспользоваться любой писатель: свидетель в суде высшей инстанции одновременно является и подозреваемым. Но серьезные криминалисты шутить не любят, и, когда я рассмеялся, сержант Сейерс обиделась.

Я немедленно извинился, опасаясь утратить источник информации. Хотя мне это точно не грозило.

— В книжках еще куда ни шло, можно и пошутить, да и то слегка, — строго заметила сержант. — Но мы же расследуем настоящее убийство.

— Вы правы, и я прошу прощения. Мне в голову не приходило, что миссис Браун к тому же и подозреваемая.

— Как это так! Я вам говорила! — сержант помолчала. — Или не говорила?

— Нет, не говорили.

Я хотел было посоветовать ей не разглашать щекотливые факты, но заметил, что она готова выложить мне все, — мое любопытство победило.

— Среди вещей, принадлежавших жертве, мы обнаружили кассету порнографического содержания. На видеопленке Браун и профессор Келли.

До недавнего времени шантажисты обычно пускали в ход черно-белые фотоснимки порнографического характера, снятые скрытой камерой. Но на смену устаревшим методам пришли новейшие достижения техники. Я подумал, что скоро, возможно, начнут шантажировать с помощью компьютера, если кто-то уже его не использует в этих целях, — тут я могу ошибаться, ведь кибернетика, так же как и математика, находится за пределами моего личного опыта.

Комедия тем временем набирала обороты.

Сержант продолжала выдавать мне тайны следствия.

— По методу дедукции выходит, что покойный Хэммет шантажировал Браун, и вначале мы предположили, что она и есть убийца. Но Келли подтвердил ее алиби, его утверждение совпадает с записью в журнале регистрации мотеля "Ксанаду", и дежурный администратор запомнил пару, снимавшую номер в ночь преступления. Наутро, когда Келли оплачивал счет, Браун находилась рядом с ним, — тут сержант нахмурилась, — и это обеспечило алиби самому Келли.

Она остановилась. Я тоже молчал.

— Кроме этих двоих, подозреваемых нет, — мрачно добавила она спустя минуту. — По крайней мере на данный момент.

Я подумал о подозреваемых того мира, в котором мы жили прежде: для них понятия алиби не существовало, — и еще о том, как Сидония летала туда получать орден после падения в благословенном 1989 году режима революционеров, превратившихся в стукачей.

Потом я вспомнил о двух наблюдениях, сделанных моей отчаявшейся женой: первое касалось Хэммета и Лоррейн Хендерсон, а второе, уже после смерти Хэммета, — пуговицы. Но я не поделился ими с сержантом.

ПОВЕДЕНИЕ МОЕЙ СУПРУГИ начало вызывать подозрение у ее бывших земляков, проживавших в Торонто, еще до того как режим, кончину которого давно предрекали, приказал долго жить. Но ей удалось избавиться от подозрений. Некая миссис Парсонс (урожденная Вртихвостова), под давлением неоспоримых свидетельств, призналась, что сама явилась источником одного широко распространившегося слуха. Деятельность миссис Парсонс в чешской колонии в Торонто была сродни обязанностям ее литературной однофамилицы[1].

1. Миссис Парсонс — персонаж романа Джорджа Оруэлла "Скотный двор".

— Значит, Сидония летает в Прагу? — спросил я.

— Вот именно, — ответила Ярмила Акуратова, считавшая своей главной заслугой то, что она самая красивая замужняя дама в среде чешских эмигрантов. — Каждый второй месяц. Улетает вечерним рейсом, пользуясь канадским паспортом, а утром в Праге показывает чехословацкий паспорт. В аэропорту ее уже поджидает черный лимузин, в нем ее привозят в Министерство внутренних дел, там она докладывает о проделанной работе, потом лимузин отвозит ее обратно в аэропорт "Рузине", и днем она улетает в Канаду. В четыре по местному времени она уже в Торонто, так что умудряется обернуться меньше чем за двадцать четыре часа.

— Вы пересказываете с чужих слов или миссис Парсонс лично рассказывала вам об этом?

— Сама рассказывала, мне лично, — радостно закивала Ярмила.

Примерно шесть лет спустя, после "бархатной революции" и публикации Списка господина Мрквички, я вспомнил о россказнях миссис Парсонс по поводу наездов Сидонии в Абсурдистан, как называли свою режимную страну ее граждане. Существовала ли связь между миссис Парсонс в Торонто и господином Мрквичкой в Праге, который пользовался сплетнями как главным источником для своих журналистских уток? В выдуманную биографию моей жены под названием "Карты на стол, госпожа Сидония!" господин Мрквичка включил голословные утверждения о засекреченных полетах в Прагу, целью которых были ее отчеты перед начальством.

— Хотите стать моей свидетельницей, радость моя? — спросил я у Ярмилы, не возражавшей против неполиткорректных обращений.

— Конечно. Я же своими ушами все это слышала. От нее.

Брат Ярмилы был солагерником Мирека, брата Сидонии: оба числились за образовательно-воспитательным учреждением Министерства внутренних дел и провели вместе десять лет на яхимовских урановых рудниках. Как и брат Сидонии, никакого образования в этом учреждении парень не получил.

— Ну, тогда с богом! — сказал я, и мы с Ярмилой вошли в метро.

В тот день в Торонто заседал президиум Совета свободной Чехословакии, самого предательского из всех предательских объединений политэмигрантов. Миссис Парсонс, в прошлом функционер социалистической партии докоммунистического периода, входила в состав Совета. Так же как и я — писатель, получивший международную известность благодаря недавнему финскому переводу моего детектива "Груда тел". Мы с миссис Парсонс (супругой аудитора Лу Парсонса) были "братом и сестрой", потому что именно так величали друг друга члены Совета.

Пока Ярмила, стоя на трибуне, скорбным голосом повторяла слова миссис Парсонс о перелетах моей жены, я с удовольствием наблюдал, как сестра Парсонс вначале зарделась, потом побагровела и наконец классическим жестом принялась утирать выступившие под носом капельки пота вышитым носовым платочком.

— Сестры и братья, это ошибка! — в отчаянии крикнула она, а председатель брат Хорн сурово сказал:

— Объясните нам, сестра, в чем здесь ошибка.

Неспешно, петелька за петелькой, Парсонс сплела новую историю. Согласно исправленному варианту, речь шла не о госпоже Сидонии Смирицкой, а о госпоже Амелии Сидлицкой. Парсонс придумала неплохой ход. Восстановив отношения с коммунистическим правительством за немалую мзду, Амелия Сидлицкая действительно летала в Прагу. Возможно, она даже заезжала в Министерство внутренних дел, но вряд ли ее встречали на черном лимузине. Положение человека, уплатившего коммунистам твердой валютой за чешскую визу, практически лишало ее возможности отстаивать свою политическую честь.

Выслушав чистосердечное признание миссис Парсонс, брат Хорн смягчился, но потом заявил: не важно, о ком именно распространяются подобные слухи, о сестре Амелии Сидлицкой или о сестре Сидонии Смирицкой, — серьезности дела это не умаляет. Несмотря на добрые отношения госпожи Сидлицкой с большевистским режимом в Праге, ее муж был членом вышеупомянутого президиума, и брат Хорн внес предложение, чтобы вопрос о виновности Парсонс решал суд чести. Памятуя о неблаговидных контактах жены с коммунистическим режимом, брат Сидлицкий выступил против суда чести и сказал, что супругу удовлетворит устное извинение сестры Парсонс. В общем, Парсонс легко отделалась. Затем брат Хорн предложил ей извиниться и перед Сидонией. Моя жена передала им, что ей достаточно публичной реабилитации, которая произошла на заседании президиума.

Итак, миссис Парсонс, испортившей политическую репутацию моей жены, все сошло с рук.

Но Парсонс кипела от гнева. Зная ее натуру, я этому не удивлялся.

— НЕ ДУМАЮ, ЧТО ТАКОЕ алиби дорогого стоит, — сказал я сержанту.

— Оба готовы поклясться на Библии, — несчастным голосом отозвалась Сейерс. — Что же делать?

— Мисс Сейерс, как человеку, изучающему криминологию, — я сделал паузу, меняя ход рассуждений, — и как читателю детективов, вам должна быть известна причина, по которой подобное алиби гроша ломаного не стоит!

— Известна, — сказала сержант. — После того как они вошли в номер, он мог вылезти наружу через окно, приехать в дом профессора Мэдер, убить Хэммета, вернуться в мотель, тем же путем проникнуть обратно в номер, и на все это ушло бы меньше часа.

— Вот видите!

— Вижу, — подтвердила сержант. — Только нам пришлось бы все это доказать.

Разумеется. В стране, куда мы с Сидонией перебрались, чтобы признать человека виновным, как правило, требуются доказательства, а не допрос с пристрастием. Брат Сидонии посвятил меня в terminus technicus[1] и некоторые другие стимулирующие признание методы, применявшиеся коммунистами для развязывания языков.

— Пожалуй, я снова начну выстраивать "Тайну запертой комнаты", — расстроенно проговорила сержант. — Но не по схеме дядюшки Абнера с его теорией Божественного Промысла, а ближе к реальному убийству.

1. Зд.: система непрерывного допроса (*лат.*).

Так она и сделала, но результат оказался плачевным, под стать версиям капитана Уэббера о том, кто прикончил Раймонда Хэммета.

ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ после того, как было принято творческое решение переключиться с Мари Роже на дядюшку Абнера и "Тайну запертой комнаты", Сейерс пришла на индивидуальное занятие со светившейся в глазах надеждой и сказала, что ее начальник дал новый ход делу об убийстве Хэммета. Затем сразу перешла к путаным объяснениям насчет того, как обученная убийцей обезьяна совершала не свойственные ее природе действия: заперла дверь после ухода хозяина и выбралась из комнаты через дымоход камина.

– Сожалею, но не думаю, что вы изобрели оригинальный метод. Это всего лишь вариация шестого или, возможно, третьего решения, найденного Дж. Д. Карром[1] в "Трех гробах". Припоминаете, сержант?

Она с неудовольствием признала, что припоминает.

– Хотя, – задумчиво произнес я, – это не совсем то же самое, что забросить ядовитую змею или насекомое в "герметически закрытую камеру", как называет Карр свою "запертую комнату". Предложенный вариант можно было бы счесть оригинальным, если бы вас не опередил автор, которого вы отвергли как пример для подражания. Знаете, кого я имею в виду?

Сержант кивнула и, как мне показалось, покраснела.

– Правда, у Эдгара По в "Убийстве на улице Морг" орангутанга обучали другим навыкам, но в любом случае это такая же дрессированная обезьяна, – грустно сказал я, а она еще печальнее ответила, что, по всей вероятности, уйдет из моего семинара и попробует уговорить профессора Каннинглоу, чтоб взял ее, хоть и с опозданием, на свой курс по идентификации отрубленных голов.

Я молча пожал плечами, но перед самым ее уходом, когда она уже собрала тетрадки, спросил:

– Знаете, что меня удивляет?

– Нет, – честно сказала она.

– Необычное поведение Реймонда Хэммета той ночью.

Она задумалась, потом сказала:

– Той ночью Хэммет был дома.

– Совершенно верно, – сказал я. – И это очень странно, ведь всем известно, что Хэммет не любил сидеть дома по вечерам. Две или три недели назад мы читали на занятии рассказ Шерлока Холмса, помните? Там был эпизод со сторожевой собакой, которая не залаяла, когда убийца проник в дом ее хозяина.

– Гм, – отозвалась сержант, – так вы считаете, что в этом и заключается странное поведение Хэммета?

– Совершенно верно, – повторил я. – Предположим, он хотел воспользоваться отсутствием жены в целях, которые описываются в дешевых комедиях. Но здесь фарс закончился убийством, а человек, с которым у Хэммета было назначено рандеву в доме жены, по всем признакам, мужчина.

Сержант раскрыла рот, собираясь что-то сказать, но промолчала.

1. Джон Диксон Карр (1906–1977) – американский писатель.

Глава шестая
Что делал Хэммет один дома и как я вспомнил о конференции

КОГДА МЫ ПРИБЫЛИ в Прагу, где Сидония намеревалась судиться с Министерством внутренних дел, она дала интервью независимой "Газете для каждого" и чистосердечно рассказала об истории с агентом КНБ. Она совершила ошибку. Ей следовало бы помнить, что молчание – золото, но даже тридцать три года жизни в Абсурдистане не научили Сидонию тактическим хитростям. Старинная чешская пословица о молчании, которое золото, приобрела в те годы смысл, который вкладывали в нее когда-то захватчики: "Maul halten und weiter dienen"[1], – но моя жена никогда не была сильна в немецком. Она не знала, что рот надо держать на замке. Журналисту Пискалу, задававшему ей вопросы, она объяснила, что составила характеристику на Джули, чтобы развеять тучи подозрения, сгустившиеся над головой подруги только из-за того, что девушка польстилась на мужчину из Югославии. В те годы партия запрещала внебрачные связи, не соответствовавшие партийным моральным принципам. Сидония написала, что соблазнитель подруги болгарин, то есть с политической точки зрения интимная связь Джули с гражданином братской страны не могла считаться порочной. Обретая коммунистическую нравственность, Партия могла заставить Джули вступить в законный брак, но, покуда оставалось тайной, что ее аморальный партнер – югослав, никакие другие меры перевоспитания ей не грозили.

Искренний порыв Сидонии имел одно благое последствие: лучшая подруга, четверть века хранившая молчание, прислала ей письмо. Несмотря на то что переписка с политэмигрантами в эпоху президента Гусака[2], последовавшую за вторжением в Чехословакию советских войск, была менее опасной, чем шуры-муры с мужчиной из страны маршала Тито в годы юности нашей Джульетты, она по-прежнему боялась за жизнь своих детей и долго не решалась связаться с Сидонией. Однако, как только вышла газета с интервью Сидонии, пришло послание, в котором ее старинная подруга выплеснула, как и подобает лучшей подруге, все свое негодование в адрес мертвого каэнбэшника, опрометчиво включившего Сидонию в агентурный список. Из письма также выяснилось, надо сказать с опозданием, что, пока Сидония пыталась помочь лучшей подруге через канал Министерства внутренних дел, Джульетта, по совету парторга Соховой, бросила югослава и переключилась на студента-философа из Болгарии. Сидония не подозревала, что выдуманные ею подробности соответствовали действительности, а потому оказались бесполезными.

Бóльшая часть письма Джульетты состояла из оплакивания ушедшей жизни: под влиянием популярного комика и благодаря личному интеллектуальному развитию она превратилась в отъявленного реакционера и теперь, в приступе искренности, просила у Сидонии прощения за свою неуемную активность в деле укрепления старого режима, кото-

1. "Держи язык за зубами и служи" (*нем.*) – цитата из "Похождений бравого солдата Швейка во время мировой войны" Ярослава Гашека (перевод П. Богатырева).
2. Густав Гусак – президент ЧССР в 1975–1989 гг.

рый в конечном итоге оклеветал ее лучшую подругу. Но груз своей вины она перекладывала все-таки на Сохову, особенно за то, что парторг уговорила ее порвать с югославом. Интересно, подумалось мне, о чем она все-таки жалеет: что заводила любовников, руководствуясь идеологическими установками, или что упустила парня из страны Тито. В конце концов, если б она вышла за Марковича, он увез бы ее к себе, где уже пересмотрели Учение Всех Учений. Не Америка, конечно, но и до "железного социализма", как называли тот режим соотечественники Джульетты, далеко. Так или иначе после случая с югославом и непродолжительной связи с болгарином она встретила популярного актера, родила детей и любила мужа, потому что он был мудрым человеком из народа, хотя и не того Народа с большой буквы, который подразумевала под этим словом коммунистическая партия.

Мне стало стыдно за вспышку подозрительности касательно любовных предпочтений Джули, и в ответном послании Сидонии я приписал от себя постскриптум с теплыми словами. Лучшие подруги стали активно переписываться, и эти эпистолярные беседы спасали Сидонию от беспросветного отчаяния в ту пору, когда я ничем не мог ей помочь.

ПРИЧИНОЙ ЕЕ ОТЧАЯНИЯ, возможно, стали и другие неприятности, вызванные появлением интервью в "Газете для каждого". Некий доктор Адольф Грабе, доктор наук, в письме редактору еженедельника "Смерть коммунизму!" безапелляционно заявил, что благие дела не влекут за собой печальных последствий: честный человек не вступает *ни в какие* (в оригинале был курсив) контракты (sic! — здесь, вероятно, опечатка) с преступными организациями и их разнообразными представительствами. С его точки зрения, сам факт, что Сидония опустилась до того, что написала характеристику, не важно сколь благожелательного свойства, на Джули Тибурчеву, превращает ее как de facto, так и de jure в агента КНБ.

Специальностью этого доктора в квадрате была история, которую он преподавал в Карловом университете, а научные степени, обрамлявшие его имя, указывали на то, что сам он не избежал контактов с преступной организацией: именно коммунистическая банда (выражение самого доктора А. Грабе, д. н.) ввела моду на перечисление регалий перед именем и после него. Позднее я узнал, что после "бархатной революции" доктора Грабе, доктора наук, отправили на пенсию по требованию студентов, и даже проникся к нему жалостью. Вероятно, его письмо редактору было попыткой вернуть утраченное. Жизнь давно научила меня, что всякий радикализм имеет три и только три источника: глупость, нечистую совесть и слепую ненависть.

Я СИДЕЛ В "ХРОМОЙ УТКЕ" с Венди Макфарлейн, моей конопатой шпионкой, и мне казалось, что разговор наш смахивает на déjà vu.

Мне только что принесли бокал с бурбоном, и Венди наставляла меня на путь истинный.

— Вам не следует так много пить.

Никто из нас двоих не знал, какую на сегодня порцию я уже принял, третью или четвертую, — в этом вопросе я полагался на бармена, который аккуратно и, надеюсь, честно вел подсчет.

— Знаю, — ответил я.

– Зачем тогда пьете?

– Не знаю.

– Нет, знаете. Вы – профессор, разве вы можете чего-то не знать?

– Мне стыдно, – сказал я, – что я даю такие неумные ответы такой умнице, как вы.

– И поделом, – сказала Венди. – Вы же алкоголик, прямо как мой отец. Ему спиртное тоже ни к чему. И говорит он то же самое: не знаю, мол, зачем пью, а присосется к бутылке – не оторвешь.

– Потому что алкоголик, – подытожил я наше короткое упражнение в логике. – Это называется circulus vitiosus.

Она призадумалась, потом сказала:

– Что значит circulus, я знаю, а что такое vitiosus?

Венди прошла вводный курс латыни, поскольку собиралась читать проповеди в англиканской церкви.

– Макфарлейн! – воскликнул я в недоумении. – Как можно! В прошлом семестре вы изучали сравнительную лингвистику!

Она, помнится, как-то сама призналась, что выбрала этот курс потому, что ей нравился молодой профессор Маклауд, прекрасно владевший своим предметом. Смущенная провалом в знаниях и обожавшая театральные сцены Венди сжала кулак и ударила себя по лбу.

– Ну конечно! Порочный круг, вот что это значит!

Надо сказать, что в тот день я превысил дозу не потому, что попал в порочный круг. Не зная, как облегчить страдания отчаявшейся Сидонии, я сам от беспомощности угодил на дно колодца. Ей помогал только алкоголь, а если я встревал со своими наставлениями вроде тех, которыми потчевала меня будущая англиканская проповедница, в ответ следовало грубое: "Не лезь не в свое дело!" – и у меня опускались руки. В моей помощи она не нуждалась, потому что я предлагал личное, продиктованное любовью участие. А Сидония угодила под жернова истории.

Лишь только Венди умолкла, в "Хромую утку" вошла Лоррейн Хендерсон и прямиком направилась к столику, за которым сидела группа игроков футбольной команды колледжа. Мы с Венди переключили внимание на Лоррейн. Она держалась прямо, чтобы во всей красе продемонстрировать свою спортивную фигуру, но на ее тициановской головке царил беспорядок. По всей вероятности, она пропустила пару сеансов у "Видал Сассуна".

– Она что, заплаканная? – спросил я.

– Ага. Из-за Хэммета.

– Не может быть! С какой стати?

Венди смерила меня высокомерным взором.

– Не вы ли минуту назад говорили что-то о неумных ответах?

Я вдруг припомнил сплетенные ладони – деталь, подмеченную Сидонией на семестровой вечеринке. Тем не менее, чтоб выудить из Венди побольше, я сыграл роль тупицы.

– Выходит, весь колледж о них знает?

– Нет. Только я. Мы ехали с ней в Монреаль на поезде, и она надралась в стельку.

– Неужели? В одиночку?

– Знаете, – сказала Венди, – мне показалось, что ей хотелось поговорить, но она не решалась, вот я и заказала нам по джину с тоником.

— А потом она заказала еще?

— Она заказала еще несколько порций для себя и даже не заметила, что я все еще тяну первую.

— И разоткровенничалась?

— Ну да. А на обратном пути мне пришлось дать слово, что я буду молчать.

— Мне бы вы могли рассказать. Почему не сказали?

Я полагал, что она сошлется на девичью клятву. И ошибся.

— Я не сплетница, — сказала Венди.

Мне пришлось взять паузу. Я судорожно соображал, какие еще значения может иметь слово "сплетница". Таковых не нашлось. Венди нравилось посудачить о людях, обитавших в ее небольшом мирке, но ей недоставало воображения сочинять про них небылицы. Она права: если любители сплетен обладают воображением, ее к их породе не причислишь.

— Тогда зачем вы теперь о ней рассказываете? — спросил я.

Она снова задумалась. По крайней мере мне так показалось. На самом деле она боролась с искушением. Это искушение было сродни мужской битве с зеленым змием, описанной в романах Чандлера. Соблазн проболтаться столь же необорим, как и тяга к спиртному.

— Все это уже не важно. Теперь он на ней не женится. Покойник.

— Значит, теперь вы собираетесь раструбить об этом по всему колледжу?

Мой развязный слог ее покоробил.

— Я никогда ни о чем не трублю!

— Ну мне-то вы рассказали.

— Рассказала, — согласилась Венди.

— Что же мешает рассказать всему колледжу?

— Хватит того, что вам рассказала. Зачем еще кому-то рассказывать?

Вначале ее вопрос меня озадачил. Мне показалось, что она видит во мне сплетника, который подхватит эстафету, чтобы выставить чужое грязное белье на обозрение колледжа. Но я неверно истолковал слова Венди. Она знала, что информация дальше меня не пойдет, я же воспользуюсь ею в целях сугубо литературных. А это, разумеется, не то же самое, что сплетни.

Нет, ее внезапное откровение не подразумевало укора в мой адрес. Венди имела в виду нечто более интимное, но без намека на сексуальные отношения. Она попыталась объяснить свое чувство, сравнив меня с ивой из греческой сказки про брадобрея, который обнаружил, что у царя ослиные уши, молчал-молчал, а потом не выдержал, взял да и рассказал об этом шепотом ивовому кусту. Если условно принять меня за иву, добавила моя рыжая лисичка, задачу свою я выполняю исправно. Я никогда с ней не заигрывал, хотя ей, похоже, нравилось мое общество, и она ежедневно, а иногда и дважды в день забегала ко мне в кабинет. Она заглядывала туда и раньше, до предписания держать двери открытыми. С ее стороны тоже не наблюдалось поползновений нарушить границу дружеских отношений. Возможно, причиной тому достойный похвалы нрав самой Венди, которая готовилась к служению в лоне англиканской церкви. А я — я был женат, и дома меня ждала угасающая от печали Сидония.

Итак, Венди пересказала мне то, что узнала от Лоррейн за шесть часов пути из Торонто в Монреаль. Вернее, она узнала обо всем уже в первые два часа. Потом Лоррейн уснула. На обратном пути, спустя два дня, Лоррейн к спиртному не прикасалась и взяла с Венди обещание, что та никому слова не скажет об их разговоре. Подозревая, что Венди не умеет хранить тайну, и считая ее особой безвольной, Лоррейн в конце концов вынула карманное издание Библии короля Якова[1] и заставила подругу поклясться на Священном Писании.

Выходило, что Венди все-таки нарушила клятву. От нее мне стало известно, что супруг профессора Мэдер обещал жениться на Лоррейн, а сама Мэдер была не в восторге от его предложения развестись. Одно из последствий уравнения женщин в правах состоит в том, что буржуазные предрассудки, вроде отказа давать согласие на развод, не выдержали кровавой схватки с идеологией. Наняв опытного адвоката, Хэммет без хлопот сменил бы стареющую состоятельную даму на юную богачку, которая взяла бы на себя и судебные расходы. Передовые веяния в области правосудия позволили бы разделить имущество бывших супругов поровну. Зная Хэммета, я не сомневался, что, невзирая на богатство новой супруги, он непременно потребовал бы половину всего, чем владела Мэдер.

— Венди, — спросил я девушку, проигравшую битву, тождественную той, что описывал Чандлер, — вы знакомы с Дороти Сейерс?

— Вы имеете в виду писательницу[2] или толстуху из полиции?

— Я говорю о вашей чуть полноватой сокурснице, которая, как и вы, посещает мой семинар по детективам, — уточнил я и, оставив без внимания укоризненный взгляд моей юной приятельницы, подал знак бармену. Пригубив отравы, я продолжил: — Как женщина образованная, вы должны понимать, что не имеете права держать такую информацию при себе. В таком же положении нахожусь теперь и я. Вам следует поговорить с сержантом Сейерс.

— Да, но я... — Венди запнулась, осознав, что не может оправдать свой отказ клятвой, которую успела нарушить.

— В противном случае это придется сделать мне.

Она немного поразмыслила. Если я выдам сержанту факты, то раскрою и источник, из которого получена информация, — тогда Венди прослывет сплетницей, а для нее это хуже позорного клейма. Нелепо было бы надеяться, что деловая Сейерс станет задумываться о различиях между сплетней и тихим признанием сказочного брадобрея.

Венди вздохнула.

— Угостите меня? У меня наличных не хватает.

— С удовольствием.

Я махнул рукой бармену, показал на свой бокал и поднял два пальца.

— При чем здесь удовольствие? — сказала Венди. — Один только вред здоровью.

Бармен любезно пододвинул к нам два полных бокала.

— Вообще-то я еще не доросла, — заметила Венди, — но все равно, "gaudeamus igitur juvenes dum sumus"[3].

1. Одобренный королем Яковом I канонический перевод Библии 1611 г., которым пользуется большинство англиканских церквей.
2. Дороти Ли Сейерс (1893–1957) – английская писательница, переводчица, автор детективов и пьес на религиозные темы.
3. Первая строка старинного студенческого гимна: "Будем веселиться, пока мы молоды".

До выпивки еще не доросла, зато как много уже знает.

ВКОНЕЦ ОТЧАЯВШИСЬ после софизмов доктора в квадрате и расследований штатных сотрудников господина Мрквички, откопавших неизвестные моей жене подробности ее прошлой жизни, Сидония улетела в Прагу. Джульетта писала, что единственный способ снять с себя обвинения — подать в суд на Министерство внутренних дел. Я полетел вместе с женой, но все мои попытки изменить ее состояние к лучшему заканчивались неудачно. Ей стало совсем худо: когда я сам пробуждался среди ночи от пьяного сна, внизу, на кухне, горел свет и жена, сидя в обнимку с бутылкой, вглядывалась в темноту за стеклянной дверью.

Старый друг Сидонии, занимавший теперь пост главы государства, предложил ей своего адвоката, и она, решив довериться этой милой женщине, обратила всю страсть, до сих пор питавшую ее ярость, в надежду. Однако, когда мы улетали из Торонто, случился неприятный казус с бывшим политзаключенным Ирусеком, который продемонстрировал нам шрамы от сигарет каэнбэшников. Вдобавок в первый же день пребывания в Праге неудавшийся актер Эмил, он же граф Конрад Градский, оскорбил Сидонию в киноклубе. Она побледнела и заказала двойное виски. В первые посткоммунистические дни виски подавали без льда, поэтому уже после второй порции жену развезло. Когда в клуб приехала Джульетта, нам ничего не оставалось, как только перетащить едва державшуюся на ногах Сидонию в такси, привезти ее в гостиницу и уложить в кровать.

СИДЯ В НОМЕРЕ ГОСТИНИЦЫ, мы с Джули обсуждали наше положение. Она показала мне лист бумаги, на который переписала имена своих друзей и еще добрую дюжину всем известных фамилий из Списка Мрквички. Все, как на подбор, — сливки пражского общества, от кардинала католической церкви до моего старинного приятеля писателя-фантаста Оченаша и любимого друга Лунды. В гнусные нацистские годы нашей юности, предшествовавшие гнусным коммунистическим годам, Лунда выпускал нелегальную газету о джазе под названием "О'кей". Ребята на велосипедах тайно развозили эти листки по городам и весям оккупированных Богемии и Моравии, где любители свинга собирались в большие оркестры. Вот каких выдающихся людей включал Список Мрквички. В него попал и некий Томаш Тибурч, не покойный муж Джульетты, известный прежде всего как всенародно любимый актер, а его однофамилец. В Списке рядом с фамилией указывались дата и место рождения: этот Тибурч родился 08.12.1943 в Праге. Муж Джульетты появился на свет тоже в Праге, но 12.08.1934.

Наплевав на даты, авторы письма редактору еженедельника "Смерть коммунизму!" отыгрались на актере, который был не просто популярен среди простого люда, но и поистине знаменит. Нашелся антикоммунист с научной степенью (лишь с одной стороны от фамилии, не в пример доктору в квадрате) доктор Рудольф Груда, высказавший гипотезу о том, что каждый, кто верит в подлинность и достоверность Списка Мрквички, примет этот документ за несокрушимую истину.

Как выяснилось позднее, доктор Груда работал в журнале "Кроссворды и шарады" и считался специалистом по головоломкам. Он продемонстрировал, как простая перестановка цифр в дате рождения одного

Тибурча может сделать его старше и превратить в другого Тибурча, популярного актера да еще и супруга нашей Джульетты.

Для тех, кто свято верил в подлинность Списка, нумерологическая магия доктора Груды обладала силой логического доказательства.

Джульетта потребовала публичной реабилитации покойного мужа, но право отмывать репутацию имели только здравствующие подозреваемые из Списка, и подавать заявление им предписывалось лично, а не через родственников, друзей или супругов. Джули отвечала на любую печатавшуюся в "Смерть коммунизму!" спекуляцию, касающуюся мужа, письмом редактору до тех пор, пока доктор Груда не сформулировал новую гипотезу: хотя Список Мрквички *абсолютно* надежен, в него могли вкрасться некоторые *мелкие* неточности. Проанализировав даты рождения двух Тибурчов, он указал на одну из подобных неточностей и заявил, что теперь-то содержание Списка не подлежит никакому сомнению, за исключением, возможно, некоторых *незначительных* погрешностей. Таким образом, в игру был введен новый элемент, позволявший выискивать неточности в цифрах и географических названиях, на основании которых новые исследователи могли бы выстроить свои теории. Но как ни корпели над этой головоломкой всякие исследователи, никто из них так и не заметил, что в Списке отсутствовали члены Партии, — зато там были с поражающей воображение точностью перечислены все исключенные из ее рядов особы.

В тот же самый день, когда Сидония напилась в киноклубе, свою лепту в "дискуссию" внесло телевидение.

ПОКА СИДОНИЯ СПАЛА, Джульетта рассказывала мне о том, как сотрудники КНБ пытались заманить ее знаменитого мужа в свои сети. Актер не только рассказывал жене об уловках каэнбэшников, но и, талантливо используя грубые словечки, представлял их в лицах. Каждая разыгранная им комическая сценка заканчивалась одинаково: он демонстрировал каэнбэшникам ту часть человеческого тела, которая почти на всех индоевропейских языках означает — "иди-ка ты подальше".

С мужем Джульетты мы не были знакомы лично, но я хорошо знал и ценил его как комедийного актера. После его безвременной кончины профессор Сламены из Театрального института написал большой труд об актерском мастерстве Тибурча, где анализировал причины его популярности и размышлял о загадке его искусства. К сожалению, мне были не слишком понятны научные рассуждения Сламены. Я полагал, что актерское мастерство Тибурча строилось на его умении лихо чесать языком. Мое мнение вряд ли может сойти за научное, и я никогда не высказывал его Джульетте, чтоб не задеть ее чувства. Но факт остается фактом: Томаш Тибурч возвел болтовню в ранг высокого искусства. Он, например, мог рассказать длинный анекдот о человеческих экскрементах так, что даже замшелые монахини, воспитывающие юных девиц, не сочли бы его непристойным. Тибурч-рассказчик сравним разве что с Бетховеном в музыке — другого такого не сыскать.

Я-то знал, что актер говорил жене истинную правду. Но доктор Груда и ему подобные упорно требовали со страниц еженедельника "Смерть коммунизму!" ответа на вопрос Пилата.

НЕ ПОМНЮ, КОМУ пришла в голову мысль включить телевизор. Словно по дьявольской прихоти, на экране возникла красивая блондинка лет тридцати. Ведущий представил ее как юриста из Министерства внутренних дел и попросил разъяснить телезрителям суть многочисленных исков, поданных на Министерство лицами, которые якобы "сотрудничали с органами"; кстати, их имена не только значились в Списке Мрквички, но и фигурировали в министерских досье. Молодая дама не мешкая приступила к разъяснениям. Поскольку в дело вмешалась нечистая сила, собиравшаяся подать такой же иск Сидония проснулась. Я хотел переключить канал, но она не позволила. Она не отрывала глаз от экрана, менялась в лице и вдруг стала похожа на знаменитую утопленницу Мари Роже, которую вытащили из Сены через несколько дней после убийства.

Вскоре я понял, что господин Мрквичка, опираясь на документы, ловко подброшенные ему неизвестным лицом или лицами, de facto занимал позицию официального представителя властей. Хотя поначалу другие официальные лица заявляли, что Список Мрквички не выверен и не подтвержден государственными органами, отчего не может считаться действительным, со временем эти голоса умолкли, а еженедельник "Смерть коммунизму!" de facto превратился в правительственный бюллетень. По крайней мере блондинка из Министерства внутренних дел не проводила границы между все еще засекреченным архивом Министерства и общедоступным Списком. Она вообще презабавно рассуждала. Если верить ее словам, почти все иски были удовлетворены, и Министерство обязали изъять фамилии оправданных как из Списка, так и из архива. Но дело в том, объяснила она, что работа с засекреченными документами имеет свою *специфику*, недоступную многим и даже выносившим решения судьям, которым тоже не удалось избежать общего недопонимания данной проблемы. И потому судьям, заключила она, не мешало бы пройти специальный курс обучения.

У меня, в отличие от молоденькой блондинки, имелись свои счеты с прошлым, и я не мог не вспомнить, как в начале пятидесятых судей, проявлявших такого рода недопонимание, отправляли на перековку под руководством высоких партийных деятелей, разъяснявших им специфику показательных процессов, на которых даже ни в чем не повинных людей признавали виновными лишь потому, что этого требовали интересы Партии. А буржуазные пережитки, вроде необходимости наличия неопровержимых улик для вынесения обвинительного приговора, партийным нуждам не отвечали.

Потом юрист говорила о нехватке документации и о том, что́ не позволило Министерству выиграть бо́льшую часть дел: с одной стороны, недопонимающие судьи не брали в расчет документы, представленные в виде фотокопий, с другой стороны, бывшие сотрудники КНБ перед уходом с авансцены уничтожили значительное число документов с грифом "секретно". В министерстве, как утверждала блондинка, об этом не знали — все начало выясняться только теперь.

ПО СВОЕМУ ОПЫТУ в Эденвейл-колледже я знал, как легко можно выправить ксерокопию: я сам не раз изменял уже проставленную в ведомости отметку на более высокую, чему обычно предшествовал визит в мой кабинет студентки, до слез расстроенной неудачей на экза́мене. Метод

проще простого: замазываешь белым корректором отметку в ведомости, вписываешь новую, пропускаешь исправленный лист через копировальный аппарат и подшиваешь новый лист в общий журнал. В оригинале такое исправление не может остаться незамеченным, а на копии — ни следа подделки.

В общем, суть запутанных рассуждений блондинки из МВД попросту сводилась к тому, что решения суда, вынесенные в пользу истцов, были действительны de jure, но не de facto. Отсутствие в делах компрометирующих документов не являлось доказательством непричастности истцов, значившихся в агентурных списках, к сотрудничеству с органами. Когда блондинка с видом оскорбленной невинности выложила этот последний козырь, мою жену затрясло.

Сидония взвыла и скатилась с кровати, Джульетта разразилась многоэтажной бранью, почерпнутой из лексикона покойного мужа, — а я не верил ни глазам своим, ни ушам.

В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА СЕРЖАНТ СЕЙЕРС объявила, что никогда больше не будет равняться на По, а станет действовать, как дядюшка Абнер, я возвращался домой затемно. В том месте, где я недавно подобрал Кендейс Квентин, шоссе поднималось в гору и огибало владения Мэри Мэдер-Хэммет. Голливудской бури не было и в помине, в небе сияла полная луна — такие ночи показывали в романтических фильмах с участием покойной Хеди Ламарр[1]. Мне подумалось, что кинематографисты низвели очарование природы до китча, в отличие от писателей, которые, не осмеливаясь пренебречь мнением знатоков литературы, вынуждены отказываться от "красивеньких картинок", даже если им самим доводилось наблюдать таковые, а не рождать силою своего воображения. Я, конечно, не берусь утверждать, что литературные знатоки действительно разбираются в данном предмете. Возможно, мой неизменный авторитет Чандлер был прав, когда говорил, что правила игры в футбол знают и болельщики и игроки. Но болельщики их просто знают, а игроки обязаны соблюдать.

В ту ночь на небе и впрямь сияла полная луна, ярко, в стиле Басби Беркли[2], освещая особняк Мэдер, устремившийся острой крышей к облакам, подобно дому Бейтсов в незабвенном фильме Хичкока про убийство под душем.

Я смотрел на высвеченные луной владения Мэри Мэдер, и передо мной возник образ моей далеко не юной коллеги, которая, подобно многим другим вступающим в брак женщинам, проявила недальновидность. Муж, двадцатью годами моложе ее, лежал теперь в морге.

Мэри не назовешь старухой, но рядом с Хэмметом она смотрелась его матерью. Мне по душе янки, и я всегда восхищался ее родословной, которая уходила в глубь веков прямо к Коттону Мэдеру, яростному вершителю судеб, чья слава разнеслась по свету благодаря Джо Маккарти[3] и Артуру Миллеру[4]. Хотя как человек Мэдер была мне не очень-то сим-

1. Хеди Ламарр (наст. имя — Хедвиг Кислер) (1913–1999) — австрийская киноактриса, снимавшаяся в Голливуде в амплуа неотразимых красавиц.
2. Басби Беркли (Уильям Б. Инос) (1895–1979) — американский хореограф и режиссер мюзиклов, в том числе "42-й улицы".
3. Джозеф Реймонд Маккарти (1908–1957) — американский сенатор, в 50-е гг. глава комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.
4. Артур Миллер (р. 1915) — американский драматург, автор пьесы "Салемские колдуньи".

патична. В ее манере держаться сквозила гордость кичащегося своим происхождением сноба — мне это напоминало напускное высокомерие Эмила, графа Конрада Градского.

ОДНАЖДЫ Я ЛЕТЕЛ В ЧИКАГО на конференцию по поп-культуре, и волею случая рядом со мной оказалась Мэри. В Чикагском университете в одно и то же время проводились две конференции: одну спонсировала Американская ассоциация массовой культуры, другую — Американская математическая ассоциация.

Мне нравилось разъезжать по конференциям, в этом отношении я превратился в стопроцентного американского университетского преподавателя, хотя для меня главная прелесть таких сборищ заключалась в том, что можно было повидаться с бывшими соотечественниками, прилетавшими иногда из таких далей, как Австралия. Наши встречи сопровождались обильными возлияниями — я уже не представляю жизни без бурбона. Случалось и услышать интересный доклад, некоторые коллеги ездили на конференции именно ради того, чтобы обменяться опытом. Хотя, возможно, в первую голову ими двигало то, что выступление на конференции гарантировало перелет за счет родного университета. Для начинающих штатных препов чтение докладов было вопросом жизни и смерти: чем больше докладов, тем быстрее карьерный рост. Тех же, кто не был новичком, конференции привлекали возможностью повидать новые края, выпить и послушать доступные лишь избранным доклады. Но главное, преподавателей одной дисциплины связывали братские узы, и среди них вряд ли нашелся бы субъект вроде Счастливчика Джима[1], который писал научные труды по причине чисто прагматической — чтобы не сгинуть.

Итак, мы с Мэри Мэдер, сидя бок о бок, летели на конференцию, каждый на свою. Я не жаждал вступать с ней в разговор, но просидеть рядом с коллегой полтора часа не проронив ни слова просто невежливо. Когда стюарды принесли нам заказанные напитки, двойной бурбон для меня и виски для Мэри, я вынужден был что-то сказать.

— Будете читать доклад, профессор Мэдер? — спросил я, изобразив немалую заинтересованность.

— Буду.

По лаконичному ответу Мэри я понял, что проявлять инициативу не стоит, и некоторое время молчал, но безмолвие начинало действовать мне на нервы.

— Вероятно, я должен был бы поинтересоваться темой вашего доклада, но не стану. Боюсь, для меня ваша область — terra incognita.

Мэдер улыбнулась.

— Отчего же, спрашивайте. Мой доклад будет далек от математики. Но, думаю, математики воспримут его, выражаясь языком преподавателей литературы, как pointe[2].

— В таком случае тем более не стану спрашивать.

— Чтобы оценить pointe, не обязательно разбираться в математике.

— Правда?

1. Герой книги английского писателя Кингсли Эмиса "Счастливчик Джим".
2. Острота, игра слов (*франц.*).

Я не предполагал, что беседа с математичкой в годах может оказаться забавной, и мне в голову закралась одна мысль.

— Правда, — сказала Мэдер.

— Так о чем же ваш доклад?

Мэри вздохнула.

— Вы, наверно, слышали о трагической смерти моего дорогого друга Мортимера Пастернака из Корнеллского университета?

Я кивнул. В Корнелле преподавал математику один из моих бывших земляков Оскар Плавиц. Он был женат на очень красивой женщине, когда-то работавшей машинисткой в издательстве Сидонии. Оскар славился блестящим умом и ипохондрией. Кого-то он мне напоминал, вероятнее всего, литературного персонажа. Красавица жена, которой надоели воображаемые болезни Оскара, бросила его, несмотря на будущее, сулившее ему прекрасную карьеру. Вечно хворого ученого она сменила на молодого человека без определенного рода занятий, пробавлявшегося торговлей, талантами не отличавшегося и с перспективами самыми туманными. Вскоре математик женился вторично. Новая жена тоже была чешкой и красавицей, но представляла иной тип — женщину-мать, хотя на родине играла субреток в театре оперетты. В ее сумочке всегда лежала пластиковая коробочка со множеством отделений, где хранились мужнины лекарства. В положенное время он глотал таблетки, свято веруя, что свалится замертво, если пропустит хотя бы один прием. Как всякий рассеянный профессор, он частенько забывал о пилюлях, поэтому решил переложить ответственность за свою небрежность на жену. Но ходить на лекции она отказалась, и он ставил коробочку на кафедру прямо перед собой, а жена, сидевшая дома, следила за часами и, как только наступало время приема лекарств, звонила своему ненаглядному по мобильнику.

Оскар, принявший все меры безопасности в отношении своего здоровья, был потрясен, когда узнал, что Пастернак, коллега годом моложе, чье здоровье не вызывало беспокойства у врачей, скончался от сердечного приступа. Он написал мне письмо об этой трагедии, надеясь, что я развею его тревоги, и я счел своим долгом его успокоить, но увы, безрезультатно.

Вот откуда я знал о Мортимере Пастернаке. Смерть настигла профессора в кабинете, где и обнаружил тело другой математик. В газетах писали, что Пастернак полулежал на письменном столе, уткнувшись лицом в бланк счета за электричество.

— Я слышал об этой утрате, — сказал я Мэри, — от друга из Корнелла.

— На самом деле мой доклад — своего рода некролог с элементами научной лекции, — отозвалась Мэри. — Мортимер Пастернак доводился мне двоюродным братом. Мы вместе росли в Салеме и всегда были очень близки, но его потом увезли. Мортимер стал одним из лучших в Северной Америке специалистов по квантовой математике. Наверняка даже лучшим. За день до смерти он написал мне письмо... — Мэри сглотнула и помолчала. — Очень душевное письмо. Я считаю своим долгом напомнить математическому сообществу о том, кем был для нас Мортимер Пастернак, и хочу зачитать кое-что из этого письма. Об ушедших так быстро забывают.

Я выразил, и, кажется, довольно убедительно, свое сочувствие — Мэри меня поблагодарила.

— Профессор Мэдер, — сказал я после минуты молчания, — говоря о своем докладе, вы упомянули о некой математической pointe...

Мэдер напряглась. Ответила она не сразу, сквозь зубы и очень холодно:

— Боюсь, вам этого не понять.

— Пару минут назад вы убеждали меня, что не требуется быть докой в математике, чтобы понять эту самую pointe.

Я, конечно, не дословно повторил реплику Мэри, но суть ее высказывания передал точно. С ответом она не торопилась. Тем временем стюардесса попросила всех пристегнуть ремни. Самолет шел на посадку в аэропорту "О'Хара". После всеобщего оживления и щелканья пряжек, прервавших нашу беседу, я напомнил Мэри о своем вопросе:

— Так что же насчет pointe?

Мэдер молчала, самолет шумно ударился о бетон посадочной полосы, и только после того, как прозвучало разрешение отстегнуть ремни, она повернула ко мне голову.

— Думаю, что незадолго до кончины Мортимер совершил крупное открытие. Но этого вам уж точно не понять.

Выстроившись в проходе между креслами, мы проследовали к выходу и затем по рукаву — в здание аэровокзала. Мэри ожидала студентка в очках, державшая табличку "Профессор Мэри О. Мэдер". Меня никто не встречал. Интересно, подумал я, как звучит полное имя профессорши, но не смог припомнить ни одного пуританского имени на эту букву алфавита.

Глава седьмая
Об экзаменах по математике и о том, как едва не умерла Сидония

ВСКОРЕ ПОСЛЕ УБИЙСТВА Реймонда Хэммета началась экзаменационная сессия. Посещаемость "Хромой утки" упала до нижнего порога, и частенько я оказывался там в единственном числе, если не считать бармена. Он, как и я, был дитя кинематографа и, хотя вырос на других фильмах, нас все равно связывало много общего. Взгромоздившись на давно мною облюбованный высокий стул, я с ходу заговорил про убийство, о котором в те дни судачил весь колледж. Скривив губы, бармен процедил, что считает это убийством на сексуальной почве. Он не назвал имен и выразился образно: колледж, мол, один большой бордель, да и вся Канада, между прочим, — сплошной бардак. Хэммет только и делал что трахался, вот и поплатился за это жизнью.

— Думаете, его укокошил кто-то из наших студентов?

— Спорим?

— Зачем же спорить, вы наверняка правы. Но кто именно?

Бармен усмехнулся, точно Богарт в "Касабланке".

— Кто-то из этих пяти, — и, выставив большой палец, он собрался было перечислить возможных убийц, но в эту минуту в "Хромой утке" появилась Кендейс Квентин и прервала нас на самом интересном.

Я поманил ее указательным пальцем. Она улыбнулась мне и без труда запрыгнула на высокий стул. Девушка обращалась со стулом, точно гимнастка, освоившая высокий снаряд. А вот я, алкоголик со стажем, так и не овладел техникой, позволявшей легко возносить свой зад на этот американский трон.

– Чем будете травиться? – спросил я, пользуясь правом учителя криминальной литературы.

– Угощаете? – спросила красавица.

– Непременно, – ответил я. – Но только тем, что выбираю сам. За то, что выбираете *вы, сами* и платите. Политкорректность соблюдена, не так ли?

Почему она здесь? На следующий день был назначен экзамен у Купера, и, учитывая ее неуды за все письменные работы по математике, ей следовало бы сидеть в библиотеке и ломать голову над уравнениями и экзаменационными вопросами.

А она, видите ли, здесь, в пустующей "Хромой утке", водку заказывает.

– Так или иначе, а платить придется вам, профессор, – сказала она с подкупающей улыбкой, – у меня при себе только полтора доллара на кока-колу.

Бармен поставил бокал перед Кендейс и еще один, не спрашивая, передо мной.

– Можете обслужить мисс Квентин в кредит? – спросил я.

Бармен усмехнулся.

– Какой джентльмен! – иронично воскликнула красавица и в один глоток уничтожила половину своей порции.

– Что вы здесь делаете, мисс Квентин? – поинтересовался я. – Я знаю, что завтра у вас итоговый экзамен по дисциплине, в которой вы не очень-то, сдается мне, преуспели.

– Откуда вам известно, что у меня завтра экзамен? И почем вы знаете, что в математике я ни бум-бум?

– Завтра я должен присутствовать как наблюдатель на вашем экзамене. Что же касается второго вопроса, об этом известно всем. Вы очень популярная в кампусе юная леди.

– Женщина, – сказала она, – если соблюдать политкорректность.

Наблюдателем на экзамене мог быть назначен любой преподаватель, даже из числа тех, кто разбирался в математике похуже нашей красавицы. Экзамен длился три часа, наблюдатели сменяли друг друга каждые полчаса, дабы не утерять бдительности, и пресекали консультирование с запрещенными источниками в недрах столов. Можно сказать, что наблюдатели исполняли роль университетских судебных приставов.

– Благодарю за комплимент, – добавила Квентин. – Надеюсь, завтра вы отвернетесь, когда я стану шарить в столе. Обещаете?

Она снова улыбнулась. На мужчин ее улыбка действовала, как живая вода на мертвецов.

– Еще водки, – сказала она, с улыбкой обернувшись к бармену.

Бармен вопросительно поглядел на меня. Я указал пальцем себе на грудь, затем направил оба указательных пальца на наши бокалы.

Так я дважды заплатил за выпивку дочери сорок девятого богача Канады.

После третьей она соскользнула со стула, как милая проворная обезьянка, а я остался на месте и, вливая в себя следующие порции, все думал о том, с какой стати она заявилась в бар. Может, алкоголь стимулирует подготовку к экзаменам?

Ответа на этот вопрос я не нашел.

Потом мне пришлось уйти, чтобы позаниматься с сержантом Сейерс.

– НЕ ПОНИМАЮ, – сказал я ей, – каким образом эта схема может сработать.

– Схема, конечно, сложноватая, – сказала Сейерс, – но не слишком. Все равно лучше, чем в "Тайне Думдорфа". Солнечные лучи отражаются в бутылке виски, которая стоит на столе перед носом у жертвы, и фокусируются на ружье, висящем на стене, отчего оно выстреливает! Поджарьте меня на вертеле, если такое возможно! – с возмущением процитировала она Эрла Стенли Гарднера, написавшего часть своих произведений под псевдонимом А. А. Фэр[1]. На семинаре мы этого автора не обсуждали, Сейерс, видимо, прочла его книги из особого прилежания.

– Выдумка с ружьем проще вашего хитроумного изобретения, – сказал я.

– Но это же бред сивой кобылы! Допустим, бутылка сфокусировала лучи, но тогда фокус оказался бы растянутым и лучи утратили бы ударную силу. Покажите мне ружье, которое выстрелит с помощью такого запала!

Ее знания об огнестрельном оружии, несомненно, превосходили мои.

– Мне известно, что случай из "Тайны запертой двери" в криминальной практике не встречается. По сути, это граничит с абсурдом. Полная чушь – и оттого непозволительная, – сказала сержант Сейерс.

Я почесал в затылке. Заметив мою неуверенность, она перешла на более спокойный тон.

– Схема, которую я предлагаю, не так сложна, как кажется. И при всей своей невероятности сработала бы. Вы сами цитировали нам Дж. Д. Карра: "До самого конца рассказа могут происходить самые неправдоподобные вещи".

Здесь она меня подловила. Возможно, ее схема действительно была не столь уж немыслима, но простоты ей все-таки недоставало. После того как убийца исполнил свою прямую обязанность, предоставив читателю труп, он закрепляет на двери панель с дистанционным управлением, открывает дверь и покидает комнату. Выйдя наружу, он с помощью этого устройства запирает дверь на замок, после чего оно, как и было запрограммировано, отваливается. Потом убийца забирается на крышу и через каминную трубу спускает в комнату мини-робота на проводке. Робот, снабженный клешнями, подбирает отпавшую панель, а изобретатель всей этой машинерии вытягивает ее вместе с роботом на крышу. Я бы, пожалуй, предпочел и на последнем этапе операции воспользоваться каким-нибудь устройством с дистанционным управлением, но в таком случае потребовался бы робот, умеющий лазать по дымоходам. И я

1. Э. С. Гарднер (1889–1970) – американский писатель, автор детективных романов об адвокате Перри Мейсоне.

не стал предлагать свой вариант сержанту: она сочла бы задачу технически невыполнимой. Сейерс успела напомнить мне, что до конца рассказа могут происходить самые неправдоподобные вещи — а значит, всякое возможно.

— Вижу здесь только один просчет, — сказал я.

— Какой еще просчет? — повысила голос сержант.

— Тот самый, который отсутствует в упомянутой вами "Тайне Думдорфа".

— Говорите, какой!

— Всякий раз, когда возникает тема "тайны запертой двери", читатель ждет невообразимого чуда: жертва остается в комнате, из которой убийца не мог взять да и улетучиться, как говаривал По. Ваша схема, основанная на голой электронике, не имеет ничего общего с искусством творить чудеса и поэтому разочарует читателя. Развязка не отвечает ожиданиям волшебства, возникающим в начале рассказа.

— *Меня* дядюшка Абнер тоже *разочаровал*, — бросила сержант.

— Читали невнимательно, — заметил я и просветил свою ученицу: — Бутылка, превращенная в линзу, и курок, спущенный пучком солнечных лучей, — безусловно, галиматья. Но по разбросанным там и сям намекам, о чем нет нужды вам напоминать, внимательный читатель понимает, что *это* убийство происходит во исполнение воли самого Всевышнего. А для Него невозможного нет. Таким образом, эта история не только начинается, но и заканчивается чудесами, а следовательно, не оставляет места разочарованию.

— А я, следовательно, получаю неуд, — насупилась сержант.

— Вовсе не обязательно, — ответил я. — При условии, если скажете, почему Хэммет изменил своей привычке и сидел дома один в ночь убийства.

— Вы знаете ответ на этот вопрос?

— Знал бы, не спрашивал.

— Откуда вам известно, что я знаю ответ?

— Чистая дедукция, — сказал я, улыбаясь пухленькой криминалистке.

— Рыжая лисичка на хвосте принесла?

Дедуктивным методом она владела прекрасно. Но это мог бы вычислить не только детектив. О моей дружбе с Макфарлейн был осведомлен весь кампус.

— Обыкновенная дедукция, — повторил я.

Что Сейерс знала — то знала, а неуд получать ей не хотелось. И она рассказала мне, обо всем произошедшем после того, как Венди сообщила полиции о связи Хэммета и Лоррейн. Затем сержант объявила, что снова намерена отложить разгадку литературной тайны ради того, чтобы раскрыть настоящее убийство.

В ГЛУБОКОМ РАЗДУМЬЕ я спускался по аллее, соединяющей два главных корпуса Эденвейла. Пришла весна, солнце, пробиваясь сквозь кленовую листву, согревало лавочки по обеим сторонам аллеи. Все они были заняты влюбленными парами, кроме одной, на которой сидел Фредди Гамильтон, безобидный паренек из группы моего семинара, и читал толстую книгу.

Я спросил разрешения и присел рядом. Заглянув в его книгу, я разобрал название — "Нордические саги".

Странно. В колледже не было курса по изучению скандинавских языков и литературы, а единственный норвежец среди преподавательского состава родился, так же как его дедушка и бабушка, в Декора, штат Айова. По-норвежски он не говорил, преподавал биологию. На скамейке около Фредди я увидел яркую суперобложку книги Дэшила Хэммета[1] "Записки частного детектива".

Я не мог совладать с любопытством.

— Что это за чтиво, в которое вы так погружены? — спросил я.

Он показал титульный лист: "Старинные норвежские тексты в английских переводах".

— Учите норвежский на городских курсах?

— Нет, сэр, — сказал Фредди. — Я кое-что обнаружил. Думаю писать диплом по этой теме. — Неуверенно помолчав, он все-таки добавил: — Возможно, вас это заинтересует, ведь вы преподаете мастерство детектива...

— Есть связь?

— Полагаю, что есть, — несколько оживился Фредди. — Мне кажется, что Дэшил Хэммет многое почерпнул именно из стилистики нордических саг и вообще ими вдохновлялся.

— Неужели? Считается, что на него оказали влияние жесткие реалии американских мегаполисов и Хемингуэй.

— Такого влияния я не отвергаю, — сказал Фредди, воображая себя, видимо, уже на защите диплома. — Но *главным* источником его вдохновения явились нордические саги.

Следующий час я просидел на лавочке, слушая Фредди, который цитировал отрывки из "Песни о Эрике Рыжем" и строчки из рассказов Хэммета о детективе по прозвищу Оба-на, чтобы продемонстрировать мне, насколько схожи бесстрастные лица убийц и приемы описания их кровавых бесчинств и как одинаково скупы на слова и эмоции авторы.

Фредди меня убедил. И удивил. На моих занятиях он не производил впечатления подающего надежды исследователя.

Я взглянул на часы: я и не думал, что уже так поздно. Солнце добралось до западного крыла колледжа, пришла пора возвращаться домой. Я поднялся.

И тут мне кое-что пришло на ум.

— Фредди, где вы были в ночь убийства мужа профессора Мэдер?

— Дома, — ответил Фредди. — Я это точно помню, потому что на следующий день все только и говорили об убийстве.

— А что вы делали дома?

— Читал.

— Что именно?

— "Песнь о Эрике Рыжем". Послушайте, сэр, неужели вы подозреваете в убийстве *меня?* — с энтузиазмом воскликнул Фредди.

— Нет, — разочаровал я его. — Но первым делом, как вы, надеюсь, помните из моего курса, нужно исключить самое невозможное. Тогда все, что мы получаем в остатке, наверняка истина. Пусть даже самая невероятная.

1. Дэшил Хэммет (1894—1961) — американский писатель, автор детективных романов.

МЕНЯ ВСЕГДА МУЧИЛ ВОПРОС, действительно ли оправдательные приговоры во многих детективных историях снимают всякое подозрение с обвиняемых. И можно ли утверждать, что у читателя не остается и тени сомнения в их невиновности? В судебной практике нередко случаются ошибки. Но подозреваемые, защиту которых логически выстраивают кривляка мсье Пуаро или Эллери Куин[1], превращаются в агнцев непорочных. Подобным же образом поступали в девятнадцатом веке их предшественники, когда, оправдывая героев, основывали свои выводы на достижениях современной им науки, включая сомнамбулизм, френологию и, по примеру автора "Лунного камня" Уилки Коллинза, самого классического из всех классиков, непредсказуемое действие лауданума. Возможно, виной тому неискушенность предков, которая отчасти сродни наивности некоторых наших современных людей: например, моя студентка Линда Уэссли умудрилась охарактеризовать страшное время моей юности как "правление канцлера Фюрера Гитлера", решив, что "Фюрер" – второе имя, которое дается немецким младенцам при крещении.

Теперь о том, что случилось в преподавательской. Как правило, я не хожу туда перекусить, но в тот день мы все собрались к обеду, который руководство факультета давало в честь прибывшей в Эденвейл новой коллеги. Она предстала перед нашим строгим судом и произвела фурор. В свои двадцать семь, когда пора бороться за место на кафедре, она не только была объектом "смотризма", но и имела в своем арсенале два собственных учебника и скрупулезно отрабатывала стипендию какой-то феминистской организации, выделенную для развенчания классиков американской литературы от По до Хемингуэя и Фолкнера.

Во время обеда надо мной вдруг навис долговязый Макмаунтен:

– Я прочел в "Таймс", – сказал он, – что ваша жена в списке агентов, сотрудничавших с полицией при коммунистическом режиме.

Я испытал шок, близкий к тому, каким, говорят, лечили шизофреников. До этого момента я жил с ощущением безопасности, основанном на существовании двух миров: того, в котором обитали мы с Сидонией, и другого, который я делил с коллегами. Эти два мира никогда не сопрягались. Ни разу до этого случая.

– Фамилию напечатали с ошибкой, – продолжал Макмаунтен. – Снирицкая. Но уточнили, что она жена известного чешского писателя, проживающего в Канаде.

Я недооценивал американских журналистов. Внезапно мне открылось значение старинного выражения "проглотить язык".

– Очевидно, коммунистическая утка, – сказал Макмаунтен, в то время как наша новая коллега принялась декламировать нелепое стихотворение жены какого-то фермера девятнадцатого века.

Я мог не отвечать, и Макмаунтен потерял интерес к теме, которая кислотой жгла мое сердце. Хотя, возможно, он просто *сделал вид*, что утратил к ней интерес. Я все-таки надеялся на первое. Для него это всего лишь газетная новость, запомнившаяся только потому, что речь шла о знакомых ему людях. Сол Беллоу однажды написал: "Мы, американцы, самый информированный народ на свете. Поэтому мы ничего не знаем".

1. Эллери Куин – псевдоним американских писателей, соавторов детективных романов и рассказов, двоюродных братьев Фредерика Даннея (1905–1982) и Манфреда Ли (1905–1971).

А может быть, Макмаунтен, как человек тактичный, не мог позволить себе развивать столь щекотливую тему в моем присутствии. Кто знает...

Через несколько дней в прессе мелькнула еще одна новость. Хотя нет, я ошибаюсь — какое-то время она продержалась на первых полосах газет. Одну известную писательницу из бывшей ГДР разоблачили как агента штази[1]. Некоторые американцы, информированные лучше, чем народ в целом, знали имя Гертруды по многочисленным конференциям, благодаря которым она обрела симпатии части левых либералов, то есть практически всего научного сообщества. В их глазах она была воплощением идеального коммуниста: мужественно противопоставляла себя режиму, но не покинула страну и не примкнула к диссидентам; по этой же причине ее никогда не подозревали в крайних взглядах. В Новом Свете оставалось всего несколько непробиваемых консерваторов, убежденных, что коммунистический режим использовал Гертруду в качестве экспортного образца, не имеющего ничего общего с людьми, которыми они восхищались, — такими, как приятель моей жены, драматург, ставший президентом.

Бóльшая часть газет не ограничилась парой строк, некоторые опубликовали обстоятельные статьи. Гертруда в это время была гостем одного знаменитого исследовательского института в Калифорнии, где вряд ли занимались исследованиями, зато давали приют самым разным "комми", к примеру профессору Гансебратену, который прославился работами о Кафке, дважды едва не лишился жизни от марксизма в действии, но все-таки не нашел в себе сил от него отмежеваться. В "Нью кэпитол" напечатали длинную статью поляка по фамилии Щипинский, тоже писателя, но в изгнании, которая лишила Гертруду доверия прогрессивно мыслящих американцев. Автор детально перечислял ее многочисленные подозрительные высказывания и поступки, заполнив таким образом колоссальный пробел в представлениях англоязычной Америки об этой "даме на экспорт". Историю Гертруды обсасывали в газетах дольше обычного, целых два дня, после чего тема перекочевала из центральной прессы на страницы специализированных журналов. Вскоре немногие известные мне лично редакторы журналов вовлекли в переписку и меня с намерением заполучить в моем лице эксперта по коммунистическому королевству кривых зеркал, тем более что моя жена оказалась в такой же ситуации, как Гертруда. Отвечая на их письма, я невольно сделался таким экспертом. Несмотря на их теплые ответы, я так и не понял, до какой степени убедил своих знакомцев в невиновности жены. Чешская мудрость о возможной капле правды в море лжи успела докатиться и до этих берегов.

В ГОСТИНИЧНОМ НОМЕРЕ в Праге, когда Джульетта грязно ругалась, а бледная Сидония хмельными глазами всматривалась в телеэкран, мне стало тошно. Причиной тому было не имя Сидонии в Списке — с этим кошмаром я уже свыкся, — а формулировки, которыми блондинка из госбезопасности отстаивала свою позицию. Я наивно полагал, что "бархатная революция" не оставила места полуправде и лицемерию. Эту мысль внушил мне друг Сидонии, драматург и президент в одном

1. Органы госбезопасности ГДР.

лице, утверждавший то же самое через все средства массовой информации. Блондинка мигом излечила меня от этой иллюзии.

От нее веяло дивной отрешенностью, как от людей, находящихся на волосок от смерти, но чувствующих себя в безопасности. "Министерство подано свыше четырех тысяч исковых заявлений. И мне не совсем ясно, чего именно надеются добиться истцы", – было учтиво сказано миллионам телезрителей. Потом, откинув со лба локон, она выдала главный перл: "Поименный перечень, или, если хотите, Список, не может служить доказательством тому, что означенные в нем лица являлись секретными сотрудниками и выполняли соответствующие поручения. Он свидетельствует лишь об одном: что на то или иное лицо было заведено досье".

В манере, присущей, как ей, видимо, казалось, лишь небожителям, она обращалась к гражданам страны, где притча о море лжи и затерявшейся в нем капле правды пережила диктаторские порядки и воцарилась на бархатном троне демократии.

Джульетта снова выстрелила словцом из арсенала покойного мужа. Сидония молча зарылась под одеяло.

Ночью я слышал, как она плакала.

МОЙ СТРАДАВШИЙ ИПОХОНДРИЕЙ корнеллский друг тоже прибыл в Чикаго на конференцию. Его сопровождала жена невиданной красы, ни при каких обстоятельствах не расстававшаяся с пухлой сумочкой, забитой лекарствами. Только вот за часами она больше не следила. У них завелось техническое новшество: время от времени сумочка издавала звуки, напоминавшие колокольный звон и означавшие, что пришел черед следующей таблетки.

Я пригласил их в коктейль-бар, и, к моему удивлению, ипохондрик вскоре раскис от пива. Когда он отлучился в туалет, Марселла объяснила, почему он заказывает бутылку за бутылкой, – а мне-то казалось, что пиво он приравнивает к яду.

– Оскар уверен, что это полезно. Как-то он написал приятелю из Пльзеня о камне в почке...

– О господи! Только этого ему недоставало! – воскликнул я, указывая на сумочку, из которой звучала дивная мелодия, а Оскар все еще пребывал в туалете.

– Никаких камней, естественно, нет, – сказала Марселла. – Но вы же его знаете. Ни камней, ни ревматизма, ни диабета, ни гипертонии... – перечисляя мужнины недуги, она загибала тонкие пальцы. – И воспалением мочевого пузыря он не страдает, равно как колитом, артритом и бронхитом. У него один только геморрой, потому что сидит не вставая за своими бумагами, а физкультурой не занимается. – Марселла вздохнула. – В общем, его чешский дружок ответил, что три литра пльзенского в день – испытанное средство от камней в почках, а Оскар уверовал в это, как в Священное Писание. Приятель этот – ведущий специалист по болезням печени.

Только тогда я заметил этикетку "Pilsner Urquell" на полупустой бутылке напротив стула Оскара. Специалист по печенке, распространявший расхожее заблуждение чешских забулдыг, наверняка получал деньги от пльзеньских пивоваров за то, что рекламировал их продукцию на североамериканском рынке.

— Но я рада, что он посоветовал ему пиво. От него, в отличие от всей этой отравы, хотя бы вреда нет.

Марселла потрясла своей аптекой — изнутри послышался перезвон наподобие музыки высших сфер. Оскар вернулся; глядя на него, я усомнился в безвредности пивотерапии. Он подошел к столику нетвердой походкой и, едва опустившись на стул, опрокинул в себя остатки прописанного снадобья.

Чтоб отвлечь его от трезвонивших колокольчиков, которых он, кажется, не слышал, я спросил о конференции.

— Я очень доволен, — сказал Оскар. — По крайней мере один доклад вызывает истинное восхищение. Такое не часто случается.

— Ты говоришь о Мэри Мэдер?

— Какой Мэри?

— Профессорша из нашего колледжа. Она прочла доклад о работах Мортимера Пастернака.

— Ах, вот ты о чем! Ее доклад больше напоминал некролог.

— И ничего из ряда вон? — спросил я. — Никаких новых идей?

Оскар помотал головой.

— Лично я не уловил. Но знаешь... — жестом он заказал официанту еще одно пиво и, оживившись, сказал: — Там был другой докладчик, тоже из вашего колледжа, Гувер, что ли...

— Купер?

— Точно, Купер. Вот это сенсация! Он доказал, что...

Ничего из сказанного далее, мы с Марселлой не поняли. Из аптечки снова полились звуки небесной гармонии, но Оскар, погруженный в свою стихию, их не услышал.

Вскоре после конференции была обнародована не поддававшаяся моему разумению теорема Купера.

Для меня она осталась темным лесом. Зато кое-что начало проясняться в связи с убийством Хэммета. Только я еще не мог сказать точно, что именно.

НА ЭКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИКЕ были назначены четыре наблюдателя. Моя очередь шла после профессора Фрогга, коллеги с факультета английского языка и литературы. В колледже он преподавал первый год и в перерывах между "дозором" лихорадочно изучал повесть Фолкнера "Когда я умирала". Он делал многочисленные пометки на полях книги, подчеркивал фразы разным цветом, так что страницы напоминали картины Поллока, любимого художника третьего наблюдателя — Рэнди Макрандалла. Очевидно, Фрогг силился проникнуть в смысл знаменитой главы, состоящей из единственной реплики Вардамана: "Моя мама — рыба". Позднее Венди доложила мне, что он так ни до чего не докопался, а на лекции, посвященной роману, упоминание о рыбе опустил. Лично я его не осуждаю.

Рэнди Макрандалл проснулся знаменитым после того, как однажды ночью соорудил рядом с окном директора гигантскую куклу из набитых мусором пластиковых мешков. Теперь на экзамен по математике он прихватил с собой все необходимое для новой забавы. Пока мы сидели в комнате отдыха, дожидаясь начала работы, он водрузил на стол два старинных фолианта, закрепив между ними механизм, смутно напоминавший хитроумное устройство для подделки подписей на чеках, но в

отличие от него снабженный еще и линзой. Затем он принялся рассматривать страницы книг через увеличительное стекло, одновременно передвигая закрепленные на игрушке указатели по строчкам в обоих томах. Мне стало любопытно. Рэнди разрешил мне поглядеть через линзу, а сам привел в действие указатели, так что я мог легко прочесть увеличенный текст. Я похвалил его читающую машинку, но он меня поправил, объяснив, что машинка не *читающая*, а *сочетающая*, и предложил самому подвигать указателями. Через секунду появилось слово, немного не в фокусе. Цель изобретения стала ясна. Чтобы не утруждаться, водя пальцами по строчкам и перескакивая из одного тома в другой, можно было воспользоваться этой штуковиной, которая сама выбирала два изображения, и они немедленно превращались в ясно различимые текстовые сочетания. Меня настиг очередной приступ комплекса неполноценности, виной которому — отсутствие разносторонних научных знаний, и я поздравил Рэнди с открытием золотой жилы. Но Рэнди, оказывается, и не думал о прибыли. Спустя короткое время подобное изобретение запатентовал кто-то из компьютерщиков.

Рэнди, с головой увлекшись игрушкой, не вспомнил бы о своих обязанностях, если бы не Розмари О'Салливан, обрушившаяся на него с упреками: ей пришлось оставить группу без надзора, чтобы напомнить ему о смене караула. С Рэнди она говорила весьма нелюбезно; затем, подкрасив губы яркой помадой, спешно покинула корпус. Впереди у нее был час на осуществление личных планов, а часа даже на свидание вполне достаточно, как утверждала Ирэна в то дивное лето много-много лет тому назад, когда в Костельце мы с Ростой заманили ее в ловушку.

Четвертым наблюдателем была профессор Марджери Эллингем. Она в свободное от дозора время читала книгу под названием "О семиотическом подходе к исторической вариантности в период зарождения греческой конфедерации", что для меня такая же заумь, как и теорема Купера.

Я сменял наблюдателей, или "инвиджилейтеров", дважды, в самом начале экзамена и ближе к концу, когда больше половины ордалии было уже позади. Словарь толкует уникальный английский глагол to invigilate так: осуществлять надзор за студентами во время экзамена. Соответствовать этому предписанию стремились лишь новичок Фрогг и ученая дама Эллингем. Как рассказывала мне потом Венди, которой неожиданно повезло — она получила хорошую отметку, — эти двое все тридцать минут дежурства мерили шагами проходы между рядами, стараясь засечь любое поползновение списать что-нибудь из припрятанных в столах бумаг, оборвать разговоры или перешептывания и вообще покончить с любыми признаками жизни в пугающе мертвой тишине экзамена. Я все положенное мне время сидел за столом на возвышении и наблюдал за девушками, старательно изображавшими на лице напряженную работу мысли. Для убедительности они прикусывали кончик шариковой ручки, заводили глаза к потолку и потирали лбы. Меня они смешили.

Кендейс Квентин в этой пантомиме не участвовала. Как только раздали экзаменационные материалы и бумагу, она вынула дорогую чернильную ручку "Монблан" и принялась писать. Я был заинтригован. Покинув свой насест, я стал прохаживаться между рядами. Остановившись возле Кендейс и вдыхая едва уловимый запах, исходящий от недавно

уложенных волос, я заглянул в ее работу. Она быстро заполняла формулами и цифрами лист, но для меня эта писанина имела не больше смысла, чем уравнения с двумя неизвестными, которым я когда-то должен был обучать Ирэну, а вместо этого целовался с ней. Я тогда совсем потерял голову, а ее папаша, член городского совета, нас застукал. Вернувшись на свое место за столом, я продолжал с удовольствием наблюдать за разыгрывавшимся передо мной представлением.

В следующий мой приход Кендейс демонстративно перебросила записку своей подруге Джеральдине Смили, сидевшей в соседнем ряду. Я вскочил, бросился к Смили и конфисковал послание. К математике оно не имело ни малейшего отношения. "Сегодня он как стеклышко!" Догадаться, о ком шла речь, было не трудно. Я взглянул на Кендейс, но на сей раз она тоже вошла в роль мыслителя с прижатым к губам колпачком "Монблана".

Ничего не попишешь — она была права: я ограничил себя в возлияниях с тех самых пор, как Сидония погрузилась в душевный траур и начала проводить дни в алкогольном чаду. Я просто-напросто испугался.

DIES IRAE[1] СИДОНИИ, жизнь которой в счастливом неведении вдруг сменилась пьяным отчаянием, настал, когда нас посетила очень приятная гостья из Праги. Сюзи Кажетанова приехала, чтобы дать концерт в приходском собрании церкви Св. Венцеслауса, а мы пригласили ее пообедать в ресторан, владелец которого называл себя Честный Эд. Его известное всему Торонто заведение, украшенное канделябрами от Тиффани и увеличенными фотопортретами кинозвезд, отведавшими, по словам Честного Эда, его ростбиф, смахивает на зал ожидания железнодорожного вокзала.

Сюзи добилась в жизни тройного успеха. Во-первых, она была певицей мирового уровня, но, поскольку жила за "железным занавесом", рамки ее славы сузились до пределов соцлагеря, включая Кубу, где, как поговаривали, она стала любовницей Фиделя Кастро. Я верю этому не больше, чем сплетне, умело пущенной несколькими годами раньше Министерством внутренних дел, будто Сюзи мочилась с балкона карловарского отеля "Пуш" прямо на головы демонстрантов во время какого-то мирного шествия. Пострадали, естественно, Трудящиеся. В итоге Сюзи запретили в течение года появляться в общественных местах, а я написал статью под заголовком "Кто купается в шампанском?", которую опубликовали в Словакии. Запутанная политическая история постсталинской Чехословакии отличалась не только непостоянством климата — то "оттепель", то "заморозки", — но и неустойчивой географией, и в ту пору, когда Сюзи якобы мочилась на Трудящихся, "оттепель" докатилась до Словакии, но в Богемии продолжалась "суровая зима". В статье я охарактеризовал социалистическую действительность с помощью известной метафоры о шампанском для того, чтобы... — впрочем, ничего я не добился. Местные кумушки продолжали сплетничать о голосистой шлюхе из Бревнова, которая ежедневно принимала ванну из дорогого напитка, поставлявшегося из СССР, а Сюзи целый год просидела без работы в своей малогабаритной квартирке в том же Бревнове, слу-

1. День гнева; день Страшного суда *(лат.)*.

шая по "Голосу Америки" хит-парады Уиллиса Коновера. Зато ко мне она стала относиться гораздо лучше; когда же "оттепель" переместилась из Словакии в Богемию, в популярной газете опубликовали мою оду в стихах, посвященную Сюзи. Я размечтался, что после этого она станет вести себя так, как, по слухам, поступают в подобных обстоятельствах эстрадные певицы.

Но Сюзи повела себя иначе, потому что вторым поприщем, на котором она преуспела, было супружество. Не вдаваясь в подробности ее шести браков, замечу лишь, что каждый раз, выходя замуж, она хранила верность новому супругу. Поэтому она так и не поддалась моим чарам, но между нами завязалась крепкая дружба, сохранившаяся и после моей женитьбы. Сидония воспринимала нашу дружбу спокойно и, зная, что Сюзи человек с твердыми религиозными убеждениями, даже не ревновала.

Третье, чем славилась Сюзи, была еда. Я не хочу сказать, что она просто любила поесть, — Сюзи первоклассно, не хуже, чем пела, стряпала. Но и от угощенья, конечно, не отказывалась, вот мы и повезли ее к Честному Эду.

Мы сидели за столиком вместе с шестым мужем Сюзи, славным малым лет на десять моложе ее. Разница в возрасте компенсировалась тем, что он принадлежал к породе мужей, которые, как говорят в Америке, носят жену на руках не только в день свадьбы, — и Сюзи была счастлива. Тем более что некоторые из ее бывших благоверных грешили рукоприкладством. Но она всех простила.

Мало сказать, что Сидония относилась к Сюзи спокойно — она ее любила. Обе начинали на сцене, хотя впоследствии Сидония оказалась гораздо ближе к моему делу, чем к профессии Сюзи. Партаппаратчики, поливавшие Сюзи грязью за ее выходку на балконе, поступили точно так же в отношении Сидонии и ее романа, написанного в Праге, заявив, что автор книги на самом деле я. Происходило это, когда мои публикации были под запретом, и, несмотря на многочисленные устные протесты (ведь писать мне запрещалось), слухи продолжали распространяться. Верховодившие тогда антифеминисты не могли смириться с тем, что какая-то певичка из народного ансамбля владеет художественным словом.

Пятым гостем за нашим столом была Люси, племянница Сидонии, которая уехала в девятнадцать лет. Жители нашей новой родины немедленно спросили бы: "Уехала откуда и куда?" С точки зрения элементарной грамматики английский глагол "уезжать" требует дополнения, без которого в чешском можно обойтись. Мы пользуемся этим глаголом так же, как в стародавние времена негры английским глаголом "увозить". "Увезли", говорили они, не поясняя: "к белым". А я поясню, куда уехала Люси: она переметнулась во вражеский лагерь. В двадцать семь лет она все еще восхищалась кумирами своей юности, среди которых Сюзи занимала немаловажное место. Пока мы обедали, Люси пожирала глазами Сюзи, но так и не посмела включиться в беседу.

А беседа, к сожалению, свелась к обсуждению темы, вокруг которой в ту пору разгорелись страсти: Список господина Мрквички. Сюзи, знакомая с КНБ не понаслышке, с полной уверенностью заявила, что Список — очередное Schweinerei коммуняк (немецких словечек она набралась у одного из бывших мужей). Ее нынешний муж был того же

мнения, но с поправкой, что это очередное свинство каэнбэшников. "Это одно и то же, милый", – сказала ему Сюзи. Я упомянул о письме некоего пражского "друга", сообщившего, что мой близкий друг Лестер тоже попал в Список, и заметил, что наличие фамилии Лестера ставит под сомнение достоверность Списка. Сюзи неплохо знала Лестера – в своем бестселлере "От фольклора до биг-бита" он посвятил ей главу – и поддержала меня. А Сидония, знавшая его лучше меня, провозгласила, что, если Лестер попал в Список, туда мог угодить и сам Святой Дух. "Святого Духа там нет, – сказала на это Сюзи, – а вот Его Святейшество архиепископ есть".

В этот самый миг к Сидонии повернулась Люси и, поборов смущение, выпалила: "И ты! Ты тоже там есть!"

Не помню точно, что за этим последовало. Сюзи, кажется, бросилась обвинять коммунистов вкупе с классиками марксизма-ленинизма, ее муж последними словами поносил господина Мрквичку, а Люси, догадавшись, что совершила faux pas[1], принялась конфузливо рассказывать о том, как кто-то принес Список на репетицию "Нового чешского театра" в Торонто, но этим бумажным наговорам, естественно, никто не поверил. Последняя фраза прозвучала довольно неуверенно, а я, сидя в шумном ресторане...

Я будто оглох, ничего больше не слышал и думал только об одном: подозрение, долгие годы тлевшее где-то на задворках моего черепа, глубоко в подсознании, вдруг вспыхнуло ярким пламенем откровения. Линия огня начиналась там, где я, наивный, пытался убедить сотрудника госбезопасности в безупречном классовом происхождении Сидонии, и бежала дальше, к самому первому явлению Седлачека, которому, к счастью, сам Председатель Вселенной выписал командировку в один конец. Хотя и с некоторым опозданием: Седлачек все-таки успел завести на Сидонию досье. И только на суде выяснилось, что там не было никаких других документов, кроме характеристики на Джули, единственной бумаги, которая появилась в результате ее "сотрудничества" с погибшим агентом.

Мною руководила любовь, но, проанализировав свой поступок, я понял, что именно с него много-много лет тому назад началось неумолимое движение навстречу беде.

Естественно, что профессиональные стукачи узрели в моей попытке спасти Сидонию ее готовность с ними сотрудничать.

КОГДА ЛЮСИ обрушила на Сидонию свою убийственную ремарку, жена промолчала, но именно тогда она впервые предстала передо мной в образе утопленницы Мари Роже.

Все за столом усердно старались привести Сидонию в чувство, но вскоре стало ясно, что в этот вечер ее лицо останется безжизненным. Конец нашим тщетным усилиям растормошить Сидонию положила Сюзи. Она вспомнила, что завтра у нее концерт в Ватерлоо и придется рано вставать. Мы попрощались. Сидония, собрав остаток сил, предложила Сюзи довезти ее до гостиницы, но та решительно отказалась: не хватало мне еще рисковать жизнью мужа, сказала Сюзи, не стану я са-

1. Оплошность, необдуманный шаг (*франц.*).

жать его в машину, когда за рулем женщина после трех мартини. Сюзи лицемерила по доброте душевной. В былые времена они вдоль и поперек исколесили Прагу на "шкоде", которую я купил Сидонии на гонорар от запрещенной позднее книги, в состоянии куда более нетрезвом, чем после выпитого у Честного Эда. Муж Сюзи взял такси и, прежде чем Сидония успела бы воспротивиться, сказал, что они подбросят Люси, которая жила недалеко от их гостиницы.

Меня довезла до дома Сидония, и с тех пор начались и ее, и мои адские ночи.

ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ после экзамена я столкнулся с Квентин. Она сидела в "Хромой утке" в обществе двух юнцов с кольцами в ноздрях и ушах: у одного из них металлическое украшение торчало в левом ухе, у другого — в правом. Но их бижутерия не шла ни в какое сравнение с убранством подружки Квентин по имени Дьюи Дрейк, которая ходила на мои лекции по американским классикам. У Дьюи были проколоты оба уха, причем в нескольких местах, а нижнюю губу оттягивало массивное кольцо. Я с интересом наблюдал, как она засовывает в рот пиццу и пьет красное вино. Кольцо, естественно, мешало, и в нем застрял кусочек салями, который ей пришлось выковыривать пальцами.

На фоне королевы красоты колледжа Дьюи выглядела совершенно безликой, хотя по-своему была не менее лакомым кусочком. Но она подражала журнальным моделям, а ее личико было срисовано с кукольного мультика. В отличие от умницы Квентин, не обделенной даже математическими способностями, Дьюи создала себе имя, снявшись для вкладыша "Плейбоя". Со дня выхода журнала прошел месяц, так что картинка была еще свежа в памяти читателей. Мать Дьюи строго следила за тем, чтоб ее знакомые об этом событии не забывали, поэтому носила вырванный из журнала вкладыш в сумочке и демонстрировала его каждому, кто проявлял к ее дочери хоть малейший интерес; на Дьюи был только прозрачный розовый фартук, и все привлекательные части тела, включая гениталии, на снимке хорошо просматривались. Мои буржуазные предрассудки так и не позволили мне понять, что вызывало гордость мамаши: лобок Дьюи, четко вырисовывавшийся на цветном фото, ничем не отличался от этой же части тела ее сверстниц, а скопированное с Барби личико ничем не отличалось от мордочек штампованных кукол.

Из этой четверки только Квентин не нуждалась в подделках под золото, украшавших продырявленные тела. Она со студенческой жадностью поглощала пиццу, а уловив мой взгляд, одарила меня восхитительной сияющей улыбкой. Однако на сей раз я не растаял. Я сердился на нее из-за той записки на экзамене. И потому в ответ состроил загадочно-непроницаемую мину, а Квентин, обращаясь к друзьям, что-то по этому поводу сказала. Все рассмеялись и уставились на меня. Все, кроме Дьюи, которая выковыривала из кольца в губе очередной застрявший там кусочек.

Насупившись, я сполз с высокого стула, отнюдь не так грациозно, как изящная Кендейс, и вышел из бара.

Или Кендейс плевать на экзамены, или кое-кто сотворил чудо.

Я ПОШЕЛ В ГЛАВНЫЙ КОРПУС колледжа и заглянул в преподавательскую. Как я и предполагал, там собралась профессорская компания.

Я был завсегдатаем "Хромой утки", а профессура Эденвейла изо дня в день коротала обеденное время в менее уютной обстановке. Попросив разрешения, я присоединился к обществу и сел рядом с Купером, который очень внимательно слушал Мэри Мэдер. Она в шутливом тоне, характерном для университетских преподавателей, пересказывала забавные случаи, произошедшие на математическом конгрессе в Лос-Анджелесе, — но юмора я не уловил. Возможно, я плохо понимал ее речь из-за своеобразного акцента, характерного, вероятно, для уроженцев Салема.

Мэдер исчерпала свой запас, и эстафету подхватил толстяк Брендан Бриндан, специалист по символической логике.

— Как ваши сдали выпускные? — спросил я Купера почти шепотом.

Он удивился и помрачнел.

— Почему вас это интересует?

— Я был наблюдателем на вашем экзамене. И один раз кое-кого чуть не застукал.

— Да? И кого же?

Я не мог решить, чего в его голосе больше, любопытства или подозрения.

— Квентин, — ответил я.

— А что значит "чуть не"?

Я хохотнул.

— Дело в том, что я сел в лужу. Я увидел, как она перебросила через проход бумажный шарик, и конфисковал записку, но это была вовсе не подсказка.

— О чем же в ней говорилось?

— Там было написано: "Я уже. А ты?"

— Гм, — произнес Купер, и его внимание опять переключилось на веселую болтовню коллег.

Бриндан чуть живот не надорвал, гогоча над собственными шуточками, и хотя он говорил без акцента, я снова не понял юмора. Воспользовавшись короткой паузой, я обратился к Куперу:

— Меня это удивило.

— Что? — вздрогнул Купер.

— То, что Квентин справилась с работой меньше чем за два часа. На экзамен давалось три часа. Насколько мне известно от одной студентки вашего курса, Квентин не отличалась успехами в интегральном исчислении.

— Дифференциальном исчислении, — поправил меня Купер, но не спросил, как фамилия моей осведомительницы. — Вы правы. Но экзамен она сдала на твердое отлично.

— Случилось чудо?

— Я занимался с ней индивидуально, она не пропустила ни одного занятия. У Квентин математические мозги. Просто она неусидчива, как многие красивые девушки.

— И что вы ей выставите в итоге?

Он не обязан был отвечать. О результатах выпускных экзаменов студентов уведомляли письменно лишь после того, как оформлялась ведомость. Тем не менее он ответил:

— Возможно, отлично с минусом. Но надо еще подумать.

И он опять стал слушать Бриндана.

Десять минут назад я должен был начать индивидуальное занятие с Сейерс. Я выскользнул из комнаты под очередной взрыв хохота, сопровождавшего байки из жизни американских математиков. По пути в свой кабинет я занялся подсчетами. Согласно правилам колледжа отметка за выпускной экзамен составляла тридцать пять процентов итогового балла по предмету. Четыре письменные работы по пятнадцать процентов каждая — это шестьдесят процентов. Плюс пять процентов за "работу в классе". Может, Квентин блистала на устных занятиях? Но даже если она заработала отлично по этому пункту, все равно непонятно, как при четырех неудах за контрольные можно в итоге получить отлично с минусом. Или даже хорошо. У меня всегда было плохо с процентами, но в данном случае я вряд ли ошибался, хотя под рукой не было калькулятора. Впору заподозрить, что Купер ошибся в *своих* расчетах. Но такая ошибка была бы достойна самого Эйнштейна.

Я снова вспомнил о закрытой двери в кабинет Купера. Не тогда ли он провел с ней то самое индивидуальное занятие, которое окончилось слезами нашей красавицы в модном пиджачке от Гуччи?

Нет, мне не верилось, что Купер мог ошибиться. За отметкой отлично скрывалось что-то другое.

КОГДА ВЫШЛА СТАТЬЯ "Карты на стол, госпожа Сидония!", я опрометчиво ринулся в Прагу. Я ехал, чтобы встретиться с господином Мрквичкой.

— Мы *принципиально* не разглашаем источников, из которых получаем информацию, — сказал он мне с выражением непорочности на румяном лице, словно цитировал одну из десяти заповедей.

Еще недавно он считался попутчиком марксистов. Угодив в 1987-м в тюрьму за фарцовку рок-н-ролльными кассетами, он потешался над благочестивым студентом духовной семинарии Олсиной, который попал за решетку после того, как направил президенту письмо с протестом против нарушения прав человека, выразившегося в гонениях на последователей Моравских братьев[1]. Мрквичку смешила их концепция, исключавшая всякое насилие. Но в то же время он с такой настойчивостью внушал идеи троцкизма не вполне зрелому диссиденту Врабчаку, сидевшему по недоказанному обвинению в антивоенной пропаганде, что Врабчак расквасил ему нос.

Стартовый капитал для своей газеты "Смерть коммунизму!" Мрквичка сколотил на продаже полумиллионного тиража Списка. От кого Мрквичка получил засекреченные документы, он скрывал по принципиальным, как уже было сказано, соображениям.

— В таком случае, — сказал я сдержанно-приветливым тоном, — я вынужден подать на вас как на главного редактора в суд. Ваша статья содержит ряд не соответствующих действительности утверждений, касающихся моей жены, что позволяет мне подать иск о нарушении личных прав гражданина.

Во времена молодости моих родителей это называлось "оскорблением чести и достоинства", но человеческое достоинство, по крайней

1. Моравские братья — религиозная община, основанная в Чехии в середине XV в. последователями П. Хельчицкого, проповедовавшего отказ от насилия и отрицавшего государство.

мере в дни нашего разговора с Мрквичкой, недорого ценилось в новом государстве. Руководствуясь старым принципом, мой отец в 1937 году подал в суд на некоего господина Грабала, распространявшего слухи о прижитом неизвестно от кого ребенке, которого моя мать якобы прятала в доме своих родителей. Не все в этой истории было ложью, ребенок действительно существовал. Это была красивая девочка, моя единоутробная сестра, родившаяся до брака матери с отцом, которую отец впоследствии удочерил и перевез жить к нам в Костелец, где девочка с ходу принялась разбивать сердца мужчин. Отец дело выиграл. Господин Грабал вынужден был принести извинения через местные газеты и уплатить судебные издержки. На суде Грабал представил свидетеля, который подтвердил факт существования ребенка, но слово "незаконнорожденный" не прозвучало. Судья – между прочим, тот самый член городского совета, отец Ирэны, – постановил, что "оскорбление чести и достоинства" имело место, поскольку, хотя информация и соответствовала истине, упомянутая особа желала сохранить тайну, что законом не возбраняется. Поруганная мамина честь была благополучно восстановлена. Господину Грабалу пришлось извиниться дважды: его первое письменное извинение отец счел неубедительным, и советник его поддержал. Тем не менее гнусный поступок господина Грабала достиг цели, которую Грабал преследовал: растрезвонить "правду" о моей матери. И ее честь все-таки пострадала – такие уж были времена. Внебрачный ребенок считался позором, даже если превращался в прелестную девушку. Вскоре после этого случая настали совсем иные времена. Советника арестовали гестаповцы. Ирэна и ее младшая сестра Алена уехали к своей тетке в Прагу, что положило конец моим заигрываниям с обеими девушками.

Мама действительно родила мою сестру вне брака, но Сидонию-то вообще не в чем было упрекнуть: она вышла за меня в 1958 году по любви, а не по указке МВД. Годы спустя она основала в Канаде наше издательство, в котором пахала за троих, не жалея себя, но не потому, что госбезопасности требовалась информация об эмигрантских публикациях, – Сидония хотела поддержать чешскую литературу.

– С чего вы взяли, что она тайно летала в Прагу, – продолжал я, – пользуясь, как вы утверждаете в статье, паспортом гражданина ЧССР?

– Это сведения из достоверного источника.

– И вы, разумеется, не раскроете мне этот источник?

– Разумеется, нет.

– Тогда мне остается только одно: подать на вас в суд, – сказал я. – В вашей статье недвусмысленно говорится о том, что моя жена в течение многих лет являлась агентом КНБ, хотя вы и не располагаете доказательствами или надежными свидетелями, готовыми это подтвердить. Вы также утверждаете, что президент наградил ее орденом Белого Льва только потому, что сам был агентом КНБ. Могу вас процитировать: "Просто-напросто каэнбэшник украсил грудь каэнбэшницы".

Самоуверенный Мрквичка оставался невозмутим и даже иронично заметил:

– Вы упускаете из виду, что весь материал о вашей жене изложен в гипотетической форме. Ее биография в статье начинается словами: "Можно представить себе несколько сценариев, по которым развивалась жизнь госпожи Сидонии. Согласно одному из них, к примеру, выхо-

дит, что госпожа Сидония – агент КНБ". Предлагая "различные сценарии", автор ясно намекает на то, что его сценарий – лишь один из возможных вариантов, и вовсе не настаивает, что этот вариант единственно верный.

Судьи, оштрафовавшего господина Грабала за клевету, давно нет в живых. Его голову снесла с плеч гестаповская гильотина. Работа на КНБ не относилась к наказуемым преступлениям – просто считалась позором, и, по мнению господина Мрквички, у меня нет оснований затевать с ним тяжбу. Погибшего судью, который не дал бы господину Мрквичке выиграть подобное дело, при новом, послевоенном режиме обвинили бы в "буржуазности". Не думаю, что судьи эпохи посткоммунизма хоть сколько-нибудь грешат буржуазностью.

– Пусть так, – сказал я. – Но вы утверждаете, что у вас есть надежный свидетель, которому известно о тайных поездках моей жены в Прагу.

– Не свидетель, а источник, – поправил он меня. – Давайте будем точны.

– Ладно, источник. Можете не раскрывать его сию же минуту. Но поскольку ваше обвинение серьезно, на суде вам придется, – тут я не смог удержаться от сарказма, – выложить ваши карты на стол.

– Вы так полагаете? Я – нет.

– Увидим.

Я встал и не прощаясь вышел из редакции еженедельника "Смерть коммунизму!"

У главного входа в здание я едва не столкнулся с сестрой Парсонс из Торонто. Она сделала вид, что не заметила меня, хотя обычно ее цепкий, как у хищной птицы, взгляд примечал все вокруг. А у меня не было желания вступать в разговор с этой дамой. В тот день я был сыт по горло беседой с господином Мрквичкой.

Глава 8
Сейерс выдает служебную тайну, а Сидония получает докторскую степень

Я ШЕЛ НА ЗАНЯТИЕ с сержантом Сейерс и думал о двух мирах: о том, в котором мы с Сидонией жили теперь, и о другом, в котором мы жили раньше и в который снова наполовину погрузились. Я думал о том, как эти два мира чуть было не сопряглись, но все же не сопряглись. Читая газету, Макмаунтен наткнулся на репортаж, от которого пахнуло нашим старым миром, но прекрасная фраза Фолкнера: "В кровавых сентябрьских сумерках... он распространился словно пожар в сухой траве: слушок, анекдот, как угодно называй"[1] – в нашу цепочку событий не вписывалась. Либо Макмаунтен был джентльмен, либо эта новость его совершенно не волновала. Скорее всего, как американец, он испытывал инстинктивное недоверие к любого рода поименным спискам и встал на сторону Сидонии – только не распространялся об этом. Возможно, в

1. Из рассказа У. Фолкнера "Засушливый сентябрь" (перевод Н. Евдокимова).

колледже больше никто и не обратил внимания на статью в "Нью-Йорк таймс", или, может, те, кто ее прочел, вели себя так же, как Макмаунтен.

И вот однажды Сидония получила письмо от президента Эденвейлского университета. Она вскрыла конверт с опаской, потом села. Президент сообщал, что университет высоко оценил ее бескорыстную культурную деятельность на благо чешского сообщества в Канаде и принял решение присвоить ей почетную степень доктора наук.

Я тоже получил такую степень. По-видимому, за свою деятельность на ниве детективной литературы. Многие профессора, даже те, что преподают елизаветинскую поэзию или творчество Шекспира, втайне почитывают криминальную макулатуру. Да ведь и сам великий бард сочинял, в некотором смысле, детективы. А Диккенс? Взять хотя бы его Боза, автора нескольких триллеров[1]. Или Марк Твен: как насчет "Простофили Уилсона", не говоря уж о "Томе Сойере, сыщике"? Тот же Фолкнер написал "Королевский гамбит" и "Осквернитель праха". Было время, когда мне казалось, что все, кого ни возьми в английской и американской литературе, сочиняли детективы, за исключением, быть может, писательниц викторианской эпохи. Но этот пробел восполнили британские дамы двадцатого столетия и женщины янки, сменившие Эдгара По.

ВСКОРЕ ПОСЛЕ ТОГО как Сидония узнала, что она в Списке, в Торонто объявились и остановились у нас Клеопатра и ее оператор. Они приехали снимать документальный фильм о том, как мы с Сидонией издавали запрещенную чешскую литературу. Клеопатра, молодая женщина с пышной черной шевелюрой, похожей на парик в стиле афро, принадлежала к новому классу предпринимателей, возникшему в Чехословакии после крушения старого режима, — кто бы мог подумать, что в мгновение ока они расплодятся в таком количестве. Клеопатра владела продюсерской компанией, специализировалась на документальных фильмах и продавала их частным телеканалам, которых тоже развелось немало. Ее оператор, неразговорчивый молодой человек, уходил из дому рано утром и проводил весь день в поисках неповторимых видов Торонто. Судя по всему, профессией он владел лучше среднестатистического кинооператора: на отснятых им пленках красота раскинувшегося вдоль озера города была передана поразительно точно — именно таким я видел Торонто изо дня в день, возвращаясь из Эденвейл-колледжа.

Я симпатизировал Клеопатре, потому что ее муж был первоклассным, хотя и слишком модерновым, на мой консервативный вкус, джазовым тромбонистом, а все джазисты мира — братья. Симпатии моей жены Клеопатра завоевала без труда: в те дни Сидония была благодарна за любое теплое участие, а гостья не скупилась на добрые слова, особенно за бутылочкой виски. Клеопатра, как и Сидония, страдала алкоголизмом, хотя причина, по которой она пила, насколько я мог судить, не шла в сравнение с горем, снедавшим мою жену. Но что нам, в сущности, известно о причинах страданий наших ближних? Трагедия нашей жизни, как говорил Жан Ренуар[2], в том, что у всякого на все свой резон.

1. Речь идет об "Очерках Боза" Ч. Диккенса.
2. Жан Ренуар (1894—1979) — французский кинорежиссер.

Когда настал день славы Сидонии, Клеопатра с оператором отправились с нами в актовый зал старого университета в центре города. Сидонию облачили в академическую мантию и шапочку с квадратным верхом, водрузив ее прямо на свежую прическу, а мне доверили набросить ей на плечи накидку.

Мы двигались в процессии моих коллег в мантиях: передо мной возвышался Макмаунтен, рядом с ним вышагивал Купер, за нами — Розмари О'Салливан в надетой задом наперед шапочке, потому что так она ей больше к лицу. Костюм Мэри Мэдер-Хэммет украшала черная лента, вероятно символизировавшая траур по усопшему мужу или кузену Пастернаку. Мантии не отличались единообразием: их брали напрокат в университете и раздавали, сообразуясь с размером, но для дам старались подобрать что-нибудь поэлегантнее. Под длинными хламидами мелькали ботинки, сапожки и туфли разных цветов, в том числе на высоких каблуках. Профессор Шорнштейн в роскошной, красной с золотом, шапочке топал в кроссовках "адидас".

Профессуре положено было участвовать в церемонии в мантиях своих almae matres, но Макмаунтен не смог припомнить, как выглядит мантия университета Монтаны, который удостоил его высокого научного звания. Наверно, церемония по случаю присуждения ему докторской степени напоминала карнавальное шествие не меньше той, в которой довелось участвовать нам. Оператор работал с камерой, издали доносились звуки университетского духового оркестра, во главе процессии шествовал церемониймейстер со стопятидесятилетним жезлом, учитывая возраст Канады, — предметом древней культуры.

Сидония, с которой мы шли в паре, тряслась, будто впервые поднималась на сцену, что, в сочетании с другими обуревавшими ее страхами, грозило полным упадком сил. Я боялся, как бы она не потеряла сознание. У моей жены не было высшего образования, но не по причине тупости — она была умна, — а в силу приписанного ей классового происхождения, которое я попытался улучшить, явившись в Министерство внутренних дел. Торжественная церемония предполагала выступление с краткой благодарственной речью в адрес собравшихся преподавателей и студентов, которых сразу после Сидонии президент должен был наградить за научные изыскания, а не за общественную деятельность. Сидония до смерти боялась грядущего испытания, что усугубляло ее предобморочное состояние. Она ступала рядом со мной, словно невеста Франкенштейна, с лицом белее мела. Но, как частенько случается с людьми, пустыми (выражаясь на сленге чешских студентов моей юности) как бамбук, пробел в образовании восполнил жизненный опыт, которого бы хватило на толстый роман, и Сидония, выйдя на трибуну в больших, не по размеру, шапочке и мантии, громко и внятно на английском языке, какого я от нее никогда не слыхивал, заверила присутствующих в своей любви к Канаде. "Канада, — сказала она, — моя мачеха. Моя родная мать — Чехословакия. Но случается, что мачеха оказывается несравненно добрее кровной матери". Ее искренность ни у кого не вызвала сомнений. А я снова прокрутил в уме пленку ее жизни и понял, что Список — последняя, решающая глава диккенсовского романа о ее земном пути. В начале она появилась на свет в убогом общежитии. Семью выселили из квартиры за неуплату, потом пришел отказ из школы: Сидонию не захотели взять в первый класс из-за дистрофии, вызванной

недоеданием. Когда арестовали и отправили в лагерь отца, их переселили, именем рабочего класса, из хорошей квартиры, выделенной главе семьи как участнику войны, в грязную дыру на улице Карлина. Однажды мне пришлось заглянуть там в клозет, после чего меня долго преследовали ночные кошмары. Я вспомнил наше первое свидание, когда Сидония чуть не замерзла насмерть, потому что у сестер был один свитер на всех и в тот день была не ее очередь. И так далее: сотрудник Министерства внутренних дел, выслушав мой устный опус, зачитывает донос стукача о том, как мать Сидонии, находясь в мясной лавке на улице Карлина, оскорбила словом главу государства. В их понимании она совершила кощунство или даже богохульство. Да, Список стал лишь одной, но роковой главой в жизни, типичной для человека нашего столетия из нашей бывшей страны, которая попадала в мясорубку истории дважды на моей памяти и трижды за те семьдесят лет, что отмерил Господь моему родителю.

Многие коллеги попросили у Сидонии текст ее замечательной речи, а профессор Шорнштейн опубликовал его в газете колледжа.

Два мира так и не пересеклись.

Вечером Сидония, приободренная успехом и настроенная благодушно после горячительных напитков, одарила Клеопатру интервью и позволила запечатлеть себя на пленке. Отвечая на вопросы, она повторила то, что говорила некоторое время назад репортеру из "Газеты для каждого" про историю с Седлачеком и про характеристику на Джульетту, которую сочинила, дабы спасти подругу от политического преследования, что по иронии судьбы обернулось политическим преследованием для нее самой, — так она рассказывала, но кашу-то заварил я. Оператор провел съемку мастерски, и на крупном плане ясно проступили следы возлияний.

Пагубные последствия этой съемки обнаружились позднее, когда Клеопатра выпустила фильм, совершенно не похожий на тот, который она делала, когда гостила в нашем доме.

МЫ СИДЕЛИ В МОЕМ КАБИНЕТЕ, и сержант Сейерс докладывала мне о свидетельских показаниях Лоррейн Хендерсон на допросе у капитана Уэббера.

В тот вечер, который Хэммет запланировал провести в постели с Лоррейн Хендерсон в мотеле "Маунтен бриз", он тем не менее оставался в доме своей жены, Мэри Мэдер, и ждал телефонного звонка. Лоррейн он объяснил это тем, что для жены этот звонок был очень важен. Сама Мэри тем временем работала над какой-то научной книгой в своем коттедже на озере Симко и обязала мужа сидеть дома и ждать некоего звонка. Готовая к ласкам Лоррейн звонила Хэммету из "Маунтен бриз", и он заверил ее, что приедет в мотель, как только поговорит с неизвестным ей человеком. Было без четверти девять, и Хэммет умолял Лоррейн потерпеть еще полчасика: Мэри Мэдер сказала, что звонить будут около девяти.

— У нее в коттедже нет телефона?

— Есть, — ответила сержант. — Может, ей не хотелось давать этот номер? Она уединилась в коттедже, чтобы сосредоточиться на работе.

— И кто же должен был позвонить?

Сержант пожала плечами.

– Может быть, вообще никто. Мэдер отрицает, что просила покойного мужа подежурить у телефона. Говорит, что никакого звонка в тот вечер не ждала.

– Почему тогда Хэммет был дома, а не в "Маунтен бриз"?

Сейерс взглянула на меня с упреком. Мне показалось, что я теряю уважение, которым она прониклась, когда я растолковывал ей, какой магией обладает умело выстроенная история о тайне запертой комнаты.

– Или Мэдер лжет, или Хэммета задержали дома другие дела. Во втором случае это, вероятно, женщина, о которой, поскольку у Браун есть алиби, мы пока ничего не знаем.

Я усмехнулся.

– Судите по отлупившемуся кусочку лака для ногтей?

Сержант снова пожала плечами.

– Значит, его прикончила эта незнакомка?

– Нет, – сказала сержант. – Вы забываете о пуговице, зажатой у Хэммета в кулаке. Женщина могла явиться туда уже после того, как его прикончили.

Я знал, что на это ответить.

– Возможно, Хэммет и был жутким бабником, но задумайтесь, сержант, неужели он пошел бы на такой риск? У него был шанс войти в семью двадцать седьмого богача Канады.

– Верно, – сказала Сейерс. – От Хендерсон мы знаем, что он хотел развестись с Мэдер, но она наложила вето на эту затею. А это означает, что телефонный звонок, скорее всего, выдумка.

– Если выдумка, зачем Хэммету понадобилось рассказывать Хендерсон про телефонный звонок?

– Возможно, ему требовалось провести еще некоторое время с неизвестным посетителем.

– А если Мэдер не солгала?

– Тут не угадаешь. Она могла бы заставить Хэммета остаться дома и под другим предлогом.

– Но почему все-таки Хэммет приплел историю с телефоном?

Сержант пожала плечами в третий раз.

Я решил взглянуть на дело с другой стороны.

– Вы можете представить себе Хэммета послушным мужем, когда брак по существу уже распался? От их супружества ничего, кроме ее ненависти, не осталось.

– Он подобных чувств мог и не испытывать, – сказала сержант. – Просто хотел развестись, чтобы жениться с большей выгодой.

– Но она-то его *ненавидела смертельно.* Женщина средних лет выскакивает замуж за парня вдвое моложе себя...

– Вы рассуждаете штампами, – предостерегла меня сержант.

– Можно ли рассуждать по-другому, когда дело касается мотивов убийства?

Она не ответила.

– Ее, наверно, волновало не только то, что она лишится мужа, но и то, что утратит половину своего имущества.

– Хэммет в ее имуществе не нуждался. Новая женитьба сулила ему гораздо больше. К тому же разводиться через суд – дело непростое, – сказала Сейерс.

— Тогда остановимся на ревности, которая вылилась в беспредельную ненависть.

Теперь усмехнулась сержант.

— А как же пуговица с твидового пиджака, сэр? Кроме того, у Мэдер есть алиби, которое подтвердили ее соседи. Они обедали у нее в коттедже, потом до полуночи играли в бридж. Хэммет был убит около девяти вечера.

Казалось, сержант возликовала. Она решила, что одержала победу в логической дуэли со мной.

Я же, усмехнувшись в третий раз, сказал:

— Уверен, сержант, что вам знакомо такое понятие, как заказное убийство.

Она раскрыла рот, словно мы разыгрывали сцену из романа, но не проронила ни звука.

— Ну хорошо. Вернемся к нашему семинару. Покажите, что вы написали.

Она протянула мне три страницы печатного текста. Я прочел и в последовавшей затем логической дуэли разнес ее доводы в пух и прах.

В СЛЕДУЮЩЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ Сидония мыла машину. Не сказать, чтоб машина была грязная, — просто моей жене нужно было отвлечься, и она таким образом надеялась переключиться на более радужные мысли. Но мысли, разумеется, это вам не верный пес, который трется о ногу хозяина, даже если тот собирается привязать ему камень на шею. Жизнь не часто радовала Сидонию, особенно последнее время, но в то воскресенье она ей улыбнулась.

Жена вошла в мой кабинет с бумажной салфеткой, на которой лежало что-то маленькое и розовое.

— Если бы не твоя привычка катать на машине разных женщин из колледжа, я бы сказала: погляди-ка на эту улику! Вспомни, кого ты подвозил в последний раз?

Я видел, что она изо всех сил старается придать голосу беззаботность, с какой он звучал раньше, в редкие минуты счастья, до того как появился Список. Теперь это была маскировка. Но я обрадовался. По крайней мере можно поговорить на другую тему, не ту, что мы обсуждали ночью.

— Улика касательно чего? — спросил я.

— Убийства в незапертой комнате. Твоя студентка из полиции говорила, что они нашли точно такой же отлупившийся кусочек лака в доме Мэдер.

Я рассказывал Сидонии все подробности об убийстве Хэммета.

— Да вспомни же наконец, кого ты возил последние два дня!

— Погоди, — сказал я и начал считать пассажирок на пальцах, хотя ясно, что я не работал извозчиком эденвейлских дам. Мне хотелось подыграть повеселевшей Сидонии и не испортить ей настроение. — Погоди, — повторил я и растопырил пальцы. — Лоррейн Хендерсон, сержант Сейерс, Венди Макфарлейн, Кендейс Квентин, профессор Энн Кейт Болейн, Дьюи Дрейк...

— Это та, что на вкладыше "Плейбоя"? — перебила меня Сидония. — С кольцом в носу?

— На нижней губе, — сказал я, — и на сосках.

причем он не объяснил, с какой стати. Они расписывали, как, в отличие от Сидонии, сопротивлялись КНБ, отказываясь от всякого сотрудничества. Всех троих в КНБ пытали, одному даже сломали руку.

Я знал о вошедших в историю процессах далеких пятидесятых годов и понимал, что в таких делах от дедуктивного метода или прикладной криминологии толку быть не может. Чтобы заставить этих троих сознаться во вранье, потребовались бы истязания похлеще, чем те, которые их не сломили. А новая правовая система к физическому насилию не прибегала.

АЛКОГОЛЬ ЗАВОЕВЫВАЛ в жизни Сидонии все больше и больше места. Теперь к красному вину, которое она попивала еще в Праге, добавились крепкие напитки англосаксов. В день судебного заседания жена с утра начала заправляться горючим, и я боялся, что она не сможет выговорить ни слова. К счастью, чудо, случившееся во время присуждения ей почетной докторской степени, повторилось: она черпала силы то ли из душевных запасов, то ли из спиртного. Клеопатра принесла в здание суда флягу с ромом в бурой обертке, словно того, что Сидония приняла раньше, было недостаточно, и, прежде чем жену вызвали, она успела сделать несколько изрядных глотков. Из другого бумажного пакета Клеопатра достала видеопленку со своим фильмом, заметив, что Сидонии будет интересно его посмотреть. Это был не тот фильм, который она сняла прошлым летом в Торонто. Тогда мы уже на себя насмотрелись: мы сидим перед камерой, Сидония повторяет известные факты из своего интервью "Газете для каждого". Во втором фильме Клеопатра смонтировала кадры, отснятые на берегу озера Онтарио и в нашем торонтском доме.

НАШИХ В СУДЕ было немного: кроме меня и Сидонии, ее брат Мирек и Джульетта — нас троих вызывали как свидетелей — плюс Клеопатра и мой старый друг Лестер. Он явился для моральной поддержки. Клеопатра хотела снять, как мы все сидим в комнате ожидания, но ей не позволили.

Я вспомнил одну летнюю ночь — восьмидесятые, время Гусака, — когда Лестер гостил у нас в Торонто, а у моей жены случился классический нервный срыв. Мы обедали, и я сморозил глупую шутку по поводу кулинарного искусства Сидонии, а она относилась к своей стряпне очень трепетно. Жена вышла из-за стола и уехала в ночь. Я пожалел о своей глупости, но слишком поздно: тогда еще жизнь не приучила меня размышлять о других, причем более весомых, ошибках — тогда еще не было Списка. Повременив минут пятнадцать, я позвонил ей в офис. Было восемь вечера. Телефон не отвечал. Я заказал такси, и мы с Лестером поехали к Сидонии на работу. Я открыл дверь ключом, мы вошли в здание и поднялись на третий этаж, где Сидония роскошно обосновалась: прекрасный светлый кабинет со стереосистемой, дюжиной пластинок Эдит Пиаф и клеткой с двумя австралийскими попугайчиками, Титусом и Джози.

Сидония лежала на полу, завернувшись в диванное покрывало, — на диван она ложилась прикорнуть, когда силы, хотя и подкреплявшиеся красным вином, иссякали: очень уж много ей приходилось обрабатывать рукописей и книг, которыми были забиты картонные ящики. Как

только мы переступили порог, Титус просвистел три первые ноты народной песенки "Беги, Катя, беги!", которой учила его Сидония, но дальше пошла его собственная импровизация, поскольку птичьих возможностей больше чем на три ноты не хватило.

Я взял руку Сидонии в свою, но она ее выдернула. Потом Лестер стал что-то нашевать ей на ухо, и мы по очереди пытались хоть как-то ее привести в чувство. Прошло три часа. Мы, как попугаи, твердили одно и то же — что еще мы могли сказать? Повторяли, что все ее любят, что она делает величайшее дело, спасает чешскую литературу, которой грозит опасность. Тогда мы еще не знали, чем ей воздаст чешская литература. Я напоминал себе говорливую ведущую с простецкой физиономией, которая из студии общественного телевидения Буффало без умолку прессовала зрителей, чтобы выудить у них денежки в обмен на кофейную чашку с эмблемой канала.

В одиннадцать тридцать Сидония наконец-то выбралась из покрывала и позволила отвезти себя домой в ее машине, но с условием, что за рулем будет Лестер. Вспоминая это печальное ночное происшествие, я надеялся, что Лестер включил его в свой командировочный отчет, потому что после появления Списка я рад был любой помощи. Хотя я знал, что Лестер посылал директору музыкального издательства, отправлявшему его в поездки по Европе, только сообщения об официальных встречах с не вызывавшими подозрений представителями музыкальных агентств, а не о тайных посиделках с эмигрантами.

Приезд Лестра в Торонто был исключением, а не обычной командировкой. Это путешествие стало возможным благодаря тому, что веру в Учение Всех Учений потеряли даже в высших партийных эшелонах, а также благодаря организованной мною подпольной акции. Я забросал друзей в канадских и американских университетах письмами, рассказывая им правду: Лестер, лучший в Чехословакии знаток истории джаза, ни разу не бывал на родине джаза. История самого Лестера не нова: в нашем отечестве многим специалистам в различных областях культуры не разрешалось выезжать на международные встречи, если они не состояли в партии. Теперь наконец у Лестера появилась надежда (писал я) побывать на родине упоительного стиля, а ведь он сочинял джазовую музыку еще со времен нацистской оккупации. Он мог прочесть лекции не только о чешском, советском и восточноевропейском джазе, но и о джазовой музыке Западной Европы и, учитывая современный финансовый кризис, на гонорары не претендовал, а рассчитывал только на приглашение. Бумага от академического учреждения была conditio sine qua non[1] подобных поездок. Я писал, что разрешение на выезд ему дадут лишь при наличии такого приглашения.

Приглашений набралась целая куча, но разрешение на выезд было получено именно благодаря тому, что партия утратила былую веру и ослабила бдительность. К моему удивлению, коллеги, друзья и просто знакомые, чехи, канадцы и американцы, все без исключения, послали Лестеру теплые письма с приглашениями на официальных бланках университетов и все брались оплатить перелет. Три университета предлагали даже небольшое вознаграждение за лекции.

1. Непременное условие (*лат.*).

Вот таким образом Лестер впервые в жизни оказался в Америке. Из иллюминатора он увидел почти весь континент, а потом, в Канаде, стал свидетелем беды, постигшей Сидонию той ночью. Это был далеко не первый срыв, вызванный напряжением от беспрерывной работы, но только я знал о многих других ночах, доводивших жену до нервного истощения. Лестер мог бы подтвердить мои свидетельские показания. Впрочем, суд вряд ли принял бы его слова во внимание.

Да и сам Лестер после публикации Списка сделался мишенью для всякого рода кривотолков в еженедельнике господина Мрквички и других газетенках. В печатавшихся там материалах факты и вымысел были смешаны примерно в той же пропорции, что и в статье "Карты на стол, госпожа Сидония!"

Я ОТПРАВИЛСЯ В "ХРОМУЮ УТКУ", но на этот раз не только ради выпивки. И пришел не зря. Посередине зала столпился народ, все что-то разглядывали, и Кендейс Квентин в том числе. Я подобрался поближе. Из-за плеча Кендейс я увидел Дьюи Дрейк, но только ее верхнюю часть, выше груди, поскольку все, что было под грудью, заслоняла спина Фредди Гамильтона, который внимательно изучал нечто, располагавшееся в нижней части тела девушки. Ненароком я решил, что Дьюи демонстрировала то, на что весь колледж насмотрелся уже на вкладыше "Плейбоя", но предмет оказался занимательнее. Когда Фредди Гамильтон посторонился, я увидел Дьюи в полный рост. Закатав футболку до груди, Дьюи показывала татуировку на животе: изображение тоненькой обнаженной женщины и рядом фраза из Библии "Награда твоя будет весьма велика"[1]. Меня несколько шокировало такое святотатство, но я отвлекся на стоявшего в толпе Уэйна Глупи, который спросил Дьюи:

— Работа Чарли Лима? Это он тебе в "Поешь-или-купи-коки" делал?

Дьюи кивнула.

— Всем одно и то же лепит, — сказал Уэйн. — Гляди!

Он задрал свою футболку с надписью "Целуй меня — я НЕ цыган!", из-под которой вылезло здоровенное пузо. На животе Уэйна тоже оказалась татуировка с обнаженной женщиной, но толстой и бесформенной. Пока окружившие их студенты молча взирали на это уродство, Глупи, будто оправдываясь, сказал Дьюи:

— Когда Чарли ее сделал, она была точь-в-точь как твоя.

— Не испугаешь, — ответила Дьюи. — Я — не ты, я всякую гадость в рот не тяну. На первом курсе ты был вполовину меньше. А мне вообще не грозит растолстеть. Я на голливудской диете.

— А если залетишь? — ухмыльнулся Уэйн. — Покажешь тогда нам свою куколку?

— И тогда покажу! — сказала Дьюи. — Беременность — дело временное. Рожу и вернусь в норму. И она вместе со мной. — Дьюи прошлась пальцами по впечатанным в ее кожу синим контурам изящной красотки.

— Мисс Квентин, — шепнул я стоявшей передо мной девушке, — позвольте вас угостить.

Мое вторжение возбудило интерес.

1. Бытие. 15:1.

— У кого-нибудь есть под рукой номер телефона профессора Болейн? — нарочито громким шепотом сказала Венди.

Кендейс пропустила мимо ушей предупредительный сигнал и одарила меня улыбкой, обезоруживавшей многих мужчин достойнее меня. Но в этот день я был начеку.

Когда мы сидели за стойкой бара, она спросила:

— Чем обязана вашему вниманию, сэр?

Бармен поставил перед нами два бурбона.

— Тем, как блестяще вы сдали экзамен, на котором я присутствовал в качестве наблюдателя, — сказал я. — Мне нравится наблюдать. Жаль только, не удалось засечь момент, когда вы списывали.

— Вы на меня сердитесь?

— Обычное дело, студенческие шуточки.

— Однажды я сделала то же самое в присутствии профессора Макмаунтена, и он рассердился.

— Макмаунтен не пьет.

— Записка была не об этом.

Мне показалось, что, вопреки своей показной самоуверенности, Квентин слегка покраснела.

— Ясно, — сказал я. — У Макмаунтена аллергия на грубые шутки. — Помолчав, я продолжил: — В наше время подобные выходки еще и небезопасны. Слышали театральный шепот мисс Макфарлейн? А я ведь всего-навсего пригласил вас составить мне невинную компанию за стаканчиком виски. И вам, между прочим, больше восемнадцати.

— Венди любит пошутить.

— Какая разница... За ваши успехи в математике!

Я поднял свой бокал, и Кендейс со мной чокнулась. Потом она взглянула на меня своими очень умными глазами. Я подал знак бармену и, когда он наполнил бокалы, снова провозгласил тост:

— И за ваши будущие успехи в изучении права! Теперь на пути у вас — ни одного препятствия. Не сомневаюсь, что итоговый балл, который выставит вам Купер, будет наивысшим.

Она пристально на меня посмотрела. Глядя в эти глаза, я не мог врать. И не хотел. Но своим вопросом она загнала меня в тупик.

— Высший балл, хотя я получила неуды по всем контрольным?

— Вероятно, вы произвели на коллегу Купера неизгладимое впечатление.

— Вы умеете считать, сэр. И вам известно, что отметка за выпускной экзамен учитывается только на тридцать пять процентов. Даже если я получу отлично в квадрате, моя итоговая отметка будет далеко не блестящей.

Я молча рассматривал устремленные на меня умные глаза. На что ей такая игра? Она сама подала мне мяч, чтобы я забил гол в ее ворота. Прошло немало времени, прежде чем я шепнул ей на ухо:

— Я на вас не донесу, — и кивнул бармену.

Прошло еще больше времени, прежде чем она спросила:

— О чем именно вы не донесете?

— Нетрудно догадаться. Я видел, как вы вошли в кабинет Купера и закрыли за собой дверь.

— Ах, вот оно что.

Последовала еще одна пауза, но не столь продолжительная, как предыдущая.

— Значит, вы меня не выдадите, сэр?

— Слово даю.

Она поднесла к губам бокал. Прежде чем Квентин сделала глоток, я дотронулся пальцем до ноготка на ее мизинце. Он был покрыт лаком странного, напоминавшего медь, цвета.

— Новый лак. Никогда такого у вас не видел.

Ее глаза снова пристально меня изучали. Она распрямила ладонь, чтобы показать мне все пять пальцев.

— Одобряете?

— Этот интереснее, чем тот, который я видел, когда подвозил вас ночью из Крестхилла до общежития. Припоминаете?

— Какой вы наблюдательный!

Я рассмеялся.

— Не я, мисс Квентин, — моя жена.

На этом я попрощался, составшись на то, что мне пора на индивидуальное занятие. В дверях я обернулся. Квентин провожала меня напряженным взглядом человека, совесть которого не назовешь кристально чистой.

Глава 9
О фильме Клеопатры и о том, что мне рассказал Оскар

ЮРИСТ, ПРЕДСТАВЛЯВШИЙ интересы МВД, вручил судье папку с делом Сидонии. У меня отлегло от сердца, когда выяснилось, что там — один-единственный пожелтелый листок, старое сочинение Сидонии, написанное, чтобы оградить подругу от возможных гонений. Выходит, Седлачек не смастерил улик, от которых нельзя было бы отговориться. Презумпция невиновности, отвергнутая когда-то партией в силу своей буржуазности, вновь обрела некоторый вес, из чего логически следовало, что бремя доказывания вины ложится на суд. Но Сидонию могла бы погубить какая-нибудь умело составленная фальшивка. В этом случае ей не помогли бы оправдаться и все святые.

Неожиданно для себя я обнаружил, что судебная процедура поставлена с ног на голову, а возможно, и вывернута наизнанку. Будь в деле Сидонии больше одного листа, она бы превратилась в ответчицу. Для такой метаморфозы достаточно было бы одной бумаги, сфальсифицированной несколько десятилетий назад сотрудником КНБ, жаждавшим наград или повышения. Большинство каэнбэшников того поколения были вне пределов досягаемости или уже мертвы, да и вообще вряд ли бы нашлись свидетели, способные рассказать о незначительном эпизоде сорокалетней давности.

В ТОРОНТО из ночи в ночь Сидония упавшим голосом повторяла одно и то же: никогда ей не избавиться от чудовищного подозрения — это все равно, что клещ, забравшийся под кожу, и, как ни пытайся его оттуда

вытащить, он проникает все глубже и сидит там невидимый, но явный, как метка Каина.

Я ее успокаивал: "Все не так, Сидония, суд тебя оправдает", но она только качала головой. Я приводил доводы, к которым в старые времена прибегали наши добросердечные соотечественники: народ относится к подобным делам с недоверием, да и вообще такое скоро забывается. Но короткая память народа Сидонию тоже не устраивала. Она была в некотором роде знаменитость, ее любили читательницы из эмигрантов. Любивших ее было наверняка больше, чем завидовавших и потому перемывавших ей косточки. Еще теми страшными ночами в Торонто жена говорила о Сабине, полицейском агенте времен Чешского восстания 1848 года[1], имя которого стало символом безнравственности — так до сих пор называют провокаторов, несмотря на то что этот Сабина написал либретто к "Проданной невесте", самой популярной в народе опере.

"Забывается все, — говорила Сидония, — до поры до времени..." Так оно и вышло, к стыду народа, частицей которого когда-то были и мы. Сидонию больше не трогали, потому что, выиграв дело, она не потребовала с клеветников денежной компенсации — они отыгрались на других бедолагах, заклейменных лишь на том основании, что их имена оказались в Списке, но предварительно злые языки удостоверились, что сами туда не попали, и, не обнаружив своих фамилий среди изгоев, принялись смешивать их с грязью организованно.

"Такое не забывается, — повторяла Сидония, когда мы коротали ночи в нашем чудесном городе на берегу озера Онтарио. — И не хочу я, чтобы люди об этом забыли. Я хочу быть незапятнанной. А мне уже никогда не отмыться, никогда в жизни", — продолжала истязать себя моя жена.

Все это вертелось у меня в голове, пока я стоял перед судьей. Плюс все то, что этому предшествовало, все, что я когда-то попытался вместить в свой конфиденциальный монолог в здании министерства под черепичной крышей, — все, что в конечном итоге переместилось на страницы прекрасного романа, который Сидония написала в Америке. Но никто из присутствовавших, кроме Лестера, не знал подробностей жизни Сидонии, и он, стоя в коридоре здания суда в зимнем пальто с поднятым воротником, из которого торчали усы, тоже, быть может, вспоминал прошлое. Возможно, и в сознании Джульетты вспыхивали обрывочные воспоминания, хотя знала она о трущобной жизни Сидонии всего ничего — молода была, ненаблюдательна, да и трудно было девушке разглядеть что-либо сквозь идеологические очки, которые водрузила ей на нос парторг Сохова. Нечто подобное могло происходить и в голове Мирека, брата Сидонии, стоявшего, как и Лестер, в зимнем пальто и ожидавшего, когда его вызовут давать свидетельские показания.

Все мы были свидетелями, но свидетельствовать не могли. Мои показания должны были принять во внимание, ведь я прожил с Сидонией почти сорок лет, я своими руками запустил дьявольский маховик подозрения — и я рассказал судье все от начала до конца, все как было. Однако подтвердить заявление Сидонии о том, что никакого фаустовского соглашения она не подписывала, мог только покойный Седлачек. Я го-

1. Народно-освободительное восстание в Праге 12—17 июня 1848 г.

ворил чистую правду, но это был всего лишь рассказ, к тому же правда, как правило, неотличима от хорошо отрепетированного вымысла. Слушавшая меня троица — судья-дама, юрист МВД и наш адвокат — своих умозаключений не высказывала.

По сравнению со мной Мирек был немногословен. Да и что он мог сказать? В ту пору, когда Сидония совершила "преступление", он сидел в лагере: десять лет уже отсидел, впереди было еще три года. Он мог выступить только как "свидетель личности", и он засвидетельствовал, что младшая сестра, с которой его разлучили в пятнадцать лет и которую он потом увидел уже тридцатилетней женщиной, всегда была хорошей девочкой: ему запомнилось, как однажды мама наскребла денег на яблоко, а сестренка с ним поделилась. В общем, он пересказал все тот же диккенсовский роман от первого лица. Но в сознании людей, которых партия сорок лет потчевала сказками о дореволюционной нищете, рассказ Мирека из доказательства трансформировался в сомнительную легенду. И судья, и эмвэдэшник, и наш защитник родились в конце сороковых, когда произошел коммунистический переворот, и воспринимали брата Сидонии, бывшего политзаключенного, как мифологического героя.

Джульетта тоже могла говорить только о личности Сидонии: хороший друг и товарищ и так далее. Правда, ее показания содержали один конкретный факт: Джульетта действительно встречалась с парнем из политически неблагонадежной страны. За флирт с Марковичем ее не наказали, хотя запросто могли наказать, потому что тогда частенько доставалось и безвинным. То время миновало, но троица, от которой зависел приговор, все еще держалась за подол Матери-партии: они твердо помнили заповеди великих вождей, которые им вдалбливали с детского сада.

Вот что вертелось у меня в голове. Судья, наморщив лоб, изучала содержание пожелтелого листка и наконец повернулась к представителю МВД.

— Доктор, вы располагаете чем-нибудь еще?

Ничем он больше не располагал. Даже свидетелем для негативной характеристики личности. Все, что у него было, — пожелтелый лист бумаги, а судья явно не разделяла радикальных воззрений доктора Адольфа Грабе, доктора наук. На размышление ей потребовалось рекордно короткое время, и она, именем государства, в котором мы с Сидонией уже не проживали, вынесла приговор. Судья объявила, что текст характеристики на лучшую подругу не является достаточным основанием для отклонения иска Сидонии к Министерству внутренних дел, — таким образом, Сидония дело выиграла. Всей компанией, включая Джули, Лестера и Мирека, мы отправились выпить за здоровье Сидонии в кабачок, который я отлично помнил, в первую очередь благодаря старшему официанту: он подавал там в стародавние времена, работал до сих пор и, подобно мне, человеку из другой страны, состарился.

ПО ДОРОГЕ В КИРМАГ, как называли мои старые земляки государственные винные магазины, в тот, что в торговом центре "Хадсонз Бей компани", я проходил мимо другого магазина, где тоже продавались товары, делающие жизнь приятнее. Ассортимент магазина "Долой старость" — мои старые земля́чки еще не придумали, как назвать его по-иному, — сулил положить конец биологическому процессу, который

неизбежно ведет к изменению цвета волос и формы груди, со временем все больше подверженной воздействию силы земного притяжения, и к жировым отложениям вокруг живота. В качестве дополнительных услуг в магазине удаляли татуировки. Я остановился у этого бастиона стоящих на страже своей привлекательности женщин и загляделся на одинокую баночку с каким-то чудо-кремом, баночку, красовавшуюся в витрине, оформленной, должно быть, выпускником художественной школы. Крем гарантировал избавление от морщин в течение трех дней, если морщины не исчезали — деньги возвращались покупателю. Краем глаза я заметил, как сверкнула, поворачиваясь, медная ручка входной двери, и увидел мою ученицу в радующей глаз форме канадской полиции. Она посетила магазин, вероятно, из-за едва заметных глазу лишних килограммов, а может, чтоб избавиться от татуировки, которой грозила участь красотки на пузе Уэйна Глупи. Увидев меня, сержант отдала честь, приложив кончики пальцев к элегантной фуражке. Мне показалось, что она стала тоньше.

— Так, — сказал я, — убирали татуировку, сержант Сейерс?

— Кто вам сказал? — нахмурилась сержант.

— Мой постоянный информатор, — ответил я. — Рыжая лисичка.

Она успокоилась и сказала:

— Татуировка здесь не при чем. У меня другие проблемы. Вы же помните, как я выглядела, правда?

Я деликатно оглядел ее уменьшившуюся в размерах фигуру.

— Проблем больше не существует.

— Спасибо, — сказала она с вежливостью, присущей моим теперешним согражданам. — Здесь продается новая диета, и она, кажется, действует. Как по-вашему?

Ей хотелось еще раз услышать, что она похудела.

— Безусловно, действует, — подтвердил я. — А теперь, в обход вашей диеты, позвольте угостить вас чашечкой кофе?

В маленьком кафетерии она рассказала мне, что режим основывался на ежедневном приеме трех пилюль, дорогих, конечно, но зато эффективных. Из еды разрешалась только одна морковка и два стебля сельдерея, утром и вечером.

— А вы не пробовали морковь и сельдерей без пилюлей? — спросил я.

Она помотала головой.

— Тогда диета не сработает.

— Пробовали или нет?

— Пробовала, — ответила она виновато.

— И что?

— Проголодалась, как зверь. Ничего не могла с собой поделать, пришлось перекусить.

— Пилюли отбивают аппетит?

— Нет. Но с ними удается не есть.

— Скажите, мне просто любопытно, сколько вы потратили на эту диету?

— Уйму денег. Тридцатку в неделю. Зато действует.

Да, многовато за безвредное лекарство для успокоения пациента. Я сменил тему:

— Сочинение закончили?

— Почти.

Она притихла. Наверняка ничего еще не написала.

— Там по-прежнему фигурирует устройство с дистанционным управлением?

Она взглянула на меня с упреком.

— Неужели забыли, сэр? Вы сами разрешили мне оставить дядюшку Абнера и вернуться к По.

— Да?

— Да. Вы сказали, что "Тайна запертой двери" имеет только девять решений и они вам уже надоели.

— Я так сказал?

— Вы подозреваете меня во лжи? — произнесла она официальным тоном. — Именно так вы и сказали!

Я не хотел, чтобы сержант подумала, будто я о ней дурного мнения, поэтому тут же откликнулся:

— Хорошо. Ну а что с вашей По-исковой работой? Вы ее По-чти завершили?

Сержант ответила не сразу.

— Ожидаю подтверждения ключевого факта.

Она снова затихла, разглядывая кофейную гущу на дне своей чашечки.

Потом подняла на меня глаза.

— Вы были правы, сэр. В деле замешан наемный убийца.

Я сам удивился, что попал в яблочко. Но не сразу вспомнил, что навело меня на такое предположение.

— Его поймали?

Она покачала головой.

— Нам только известно, кто это может быть. Ждем, когда в Сан-Франциско проверят, есть ли у него алиби на ту ночь.

— Господи, — сказал я. — Но мне-то вы можете сказать. Кто он?

И вдруг я вспомнил, кто вдохновил меня на эту догадку. Тот человек не стал бы убивать ради денег.

— Его зовут Коттон Мэдер, — сказала сержант. — Он младший брат профессора Мэдер.

ОБНАРУЖИЛИ ЕГО ДОВОЛЬНО ЛЕГКО: "пробили" по компьютерной сети ФБР. Он носил имя своего знаменитого предка, охотившегося за ведьмами, а сам оказался в семье уродом, однако роль наемного убийцы не потянул бы. В восемнадцать лет он мечтал о "кадиллаке" с откидным верхом, а денег не нашел. Отец помочь отказался, потому что в тот год купил новый автомобиль для всей семьи и подарил по машине двум своим сестрам. Но парню подфартило: его однокласснику, богачу Майку Макбету, требовалась помощь. Майк, звезда футбольной команды школы, был другом Коттона. За стаканом пива в пабе напротив школы, куда ученики забегали, чтобы встретиться с местным торговцем наркотиками, Макбет раскрыл Коттону секрет. Прелестная старшеклассница Вероника Мартен, которая нравилась им обоим, забеременела от футбольной звезды. И подурнела. Как только старомодная Вероника сказала, что теперь он обязан на ней жениться, Макбет понял, как верна общеизвестная истина: "Не красивая красива, а любимая". Любовь Макбета, если это вообще была любовь, тут же испарилась. Он предложил Веронике аборт, причем не в местной клинике, которая пользова-

ла в основном неимущих чернокожих, а в уютном заведении для уничтожения младенцев, которое содержал в столице штата знаменитый гинеколог. Макбет происходил из богатой семьи и платил за все. Но девушка верила в христианского Бога, и ее было не убедить в том, что в "идиотском кусочке живого дерьма, застрявшего в вагине", как выразился в приступе гнева ее возлюбленный, человеческого не больше, чем в дождевом черве. В тот вечер в пабе друзья заключили сделку: футбольная звезда избавляется от невесты — Коттон получает машину. Строго говоря, нужно было избавиться не от самой невесты, а от необходимости брать ее в жены. План был такой: Коттон замаскируется, натянув на лицо чулок (оба смотрели телевизор и отлично знали, как это делается), заляжет где-нибудь в ожидании девушки и в нужный момент ударит ее по животу бейсбольной битой так, чтобы из нее вылетел "кусочек дерьма".

Все происходило как в телесериале, но "кусочек" не вылетел, а девушка умерла от шока. На вскрытии выяснилось, что на животе у нее огромная гематома и что сердце было слабое. И еще, что она была беременна. Местный детектив, специалист по расследованию убийств, раскрыл дело без заминки: два воздыхателя, страсть которых к Веронике оказалась секретом, шитым белыми нитками, безнадежно запутались в противоречивых показаниях.

В общем, хотя Коттон и не был наемным убийцей в прямом смысле слова, того, что он натворил, хватило на десять лет кутузки. С тех пор как прозвучал приговор, его старшая сестра Мэри в родном городе не показывалась. Семейную тайну она хранила за семью печатями. Младший брат вышел на свободу, отсидев половину срока, его выпустили условно за примерное поведение, но жизнь в тюрьме превратила Коттона в конченого субъекта, наркомана и вечного нахлебника. Один из свидетелей заявил, что видел, как он выходил из дома профессора Мэдер дня за два до убийства, но потом в городе он замечен не был.

— Ну не знаю, — сказал я сержанту. — В целом все это подтверждает наши догадки. Но тот ли он человек, которого наняли... Не знаю.

Я-то думал совершенно о другом убийце, который пошел на преступление не ради денег.

Он получал высокую зарплату, ему предлагали работу несколько университетов.

СУД ЗАВЕРШИЛСЯ в пользу Сидонии, и мы пошли отметить победу в ближайший кабачок. Несколько часов спустя, изрядно захмелевшие, мы погрузились в машину Лестера, и Джульетта, самая трезвая из нас, села за руль и доехала до многоквартирного дома, где ее ожидали дети. После короткой перепалки на тему, кому доверить наши жизни, управление автомобилем взял на себя бывший пражский таксист Мирек и едва не угодил в реку, когда мчался по набережной Влтавы. Мы с Лестером сидели сзади, Сидония — впереди, рядом со старшим братом. Лестер рассказывал мне, как, по его мнению, мог попасть в Список.

Незадолго до бархатной революции он явился с очередным докладом к своему начальнику Сервачу, партийному, но "все-таки честному малому". В кабинете шефа сидел неизвестный Лестеру мужчина. Сервач представил его как товарища Прохазку. Фамилия ничего Лестеру не сказала, и заготовленными шаблонными фразами он отчитался шефу о сво-

их деловых встречах на Западе, где только что заключил удачную сделку с одним из производителей лазерных дисков, специализировавшимся на музыке барокко. Интересы фирмы представлял Арнульф Берхольц из Мюнхена, человек без предрассудков, как тогда выражались в Праге, и с ним приятно было иметь дело.

– Вы, товарищ, и в прошлом году заключили с ним сделку на "Федасо" в Канне, – неожиданно вступил в разговор Прохазка. – Верно, или я ошибаюсь?

Он не ошибался. Лестер помнил об этой сделке и вдруг сообразил, что, представляя Прохазку, Сервач не сказал о нем ничего конкретного. Не менее подозрительным ему показалось и то, что Прохазка был прекрасно информирован. Дабы выиграть время для ответа, Лестер, будто не понял, переспросил: "Федасо"?

– Festival of Dantseh Songs, – произнес товарищ Прохазка по-английски, но с чешским акцентом. – И еще во время этого фестиваля танцевальной музыки вы встречались с Плантнером.

Лестер силился припомнить, кто из пражан, кроме него, был на фестивале и мог на него настучать. Но никто на ум не приходил.

– В самом деле? – спросил он, как недоумок.

– Нам об этом доложили, – ответил Прохазка.

– Кажется, Плантнер был на приеме, который давало издательство "Штайнмец".

– Да, был, и вы пригласили его потом к себе в номер.

Плантнер работал на радио "Свободная Европа", поэтому представлял опасность для граждан нашей бывшей родины. По этой самой причине Лестер не счел нужным сообщать, что пригласил его в свой гостиничный номер. Он вспомнил, что в это же самое время к нему в номер без предупреждения заглянул Берхольц. Лестер, не подозревая, что у Берхольца могут быть какие-то, помимо коммерческих, связи с Прагой, представил его Плантнеру. В отчете о командировке Лестер написал, что они немного поболтали, не упомянув, естественно, о Плантнере. До того как в номере появился Берхольц, Лестер вручил человеку со свободного радио отчет иного содержания, но ни одна душа в Канне, кроме Берхольца, не видела Лестера и Плантнера вместе: журналист был слишком опытен, чтобы встречаться с Лестером открыто. Прежде чем прийти, он договорился о встрече по телефону – каэнбэшникам вряд ли хватало средств на установку "прослушки" в каннском "Гранд-Отеле". Позднее Лестер узнал, что некоторое время назад Берхольц жил в Праге больше, чем в Мюнхене, а его пражский бизнес расширялся не по дням, а по часам.

– И еще, товарищ, – продолжал всеведущий Прохазка, – вы встречались с Плантнером в Калифорнии, когда находились в США по частному приглашению.

– Наверно, он приходил послушать мою лекцию, – слабым голосом пролепетал Лестер, но товарищ Прохазка, казалось, уже потерял интерес к сотруднику радио "Свободная Европа".

Через два дня Лестеру вручили повестку из того самого учреждения, где я в незапамятные времена пытался спасти Сидонию. Там по-прежнему кипела работа. Встреча носила конкретный характер и открыла Лестеру много интересного. Товарищ Прохазка на пару с другим товарищем зачитывали Лестеру его командировочные отчеты, адресованные

Сервачу, и время от времени сверяли их с какими-то другими отчетами. Сравнительный анализ показал, что в отчетах Лестера были пробелы. В них недоставало имен некоторых людей, но, разумеется, не людей "особой закваски", как любили называть себя партийцы.

– Эх, старик, – вздохнул я, чувствуя, как меня накрывает волна глубочайшей тоски. – Значит, ты подписал, – произнес я полушепотом, так, чтобы не услышала Сидония.

– Знаешь, старик, – ответил Лестер, – я, конечно, наложил полные штаны, но по уши не увяз.

– Так ты не подписал?

– Нет, – ответил Лестер. – Но ты пойми, – сказал мне мой старый дружище, – мне же, дураку, и в голову не приходило, что Сервач передавал им мои отчеты. Он всю жизнь был коммуняка, но малый-то был честный.

Трясясь в драндулете, которым неверными руками управлял бывший лагерник, я впервые подумал о том, что несомненного доносчика Сервача в Списке не было. Там вообще не было людей "особой закваски", ни одного члена партии, если не считать исключенных из ее рядов, таких, как недалекий poeta laudator[1] Врхцолаб, поддержавший когда-то ревизиониста Дубчека.

То, что имя Сервача не значилось в агентурных списках, было вполне справедливо. Он не служил осведомителем КНБ и никаких подписок не давал. Он исполнял свой партийный долг – только и всего.

Бывший таксист Мирек снес закрытые ворота Лестерова дома и встал в нескольких сантиметрах от крыльца.

Внезапно я протрезвел.

У ЛЕСТЕРА МЫ СМОТРЕЛИ видеокассету, которую Клеопатра передала нам в суде. В самом начале, когда обычно дается зачин общей темы, на экране появилось маленькое животное, знакомое каждому школьнику, – представитель биологического вида, щедро наделенного способностью изменять окраску.

По-видимому, из уважения к демократическому принципу "audiatur et altera pars"[2] фильм предоставлял возможность высказаться даже тем, кого осуждал. В том числе нескольким умникам типа господина Мрквички, возмущавшимся безнравственностью перечисленных в Списке лиц. Ну и, конечно, сам краснощекий Мрквичка и его группа поддержки. В прежние времена можно было бы ограничиться мнением одной такой команды, поскольку инакомыслие запрещалось. Но теперь, в условиях демократии, экранное время получили и довольно-таки подозрительные личности, а поскольку доказать или опровергнуть что-либо было невозможно, они всего лишь отрицали свою причастность к спецслужбам. Заявления господина Мрквички и К° тоже не подкреплялись доказательствами, но психика играет с нами странные шутки. Бездоказательные утверждения, как и бездоказательные опровержения, одинаково откладываются в сознании, и мы думаем: "Наверняка все это не так, но дыма-то без огня не бывает". А из искры, как известно, возгорается пламя.

1. Поэт восхваляющий (*лат.*).
2. "Пусть будет выслушана и другая сторона" (*лат.*) – одно из положений римского права.

Но как ни уважай древний правовой принцип, его легко нарушить при монтаже. По каналу либерального американского телевидения показывают, к примеру, Рейгана: звучит его речь, но она обрывается на середине предложения, потому что в редакции, дабы посадить президента в лужу, вырезали несколько кадров; в результате Рейган выглядел не лучше бывшего главы Чехословакии, умственные способности которого подвергла когда-то сомнению мать Сидонии. Этот трюк заимствован из литературы — там он известен как цитирование, вырванное из контекста.

Клеопатра воспользовалась этим методом. В свое новое творение она включила кусок, снятый прошлым летом в Торонто, когда Сидонии вручали почетную докторскую степень. Я хорошо запомнил это событие: всего несколькими днями раньше, обедая со своей подругой Сюзи, она узнала, что попала в Список. И поэтому во время съемок большей частью была пьяна или страдала похмельем. В кадрах, которые Клеопатра отобрала для своего хамелеонского фильма, состояние Сидонии было налицо.

Я хорошо знал наших с Сидонией земляков. Известная женщина, подшофе, да еще на экране, не могла произвести благоприятного впечатления, хотя все обожали смотреть комедии с пьянчугами. Даже у тех зрителей, кто не понаслышке был знаком с лицемерием телевизионщиков, знаменитость, появившаяся на экране под градусом, вызывала только неприязнь.

Пока шел фильм, я исподтишка поглядывал на Сидонию. Она крепко сжимала бокал с напитком, вызывающим показанные на экране неприглядные симптомы, и всматривалась в свое изображение. Когда фильм закончился, Лестер недовольно заворчал: он помнил первую кассету о Сидонии, — а Мирек, унаследовавший прямоту матери, громко произнес: "Свинья!" Он тоже прекрасно помнил тот фильм, из которого были вырваны кадры.

Вот вам возможности монтажа. На первой кассете Сидония рассказывала, как Седлачек уговаривал ее написать характеристику на Джульетту, подозревавшуюся в классовом мезальянсе, и как ей вдруг пришло в голову, что, сделав это, она помогла бы подруге. В новом фильме Клеопатра ловко вырезала фразу "И мне вдруг пришло в голову, что я смогла бы помочь Джули", оставив только "я написала эту бумагу". И еще она убрала последнее предложение: "А Марковича я превратила в болгарина". Результат вышел точно по Эйзенштейну.

В тот день мы забыли о трезвой жизни, а ночью Сидония, Мирек и я добрались до гостиницы на такси. Не сказать чтобы Лестер побоялся доверить нам свою машину, — его уже ничто не пугало, он спал на полу под роялем.

ДО СИХ ПОР ни капитану Уэбберу, ни его помощнице не удалось раскрыть убийство Хэммета, потому что с алиби Коттона Мэдера не было полной ясности. Коттон объяснял свое отсутствие в Сан-Франциско тем, что день убийства и три последующих дня провел у друзей, в их коттедже, затерянном в дремучих лесах острова Ванкувер. К сожалению, люди, у которых он гостил, уехали оттуда на день раньше него, а куда они отправились, он не знал. ФБР объявило розыск, но пока еще свидетелей не отыскали.

Дело зашло в тупик. Профессор Мэдер не отрицала, что брат заезжал к ней на часок за два дня до убийства мужа, но, поскольку оба супруга не выносили Коттона, Мэри, чтобы побыстрее его спровадить, откупилась кругленькой суммой, которую он потребовал.

Сержанту и ее начальнику не удавалось "расколоть" и связанных взаимным алиби Келли и Браун, которые провели ту роковую ночь в мотеле "Ксанаду". Это подтвердил один из постояльцев. Спьяну он ломился в их дверь в девять тридцать вечера, требуя его впустить. Они были в комнате, лежали раздетые в кровати. Келли набросил халат и дотащил захмелевшего господина до номера, где его с нетерпением ожидала жена. Она перебросилась с Келли несколькими словами и позднее подтвердила его алиби.

Это положило конец гипотезе в духе Эркюля Пуаро: парочка сговорилась убить Хэммета, и после того, как они зарегистрировались в мотеле, Келли вылез в окно, поехал в дом Мэдер, задушил Хэммета, вернулся в мотель и влез обратно в свой номер около десяти вечера. По заключению судебно-медицинской экспертизы, убийство произошло не позднее девяти часов, то есть в то время, когда Келли и Браун заполняли регистрационные карточки в мотеле.

Список подозреваемых опустел, и капитан Уэббер не мог придумать, кого бы еще проверить. Если только Роберта Браунинга, застенчивого студента, которого Купер завалил на экзамене по математике, – сержант Сейерс полагала, что он может быть наемным убийцей.

– Браунинг? – опешил я.

Я припомнил лицо очкарика и то, как он открыл дверь в кабинет Купера, где тот уединился с Кендейс Квентин, затем поспешно захлопнул дверь и ретировался, воскликнув полушепотом: "Простите! Я зайду попозже!"

– Браунинг, – повторила сержант Сейерс и принялась рассуждать в духе господина Мрквички. – Предположим, он ненавидел Купера, а Мэдер доверял. И она пообещала поставить ему отлично, если он убьет ее мужа.

– Не кажется ли вам, что это слишком неправдоподобно?

– Вы сами говорили, что, исключив все самое невероятное, в остатке мы получаем истину, какой бы неправдоподобной она ни казалась.

– Это не я говорил, а Шерлок Холмс. Да и то гипотетически...

Тем не менее сержант держалась за свою диковинную версию и все-таки заставила капитана Уэббера вызвать перепуганного Браунинга на допрос, но едва Уэббер его увидел и услышал его голос, дрожавший, как струны под смычком неумелого скрипача, как тут же отпустил, а сержанту сделал очень злое и несправедливое замечание. Но что именно он сказал, она мне сообщить отказалась.

КОГДА Я ВОШЕЛ в преподавательскую, Мэри Мэдер сидела там одна. Я вежливо поинтересовался, не ждет ли она кого-нибудь, и она ответила, что да, ждет коллегу из Корнелла, который будет оппонировать на защите докторской. Пришлось составить ей компанию. Она укоризненно взглянула на мой "манхэттен", а я выразил запоздалые соболезнования по поводу ее утраты.

Она поблагодарила и сказала:

— Самое ужасное, что меня еще и полиция терзает. Подозревают, что я каким-то образом причастна к убийству Реймонда.

— Боже правый! Не может быть! — наигранно возмутился я.

— С какой стати я обязана доказывать свое алиби?

— Обычная формальность. После убийства каждый, кто близко знал жертву, обязан предоставить алиби. И это ровным счетом ничего не означает.

— Вам видней, — сказала Мэдер, — вы преподаете мастерство детектива. Но мне все равно обидно.

Я ей горячо посочувствовал, но повторил, что проверка алиби после убийства — обычная следственная процедура. Потом я отхлебнул "манхэттена" и грустно вздохнул.

— Когда мы беседовали в последний раз, ваш муж был еще жив.

— Когда это было?

— В самолете в Чикаго. Мы летели туда на конференцию.

— Да, верно.

Мне показалось, что она с трудом вспомнила этот случай.

— Давно это было.

Это было в начале семестра, но я не стал ее поправлять.

— Мы говорили о докладе, который вы собирались прочесть на вашей конференции.

— Не помню.

— Вы сказали, что, по сути, это будет некролог профессору Пастернаку и намеревались зачитать отрывки из письма, которое ваш кузен прислал вам незадолго до смерти.

— Из письма? — Она будто опешила, но затем вспомнила и это. — Верно. Вы правы, я цитировала отрывки из его письма.

— Вы еще сказали, что доклад выльется в своеобразную математическую pointe.

— Даже так? Хотя теперь, когда вы об этом заговорили, я кое-что действительно припоминаю: была у меня такая мысль, но, подумав, я от нее отказалась. Доклад получился в прямом смысле некрологом. Обошлось без pointe.

Все это я уже знал от Оскара. Но память у меня оказалось лучше, чем у Мэдер. Она взглянула на свои наручные часы и сказала:

— Надо идти. У меня важная встреча, нельзя опаздывать. Не окажете мне любезность?

— Безусловно.

— Когда появится мой коллега из Корнелла, передайте ему, пожалуйста, что я ждала его полтора часа, но вынуждена была уйти. И попросите, чтобы он подошел к стойке дежурного в "Харт хаусе". Там для него забронирована комната.

Мэдер встала.

— Надеюсь, я смогу его узнать, если увижу, — сказал я.

— Он всегда и везде с красавицей женой. Уверена, что вы не сможете ее не заметить.

Неужто она способна острить? Вероятно, это был саркастический намек на мой интерес к юным красоткам.

— Его зовут профессор Оскар Плавиц, — произнесла она сухо и вышла из комнаты.

Не прошло и пяти минут, как появилась ослепительная жена Оскара с пухлой сумочкой, но без мужа. Меня она заметила сразу – в преподавательской больше никого не было – и с радостью села рядом. Я передал ей слова Мэдер.

– Оскара прихватило, – сказала она. – Мы уже заняли комнату в "Харт хаусе", а потом у Оскара начался приступ, и он не смог поспеть на встречу с миссис Мэдер.

– Надеюсь, ничего страшного?

– Да бросьте! Как будто вы не знаете Оскара. Втемяшилось ему, что у него сердечный приступ. Я его разубедить не смогла, пришлось вызывать "скорую". Сердце, естественно, оказалось не при чем. В самолете он съел и свой и мой обед, и дело кончилось изжогой.

– Он в постели?

– Нет. Он в туалете. Помимо своих обычных таблеток, наглотался еще какой-то дряни, которую ему дали от изжоги в аптеке аэропорта, – теперь сидит на толчке. Не волнуйтесь, скоро появится.

Едва она договорила, как в комнату вошел Оскар Плавиц.

В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА "Смерть коммунизму!" отреагировали именно так, как я предполагал. Победа Сидонии в суде никакого значения для них не имела, а несогласие с законным решением они подкрепили большой подборкой доводов. Из репертуара не был исключен и классический argumentum ad hominem[1], что тоже соответствовало моим прогнозам. Истинное лицо Сидонии, писал новоявленный автор по имени Ян Коч, продемонстрировали кадры фильма, призванного хоть немного ее обелить; вопреки задуманному, в одной из сцен она предстала в откровенно нетрезвом виде. Уже знакомый мне Скрзкрк объединил выводы блондинки из МВД с высказываниями примолкшего доктора Адольфа Грабе, доктора наук, и пришел к заключению, что, во-первых, судьи не разобрались в особенностях документа, а во-вторых, Сидония, сама того не сознавая, превратилась в агента КНБ в ту самую минуту, когда села писать характеристику на Джули Тибурчеву, сколь бы благими ни были ее намерения. Суждения Коча и Скрзкрка получили дальнейшее развитие в письме читателя, подписавшегося "Постскриптум": по его мнению, судьи отлично разбирались в специфике подобных документов, но все они были коммунисты и потому принимали решения в пользу истцов, дабы убрать их имена из Списка и таким способом оградить своих от нападок нового МВД. Видимо, P. S. полагал, что в новом МВД коммунисты не служили, но в таком случае его утверждения вступали в противоречие с концепцией "Смерть коммунизму!". Согласно основной теории еженедельника, даже старый друг Сидонии, нынешний президент, был коммунистом и сотрудничал с органами. Редактор, вероятно, не заметил такого faux pas. Другой автор, доктор Отто Скворцени, высказывался в том смысле, что, судя по просочившейся в некоторые газеты за последние пять лет секретной информации, в КНБ из страха уничтожили значительную часть документации. Для убедительности он напомнил читателям о клубах темного дыма, поднимавшегося, по слухам, из труб на крыше здания КНБ в столице Моравии Брно, и

1. Довод, рассчитанный на чувства (*лат.*).

для большей убедительности привел поговорку о дыме, которого не бывает без огня. Он считал, что сгоревшие в топках архивы объясняют, почему в деле Сидонии не оказалось ничего, кроме характеристики, упоминавшейся в нескольких ее интервью. Но это, писал доктор Скворцени, ни в коей мере не доказывает, что *изначально* (курсив доктора Скворцени) в ее досье не было иных, не столь безобидных, документов. Например, подписки о согласии сотрудничать. Не секрет, что агенты КНБ защищали своих даже при новом режиме, и нашлись люди, которые, скорее всего, извлекли порочащий документ из досье Сидонии, оставив в нем только характеристику на Тибурчеву, чтобы адвокату Сидонии было на чем строить защиту.

Аналогичное предположение уже выдвигалось в статье "Карты на стол, госпожа Сидония!". С позиции строгой логики против того, что досье Сидонии якобы неполное, возразить нечего. Только я знал, что в нем ничего больше не было, но давать письменные показания под присягой журналу "Смерть коммунизму!" в мои намерения не входило. Я не собирался давать доктору Адольфу Грабе, доктору наук, возможности нарушить молчание и с издевкой напомнить мне о незаконности такого рода показаний, поскольку обвиняемая (д-р Грабе и иже с ним часто допускали фрейдистскую оговорку, превращая Сидонию из истицы в обвиняемую) — моя жена. Вступить в дискуссию с авторами "Смерть коммунизму!" было все равно, что загнать себя в порочный круг. В нашем с Сидонией бывшем отечестве все было недоказуемо, а судов присяжных не существовало. Явись в небе над Прагой, как "еврейская мама" над Манхэттеном в фильме Вуди Аллена, хоть сам Спаситель, дабы возвестить о невиновности Сидонии, сюрреалисты из антикоммунистического журнала сказали бы, что это подстроили голливудские трюкачи под руководством одного из ее старых приятелей, знаменитого американского кинорежиссера.

Журнальную антологию, посвященную Сидонии, завершала статья, в которой господин Мрквичка разделял недоумение блондинки из МВД. Он никак не мог взять в толк, чего именно добивались Сидония "и ее клика", ведь то, что чья-то фамилия оказалась в архивах министерства или, если угодно, в Списке, не доказывало причастности самого человека к работе органов. Это свидетельствовало только о том, что его имя фигурировало в документах. Мрквичка не утруждал себя точным цитированием. Из номера в номер его еженедельник демонстрировал то же самое, что и поименный Список.

Но Сидонию подкосил не разгул глупости в стране, где мы с ней когда-то жили. То, что потрясло ее, как разорвавшийся снаряд, произошло накануне ее победы в суде, и журнал господина Мрквички прямого отношения к этому не имел.

— ПРИВЕТ! — сказал Оскар Плавиц и в изнеможении рухнул на стул рядом с женой. — Марселла, дай мне каопектат, — пролепетал он, повернув к ней голову.

— В прошлый раз тебе уголь помог, — сказала Марселла и протянула ему склянку с черными пилюлями.

Оскар внимательно ознакомился с инструкцией на этикетке.

— Их нельзя принимать с другими препаратами. Они обладают нейтрализующим эффектом. Дай мне каопектат!

Пластиковый пузырек с закрепляющим тоже был снабжен инструкцией, и Марселла ее прочла.

— Ровным счетом то же самое, — сказала она. — Блокирует действие других препаратов.

— Что же мне делать? — захныкал муж.

— Набить желудок шоколадом, — посоветовал я. — Он цементирует кишки не хуже каопектата, но на другие лекарства, за исключением пенициллина, действия не оказывает.

— Пенициллин мне противококазан. У меня на него аллергия. — Оскар огляделся. — Не знаешь, у вас тут продается шоколад?

— У нас продается шоколадный ликер "Болс".

Следующий час я провел с Марселлой, мы весело болтали о всякой всячине. В Праге она знала всех, кто занимался театром и, что удивительно, а может, и не так уж удивительно, — литературой. Она была знакома даже с приятелем Сидонии, президентом страны, так что темы для разговора не иссякали. Я хотел расспросить кое о чем и Оскара, но он с головой погрузился в другое занятие: цементировал кишечник шоколадным ликером. Напиток вызвал амнезию, Оскар позабыл о приеме лекарств, хотя сумочка трезвонила и ликер не заблокировал бы действие других препаратов.

Когда мы прощались в холле (преподавательская тоже находилась в "Харт хаусе"), я спросил Оскара:

— Послушай, а кто нашел мертвого Мортимера Пастернака? В газетах писали, что его обнаружил в кабинете кто-то из коллег. Не ты?

Оскара качнуло, но Марселла удержала его на месте.

— Не я... нет, — промямлил он. — Да ты его знаешь, он из вашего колледжа... теорема его именем называется... забыл, черт...

Глава 10
Еженедельник "Прага" проводит общественный опрос, а дело начинает проясняться, по крайней мере для меня

МАТЕРИАЛ БЫЛ СОМНИТЕЛЬНЫЙ, опубликованный незаконно, невзирая на государственный гриф "совершенно секретно". Но для редакции литературного еженедельника "Прага" все это помехой не стало. Газета провела общественный опрос на тему "виновны или невиновны" писатели, означенные в Списке. Я был ошарашен, узнав, сколько "инженеров человеческих душ" откликнулись на опрос — в стороне осталась лишь малая часть цеха — и с какой яростью они осуждали своих коллег, якобы оказавшихся стукачами КНБ. Писателям, казалось бы, не пристало столь опрометчиво разбрасываться если не суждениями, то на худой конец словами; кроме того, следовало бы учитывать конкретный исторический контекст. Никто, кроме самих стукачей, информаторов КНБ не жаловал. Но "инженеры" бескомпромиссно, основываясь на публикациях сомнительного таблоида, разоблачали не тех коллег, которые действительно когда-то стучали, а тех, чьи имена попали в Список, что, как утверждала блондинка правовед, свидетельствовало лишь об одном: этих людей включили в список — только и всего. Я никогда не

изучал семантику, но я — писатель, хотя и детективщик, но все-таки писатель. Семантический сдвиг от умеренного лицемерия представителя МВД в сторону гневных публичных обвинений в литературном еженедельнике был до боли очевиден.

Читая писанину скорых на расправу коллег, которых я когда-то знал, я снова вспомнил совет Грэма Грина, моего знаменитого друга и наставника: писателю, именно в силу того, что он писатель, следует сосредоточиться не на тех персонажах, которые всем симпатичны, а на тех, на которых клейма негде ставить. И еще я вспомнил стукачку Илону Копанек, нарожавшую детей от чужого мужа, и то, как лестно о ней отзывался полковник КНБ в отставке, ныне процветающий канадский предприниматель Войтех Кисели. "Инженеры", конечно, ничего не знали про Илону, эта информация попала ко мне из уст бывшего сотрудника госбезопасности, у которого, возможно, пробудилась совесть. Большинство участвовавших в опросе "инженеров" сомнениями не мучились. Они выплескивали на бумагу потоки негодования, возмущаясь недоказанными преступлениями, а я не мог уяснить, что это: отсутствие нравственных барьеров или недостаток воображения, необходимого в их ремесле. Это свойство, как утверждали старые романтики, выражается в умении влезать в чужую шкуру — вот что помогало старикам вроде графа Толстого познать несчастную женскую душу. Отсутствие этого природного дара на получение "инженерских" дипломов, как видно, не влияло.

Это была катастрофа. Но в душе Сидонии гранатой разорвались слова других авторов — тех, кого она печатала. Еще недавно, когда на нашей родине всем заправляла компартия, моя жена трудилась до седьмого пота, чтобы их детища (как называл свои книги великий английский писатель Диккенс) увидели свет. Все их создания нашли приют под крышей ее издательского дома. Она стала для них хорошей мачехой, как и земля, которую Сидония назвала так в своей речи; кстати, копию этой речи пожелали получить профессора приютившей нас страны. Хотя Сидония и не была им матерью, она радовалась за питомцев вместе с авторами, разбросанными по разным уголкам земного шара ударом железного кулака. Она переживала, когда кто-то из них не находил понимания среди женской половины ее читателей. Она была им всего лишь мачехой, они — смыслом ее жизни.

ОТЦОМ ДВУХ ТАКИХ ДЕТИЩ был Лукаш Вархола, прослывший мыслителем, если не мудрецом. Он предложил организовать нечто вроде суда равных, чтобы было кому устанавливать виновность и оглашать приговоры. Такое предложение, вероятно, стало следствием умственных тренировок, которыми он занимался до того как стал писателем, когда входил в правивший страной элитарный клуб, члены которого гордо именовали себя людьми "особой закваски".

В ту почти доисторическую эпоху, в августе 1968 года, перед самым вторжением танков, мы с моим старинным другом Оченашем стояли как-то на одной смотровой площадке в Праге, наблюдая за "инженерами", съезжавшимися на прием, устроенный тогдашним руководителем страны Александром Дубчеком. Мы обсуждали, почему это ни он, ни я не принадлежим к категории людей "особой закваски". Молодые они и глупые, говорил Оченаш. А мы что, старые и умные? — не унимался я. Позднее, уже дома, я вдруг сообразил, что мы тоже были молодые и глу-

пые, но своими глупостями портили жизнь только себе, а не миллионам сограждан.

СИДОНИЯ О ТАКИХ ВЕЩАХ никогда не рассуждала, хотя "клуб" – а это поистине был закрытый клуб беспредельно властвовавшей в стране верхушки – отправил ее брата в двенадцатилетнюю ссылку на урановые рудники и вышвырнул в Америку отца, которого похоронили затем на каком-то кладбище для неимущих. Когда Сидония ездила в Нью-Йорк, она попыталась найти могилу, но ее уже сровняли с землей.

Члены клуба исковеркали судьбу двух ее сестер: те вступили во взрослую жизнь, не получив высшего образования, доступного лишь избранным, и стали рабочими, что, как это ни парадоксально для страны, которой правили люди "особой закваски", считалось наказанием. Сидония избежала участи сестер, потому что вышла за меня (по приказу КНБ, как утверждал господин Мрквичка) и в качестве моей жены проникла в привилегированное общество "инженеров человеческих душ". Один из них, мой друг, преподаватель киноакадемии, успешно провел ее сквозь все препоны, связанные с неподходящим классовым происхождением, и она поступила в вуз, но потом ее вышибли оттуда все тем же железным кулаком. Друг тоже покинул страну вскоре после нашего с Сидонией отъезда и добился успеха и признания как автор романов. Но главное, что он стал ее автором, а она – мачехой для всех его созданий, пока они говорили на нашем родном языке. Мой прославившийся друг владел тайнами ремесла и ни разу не разочаровал Сидонию. Он перестал быть "инженером человеческих душ" много-много лет назад.

ЛЕОНИ, ЛЮБИМЫЙ АВТОР Сидонии, была дочерью человека, который большую часть жизни с удовольствием причислял себя к людям "особой закваски", поэтому девушке, в отличие от сестер Сидонии, классовые гонения не грозили. Отец Леони взлетел очень высоко: он регулярно играл в покер с президентом Новотным[1] в Градчанском замке и потому в народе звался "современным Карелом Чапеком", целиком и полностью зависящим от положения "современного Масарика"[2]. Но отец Леони, вопреки примеру Чапека, так и не написал "Беседы с Новотным". Он просто играл с президентом в карты. Да и вряд ли бы вышел толк из этих записок: Новотный выражался исключительно на партийном жаргоне, и их беседы, положенные на бумагу, никогда бы не стали бестселлером, как книга Чапека.

Затем и отец Леони угодил под железный кулак, но она успела получить образование прежде чем ее наказали, опустив до уровня рабочего класса. Леони пошла в уборщицы и по ночам работала в кинотеатре.

Сидония никогда не обсуждала семью Леони, чья жизнь и судьба резко отличались от ее собственной. К двум печатавшимся в ее издательстве книгам Леони она проявляла особую заботу, вероятно, из женской солидарности, которая существует наряду с женской враждой, но проявляется сильнее, а может, и потому, что клиентки Сидонии, поженски завидуя Леони, придирались к ее литературным творениям.

1. Антонин Новотный – президент ЧССР в 1957–1968 гг.
2. Т. Масарик – первый президент Чехословакии в 1918–1935 гг. Далее имеется в виду книга К. Чапека "Беседы с Масариком".

Ознакомившись со Списком господина Мрквички, Леони, несомненно из лучших побуждений, прислала моей жене письмо, шрапнелью вспоровшее сердце Сидонии. Вы согрешили, уважаемая Сидония, писала Леони, но мы вас прощаем. Она не хотела сказать ничего плохого. С тех пор как ее отец впал в немилость у хозяев замка, Леони двадцать лет кряду мела полы в кинотеатре, а Сидония избежала подобной участи, вовремя уехав со мной из страны. Поэтому теперь Леони ее прощала — но все-таки за что? Может, все ее грехи состояли в глупом желании выручить подругу? И кто такие "мы"? Может, те самые "мы", что не погнушались жестоко наказать брата Сидонии, отца и всю ее семью? Заявление Леони подпортили два пункта. Ее фраза о прощении автоматически выдавала доверчивость Леони, для литератора неприемлемую: все хорошие писатели знают, что первая возникающая в голове мысль должна быть отвергнута. С импульсивными суждениями надо бороться силой разума по принципу Грэма Грина: писатель должен стараться проникнуть в душу изгоя.

На Сидонию разом нахлынули мысли, которые прежде ее не донимали, в душе всколыхнулись несвойственные ей чувства: в памяти всплыло голодное и холодное детство, знакомое Леони и мудрейшему Вархоле только из книжек Диккенса, вонючая уборная, воспоминания о которой еще долго преследовали нас в кошмарных снах и заставляли Сидонию содрогаться всякий раз, когда ей приходилось пользоваться общественным туалетом. С чего это псевдомудрец и дочь картежника решили, что у них есть право отпускать Сидонии грехи? Быть может, *им самим* следовало бы просить прощения у нее? Они, а не Сидония, участвовали в мерзостях либо, благодаря чужим мерзостям, наслаждались благами жизни, пока она чувствовала себя в построенном ими обществе нищенкой на паперти.

И Вархоле, и Леони Сидония отправила по письму — вряд ли им захотелось повесить эти послания на стену в золоченой рамке, но она их все-таки прощала, ведь, как сказал судье ее брат, бывший политзаключенный, она всегда была хорошей девочкой.

КЕНДЕЙС Я ЗАМЕТИЛ в фойе кинотеатра в толпе девиц, обступивших знаменитого режиссера. Я подошел к ней и сказал:

— Хотите, познакомлю?

— Нет! Что вы! — пролепетала Кендейс и зарделась.

Режиссер был очень известный. Если женщина говорит "нет", иногда это следует понимать как "да", но если она все-таки отказывается — это, конечно, исключение из закона природы.

Всемирно известный кинорежиссер[1] был одним из моих старинных друзей. Однажды мы вместе написали сценарий фильма, который потом зарезали представители партийной власти. Помимо дружбы, я был признателен ему за то, что эпиграфом к сценарию своего первого фильма он взял цитату из моего детектива: с точки зрения высоких моральных норм того времени он поступил безнравственно. Тот фильм, наряду с несколькими другими, снятыми на нашей прежней родине, завоевал международное признание; к счастью, он вышел, когда лед по-

1. Речь идет о Милоше Формане.

литического режима начал давать трещины. Дальнейшая карьера его создателя, как мы того ожидали, оказалась блистательной. Его пригласили в Голливуд и впоследствии наградили двумя "Оскарами". За годы, пролетевшие со дня выхода фильма, который мне был особенно дорог из-за эпиграфа, он соблазнил тьму женщин, но опасность неоднократно побывать в голливудских мужьях ему не грозила: в Праге он оставил жену. Она с ним так и не развелась, потому что была умной чешской девушкой.

В тот день режиссер присутствовал на торонтской премьере своего нового фильма, и, хотя он везде появлялся с новой темнокожей подружкой, я знал, что он ничего не будет иметь против, если я представлю ему первую красавицу нашего колледжа. Я не ошибся: он одарил Кендейс гипнотической улыбкой покорителя кинозалов и присоединил ее к своей свите — сам я, извинившись, ушел, будучи уверен, что в тот вечер ничего не случится: темнокожая дива его от себя не отпустит.

Тем не менее когда на следующий день наша королева вошла в "Хромую утку", по выражению лица я понял, что сердце ее пронзила символическая стрела. Я поманил ее пальцем со своего пьедестала у бара, и она, улыбаясь, бросилась ко мне. Эта улыбка меня не заворожила, потому что, в отличие от прежних, была естественной.

— Понравился вам режиссер? — спросил я. На бармена отвлекаться не пришлось: само появление Мисс Очарование Эденвейла за стойкой бара было равносильно заказу, который следовало выполнить тотчас.

— Он мне жутко понравился, сэр! Откуда вы его знаете?

— Мы были в одной колонии для малолетних преступников.

— Неужели? — вздохнула она, но немедленно взяла себя в руки. Голливудский гипнотизм посторонился, уступая место доводам рассудка. — Чешский юмор? — процедила она сквозь зубы, обрамленные хорошо мне знакомой презрительной ухмылочкой. — Вас послушать, так и "Лили Марлен" — нацистская песня. Со мной эти штучки не пройдут.

Я не стал вступать в спор с целью развеять ее иллюзии относительно этнического происхождения дамы, которая когда-то стояла "bei der Laterne, bei dem grossen Tor"[1], а сразу перешел к сути дела.

— Мне придется вас выдать.

— Вы не могли бы выражаться яснее?

Презрительный изгиб ее губ прорисовался отчетливее.

— Я подразумеваю не внезапные успехи в математике. Насчет этого можете не волноваться.

— Я и не волнуюсь. Вам обо мне ничего не известно. — Она отпила виски, демонстрируя полную уверенность в себе. — Ваш друг, режиссер, ни на шаг не отходил от своей афро-американской подруги. В гостинице они поселились в одном номере.

— Я не перестаю получать уроки из области современных нравов, но клянусь вам, такая мысль мне и в голову не приходила.

— Если б я захотела трахнуться с вашим другом, то не стала бы делать этого в Торонто. Он сказал, что у него ферма в Коннектикуте.

О времена!

– Не советую вам ездить на эту ферму.

1. "Под фонарем, у больших ворот" (*нем.*) — слова из знаменитой в годы Второй мировой войны песни "Лили Марлен".

— Я в ваших советах не нуждаюсь.

Но Кендейс не встала и не пошла к своим приятелям с заклепками в ушах, сидевшим за столиком в обществе Дьюи, которая в тот день обошлась без кольца в губе, зато вставила по кольцу в ноздри. Кендейс махнула рукой бармену, я сделал то же самое. Мы долго молчали, красавица указательным пальцем закручивала распустившийся локон. Прошла вечность, прежде чем она спросила:

— Так что же вы все-таки собираетесь про меня рассказать?

— Фредди Гамильтона на той вечеринке не было.

— На какой вечеринке?

— В день, когда убили Реймонда Хэммета.

— Вы полагаете, что я была на той вечеринке?

— Вы сами мне об этом сказали. И вам показалось, что там был и Фредди Гамильтон.

— Не понимаю, о чем вы говорите. Никакой такой вечеринки я не помню. — Она замолчала, немного подумала и добавила: — Это, конечно, не означает, что я в тот вечер вообще не была *ни на какой* вечеринке. Я, сэр, в социально неактивную группу не записывалась.

— Вы, вероятно, помните, как я подвез вас к спальному корпусу.

— Ах, это... помню, да.

Избирательность ее памяти имела логическое объяснение. Социально активная особа могла и не помнить все до единой вечеринки, на которых бывала. Но ведь не каждую ночь ее подбирал на дороге в Крестхилл и довозил до кампуса преподаватель.

Потом Кендейс совершила промах.

— Я говорила, что не уверена, был ли Фредди Гамильтон на той вечеринке.

— Значит, вы помните ту вечеринку? Вы на ней были?

— Ладно... была.

— Вас там не было, мисс Кендейс.

СИДОНИЯ УСНУЛА РАНО, в начале седьмого, опорожнив бутылку джина. Я провел остаток вечера, пересматривая творение Клеопатры, которое мы привезли из Праги в Торонто. Снова появилась блондинка из МВД: правовед ушлый, но с недопониманием. Снова я учился у предавшей нас Клеопатры технике монтажа, который смахивал на склейки ее советских учителей, ничтоже сумняшеся искажавших факты. Я слушал людей из Списка, высказывания которых перемежались несоразмерными по продолжительности кусками с Мрквичкой, выдававшим свои домыслы за истину, и схожими по содержанию, но еще более пространными речами другого сотрудника МВД. Этот тип толковал о сложной и выверенной системе, в соответствии с которой на человека могли завести досье, поэтому возможность фальсификации исключалась — все это искусно наводило зрителя на мысль о том, что в нашей бывшей стране, где все госучреждения занимались подтасовками, существовало одно место, где работали люди кристальной честности, такие, как он сам.

Лысоватого сотрудника МВД сменила неизвестная вдова. Ее муж, в Списке отсутствовавший, был расстрелян при попытке к бегству из лагеря. Чтоб создать видимость объективного подхода к проблеме, вдову пригласили вместо матери другого политзаключенного, тоже убитого

при попытке к бегству из лагеря, но в Список занесенного. Время от времени на экране появлялся всякий раз менявший цвет и косивший глазками хамелеон с длинным языком. Даже тем, кто, в отличие от преподавателей колледжа, не проходил курс интерпретации символов, было ясно, что хамелеон — носитель послания следующего содержания: кто-то говорит неправду. Разумеется, не вдова убитого зэка, не включенного в Список, — у нее имелось свидетельство о его смерти. У матери другого убитого было такое же свидетельство, но оно никак не объясняло причину, по которой ее сын попал в Список. Так, объективность подспудно оборачивалась своей противоположностью, а люди, оправданные судом, мало-помалу стали походить на косоглазое животное.

Потом Мрквичка назвал господина — не меня, — который приходил в редакцию еженедельника "Смерть коммунизму!" и в ярости грозился подать на них в суд, но сник, едва юрист из МВД ознакомил его с заведенным на него досье. Этот господин клялся, что досье — фальшивка КНБ, но зрителям тут же напомнили, что в упомянутом Учреждении не лжесвидетельствуют на ближнего своего. После того как сердитого господина стерли в порошок, хамелеон появился снова, на этот раз весь пятнистый.

В фильме господин Мрквичка не упомянул о моем визите в редакцию, как не упомянул он и о моей угрозе подать на него в суд. Наш адвокат тем не менее потребовала вызвать в суд издателя "Смерти", а заодно и миссис Парсонс из Торонто.

ДАБЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ, что у всего, перед тем показанного, есть и оборотная сторона, на экране появился еще один сотрудник МВД. Он не стал утверждать, что ошибки в досье невозможны. Но даже я со своим опытом сочинительства детективов не сумел следовать его логике, застряв на полпути в силлогизмах. Итог его рассуждений, насколько я мог понять, сводился к тому, что абсолютной уверенности ни в чем быть не может из-за допущенных ошибок, исчезновения или смерти сотрудников и утраты значительной части архивных материалов. В кадре так и не появился человек, который оценил бы Список, исходя из того же принципа абсолютной неуверенности: в фильме обсуждались конкретные люди, но никто даже не обмолвился о том, что все, якобы известное про них, основано лишь на слухах, — ни блондинка, ни мать убитого политзаключенного, ни профессор права, чей совет показался мне наиболее занимательным. Если гражданин, говорил он, считает, что выдвинутые против него обвинения необоснованны, являются результатом ошибки либо бездоказательных выводов, то в его праве доказать, что вынесенный приговор должен был быть иным.

Клеопатра не воспользовалась опытом специалистов в области советской юриспруденции, которые могли бы разъяснить зрителям правоведческие теории главного сталинского обвинителя Вышинского, строившиеся по той же схеме, которую предложил чешский профессор. Она просто включила в монтаж кадры с меняющим цвет животным. От симпатии, которую я испытывал к ней благодаря мужу джазисту, не осталось и следа.

Я ВЫКЛЮЧИЛ ТЕЛЕВИЗОР и пошел в спальню. Сидония, накачавшись джином, уже спала. Я лег и мысленно стал просматривать другой,

очень старый фильм. Мы с Сидонией, промокшие до нитки, шагаем по горной тропе к теплому уютному домику Петера. А вот мы уже танцуем в пражском зале "Джулда-фулда": Сидония в вечернем платье, украшенном блестками, каких в Праге по тем временам было не достать. Я ездил в Париж и два дарованных мне драгоценных дня провел не в Лувре и не в ресторане "Дё Маго", а в магазинах, охотясь за этими блестками, — ведь я любил Сидонию. Вот она зубрит историю кино на нашей дачке в Хломеке уже после того, как друг из киноакадемии, ставший всемирно известным писателем, провел ее перед зачислением через минное поле классовой борьбы. В тот день летом 1968 года, меньше чем за месяц до удара железного кулака, я, предчувствуя неладное, читал обращение к народу нашего поэта-мудреца, призывавшего восстать и согнать дискредитировавших себя партийцев с насиженных мест. Можно было подумать, он не знал страны, которая еще накануне олицетворяла собой утопическое будущее. Для меня все было иначе: я ту страну знал, и знал, возможно, лучше, чем наш мудрец, поэтому по моей спине пробежал холодок страха. Я испугался, как бы "клуб", который едва не раздавил Сидонию в пору, когда его члены были молоды и глупы, не довел свое дело до конца теперь, когда они состарились, но так и не поумнели.

Уснуть не удалось. Я тихонько поднялся и пошел в кабинет Сидонии. Включив компьютер, я увидел на мутном экране текст ее неоконченного романа. К глазам подступили слезы. И я заплакал. Может, виной тому была старость и еще сознание того, что беззаботная прогулка под дождем к теплому и уютному гнездышку Петера в горах больше никогда не повторится.

— В ТОТ ВЕЧЕР вы поехали к профессору Мэдер: может, искали утешения, а может, она обещала с вами позаниматься. Ведь Купер спровадил вас после того, как вы ему кое-что предложили.

Кендейс сверкнула глазами.

— И что же я ему предложила?

— Это старый трюк, описанный в романах, и, если мужчина отвергает подобное предложение, женщина убегает в слезах.

Она перевела взгляд с моего лица на свой бокал.

— Но ваши слезы были вызваны гневом и беспомощностью, а не безответной любовью. Баллы, которые грозили вам по предмету Купера, стали бы серьезным препятствием для поступления на юридический.

За столиком в углу кто-то начал терзать гитару. Точнее, отбивать на струнах монотонный ритм. Я обернулся и увидел одного из юнцов, обезличенных несметным количеством торчащих в ушах колец. Дьюи Дрейк запела или, скорее, запищала, хотя и в такт гитаре, но безбожно фальшивя.

— Чудеса, да и только! — театрально воскликнул я. — Вопреки всем ожиданиям, вы сдали выпускной экзамен на отлично, и Купер, сидя в преподавательской, расхваливал ваши достижения в области математики.

— Я *вызубрила* всю эту хренотень!

— Вызубрили. До такой степени, что получили отличную оценку, хотя, если подсчитать проценты, такой результат в рамках точной науки исключен. С вашими успехами в математике этого нельзя не знать.

Она молчала.

— Если только Купер не переправил ваши неуды по всем контрольным на высший балл.

И снова тишина. Если не считать попискивания Дьюи.

— Ваши невероятные достижения некоторым образом связаны с тем, чем вы занимались у профессора Мэдер в ту ночь, когда я вас подвез. Либо с тем, что вы в ее доме увидели.

— В последний раз я переступила порог ее дома год назад, — ответила наконец Кендейс. — Профессор Мэдер давала мне тогда частные уроки.

— Нет. В последний раз вы побывали у нее в доме в ту ночь, когда кто-то прикончил ее мужа.

Она пустила в ход иронию.

— И что же, скажите на милость, следует из этой теории?

— Гипотезы, мисс Квентин. Теория строится на установленных фактах. Гипотеза — всего лишь догадка. Она может быть научно обоснована, но все равно остается догадкой.

Ответа не последовало. К Дьюи присоединились два увешанных кольцами парня с мощными, но отнюдь не мелодичными голосами.

— Гипотеза, конечно, способна превратиться в теорию, если будут установлены некоторые факты. Например, необходимо выяснить, кто рылся в картотеке профессора Мэдер и оставил там кусочек лака для ногтей такого же цвета, как тот, что моя жена нашла, убираясь в машине. В той самой машине, на которой я вас подвозил.

— Вы правы, сэр. Это всего лишь гипотеза.

— Но она может перерасти в теорию. В кулаке у Хэммета полиция обнаружила пуговицу в форме футбольного мяча, какие обычно пришивают к английским твидовым пиджакам. Точно такие же пуговицы на пиджаке у профессора Купера. На последней вечеринке одна пуговица болталась на нитке — плохо была пришита. Моя жена Сидония это заметила.

Визг и рев в углу начинали действовать мне на нервы.

— В ящике с картотекой профессора Мэдер, — продолжал я, — там, где полиция нашла кусочек лака, одна из папок была раскрыта. В таком виде ее оставил некто с накрашенными ногтями. На папке стояло имя "Мортимер Пастернак".

— Не выношу, когда Дьюи визжит, — раздраженно сказала Квентин. — Идемте отсюда.

НАКАНУНЕ СИДОНИЯ мучилась от жуткого похмелья, и я испугался не на шутку. Обычно она лечилась гомеопатическими средствами, но вместо того, чтобы принимать джин небольшими дозами, опорожнила еще одну бутылку. Утром пришел факс от пражского адвоката, которая сообщала, что свидетельница Парсонс в суд не явилась. Согласно странному порядку, заведенному на нашей старой родине, в случае уклонения свидетелей от исполнения своих обязанностей судья просто-напросто откладывал слушание дела на неопределенный срок. По мнению адвоката, срок этот составлял полгода, но мог бы продлиться и дольше, а если Парсонс не объявится и в следующий раз, тогда судебное разбирательство могут отложить до начала нового века. Миссис Парсонс было семьдесят пять. Когда ей стукнет восемьдесят, неявку в суд можно будет оп-

равдать преклонным возрастом, если Парсонс вообще доживет до конца тысячелетия.

К моменту, когда я выходил из дому, чтобы ехать в колледж, Сидония успела прикончить половину следующей бутылки.

СЕРЖАНТ ЯВИЛАСЬ на утреннее занятие, сияя от радости, и я сразу решил, что убийца задержан и моя гипотеза лопнет, как мыльный пузырь. Но ее радость, оказывается, была вызвана не профессиональными успехами, а удивительными изменениями в ее форменной одежде. Даже я заметил, что мундир ей великоват.

— Морковь и сельдерей в сочетании с пилюлями? — спросил я, стараясь придать голосу оттенок ликования, хотя ничего даже близкого к этому не испытывал.

— Так точно! — звонко отчеканила сержант. — Двадцать фунтов долой! Как Опра!

— Во что вам это обошлось?

— Четыреста двадцать семь долларов семьдесят семь центов!

Из ящика стола я вытащил калькулятор (машинку я завел, чтобы подсчитывать баллы в процентах) и набрал исходные данные. Сейерс наблюдала за моими действиями с большим интересом.

— Двадцать один доллар и тридцать восемь центов за фунт. Существенно дороже, чем фунт говяжьей вырезки.

Ни разу не слышал, чтоб она так заливисто хохотала.

— Я сэкономила эти деньги на еде, — сказала она, отсмеявшись.

— Покрутитесь-ка, чтоб я вас получше рассмотрел! — сказал я и покосился на дверь, но она была распахнута, согласно правилам.

Сержант начала вращаться вокруг своей оси: форма свисала с нее мешком, даже сзади, там, где прежде выделялись женственные округлости. Она вертелась не останавливаясь, чтобы дать мне вволю наглядеться, какой стройности она добилась. Опру она переплюнула.

Проходившая мимо профессор Энн Кейт Болейн, наш секс-надзиратель, остановилась в дверях и бросила грозный взгляд на красующуюся передо мной девицу.

— Профессор Болейн, вы заметили, как похудела сержант? — поспешил сказать я.

Сейерс перестала вертеться и одарила Болейн широкой улыбкой.

— Нет, не заметила, — злобно бросила Болейн. — Но я заметила расписание на вашей двери, и сейчас вы обязаны ее учить.

Она резко развернулась и, гордо подняв голову, зашагала дальше.

— Но вы-то видите, сэр? — несчастным голосом спросила сержант.

— Форма висит на вас как на вешалке. Профессор Болейн женщина, и ей бы следовало это заметить.

— А вы когда заметили?

— Как только вы сюда вошли. Между нами, — сказал я, понизив голос, — профессор Болейн разочарована тем, что мы оставили дверь открытой. Мы лишили ее возможности принять меры.

— Так мне закрыть дверь?

— Лучше не надо. Вот увидите, она вернется. Если бы дверь была закрыта, она бы написала на меня докладную. А вы садитесь.

Сержант села за стол напротив меня, и мы затихли в ожидании. Я не ошибся, прогнозируя действия работника идеологического фронта.

Прошло совсем немного времени, и Болейн прошла мимо моей двери в обратном направлении.

— Вот и славно. Теперь покажите, что вы написали, — сказал я, как только Болейн метнула острый взгляд в распахнутую дверь моего кабинета.

— Ничего не написала, — честно ответила сержант. — Видите ли, сэр, если следовать вашей гипотезе, дело не раскрывается. Может, мне опять взяться за что-нибудь типа "запертой комнаты"?

— Дело не раскрывается, если следовать моей гипотезе?

— Да. Понимаете, тот наемный убийца... в общем, двух парней, которые были с Коттоном Мэдером в коттедже на острове Ванкувер, нашли. Теперь у него есть алиби.

— Понятно, — сказал я.

— Разрешите мне еще раз поработать над "тайной запертой комнаты"?

— Как хотите. Но я бы на вашем месте так легко не сдался. Алиби Мэдера означает только то, что наемным убийцей был кто-то другой.

— Но кто?

— Продолжайте расследование, думайте, делайте выводы. Пока это все.

Сержант ушла, так и не решив, кого предпочесть, Эдгара По или дядюшку Абнера. Тем не менее на следующее занятие она принесла новую версию "тайны", основанную на работе устройства с дистанционным управлением и переписанную с таким уклоном в невероятное, что даже после исключения всего самого невозможного в ней не осталось ни капли правды.

КОГДА Я ДНЕМ приехал домой, Сидония опять спала, а на кофейном столике стояла пустая бутылка. Я решил не будить жену, через час вернулся в Эденвейл и провел там остаток дня. После работы я застал Сидонию на кухне, за столом, с другой, на треть опорожненной, бутылкой. Я попытался ее образумить, но, конечно, безрезультатно.

Ночью я думал о том, как мы, бывало, сиживали по вечерам на балконе ее красивого офиса. На чистом небе Северной Америки поблескивало закатное солнце, Сидония правила гранки, а я курил толстую сигару. В те редкие часы на балконе нам было хорошо — нас объединяло дело.

Потом в Праге рухнул коммунистический режим. Издательство стало ненужным, и Сидония вдруг оказалась не у дел. Потом она получила орден Белого Льва. А потом был опубликован Список.

Я не спал, просто лежал в кровати. Рядом тяжело дышала Сидония, и недремлющая совесть вновь заставила меня вспомнить об идиотской попытке выручить жену — только через тридцать с лишним лет я понял, что натворил.

Я качал головой и мысленно видел Сидонию в старом вельветовом пальтишке: выйдя из троллейбуса, она шла ко мне на первое свидание на углу площади Венцеслауса.

Я накрыл голову одеялом, чтоб она не услышала, как я плачу.

Глава 11
Два убийства

МЫ ШЛИ с Кендейс Квентин по аллее, которую называли "восьмиминуткой": примерно столько требовалось студентам, чтобы из малого корпуса колледжа добраться пешком до главного здания. Мы не спешили. Я рассказывал ей о своей гипотезе, которая отчасти уже стала теорией. Время от времени я украдкой поглядывал на юное лицо Квентин. Оно делалось еще прекраснее благодаря игре света: лучи солнца, пробивавшиеся сквозь листву кленов, создавали поистине кинематографический эффект, и мне вспомнилось такое же юное лицо Сидонии в свете неоновых вывесок и уличных фонарей на углу площади Венцеслауса. Как давно, как же давно это было.

— В ту роковую ночь, — сказал я, — профессор Купер был в доме Мэри Мэдер. После его ухода там остался труп Хэммета, а в кулаке у Хэммета — пуговица. Вы тоже там побывали. А еще вы оставили после себя открытую папку с надписью "Мортимер Пастернак" в картотеке профессора Мэдер, а в ней — сколок лака для ногтей.

— Это все еще только гипотеза, — сказала Кендейс.

— Но она основана на двух фактах, которые я только что назвал: пуговица и сколок лака. Редко в каком детективе встречаются столь приятные глазу улики. Таким образом, моя гипотеза — наполовину уже теория.

Мимо нас прошла профессор Энн Кейт Болейн, но, поскольку мы с Квентин были у всех на виду, ей снова не удалось применить санкции.

— Скорее всего, вы приехали к профессору Мэдер, чтоб она подготовила вас к экзамену или чтобы попросить ее замолвить за вас словечко профессору Куперу. Сами знаете, зачем вы туда явились, — мне это неизвестно. Уже стемнело, и возле самого дома вы увидели машину Купера. У него новенький "мерседес-бенц". Он купил это дорогущее авто на гонорары от лекций. Приглашения сыпались градом, а брал он не меньше трех тысяч за лекцию.

На аллее появился Фредди Гамильтон с толстой книгой под мышкой. Завидев нас, он исчез в кустах и, пока мы прогуливались, наблюдал за нами с выгодной позиции.

— Популярность Купера взлетела до небес благодаря докладу, который он прочел на конференции в Чикаго. В докладе он сформулировал свою теорему. Вот откуда пошли его крупные гонорары. В университетском мире Купер стал звездой.

Кендейс молча шагала рядом. На ней была блузка в цветочек и строгая синяя юбка. Она знала, что ее природная красота не требует дополнений вроде бычьего кольца в носу или татуировки на интимных местах. На наше первое свидание Сидония пришла в ветхом пальто и сером беретике, а на Петршиной Горке дул морозный ветер, разносивший по воздуху кристаллики льда. Когда я привел Сидонию в винный погребок "Лоретта", она сняла свое вельветовое пальтишко и осталась в такой же блузке в цветочек, только фланелевой, а не шелковой. И юбка на ней была такая же, как у Квентин, — синяя. Льдинки сверкали, как бенгальские огни, но под пальто у Сидонии ничего теплого не оказалось. У них с сестрами был только один свитер на троих, и в то воскресенье настала очередь кого-то из сестер.

— На той конференции профессор Мэдер тоже прочла доклад, — сказал я. — Фактически он представлял собой некролог ее кузену Мортимеру Пастернаку. Она поделилась со мной, что доклад выльется в сенсацию, своего рода математическую pointe. Но этого не произошло.

Прелестная девушка, шагавшая со мною рядом, отшвырнула ногой лежавший на дороге камешек.

— Знаете, кто нашел мертвого Пастернака в его кабинете?

Она взглянула мне прямо в глаза:

— Купер?

— Верно, — сказал я. — На конференции в Чикаго Купер выступил со своей сенсационной лекцией за день до профессора Мэдер. В самолете, на пути в Чикаго, она сказала мне, что прямо перед кончиной Пастернак написал ей душевное письмо.

Мы свернули — за поворотом стояла Дьюи, присосавшись к бритоголовому парню с отсвечивавшими, как желтоватая слюда, ушами. Мне стало любопытно, вытащила ли Дьюи по такому случаю кольцо из нижней губы, но потом я вспомнил, что она избавилась от кольца пару дней назад из любви к пицце.

— Картотека в кабинете коллеги Мэдер была открыта на уже известном вам, Квентин, имени.

Она хранила молчание. На аллее показался Макмаунтен, тоже с какой-то красоткой. Когда они приблизились, я узнал Лоррейн Хендерсон. На ее миловидном лице я не заметил ни следа скорби. Быстро утешилась. Но c'est la vie.

— Поправьте меня, Квентин, если я ошибаюсь: вам не терпелось узнать, что делает Купер в доме Мэдер. Вы обошли дом, поднялись на террасу и через стеклянную дверь увидели Купера, стоявшего у открытой картотеки. Вы попытались войти либо нечаянно нашумели — не знаю, но что-то вы сделали. Ночью из освещенного помещения, даже если оно освещено довольно слабо, не видно, что происходит снаружи. В общем, либо вы нашумели, либо приоткрыли дверь, и Купер запаниковал и сбежал. Вы вошли, увидели мертвого Хэммета, потом заметили приоткрытый ящик с папками. Подошли, покопались в нем и наткнулись на "душевное письмо" профессора Пастернака, о котором Мэдер сказала мне в самолете. Его-то Купер и искал, когда вы его спугнули. Когда Пастернак писал это послание, он вряд ли вкладывал в него душу. Мэри оно *показалось* душевным уже после его кончины. И Мэдер, и Пастернак были математики. И очень близкие люди. Естественно, что брат посвятил сестру в свое открытие, — ничего удивительного, верно? Но позднее это открытие должно было стать сенсационной pointe в выступлении Мэдер на чикагской конференции. Однако pointe не удалась.

Первая красавица колледжа ухмыльнулась.

— Полагаю, теперь мне следует выражаться, как подозреваемые в "Она написала убийство": "У вас нет доказательств, профессор!"

Как любят выражаться янки, в жизни не видел большей наглости.

— Кое-какие имеются. Есть прямые, есть и косвенные. Доказательства складываются из наблюдений за поведением подозреваемого. Взять, к примеру, внезапное решение Купера изменить оценку ваших математических способностей. А если в моей теории чего-то недостает, можете дополнить ее сами.

— Я так и сделаю, профессор.

Ее поведение не вписывалось в рамки типичного детективного сюжета. Ей бы помалкивать и сверлить меня полными ненависти глазами либо виновато сникнуть. Что-нибудь в этом роде. Но мы ведь не играли в детектив — или все-таки играли? Я по крайней мере ощущал себя героем серьезного романа, но Квентин это было невдомек.

— Предположим, вы шантажировали Купера тем, что застали его на месте преступления. И поспешно сбежали оттуда, — после того, как мы довезли вас до общежития, моя жена сказала, что так выглядят люди, только что кого-то прикончившие. Либо вы шантажировали его с помощью письма, которое нашли у Мэдер. Это могла быть ксерокопия. Оригинал профессор Мэдер хранила в надежном месте. Но любая ксерокопия повторяет оригинал, а для вашей цели достаточно было и копии. Вы загнали Купера в угол, хотя требовали всего-навсего высшей оценки по его предмету. Другое дело Мэри Мэдер, жаждавшая отомстить неверному мужу, — ей нужен был наемный убийца, и она получила его, как по заказу. Она не заплатила ему наличными. Она предложила другое вознаграждение — перспективу получить Нобелевскую премию. В случае отказа, она могла бы уничтожить его в глазах ученого мира. Купер — честолюбец, сноб и хвастун. Можете дополнить список прочими личностными характеристиками, поскольку знаете его лучше меня. После смерти Пастернака он украл доклад, который тот готовил для чикагской конференции. У Мэдер было личное послание Пастернака, где он писал не только о том, как счастлив результатом своей работы. Пастернак объяснял Мэдер суть своего открытия. Сообщение об этом и должно было стать упомянутой ею в самолете pointe. Но в первый же день конференции Купер представил открытие Пастернака, выдав его за свое собственное, а Мэдер знала, что именно Купер обнаружил ее мертвого кузена за письменным столом, на котором лежали и записи с теоремой. В те дни она уже придумывала суровое и необычное наказание для жестоко разочаровавшего ее супруга. Тут-то и возник, как подарок из преисподней, человек, способный на убийство.

Кендейс молчала.

— Так вот, — продолжал я. — Вероятно, вы довольно долго изучали картотеку профессора Мэдер. Ее муж был убит около девяти, чуть позже вы всполошили его убийцу, заставив того бежать, а мы с женой подобрали вас на дороге аж в начале первого ночи. Интересно, а как вы разобрались в содержании пастернаковского письма, когда на него наткнулись?

Кендейс не откликнулась. Она грациозно шествовала рядом, глядя прямо перед собой.

— Это оказалось нетрудно, — ответил я за нее. — Как и знаменитая теория Эйнштейна, теорема Пастернака описывалась элементарной на первый взгляд формулой. На самом же деле ее способны понять лишь единицы. После того как теорема произвела фурор, газета колледжа посвятила ей отдельный номер. Он вам знаком. При ваших познаниях в математике вряд ли вы понимали, о чем эта теорема. Но художник газеты растянул уравнение на целую полосу, сделав его частью дизайна. Уравнение с точно такими же символами вы увидели в письме Пастернака к профессору Мэдер.

На следующем повороте аллеи моему взору представилась картина, подобная той, что я уже наблюдал в "Хромой утке", когда Уэйн Глупи де-

монстрировал, как его прожорливость испортила фигуру обнаженной красотки, выколотой на животе. Дорогу нам преграждала небольшая группа студентов, в центре которой сержант Сейерс без устали выполняла команду "кругом". На ней было новенькое девчоночье платье, подчеркивавшее талию, объем которой значительно уменьшился благодаря пилюлям и сельдерею. Над ней возвышалась фигура Уэйна Глупи в ее старой полицейской форме, трещавшей на нем по швам. Чего только не выдумает эта молодежь! В нашей новой стране они на все горазды. Там, где мы с Сидонией жили прежде, студенты выправляли себе документы о классовом происхождении и зубрили Учение Всех Учений, чтобы сдать главный в жизни каждого экзамен. Мой друг Людек Рус, студент-медик последнего курса, получивший отлично на экзамене по судебной медицине, напряг все свои извилины, чтобы успешно сдать самый последний и самый трудный экзамен по Науке Всех Наук. Он состоял из вопросов по истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), ответы на которые надо было знать назубок. На следующий день после экзамена, 26 февраля 1956 года, на двадцатом съезде партии в Кремле Никита Хрущев объявил Науку Всех Наук несостоятельной. Поэтому Людеку Русу пришлось сдавать еще один экзамен, взамен старого, по ленинскому материализму и эмпириокритицизму, — его он тоже осилил, но получил всего лишь "удовлетворительно".

Мы двинулись дальше; клены скрыли от нас невинные забавы молодняка.

— Все, что я упустил из финального перечня фактов и персонажей этой истории, можете дополнить вы.

— Да, сэр, — сказала она и опять затихла.

На аллее появилась профессор О'Салливан и быстро, но с любопытством нас оглядела. Она знала, что Квентин ушла из моего семинара — и вдруг мы вместе прогуливаемся и погружены в беседу, которая отдает конфиденциальностью. О'Салливан не состояла в корпусе осведомителей Бюро Сексуального Надзора, поэтому нашему tête-à-tête не грозило стать достоянием всего кампуса, подобно "слушку, анекдотцу, как угодно называй".

— Вы меня выдадите? — спросила Кендейс.

— Не уверен. Может, расскажете все как на духу? Вы Хэммета не убивали. Просто скрыли от всех то, что знаете.

— Меня исключат из колледжа?

— Наверно. То есть, безусловно, исключат.

Кендейс остановилась. Весенний ветерок распушил ее волосы.

— Ну и пусть. Тогда замуж выйду.

— Но ведь вы хотели учиться на юридическом. Собирались делать карьеру. По тому, как вы лихо взяли в оборот Купера, могу сказать точно: из вас выйдет первоклассный адвокат.

Она пожала плечами.

— Скажите лучше, первоклассная обманщица. Ладно. Плевать мне на юридический. Выйду замуж, детей заведу.

Я вспомнил всех прекрасных девушек, блеснувших, как бабочки-однодневки, которые потом нарожали детей, а дальше и вовсе затерялись в дебрях моей памяти. И еще я вспомнил о Сидонии, у которой не было детей и которая никогда, до тех пор пока я в здравом уме, из моей памяти не исчезнет.

— Обдумайте все хорошенько, — сказал я Кендейс. — А завтра приходите ко мне.

На этом мы распрощались.

НЕ ЗНАЮ, ПРИХОДИЛА ли она ко мне на следующий день. Когда я вернулся домой, Сидония была в коме. У кровати стояли две пустые бутылки, она лежала без сознания, белая, как снег. Я вызвал "скорую" и увез жену в больницу. Там я сидел в комнате для посетителей и, отсчитывая минуты, ждал врача — он вышел и сказал, что Сидония серьезно больна.

Все годы, которые мы прожили в прекрасной стране, открывшей перед нами будущее, Сидония дружила с Берил. Та преподавала русский, и, пока Сидония не выучила английский, они с Берил общались на языке наших врагов. Берил была старше, годилась Сидонии в матери и в конечном счете заменила ей мать. У Сидонии никогда не было такой матери, как Берил. Ее родная матушка, измочаленная женщина, битая, а потом и убитая жизнью в стране, где вездесущие бесы знали даже то, что она сказала однажды в мясной лавке на улице Карлина.

Годы спустя Берил перебралась в Вирджинию, где они с мужем получили выгодную работу в старинном университете, основанном Джефферсоном. Только переехали они не ради выгоды. Берил была американка — она возвращалась к себе домой. Но нельзя обрести дом дважды. Как-то мы отправились в Вирджинию навестить нашу маму Берил и увидели, что от доброй женщины осталась тень с вечно дымящейся сигаретой. В беседке в саду, куда Сидония вышла нарвать цветов, она обнаружила завалы пустых американских, в полгаллона, бутылок из-под спиртного. Я зашел к мужу Берил, старому профессору на пенсии, которому не хватало сил расстаться с университетом, и там, в своем кабинете, он сказал мне дрожащим от слез голосом: "Печень сгорела!"

Раскрылась дверь, вышел доктор. Я встал.

— Печень сгорела, — сухо констатировал врач.

СИДОНИЯ ПРОЖИЛА еще несколько месяцев. По вечерам ей разрешалась одна порция спиртного, и с самого утра все ее мысли вертелись вокруг этого светлого мига. Я же все прокручивал в голове виденную-перевиденную тысячу, сто тысяч раз пленку. Исколесив страну, в которой родилась Берил, мы думали, что впереди у нас — жизнь без будущего. Но мы ошибались. То было время, когда мы не представляли, что нас ждет впереди, и мой старый приятель Джордж Джибиан помог мне устроиться на три месяца в Беркли. Мы сняли там домик, и Сидония день за днем просиживала в саду и писала свой дивный роман. Я изо дня в день привозил ей двухлитровые бутыли красного вина, потом читал ее рукопись и, хотя был тогда молод и несентиментален, рыдал, как старик. Сидония писала о своей проклятой жизни: жестокой, нищей, мерзкой, исковерканной колесом истории. Но писала она так, что возникало светлое чувство, как от лирики Китса. Это чувство осталось со мной навсегда.

На подержанном "десото" мы изъездили Америку и добрались до Торонто, где Берил умудрилась найти для меня работу приглашенного лектора сроком на год. Поскольку я изучал американскую литературу, я помнил, как Хемингуэй потерял свои рукописи, и по ночам перетаскивал из нашего "десото" в мотель роман Сидонии — исписанные размашис-

тым почерком американские школьные тетрадки в авоське, сетчатой хозяйственной сумке — такие теперь не в ходу. Потом счастье нам улыбнулось. С опозданием, но улыбнулось: как говорится, лучше поздно... На каникулы мы отправлялись морем на Карибские острова, чтобы Сидония могла восстановить силы. Отдохнув, она возвращалась к работе в основанном ею издательстве, которым сама же в одиночку управляла, пока в той стране, где мы жили прежде, не рухнул старый порядок. Затем Сидония получила орден из рук старого друга, ставшего президентом. Потом господин Мрквичка опубликовал Список.

Эту пленку я прокручивал сотни тысяч раз. Пока Сидония была жива, суд по делу миссис Парсонс не заседал, потому что ответчица на него не являлась, и слушание отложили до 2000 года. Но Сидонию это уже не занимало: она жила мечтой о единственной вечерней порции спиртного, дальше — больше. Я был в отчаянии. Что я мог поделать?

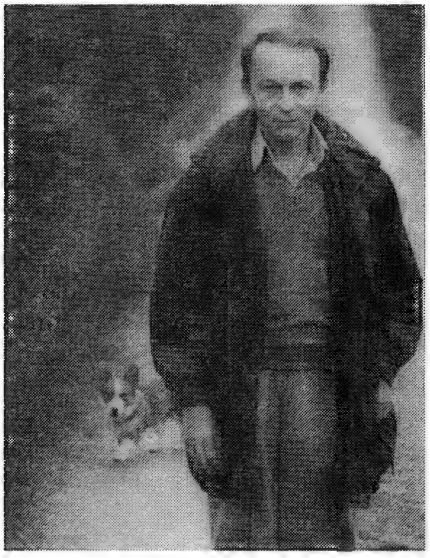
ПОЛИЦИЯ ТАК И НЕ НАШЛА убийцу Реймонда Хэммета. Купер получил кафедру в Гарварде, но ничего заслуживающего внимания больше не сделал. Мэри Мэдер предпочла уйти на пенсию раньше положенного срока и переехала в Плимут. Кендейс Квентин никому не рассказала о том, что знала. Год спустя она вышла замуж и нарожала прелестных малышей.

Я тоже не сказал никому о том, что знал. Одним безнаказанным убийцей больше, одним меньше — какая разница?

Рединтон-Шорз, Флорида, февраль-март 1996
Deo gratias![1]

1. Благодарение Богу! (*лат.*)

Мишель Уэльбек



Стихи

Переводы с французского

Из книги "Смысл борьбы"

***

Минутная слабость — я ничком валюсь на банкетку. Между тем шестеренки привычки продолжают вращаться. Еще один вечер насмарку — а может, неделя, а может, вся жизнь; тем не менее я должен снова выйти из дома, чтобы купить бутылку.

Юные буржуазки фланируют между стеллажами супермаркета, элегантные и сексуальные, как гусыни. Наверное, здесь есть и мужчины, но на них мне глубоко наплевать. Единственное отверстие, через которое возможно общение между тобой и другими, — это влагалище.

© Flammarion, 1996, 1997, 1999
© Илья Кормильцев. Перевод, 2005
© Юлия Покровская. Перевод, 2005
© Ирина Кузнецова. Перевод, 2005
© Наталья Шаховская. Перевод, 2005
Сборник стихов Мишеля Уэльбека готовится к печати в издательстве "Иностранка".

Я поднимаюсь по лестнице, литр рома плещется внутри пластикового пакета. Я отдаю себе отчет в том, что гублю себя этим: вот уже зубы начинают крошиться. Почему, ну почему женщины шарахаются в сторону, встречая мой взгляд? Неужели он кажется им взглядом неудачника, фанатика, ревнивца или маньяка? Я не знаю и, вероятно, никогда не узнаю, но именно в этом — корень всех моих несчастий.

Конец вечера

Приступ тошноты в конце вечера — неизбежный феномен. Нечто вроде заранее запланированного кошмара. Наконец я перестаю знать и начинаю мыслить.

Пустота внутри разрастается. Вот оно. Полный отрыв от реальности. Словно висишь посреди пустоты в точке, равноудаленной от всего, что творится вокруг, под воздействием магнитного поля чудовищной силы.

В этом состоянии, когда отсутствует контакт с окружающим миром, ночь может показаться тебе очень долгой. Такой она и кажется.

Не исключено, что именно в этом залог твоей безопасности, но сейчас ты не способен прочувствовать это. Ты поймешь это позже, когда вновь выйдешь на улицу, когда вновь наступит день, когда ты вернешься в мир.

К девяти часам он уже наберет обороты. Вращение мира изящно, оно сопровождается легким гулом. Мир втянет тебя в свою круговерть, заставит спешить — так прыгают на подножку тронувшегося от платформы поезда.

Но догнать его невозможно. И снова ты будешь ждать ночи, которая, однако, как обычно, принесет с собой беспомощность, неуверенность и ужас.

И так будет продолжаться день за днем — до самого конца мира.

***

Мочка моего правого уха вздулась от гноя и крови. Сидя перед красной пластмассовой белочкой, символом какой-то благотворительной акции в пользу слепых, я размышляю о неминуемом распаде, ждущем мое тело. Еще одно мучение, о котором мне известно так мало и которое мне предстоит сполна испытать.

Одновременно и параллельно, хотя и поверхностно, я размышляю о распаде и упадке Европы.

Тело, истерзанное болезнью, уже потеряло надежду испытать облегчение. Прикосновение женских рук лишено всякого смысла. Однако по-прежнему желанно.

***

С полуоткрытыми ртами, словно карпы в бассейне, мы рыгаем ертью. Чтобы скрыть запах смерти, исходящий из наших глоток, молимый запах смерти, мы извергаем потоки слов.

Известняк, из которого сложены наши дома, состоит из мертвых вотных. Из четвертованных, раздробленных, высохших мертвых вотных, из выпотрошенных ракушек. Из разбитых, размолотых, мельченных в беспощадной утробе земли ракушек, пропеченных гким жаром земных кишок. Из слипшихся мертвых животных.

Перевод Ильи Кормильцева

* * *

День ширится, растет, на город пав лавиной,
Мы пережили ночь, но легче нам не стало.
Я слышу шорох шин и шум неуловимый
Общественной возни. И мне здесь быть пристало.

День состоится всё ж. С безумной быстротою
Границы обведет воздушное лекало:
Тут — бытие, там — боль твердеющей чертою.
Но плоть, однако, плоть, как банный лист, пристала.

Мы пережили страх, желанья, цепь ошибок,
Но детская мечта светить нам перестала.
И мало что стоит за широтой улыбок —
Мы пленники своей прозрачности усталой.

Вечер

Что ни начни — тупик. Буксуешь то и дело.
Вернуться хочется обратно с полпути,
Лежать не двигаясь, лишь в боль свою вползти —
Так о себе теперь напоминает тело.

Снаружи — день, теплынь, все небо ярко-сине,
И юность крутится, словить свой шанс должна.
На праздники ее всегда зовет весна,
А ты не приглашен. Вокруг тебя — пустыня.

Плоть одинокая — мучительное бремя;
Земная жизнь свое исчерпывает время.
Стучит с отчаянной натугой твой мотор,

***

С полуоткрытыми ртами, словно карпы в бассейне, мы рыгаем смертью. Чтобы скрыть запах смерти, исходящий из наших глоток, неумолимый запах смерти, мы извергаем потоки слов.

Известняк, из которого сложены наши дома, состоит из мертвых животных. Из четвертованных, раздробленных, высохших мертвых животных, из выпотрошенных ракушек. Из разбитых, размолотых, размельченных в беспощадной утробе земли ракушек, пропеченных жутким жаром земных кишок. Из слипшихся мертвых животных.

Перевод Ильи Кормильцева

* * *

День ширится, растет, на город пав лавиной,
Мы пережили ночь, но легче нам не стало.
Я слышу шорох шин и шум неуловимый
Общественной возни. И мне здесь быть пристало.

День состоится всё ж. С безумной быстротою
Границы обведет воздушное лекало:
Тут — бытие, там — боль твердеющей чертою.
Но плоть, однако, плоть, как банный лист, пристала.

Мы пережили страх, желанья, цепь ошибок,
Но детская мечта светить нам перестала.
И мало что стоит за широтой улыбок —
Мы пленники своей прозрачности усталой.

Вечер

Что ни начни — тупик. Буксуешь то и дело.
Вернуться хочется обратно с полпути,
Лежать не двигаясь, лишь в боль свою вползти —
Так о себе теперь напоминает тело.

Снаружи — день, теплынь, все небо ярко-сине,
И юность крутится, словить свой шанс должна.
На праздники ее всегда зовет весна,
А ты не приглашен. Вокруг тебя — пустыня.

Плоть одинокая — мучительное бремя;
Земная жизнь свое исчерпывает время.
Стучит с отчаянной натугой твой мотор,

Но не справляется с густой тяжелой кровью.
Как занимаются, ты позабыл, любовью.
И ночь обрушилась, как смертный приговор.

* * *

Вся напряглась она, меня заметив рядом,
С иронией сказав: "Как мило, что вы здесь".
Округлости ее ощупав беглым взглядом,
Я вышел. Стол мой пуст был непривычно. Весь.

Бумаги я на нем бросал в конце недели,
Чтоб в понедельник вновь найти их на местах.
Мне нравилась она. За трепетность и страх,
За порчу тайную, скрывавшуюся в теле.

Она жила вдали от центра, в Шептенвилле.
Ребенок рыженький и видик... Что еще там?
Без шума лишнего и без столичной пыли...
Да, порнофильмы плюс. Но дома, по субботам.

Как секретарь она возилась с почтой срочной,
Старалась исполнять приказы непреложно.
Ей было тридцать пять, и пятьдесят, возможно...
Для смерти, думаю, не важен возраст точный.

* * *

Жизнь как вечность с полным пансионом —
Диско-вечеринка, да, точь-в-точь.
С распродажей тел по всем шаблонам
На одну, без рекламаций, ночь.

Чувствую себя заблудшим волком
Я в плену у либеральных благ:
И боюсь дать повод кривотолкам,
И не адаптируюсь никак.

Все ж мечту лелею я подспудно:
Где-то есть и у меня друзья,
Хоть поверить в крепость уз мне трудно,
Да и поздновато, знаю я.

Но как тот актер без режиссера,
Я в бессрочном отпуске давно.
А другие пляшут до упора
И всегда снимаются в кино.

Перевод Юлии Покровской

Из книги "Погоня за счастьем"

* * *

Мягкое подпрыгиванье гор,
Трактора урчанье в дымке зыбкой.
На руинах развели костер;
Жизнь, похоже, все-таки ошибка.

Выживать мне стало всё трудней
В гуще этих странных организмов:
Ходят в сандалетах, ржут — ей-ей,
Скопище нехитрых механизмов.

Как запрограммирован уклад —
Навсегда — в провинциальных семьях!
Круг судьбы до скудости ужат,
Счастье в малых дозах, жизнь по схеме.

А на кухне блеск и чистота.
Что за страсть к вылизыванью кухонь!
Пуст и скуп словообмен: нет, да.
Мнения соседки ловит ухо.

* * *

Желание больше ничего не делать и, главное, не чувствовать ничего,
Внезапная потребность умолкнуть, отстраниться ото всего,
И, созерцая мирный, красивый Люксембургский сад,
Быть старым сенатором, одряхлевшим под грузом наград.

И больше ничто — ни дети, ни их кораблики, ни музыка главное, —
Не нарушит мою отрешенность, почти атараксию, такую славную,
Ни любовь — это главное, — ни страх, ни сердца сжатие...
Ах, больше никогда не вспоминать объятия!

Природа

Я не завидую восторженным кретинам,
В экстазе млеющим над норками зверей.
Природа сумрачна, скучна и нелюдима,
Ни символ, ни намек не зашифрован в ней.

Приятно за рулем, катя на "Мерседесе",
Пейзажи созерцать и смену панорам,
И скорости менять, и ощущать в процессе,
Что реки, горы - всё, весь мир подвластен вам.

Скользит под солнцем лес, он тянется в ущелье,
В нем древних знаний свод как будто заключен,
В нем чары тайные как будто уцелели,
Проходит час-другой, и разум усыплен.

И вы выходите. Прощай, покой. Еще бы!
Вы спотыкаетесь, кругом полно корней,
Какой-то дряни, мух и гнусная чащоба,
Абсурдный, чуждый мир колючек, змей, камней.

Вам хочется туда, где выхлопные газы,
Заправки, паркинги и барной стойки блеск,
Но поздно. Холодно. Стемнело как-то сразу.
Вас в свой жестокий сон затягивает лес.

Перевод Ирины Кузнецовой

Из книги "Возрождение"

* * *

Волна дразнящим языком
Лизнет песок и схлынет снова.
Ракушки собирая, ждем
Спасителя (уже второго).

Умрем — останется скелет,
Чтоб белизны достичь с годами.
У рыбы есть внутри хребет.
Ждет рыба рыбака с сетями.

Внутри у человека скот
Заложен в качестве основы;
Но век свой зряшный напролет
Он ждет Спасителя второго.

* * *

Четыре девочки в соку
Сверкали в сквере голой грудью.
Их наставлять на добрый путь я
Не стал — куда мне, срамнику.

Норвежские, должно быть, штучки —
В Латинском их полно сейчас.
Их груди радовали глаз.
Невдалеке три смирных сучки

Расположились отдыхать.
(Вне течки сукам, мне сдается,
И жить-то нечем — остается
Светло и кротко прозябать.)

Вечер без дымки

Бродя по улицам без цели, поневоле
Всех предстоящих жертв я предаюсь обзору;
Мне хоть искусственную точку бы опоры —
Покупкой мебели взбодрить надежды, что ли;

А то принять ислам и сладость подчиненья,
Чтоб дал мне добрый Бог в стране каникул место.
Я не могу забыть сквозняк с душком отъезда
В расколах наших слов и жизней расплетенье.

Процесс заката дня пошел часы считать;
Для наших жалоб адресата больше нету.
По мере тленья каждой новой сигареты
Процесс забвенья оттесняет счастье вспять.

Вот шторы — кто-то их придумал, как соткать,
А кто-то в серый цвет окрасил одеяло,
В котором угнездясь, я вытянусь устало.
Покой могилы мне не суждено узнать.

* * *

Между собой не параллель — диагональ
Мы провели меж зыбких в сумерках берез,
В чьем круге тишины порочной вертикаль
Крещенскою водой стояла, слёз
Прозрачней.

Желанье облекло нас, пламени подобно.
Две жизни мы свои швырнули в это пламя;
Я и не знал, какой быть женщина способна.
Рот делался сухим с твоими врозь устами
И мертвым.

Лежу один, без сна, ночь давит, как оковы.

Мне кажется, теперь темней, чем прежде, ночи.
Я спичкой чиркаю; дрожащий огонечек
Приводит тень в углах и образы былого
В движенье.

И зыбь берез — среди
Других картин.
Пью воду. Ком в груди.
Темно, и я один.

* * *

Свобода — миф, я полагаю,
А может, пустоты синоним;
Свобода злит меня — я знаю,
Как быстро в серой скуке тонем.

Имел сказать я то и это
Еще чуть свет, часу в шестом;
Я был на грани бреда где-то;
Я пылесос включил потом.

Вокруг парит небытие
И липнет к нашей влажной коже.
То секс, то лень берут свое.
Мы пу́сты. Небо пусто тоже.

Перевод Натальи Шаховской

Абель Поссе
Страсти по Эвите

Перевод с испанского Н. Беленькой

СОБИРАЯСЬ В БОЛЬНИЦУ, где меня наверняка давно уже поджидают острые скальпели маэстро Финокьетто, я захотела напоследок увидеть себя в зеркалах ванной комнаты. Совершенно обнаженной. Однако повторяющиеся отражения висящих на противоположных стенах зеркал нисколько меня не утешают. Мое положение плачевно, безнадежно. Как сказал когда-то Хуансито, глядя на заморыша из Хунинского колледжа: "Ты как лезвие бритвы, малышка".

Я совершенно лишилась плоти. Вот самое лучшее определение. Моим ногам очень легко носить тело.

Я смотрю на то место, где раньше были груди, пытаясь угадать, что именно так встревожило вчера меня саму и ужаснуло Хуана. Сквозь кожу проглядывает белизна ребер.

Я поставила у себя за спиной мощную лампу, которую используют для нагрева ванной комнаты, и увидела в зеркале собственный скелет. Честное слово, мой скелет *был виден.* Сквозь прозрачный пергамент высохшей кожи просвечивали белые полосы, а посередине — вертикальная линия, которую и заметил Хуан, наклонившись ко мне, чтобы поцеловать в лоб. В тот вечер он ехал на обед с иностранными военными атташе и был неотразим в своей генеральской форме.

Достойное испытание. Оно придаст мне силы, поможет вынести и больницу, и операцию. Вот он, час истины. Либо я, либо она — смерть. Либо я, либо Менендес и олигархи. Если сдамся я, Эвита, победит она — Мария Эва Ибаргурен, алчная тварь, которая рвется сюда из прошлого, из небытия и хочет схватить меня и сожрать.

Да, пробил час истины.

И вот я отдалась людям в белых халатах. Мои верования, мои чары — все осталось где-то в стороне. Таков тончайший мир личных отношений человека и болезни. Мое убеждение, что союз воли и действия способен поддержать армию здоровых клеток и поможет им выиграть битву, отступило перед царством металлических инструментов и белого больничного кафеля.

Это территория абсолютной власти. Власти врачей. Медсестры называют нас, больных, уменьшительно-ласкательными именами. Инфантилизация больного доходит до того, что я не удивлюсь, увидев, как вошедший в палату профессор внезапно достанет из кармана соску или погремушку.

Окончание. Начало см. "ИЛ", 2005, № 1, 2.

К счастью, в операционную я попала уже почти без сознания. Меня оперировал Финокьетто. Перед тем как отключиться, я все же сказала ему:

— Об одном прошу вас: будьте безжалостны. Пусть от Эвы останется половина, лишь бы погибла та, *другая*...

Новые боли не так уж сильны. Я живу в состоянии полусна, среди приятных видений, которые приносит с собой чудесная сила морфия.

Мои родственники, Хуан, Ренци, министры на мгновение появляются в дверях и поздравляют меня, словно роженицу, благополучно разрешившуюся от бремени. Они очень довольны результатом операции, которую им, должно быть, подробно описал сам Финокьетто.

Это значит, что мы нанесли противнику мощный удар, атаковав его логово. Если бы так же решительно действовали мы против Менендеса!

Я наслаждаюсь полным бездействием. Отдыхом от самой себя. В больнице "Авельянеда" я лежу безвольно и неподвижно, словно потерявшая напряжение тетива лука. Врачи и медсестры переносят меня с места на место. Остановка, перевалочный пункт судьбы. Болезнь — это возвращение в детство. Полудрема обезболивающих...

В больнице не стыдишься собственного небытия. А морфий обладает удивительной способностью уносить нас в сон без тревог и кошмаров.

Признаюсь, падре: настраиваясь на победу, я не очень-то взывала к Богу. Иногда я обращалась к Пресвятой Деве дель Пилар, покровительнице Лос-Тольдоса, но молилась не всерьез, скорее просто из суеверия. (У каждого имеется на этот случай собственное божество.)

ЭВА БЫЛА УВЕРЕНА, ЧТО ПОБЕДИЛА, и теперь собиралась непременно воспользоваться одним из своих главных достижений — правом женщины на участие в выборах. Через пять дней после операции она потребовала, чтобы в больнице организовали специальный избирательный участок. 11 ноября 1951 года женщины в Аргентине впервые голосовали. Это был мощный удар по мачистской идеологии всей Латинской Америки.

Несмотря на недовольство радикалов, 11 ноября Эва проголосовала. Женщины получили такое право, и это означало сокрушительную победу четы Перонов, которые были у власти уже шесть лет.

Эва, по сути, стала лидером международного феминистского движения — борьбы женщин за свои права, ведь прежде феминизм часто сводился лишь к культурной деятельности женских клубов.

Горький опыт научил Эву презирать мужчин и мачистское общество. Именно этим объяснялось ее сопротивление "маскулинизации", как она выражалась, женской хустисиалистской партии. Последнее достижение мачизма — "освобождение" женщин, дававшее им право по-мужски работать и по-мужски безжалостно сражаться.

Все, что я сейчас вам объясняю, Эва угадала чутьем и облекла в слова. Она считала, что сила женщины по-прежнему будет таиться в любви и даре материнства. Она считала, что роль женщины в обществе должна самым революционным образом перемениться, но "женское начало" ставила во главу угла: "Нельзя забывать о чудесной природе женщины,

о том главном, чего мы не должны терять, если не хотим лишиться остального".

Без Эвы аргентинские женщины не получили бы право голоса еще много лет. Политика была привилегией мачо.

Однако просвещенные дамы, которые в 30-е годы устраивали конференции и заседали в феминистских клубах, внезапно сделали крутой поворот, перейдя от проблемы отношений полов к классовой борьбе. Эва принадлежала к другому классу, поэтому они ее не поддержали.

Помню дождливый вечер, когда мы с Эктором Свердликом и Энрике Гарихиолой шли по улице Флорида на практические занятия в Национальную медицинскую академию, как вдруг неподалеку от "Жокей-клуба" нам повстречалась беспорядочная толпа, которая двигалась в сторону улицы Кордова. Это была, если можно так выразиться, антисуфражистская манифестация суфражисток – богатых дам, сторонниц епископа Д'Андреа. Они визгливо выкрикивали (так кричат на служанку, разбившую во время уборки китайскую вазу): "Не хо-тим го-ло-со-вать! Не хо-тим го-ло-со-вать!"

Среди этих женщин наверняка были сестры Грондона, Мария Роса Оливер, сеньора Борхес и члены Клуба женщин-служащих, а впереди с зонтиком в руке, словно все происходило в Ливерпуле, шла сама Виктория Окампо.

Эвита дала им то, чего они требовали на собраниях и конференциях. Эвита, обратившись к миллионам, сказала то, что они лепетали во время светских раутов и к чему их мужья относились как к милой болтовне. Эвита сказала:

Нас нет среди членов правительства.
Нас нет среди членов парламента.
Нас нет в международных организациях.
Нас нет ни в Ватикане, ни в Кремле.
Нас нет в штабах империалистических держав.
Нас нет в комиссиях по атомной энергетике.
Нас нет в больших консорциумах.
Нас нет ни в масонских ложах, ни в тайных организациях.
Нас нет ни в одном из центров, откуда управляют миром.
И тем не менее о нас непременно вспоминают в час агонии, в самые горькие часы, которые переживает человечество.
Можно подумать, что наше основное призвание – не созидание, а жертва!

Эта речь произвела впечатление на членов Конгресса. Хотя идея дать женщинам право голоса изначально вроде бы принадлежала Перону. И вот она стала реальностью – во время выборов 11 ноября, когда сама Эва с трудом выплывала из тошнотворных объятий наркоза.

Нынешние литераторы, которым не довелось пережить тех лет, противопоставляют Эве Викторию Окампо. Эва знала, как знали это Борхес и Бьой Касарес, что Окампо безнадежно глупа[1]. Однажды в "литературном клубе", где Эва раз в неделю давала ужин, отвлекаясь таким

1. Аргентинских писателей Х. Л. Борхеса, А. Бьой Касареса и сестер Викторию и Сильвину Окампо связывала тесная дружба. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

образом от работы в Клубе женщин-служащих, она позволила себе единственную шутку в адрес Окампо. В присутствии группы любимых ею поэтов (Реги Молины, Марии Гранаты, Кастиньейры де Дьос, Прилуцки Фарни, Понферрады, Мартинеса Пайвы, Эктора Вильянуэвы) она сказала: "Виктория... Да, но Виктория Самофракийская, потому что головы-то нет, зато крылья роскошные..."

Дамы-феминистки бесновались напротив "Жокей-клуба", выкрикивая гадости в адрес Эвы, покуда мужья не заехали за ними на автомобилях и не увезли домой. (Позднее Виктория Окампо выпустила в Нью-Йорке книгу, переведенную на многие языки, где мать Эвиты донья Хуана названа содержательницей борделя.) Эва *искренне* не обращала на них внимания. Они казались ей нелепыми и пустыми. Она никогда не отвечала на их оскорбления.

Ответил Перон: уже после смерти Эвы он арестовал всю компанию за нарушение закона о собраниях и митингах и на неделю посадил в женскую тюрьму в Буэн-Пасторе. При этом он ехидно заметил:

– Раз они называют себя писательницами, пусть наконец поближе познакомятся с проститутками, узнают, как несладко бедняжкам приходится...

Итак, Эва хотела голосовать и проголосовала. Радикалы, вечно одержимые злобой и не желавшие позволить ей воспользоваться законным правом, в конце концов смирились и отрядили для наблюдения за процессом голосования длинноволосого насупленного интеллигентного юношу, который, постояв около урны минут десять, написал затем заумный труд, где рассуждал о человеческой природе и политике Эвы Перон.

В заключение расскажу один эпизод, который поможет вам понять, какие сомнения и противоречивые чувства терзали Эву. Да, она была рьяной феминисткой и, можно сказать, добилась права голоса для женщин почти по всей Латинской Америке. Но на самом-то деле Эва относилась к женским способностям с недоверием, что доказывает безобразный поступок, в котором Эва покаялась перед смертью.

Задолго до выборов, когда подбирались женские кандидатуры, Перон попросил Эву назвать имена нескольких серьезных женщин, чтобы включить их в список. Эва размышляла две недели. Чтобы "подстраховаться", вызвала по очереди всех кандидаток и на всякий случай заставила их заранее написать отказ от должности, где они признавались в никогда не совершенных преступлениях и неблаговидных поступках. Прием, достойный негодяев из ФБР и КГБ. Это была серьезная ошибка: Эва так и не сумела преодолеть в себе влияние итало-южноамериканского мачистского общества. Что ни говори, у нее были свои слабости...

Эти письма-отказы она держала у себя в комнате в ящике, где хранились ее личные бумаги. Как-то раз, когда ей было совсем плохо, она попросила Ренци сжечь их в умывальнике.

Со свойственной ей прямотой Эва объяснила моему другу Ренци:

– Власть ослепляет, и ты обращаешься с людьми так, словно перед тобой дети или преступники. Власть по сути своей разрушительна. Только осознанная жажда добра, ясные и четкие цели помогают человеку уберечь себя от темных искушений власти...

Верный Ренци сжег эти постыдные документы.

В 1948 ГОДУ, ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ПОСЛЕ ПРИНЕСЕНИЯ ПЕРОНОМ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРИСЯГИ, Эва начинает третий этап своей жизни. Она отходит от политики в традиционном понимании этого слова. У нее возникает неприязнь к институту власти. Эва занимается *своей* политикой — прямой общественной деятельностью. Именно тогда она стала укладывать волосы короной. Прежняя Эва, блиставшая в театре "Колон", осталась в прошлом; ее сменила новая Эва — неутомимая самаритянка, безжалостная к себе, одержимая страстным сочувствием к бедным и угнетенным. Страсть Эвы была так велика, что у нее не осталось сил противостоять болезни.

Почему она так изменилась?

Главной чертой ее характера были обидчивость и мстительность — простите, что я говорю вам это так прямо.

Позволю себе заметить, что ее удивительное превращение спасло Аргентину от страданий и кровопролитий, которые несет с собой диктатура. Власть Эвы была так же велика, как и власть Перона... В чем же причина разительной перемены?

В чем тайна Эвы? Неужели тайна была столь важной, что Эва укрылась в своем Фонде, как в монастыре, словно искупала страшный грех?

Если кто и мог пролить свет на предполагаемую тайну, так это Ренци.

Как-то раз он обмолвился, что у Эвы случались приступы тяжелой депрессии. Вызвав машину с шофером, она куда-то уезжала и возвращалась только под вечер. Ренци всегда считал, что эти поездки связаны с политической деятельностью. (Иногда Эва намекала на некое "убежище" в удаленном уголке провинции Буэнос-Айрес. Разумеется, мы думали, что это место известно и Перону, что он держал его на крайний случай, ведь чуть ли не каждый месяц удавалось раскрыть какой-нибудь заговор, на Генерала то и дело готовились покушения.)

Я знаю, что вас очень интересует эта тема. Но несмотря на данное вам обещание, могу лишь упомянуть отдельные эпизоды.

Вот один из них, наиболее важный: в конце 1946 года Эва, несмотря на радость победы, на то, что они вознеслись к вершинам власти, переживает тяжелый кризис. (Поговаривали о трагически оборвавшейся беременности, после чего врачи сообщили Эве, что родить она никогда не сможет.)

По одной из версий, поездка в Европу была вызвана именно этим, а не государственной необходимостью, как все тогда считали. Да и сам Перон заявил одному журналисту, что у Эвы случился очень серьезный срыв и "он отправил ее в Европу, чтобы она немного развеялась".

С этим тяжелым периодом ее жизни совпало любопытное происшествие. Как-то раз в Резиденции появился монстр, человекоподобное существо женского пола. Оно проникло в кабинет Эвы в четыре утра, когда едва начало светать, сотрудники и охрана клевали носом. Согласно записанному на магнитофонную ленту рассказу самого Перона, речь шла о женщине-уроде, передвигавшейся ползком. У нее был горб, который заканчивался чем-то вроде костяного гребня. Прямо из бесформенной головы росли крохотные беспомощные ручки. Чудовище застыло перед письменным столом Эвы и вперило в нее свой единственный глаз. Растерянная и перепуганная Эва воскликнула:

— Это они... Они возвращаются...

По ее приказу чудовище увели прочь. Она велела отдать ему свои невероятно дорогие брильянтовые серьги. Словно в отчаянии желала откупиться... Что значил для нее этот визит? С каким грехом, с каким адским видением связывала она появление странного существа?

Эва спала по два часа в сутки. Она переживала загадочный кризис. Перон занялся поспешными приготовлениями к путешествию в Европу. Эва совсем обезумела, с головой окунувшись в благотворительность.

С вашего позволения, я готов пояснить смысл ее слов "Они возвращаются..."

В интервью Мартинесу Перон рассказал, что, когда они еще не были знакомы, Эва сняла квартиру, которая оставалась за ней и в первое время их совместной жизни, в 1944-м. Она поселила там детей-уродов, которых не принимали в приют "Котоленго".

В этом странном начинании ее поддерживала Пьерина Деалесси. Эва лечила, мыла, кормила несчастных, которых, как она рассказывала, случайно подобрала неподалеку от приюта на улице Сеавер. Как-то утром она предложила Полковнику отправиться в эту квартиру вместе с ней. Она надеялась, что дети, которых она оставила всего пару часов назад, какое-то время продержатся без ее помощи. Когда они открыли дверь, в нос им ударил невыносимый смрад. Кого-то вырвало, кто-то успел нагадить на пол, после чего они разрисовывали дерьмом недавно побеленные стены.

Перон вызвал армейский грузовик, пообещав, что детей отвезут в приют в Трес-Арройос. Но якобы по недосмотру шофера уродцы выбрались из грузовика, кинулись врассыпную и потерялись в зарослях кукурузы.

Этот давнишний случай Перон описал во всех подробностях. По-видимому, Эва страшно переживала за судьбу беспомощных детей, заблудившихся в бескрайних кукурузных полях.

— Это они... Они вернулись...

Может быть, ее ночным кошмаром были те уроды?

Может быть, существовало какое-то дело, тайная миссия, которой она отдалась по неизвестной причине? Что имел в виду падре Бенитес, говоря, что существует деяние, которое позволяет надеяться: когда Эва явится на Божий суд, ей будет чем оправдать свою жизнь перед Господом...

В 1947-м во время перелета в Европу Эва пишет Перону любопытное письмо-завещание. Она боялась самолета и, поскольку путешествие совпало с периодом душевного кризиса, ощущение смертельной опасности восприняла трагически. В своем письме она сделала распоряжения относительно материального обеспечения матери и других родственников. Далее предупредила, что Руди Фройде, личный секретарь Перона, — очень опасный человек, поскольку он, видимо, раздобыл в Хунине некие сведения о ней. Результаты его расследования, надо полагать, могли серьезно повредить репутации Эвы, потому что она пишет следующее:

Прошлое принадлежит мне, но об *этом* ты обязан узнать в час моей смерти. Так вот, все это ложь, клянусь тебе. Очень больно, когда друзья так платят за любовь. Я уехала из Хунина, когда мне было тринадцать лет. Какая подлость приписывать девочке подобную низость! Все это подлая клевета. Я не могу ос-

тавить тебя с этим обманом. Я не рассказала тебе об этом перед отъездом, потому что мне и так было слишком больно расставаться с тобой, но ты можешь гордиться своей супругой — я забочусь о твоем имени и очень тебя люблю. Целую тебя много-много раз...

9 июня 1947 года.
Эвита

Почему Эва пишет Перону, что уехала из Хунина в тринадцать лет, когда на самом деле ей было почти шестнадцать? Осмелился бы Руди Фройде действовать самостоятельно и без личного приказа Перона отправиться в Хунин и расследовать там подробности ее жизни? Что это были за подробности? Знал ли Перон от влиятельного политика Мартина Прието о связи совсем еще юной Эвы с анархистом, называвшим себя Дамианом и вскоре замученным в полиции?

И если связь существовала, повлияла ли она на судьбу Эвы?

В какой степени ужасное состояние Эвы перед поездкой в Европу объяснялось загадочной клеветой или не менее загадочной правдой?

Единственное свидетельство — письмо, которое Эва, охваченная страхом и тоской, написала прямо во время полета в "Дугласе DC-4", присланном специально за ней из Испании.

Осмелюсь дать свое толкование отказу падре Бенитеса прояснить предполагаемую "тайну" Эвы: по сути своей она была настолько важной, что судить о ней должно одному лишь Господу.

НАД ЗАЛИВОМ САНТА-КАТАЛИНА САМОЛЕТ, присланный за ней лично генералиссимусом Франко, попадает в бурю. Эва хочет пристегнуться. Но внезапно она приходит в себя: никакого самолета нет, она в больнице. Страх не отпускает, не дает уснуть. Ее только что вырвало, и, представив себе, что еще миг — и самолет превратится в огненный шар, она пишет Перону письмо-завещание. В действиях Эвы отсутствует логика. Хотя, может, она надеется выпустить почтового голубя за мгновение до того, как самолет врежется в землю.

Она с досадой сознает, что письмо, которое ей удалось отправить во время промежуточной посадки, получилось неискренним, искренностью окрашен только тон.

В Испании Эву ожидало глубокое разочарование. (Она делилась им со своими сопровождающими — падре Бенитесом, Муньосом Аспири и Альберто Додеро, который финансировал ее баснословно дорогое турне. Однако подробнее всего она рассказывала о своих впечатлениях Хулио Алькарасу, ее личному парикмахеру.)

В мадридском аэропорту Эву встречало все семейство Франко, мавританская гвардия и представители власти при полном параде. Двадцативосьмилетнюю Эву принимали как главу государства, хотя она не занимала никакого официального поста.

По словам Алькараса, прежде всего Эву смутил сам Франко. Генералиссимус оказался невысоким человечком, больше похожим на лавочника, чем на военного. Не спасали положения ни лента на животе, ни множество наград, которые размерами словно бы превосходили обычные. А огромная фуражка придавала ему вид портье из дорогого отеля.

Алькарас рассказывал, что Эва со свойственной ей наивностью воображала, что генералиссимус представляет собой нечто среднее между Эрролом Флинном и фон Рундштедтом[1]. Дело в том, что Перон, разглагольствуя о политике, неизменно отзывался о Франко как о великом государственном деятеле и, главное, как о наиболее талантливом из европейских полководцев. Будучи самым молодым генералом Испании, Франко выиграл кровавую Гражданскую войну и стал автором новых военных стратегий – например, соединения пехоты и танковых войск с кавалерией, как в битве на Эбро и у Гвадалахары.

Человек, которого Перон в своих монологах под тенью вязов "Сан-Висенте" представлял как гиганта, стоял теперь перед Эвой, подняв руку в фашистском приветствии, и казался ей полным ничтожеством.

По словам Алькараса, Эва описала его так: "Франко был коротышкой. Он смахивал на торговца цыплятами из Хунина – папашу моего ухажера Катурлы". Вместе с Франко Эву встречали его супруга Кармен Поло и Кармен Франко, их дочь, которая, в свою очередь, походила на сестру Катурлы. Эве почудилось, что она перенеслась на карнавал в Хунин!

За искренним радушием этих людей угадывалось нечто ужасающе провинциальное, неумолимо проступавшее сквозь помпезность приема, которым Франко хотел выразить признательность Перону за мужество и отвагу (Перон отказался отозвать своего посла из Мадрида, кроме того, не участвовал в бойкоте, объявленном Испании, и по его приказу туда отправились груженные пшеницей корабли).

Вместе с генералиссимусом Эва села в огромный лимузин, и они торжественно въехали в Мадрид. Все это походило на прибытие Клеопатры к Палатинскому холму.

Эва знала об Испании очень мало, вернее сказать, почти ничего (на "Радио Бельграно" не одобрили предложение Муньоса Аспири написать сценарий для радиоспектакля о королеве Изабелле). Эву поселили во дворце Эль-Пардо[2], что подчеркивало ее особую близость к семье Франко.

По словам Алькараса, это соседство оказалось крайне обременительным для обеих сторон. Эве мерещилось, что юная Кармен подглядывает за ней как за диковинным чудищем – кто знает, какие сплетни о "президентше" достигли ее невинных ушей. Эва с отвращением заметила на верхней губе Кармен усики, как у монашенки, что-то вроде знака враждебного всякой телесности пещерного католицизма, заполнявшего унылые будни семьи Франко. Да, это были Катурлы из Хунина; покоями в Эль-Пардо завладели мелкие буржуа, хотя Франко провозгласил себя освободителем Испании и "каудильо милостью Божьей".

Эве вручили орден Изабеллы Католической, самую высокую награду Испании. В тот день стояла сорокаградусная жара, но поскольку был июнь, а Эва имела слабое представление о том, что климат в двух полушариях различен, она явилась на торжественную церемонию в роскошной горжетке из соболя.

Пока она читала подготовленную Муньосом Аспири речь, достойную образцовых заседаний Института испанской культуры, все шло хо-

1. Эррол Флинн (1909–1959) – американский киноактер, прославился, играя роли романтических героев в авантюрно-приключенческих фильмах; Герд фон Рундштедт (1875–1973) – немецкий генерал-фельдмаршал.
2. Эль-Пардо – королевский дворец, расположенный в окрестностях Мадрида, резиденция Франко.

рошо. Кто мог предположить, что Эва считает франкизм родным братом перонизма?

Стоило Эвите заговорить от своего имени, как на зал словно опрокинули ушат ледяной воды: она открыто призывала к восстановлению социальных ценностей, которые уничтожила диктатура Франко. "Рабочие Испании! – говорила Эва. – Аргентина неуклонно движется вперед, потому что она справедлива к себе, и в борьбе за хлеб и заработок наш народ сумел сделать правильный выбор, предпочтя лжи поддельной демократии демократию истинную, основанную на справедливом распределении благ. Великие идеи можно выразить простыми словами: больше хлеба, больше жилья, больше рабочих мест, больше еды – и жизнь станет намного лучше!"

Для фашистов, окружавших Франко, эти слова, произнесенные со всей искренностью и теплотой, на которые была способна Эва, прозвучали так, словно на балконе над площадью Ориенте неожиданно появились сам Ленин или Пасионария. Речь Эвы между тем транслировалась по национальному радио Испании, и ее услышали миллионы.

Это были годы, когда сотни рабов – жертв Гражданской войны – долбили камень в Долине Павших. Годы пыток и расстрелов.

Как рассказывает Алькарас, Эва вела себя так, словно по рассеянности отошла от текста испано-католического сценария, подготовленного Муньосом Аспири. На самом же деле в ее поведении проглядывала своего рода игра с элементом садизма. В глубине души она чувствовала неприязнь к семейству Франко. Объезжая испанские города, она посещала самые бедные кварталы, как обычно делала это и в Буэнос-Айресе. Видела истощенных детей, сидящих вечерами на пороге барселонских домов, – нищих детей, которые на ужин съедали ломоть хлеба с постным маслом и томатным соусом.

Для ее спутников это было настоящим кошмаром. Видя бедных, изнуренных людей, она раздраженно заявляла: "Немедленно дайте им что-нибудь поесть. Чего вы ждете?"

Покидая Севилью, где генерал Кейпо де Льяно[1] расстрелял тысячи людей, Эва произнесла незабываемые слова: "Я остаюсь здесь, с вами, мадридскими рабочими, севильскими табачницами, крестьянами, рыбаками, трудящимися всей Испании. Вам я оставляю свое сердце!" А севильские табачницы словно символизировали собой всех вдов из лагеря побежденных. Они зарабатывали на хлеб, поштучно продавая сигареты – что крайне удивило Эву – или торгуя лотерейными билетами. Насколько подла месть франкизма, Эва поняла, когда в Мадриде, улизнув от сопровождающих, попала на рынок Растро, где в то время продавались не старинные безделушки, а жалкий нищенский скарб. Когда Эва попыталась поделиться своими "открытиями" с Кармен Поло де Франко, та ответила, что они "наказаны по заслугам, потому что воевали за красных".

Эвита вела себя неслыханно, скандально. Когда маркиз де Чинчилья повел ее осматривать Эскориал, символ испанского величия, гнездо империи и усыпальницу королей, Эва, выбравшись наружу и щурясь от солнечного света, заявила, обращаясь к высокопоставленным военным и епископу: "Почему бы не устроить в этом огромном прохладном

1. Гонсало Кейпо де Льяно (1875–1951) – испанский генерал, видный участник франкистского движения.

здании что-нибудь дельное?.. Например, приют для бездомных детей, их так много повсюду..."

Как часто случается во время визитов самого высокого уровня, здесь тоже были смешные и забавные эпизоды, хотя Испания редко кому устраивала столь торжественный прием.

Жизнь в Эль-Пардо сделалась настолько невыносимой, что после отъезда Эвы Кармен Франко заявила, что никогда больше не поселит иностранных гостей в своем доме.

Эва без конца разговаривала по телефону. Как свойственно настоящей аргентинке, она болтала со всеми – с Пероном, с членами кабинета, со своими подругами. Покоя не было ни днем ни ночью. В восемь часов вечера аргентинское правительство собиралось в здании Конгресса, в кабинете Гуардо, ожидая звонка Эвы. Она диктовала им, как школьникам, список вопросов, и они должны были докладывать все новости.

Хуан Дуарте, Додеро и сопровождавшие их офицеры не вылезали из публичных домов. Мартин Артахо, холеный красавец канцлер, предупредил Эву, что в Альбаисине вот-вот разразится скандал: пресса пронюхала о славных похождениях гостей. Эва не замедлила устроить тем выволочку, употребляя самые отборные словечки, и почтенный канцлер услышал, как Эвита крикнула своему братцу в телефонную трубку:

– Еще одна шлюха – и ты вылетишь обратно в Аргентину! Мы должны показать, что мы – воспитанный народ, а не сукины дети!

Артахо, увешанный наградами франкист, истовый католик, пододвинул аппарат поближе к Эве, чтобы она повесила трубку, и, бледнея, пробормотал:

– Спасибо, Сеньора, за ваше вмешательство.

ПОЧЕТНАЯ ГОСТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ НАСТОЯЩЕЙ СМУТЬЯНКОЙ. Франко повел себя как трус, но Эва узнала об этом позже, уже накануне отъезда из Испании: он запретил передавать по радио опасные выступления Эвы, обращенные к массам. Ей организовали поездки по святым местам. Эва получила в подарок целую коллекцию четок и ладанок. Ее прямое общение с народом свелось к минимуму.

И тем не менее она произвела сильнейшее впечатление на испанцев, совсем недавно переживших трагический поворот судьбы. Франкизм был мало привлекателен, а Эва воплощала собой обаяние, элегантность и, пожалуй, иногда даже счастье. Воплощала свежий голос свободы, задушенной каудильо.

Как относился к ней генералиссимус?

Я вам вот что скажу: Франко был старый кот, трепаный лис. Он мгновенно оценил ее ум и осознал опасность, которую, сама того не ведая, она представляла. Он проникся к ней уважением, и его свита, все его окружение это почувствовали. Эвита была незаурядным явлением, харизматической личностью, как сейчас говорят про кого угодно, даже про рок-певцов...

Франко не мог до конца постичь эту любопытнейшую женщину. Отношение каудильо к Эве хорошо иллюстрирует один эпизод. Как-то раз они ехали на машине на очередной официальный прием, вдоль дороги

стояло множество людей, и Франко задела невозмутимость, с какой держалась эта хрупкая женщина-девочка (ей было тогда 28 лет), она вела себя как искушенный глава правительства. Поскольку Франко отлично знал, что на площади Ориенте их поджидает восторженная толпа, он сказал Эве, что "она будет растрогана до слез".

— На родине мне и вправду случается плакать, генералиссимус, но здесь я вряд ли заплачу.

— Никто не может сдержать чувства, видя восторг масс. Так вот, сеньора, если вы сохраните невозмутимость, я сниму тот гобелен в Эль-Пардо, который вы похвалили вчера вечером, и преподнесу вам в подарок...

— Договорились.

На площади Ориенте, глядя на ревущую толпу, Эва вела себя так, словно для нее это привычное зрелище. А затем произнесла свою знаменитую речь про "хлеб и работу", достойную Троцкого, и голос ее не дрогнул, даже когда четыреста тысяч человек принялись скандировать: "Аргентина! Аргентина!"

На следующее утро еще до завтрака Эва приказала двум слугам снять гобелен "Смерть Дария". Ей хотелось позлить Франко.

Уверен, что две недели, которые Эвита провела в Испании, превратились для семейства Франко в кошмар. (Нас, аргентинцев, вообще трудно выносить.) Кроме того, поговаривали, что Эва не знала самых элементарных правил международного этикета. Так, например, на корриду, устроенную в ее честь, она явилась с большим опозданием. (Быки зевали от скуки, и коррида была довольно убогой. К слову сказать, один из тореадоров был аргентинцем, а это все равно что заставить испанца — например, Пласидо Доминго — петь аргентинское танго.)

В Барселоне она на несколько часов опоздала на обед, на котором должна была присутствовать вместе с Кармен Поло. По слухам, проспала. К тому времени Эву все так боялись, что разбудить ее никто не отважился, словно речь шла о хищнике, бенгальском тигре.

Однако истинная причина таких происшествий была, думается мне, гораздо серьезнее.

Эва отправилась в Испанию в состоянии душевного кризиса. Целыми днями сидела в своей комнате, запершись на замок. Вот что, например, случилось в первую ночь ее пребывания в Эль-Пардо. Охранник и слуги, приносившие Эве завтрак, стучали в дверь, чтобы ее разбудить, но не получили ответа. Затем послышался звук отодвигаемой мебели, и в дверях появилась Эва. Оказывается, с вечера она забаррикадировалась: заперлась на ключ и придвинула к двери комод и шкаф.

Лилиан Лагомарсино де Гуардо, замечательный и тонкий человек, сопровождала Эву в качестве "советника", и она наверняка сказала бы вам, что эти опоздания объяснялись отнюдь не плохим воспитанием. Почему, находясь в Испании с визитом, Эва делала то, чего никогда не позволяла себе в Буэнос-Айресе, участвуя в разных официальных мероприятиях вместе с Пероном, по-военному пунктуальным человеком?

Чего она боялась, какой грех ее преследовал?

Ближе к концу визита, в Барселоне, где Эве отвели покои в прекрасном дворце Педральбес, она пережила самый сильный приступ тоски. Эва безудержно рыдала... Да, она рыдала, эта "женщина, не ведавшая слез".

Думаю, чуть более откровенной Эва была только с Лилиан Лагомарсино. Жаловалась ей на свое невежество, на "вред, который она причиняет Перону" тем, что не умеет быть достойной его, а также той политической миссии, которая на нее возложена.

Никто не знал, что делать. В Барселону тем временем пожаловал Франко, чтобы участвовать в прощальном ужине.

Что за злые силы терзали Эвиту?

Ужин состоялся в Апельсиновом дворике, где был слышен гул толпы, которая собралась на площади Сан-Жауме – собралась не ради Франко, а ради Эвиты. За столом она сказала сидящему рядом Франко дерзость:

– Позвольте дать вам совет, генералиссимус: если вам понадобится собрать народ, позовите меня.

Расставаясь с Эвой, Франко был убежден, что она чувствует к нему неодолимое отвращение. Прибыв в Лиссабон, Эва, которая к тому времени наверняка получила по телефону соответствующие указания от Перона, первым делом встретилась с принцем Доном Хуаном де Бурбоном[1]. Ничто не могло задеть каудильо больше, и принц предупредил об этом Эву. В ответ она сказала:

– Ничего, пускай позлится!

Франко старался пресечь опасные выступления Эвы. Ее без конца возили по храмам, часовням и святым местам, и всюду ее сопровождала супруга генералиссимуса и их дочь Кармен – тихое создание, крайне докучавшее Эве своим любопытством.

Однако Эва взяла-таки реванш, произнеся по национальному радио Испании знаменитую прощальную речь. Ее услышали миллионы людей, которых режим обрек на молчание. Слова Эвы повергли в состояние шока военных и церковников, верных сторонников франкизма. Покидая Испанию, Эва говорила об испанских тружениках и труженицах, как во время выступлений в Севилье, Сантьяго-де-Компостела и Гранаде, ни разу не упомянув нынешних правителей, победивших в Гражданской войне, хотя это они ее и пригласили:

Я с благодарностью принимаю ваши горячие приветствия, потому что в моем лице вы возвеличили не просто женщину, а всех женщин из народа, к которым до сих пор относились как к рабыням, которых притесняли и не допускали к серьезным делам. Вы, испанские труженицы, чествуете прежде всего самих себя, справедливо требуя, чтобы на вашу землю никогда не вернулось старое общество, где одним людям, которым посчастливилось родиться в роскоши, достаются права и привилегии, а другим, повинным лишь в том, что они родились в бедности, – тяготы и несправедливость. Простое происхождение и бедность никогда ни для кого не должны быть препятствием, мешающим осуществить заветную мечту, сокровенные надежды. Частичку моего сердца я оставляю здесь, в Испании. Я оставляю ее вам – мадридским рабочим, севильским табачницам, крестьянам, рыбакам, трудящимся Каталонии и всей страны. Я остаюсь с вами. Прощай, моя Испания...

1. Хуан де Бурбон (1913–?) – испанский принц, сын низложенного в 1931 г. короля Испании Альфонса XIII.

РОСКОШНАЯ ГОСТИНАЯ В ОТЕЛЕ "РИТЦ", Вандомская площадь. Одна за другой проходят манекенщицы. Женоподобные портные фирмы Диора снимают с меня мерки. При этом присутствует женщина — Коко Шанель. За окном стая голубей в последний раз облетает вечереющее небо. Журналисты поджидают меня повсюду — в вестибюле, на улице; у дверей автомобиля, который мне предоставил министр Бидо[1] (по мнению Перона, самый влиятельный человек в правительстве). В этом автомобиле разъезжали де Голль и Черчилль.

Разные коллекции нарядов: приглушенные цвета, изящные силуэты, преобладание геометрического рисунка.

— Вы, Сеньора, элегантны *от природы*, — сказала Коко Шанель, — и все же trop habillée[2] должна одеваться так, словно это не стоит ей никаких стараний, хотя и тратит на свой внешний облик массу времени и денег.

Мой неисправимый порок — страсть к нарядам, драгоценностям, так и не утоленное желание выглядеть элегантно. В "Ритце" собрались главные волшебники: Диор, Роша, Руфф, Фат, Жан Пату, Люсьен Лелон. Меня причесывают в лучшем салоне — поднимают волосы вверх и укладывают короной; отныне эта прическа останется моей навсегда. Долой локоны и сложные архитектурные сооружения из шиньонов. Это Париж. Отель "Ритц". Царство истинной элегантности.

В "Ла Куполь" (куда я сбежала вместе с Хуаном, Муньосом Аспири и Додеро) еще играли старые исполнители танго — бандеонисты в широченных шелковых шароварах, сапогах на шнуровке с низким голенищем, с широкими поясами и шейными платками. Поддельные гаучо, которые не умеют скрыть свой откровенный буэнос-айресский говор. Остатки оркестра Писарро и Бачичи, наследники пьяницы Ароласа[3].

В этом пустом переулке,
куда я случайно забрел,
погиб Эдуардо Аролас
за то, что красотку увел.

ЭРНЕСТО РОНДО, ЭТОТ "НАРОДНЫЙ ПЕВЕЦ" в костюме гаучо от Диора, поет для меня "Жимолость" и "Но я знаю...".

Я все это вижу. 1920 год, не хватает только Гарделя и Хулио Де Каро с его расстроенной старой скрипкой. Сейчас в больнице эти мелочи, ожившие в памяти, выглядят далекими и немного смешными. Как странно ведут себя люди, какие диковинные поступки мы совершаем! Пью мятный фраппé, который кажется мне очень "французским", и, прикрыв глаза, слушаю рондó. Да, я в Буэнос-Айресе. Буэнос-Айрес, мой тайный брат, пришел навестить меня, ловко перепрыгнув через океан.

Мой печальный дом
в предместье,
Тень его —

1. Жорж Бидо (1899–1983) — премьер-министр Франции в 1946-м и 1949–1950 гг., в 1944–1954 неоднократно был министром.
2. Зд.: модница (*франц.*).
3. Эдуардо Аролас (1892–1924) — аргентинский композитор, автор известных танго.

моя сестра.
Из далеких
детских лет
донесла ты
свой привет,
жимолость,
моя подруга.

Французы — самые цивилизованные люди в мире; и все они, от Коко Шанель до графа Робера де Бийи, почувствовали, что Эвита — существо особенное и не стоит придавать значения нападкам прессы, которая, не понимая, что такое перонизм, предпочла не ломать голову и причислить его к некой еретической разновидности фашизма. Французы заметили Эву. Первыми ее "открыли" Робер де Бийи и герцогиня Ларошфуко. Они устроили ужин, на который были приглашены представители высшего света: де Бройль, д'Аркур, Люин, герцог де Брисак.

Эва подписала соглашение с Жоржем Бидо о поставках зерна, и вскоре ее пригласили на обед с президентом Ориолем во дворец Рамбуйе. Робер де Бийи — вы с ним познакомились и разговаривали на конференции в Maison de L'Amerique Latine[1] — рассказывал, что собеседники Эвы, с которыми она говорила через переводчиков (иногда ей помогала Лилиан Лагомарсино), были несказанно удивлены, услышав от нее несколько забавных историй из жизни Наполеона — что-то про Жозефину или роман с Марией Валевской... Надеюсь, вы меня понимаете...

У Эвы отсутствовала культурная база, ей не хватало познаний в области мировой политики, необходимых для общения с главами европейских государств. (Попросту говоря, она была невежественна, как и большинство президентов, дорвавшихся до власти в несчастной Аргентине.) Тем не менее она была наделена интуицией и невероятным обаянием. Кроме того, у нее имелся козырь: она знала, что ее успехи в социальной работе очень значительны. Она делала то, о чем они не подозревали, чего не умели делать, — придать власти человеческое лицо, сплотить народ.

Эва обезоруживала тех, кто стремился выставить на посмешище ее необразованность и отсутствие культуры (внешнее). Думаю, вас заинтересует интервью для газеты "Монд", которое напечатал журналист с характерной судьбой — неудавшийся революционер, которому приходилось работать на крупное капиталистическое издание псевдолиберальной, псевдолевой и псевдопрочей направленности.

— Вы в самом деле католичка, мадам Перон?

— Да, я себя таковой считаю. Хотя у меня есть сомнения, к чему скрывать?

— Какие именно, мадам?

— Какие именно?.. Почему допускает Господь неравенство между людьми? Как ни стараюсь, не могу объяснить себе, почему ценой голода, страданий, материальной и духовной нищеты большей части чело-

1. Дом Латинской Америки (*франц.*).

вечества горстка людей может купаться в роскоши? Для меня это главная тайна мироздания. Когда я думаю об этом, теряю голову, в душе закипает гнев, который нет сил сдержать. Если бы в основе коммунизма не лежал атеизм, я бы, возможно, стала коммунисткой.

— А как вы относитесь к католической церкви?

— Церковь я не отвергаю, но с досадой сознаю, что она больше занята политическими вопросами, нежели духовными. Кроме того, она слишком далека от Христа и Евангелия. Когда я шла к первому причастию, священник отправил меня домой, потому что на мне не было белого платья, как на других девочках. Как он меня ранил! До сих пор ношу в душе этот след...

— Кто ваш любимый автор?

— Я уже отвечала на этот вопрос, когда была в Риме: Плутарх.

— Вы и вправду его читали?

— Нет, не читала. И никогда не буду читать. Мне пересказывал его мой муж. Перон все время о нем говорит.

— Какую музыку вы любите?

— Самую простую. Честно говоря, для меня и музыка, и живопись — китайская грамота, я в них ровным счетом ничего не смыслю.

Несколько раз мы обсуждали с Эвой то первое причастие. Этот эпизод занимал немаловажное место в арсенале ее претензий к католической церкви. В Хунине Эва прошла катехизис, но к 8 декабря донья Хуана не смогла купить ей кисейное платье и фату, согласно традиции, которая превращает девочек в маленьких невест, а мальчиков — в адмиралов. И вот идиот-священник не принял ее вместе с другими первопричастницами. Чудовищная черствость. В отношении маленькой Эвы — девочки, не имевшей отца, чью мать все презирали, — этот поступок сельского священника, который впоследствии мог сделаться даже епископом, я расцениваю как нравственное преступление... Мне, как священнослужителю, пусть даже и гонимому, до сих пор за него стыдно. Как объяснить Эве, что одна полинявшая ворона зимы не делает и один скверный священник — еще не вся Церковь, что он всего лишь мелкая сошка при Великом Инквизиторе?

Что же касается второго вопроса... Столько лет прошло со дня ее смерти... Теперь можно смело утверждать: Эва была коммунисткой. Она не допускала, что будущее принадлежит барышникам, дельцам и богачам. Она была убеждена, что социальная справедливость возможна только как государственная политика. Это был интуитивный, подсознательный коммунизм, который имел мало общего с господствующей теорией. Коммунизм эмоциональный, революционный, а не бюрократический. Она чувствовала, что благополучие народа — в солидарности. Индивидуализм означал для нее смерть, солидарность — жизнь.

Объяснить этого она не умела. На коммунизм было наложено табу, он являл собой воплощение зла, его неустанно осуждала Святая церковь, чего Эва не понимала, потому что в Христе видела прежде всего коммуниста.

В скверном мюзикле, получившем мировую известность, ее сравнивают с Че Геварой.

На этот раз самодовольные янки почти что угадали.

Когда Эва лежала в гробу, я, отслужив мессу, обратился с речью к полумиллиону людей, под дождем стоявших на коленях перед алтарем, наспех сооруженным на Площади 9 июля. От меня требовалась безграничная искренность по отношению к Эве и к народу. В своей проповеди я произнес слова истины, которые погубили мою "карьеру", но не меня в глазах Господа:

Товарищи! Если коммунизм преподает в школах закон Божий и советует молодежи брать пример с Христа; если коммунизм проводит социальную политику, черпая силу в папских энцикликах; если коммунизм требует забыть о болезнях и страданиях, обратив взор к небу; если, несмотря на дождь и пронизывающий холод, коммунизм в это утро собрал всех нас – рабочих, профсоюзных лидеров, руководителей Всеобщей конфедерации труда, – если все это по силам коммунизму, то будь благословен коммунизм!

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИИ полностью изменил всю картину. Смерть отступила! Я вызвала Фиору и руководителей передвижных пунктов помощи на срочное совещание. Женская перонистская партия обязана выявлять первоочередные нужды народа, прежде всего женщин и детей. Позади времена, когда наши действия носили спонтанный характер – отныне они должны превратиться в национальную политику.

Я больше не думала о болезни. Приходилось терпеливо сносить негодование врачей.

– Моя болезнь – не просто досадный эпизод, – сказала я лидерам женской перонистской партии, – это еще и предупреждение. Слава богу, худшее позади. Как утверждает профессор Альбертелли, недели через две-три я буду в порядке. Со мной моя духовная сила (телесная восстановится в скором времени). В политике мы сделаем все возможное, чтобы хустисиализм одержал верх над реакцией: разработаем новую систему военной защиты государства и демократии. В социальной сфере, касающейся меня непосредственно, необходимо избрать новое направление, всесторонне разработав его теоретические и практические стороны: мы обязаны помогать каждому человеку в нужде и горе – только так можно достигнуть всеобщего блага. (Вот почему – и только поэтому – народ единодушно проголосовал за перонизм 11 сентября.) Необходимо подготовить очень сильную речь. Обучать, разъяснять.

Итак, я чувствую себя обновленной. Тело избавили от врага (я слышала, что из меня буквально вынули все внутренности). Вчера, выходя из больницы, я пришла в ярость – о, опять эта ярость, жизнь! – и приказала немедленно уничтожить маленькие алтари с моими фотографиями и двумя свечами, которые больные и медсестры устроили на каждом этаже больницы.

Я злилась! Я стала прежней Эвитой.

– Какого черта вы делаете из меня великомученицу? – кричала я.

Прибыв в Резиденцию, я обнаружила, что одна из гардеробных Перона переоборудована в образцовую больничную палату: высокая кровать с поручнями, стеклянный шкаф с легионом пузырьков и бутылочек.

После долгого и утомительного спора им все-таки удалось надеть на меня голубую пижаму и уложить в постель. Придется набраться терпения и, смирившись с диктатурой людей в белых халатах, подождать еще недели две.

На лицах служанок и шоферов — выражение счастья. Меня обнимали так, словно я генерал, вернувшийся с победой.

Вечером ко мне зашел Хуан. Ренци принес ведерко с бутылкой шампанского "Поммери". Я отпила маленький глоток, потому что была все еще слаба и, выпив чуть больше, уснула бы. Хуан меня обнял, и я ощутила бесконечное блаженство любви. Казалось, я врастала в него, проникала в его грудь, уютно пахнущую крепким табаком моего дедушки дона Диохенеса.

Я чувствовала на висках обжигающие слезы Перона. Слезы радости, победы.

СОН БЕСПОРЯДОЧНЕЕ, ЧЕМ РЕАЛЬНОСТЬ. Однако, проснувшись, я поняла, что сновидения значительно уступают тому, что творится в моем секретариате.

Входит старик креол, робкий, наверняка он прибыл из засушливых окраинных областей. Вместо него говорит жена. Ему кажется нахальством просить вставную челюсть. Не для себя, а для шурина из Катамарки. Все ясно! Пусть в протезном кабинете старику снимут мерки, наверняка они с шурином похожи. Потом появляется женщина, обманутая нотариусом, который хотел отнять у нее дом, воспользовавшись поддельными документами. Срочный приказ юридическому отделу — немедленно расследовать. Если совершено злоупотребление, пусть этим займется федеральная полиция! Юноша с раком надкостницы. Он молча слушает, пока говорят родители. Смотрит на меня, спрятавшись за их спинами. Погасшие глаза, печальный взгляд... Отправьте его на консультацию к министру Каррильо! Если окажется, что оперировать его можно только в Хьюстоне, забронируйте отель, закажите билеты и дайте ему денег на дорогу. Позвоните в посольство!

В глубине холла что-то происходит. Члены профсоюза строителей, которые ждут меня уже два часа, вскакивают со своих мест и бросаются на помощь к скрюченному судорогами старику калеке, который из последних сил ползет по полу. Зову Пичолу, который варит кофе для почетных гостей. Старика надо немедленно отправить на "скорой помощи" в какой-нибудь хороший дом престарелых. Нет, он хочет видеть меня лично. С трудом протискиваюсь сквозь толпу. Он тянет ко мне сведенные судорогой руки с растопыренными пальцами. Я обнимаю его. Он плачет. Затем возвращаюсь за письменный стол. Там меня поджидают Серж Лифарь[1] с фотографами и французский консул. Моя блузка от Жака Фата, которую мне доставили в пятницу, испачкана блевотиной. Прежде чем меня начнут фотографировать, я должна переодеться. Не тут-то было: двое детишек из семьи, хлопочущей о жилье, попили "плохой воды в Сиудаделе", и у них начался понос. По ножкам бегут жидкие коричневые струйки. Заняться ими немедленно! Лифарь улыбается.

1. Серж Лифарь (1905–1986) — французский танцовщик, хореограф, педагог; выходец из России. В 1923–1929 гг. танцевал в труппе "Русский балет Дягилева" (Париж).

Стоит страшная вонь. Включить летние вентиляторы! Приказ, словно эхо, повторяется несколько раз, прежде чем достигает ушей обслуживающего персонала. Включить вентиляторы!..

Входят Сереихо и Гомес Моралес, неся тяжелые бухгалтерские книги — ненавистные, но необходимые. В них отчеты о пожертвованиях трех крупных предприятий: "Альпаргатас", "Молинос" и "Бунхе и Борн". Прибыли двадцать тысяч швейных машинок "зингер". За них запросили невиданную цену, в итоге все оплатил "Мерседес-Бенц". Позвоните послу Германии!

Надо раздобыть штанишки для детей с поносом. Надеть им подгузники. Отлично: вместо штанишек — матросские костюмчики, дар "Детства Аргентины".

Закончились купюры по десять песо. Придется подождать. Беседую с Лифарем. Как улучшить балетную труппу театра "Колон"? У нас, аргентинцев, отличная пластика, почему же мы не можем подготовить таких артистов, как у вас? Он рассказывает о Дягилеве. Немедленно пригласите его труппу к нам. Очень жаль, что невозможно...

Подписываю приказы. Одеяла для жертв землетрясения в Эквадоре. Пенициллин для сеньоры Бреда де Ас, которая обратилась к нам из Индонезии; отправьте его срочной дипломатической почтой.

Сереихо обеспокоен: за год разошлось четыреста тысяч пар обуви. Это превышает наши возможности. Надо пополнить запасы. Пусть подготовят список производителей и продавцов обуви! Создайте специальную комиссию!

Подписано соглашение о поставке двух миллионов бутылок сидра и двух миллионов сладких булочек, которые беднякам всей страны раздадут под Новый год в почтовых отделениях. На поставку сидра заключен контракт с фабрикой в Куйо, которая не может реализовать всю свою продукцию.

Экстренное совещание. Как они смеют выбрасывать картошку в море! Какая низость! Всюду, особенно в Балкарсе, огромный урожай картофеля, и его выбрасывают в море, чтобы не снижать цену. Немедленно пошлите к ним людей из Министерства сельского хозяйства в сопровождении вооруженного отряда федеральной полиции! Это чудовищное преступление, плевок в лицо Господа! Отдать их под суд за саботаж! Это послужит примером тем, кто выливает в реки вино и не лечит больную скотину!

Приносят купюры по десять песо, и прием продолжается. Многие истории вызывают сомнения. В таких случаях нам помогают специальные комиссии.

За два дня получено двенадцать тысяч писем со всей страны и из-за границы. Тридцать машинисток работают не покладая рук. Вызываю административную группу: необходимо ввести третью смену машинисток, чтобы работа продолжалась двадцать четыре часа.

Неожиданное донесение: военный госпиталь, который выехал в Жужуй на эпидемию, не может остановиться в Тукумане, потому что бастуют железнодорожники. Опять эти социалисты с их революцией! Новое преступление во имя высоких целей!

Мы уже обратились к военным, но они не могут вмешаться, пока не получат приказ от своего командования. Немедленно соедините меня с Сосой Молиной или с Форчером! Если они не способны обеспечить до-

ставку медицинской бригады в Жужуй, пусть вернут свои награды и встречают Новый год в кругу семьи, в штатском! Мне нужно, чтобы в десять вечера поезд был в Жужуе!

Сообщение от Сереихо, которого я разбудила в четыре утра по срочному делу: удалось достать тележку для развозки молока, черпаки, оловянные бидоны и хорошую лошадь. Все это согласно приказу передали молочнику-баску в семь тридцать утра. "Сеньор Ибаргуэнгоэтиа подписал три квитанции".

Хоть что-то сделано! Полный достоинства баск с простодушными синими глазами не станет думать — во всяком случае пока, — что иммигрировал в страну, где живут одни прохиндеи и подлецы.

МЫ В ВЕНЕЦИИ, В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ на площади Сант-Анджело, где Джорджо Де Кирико[1] устраивает последнюю в своей жизни выставку. Раскаленный августовский день. Три часа пополудни, самая жара. Пересекаем площадь и заходим в кафе, с нами Серж Лифарь, Мануэль Мухика Лаинес[2] и Оскар Монестероло. Мухика Лаинес вспоминает далекий вечер 1951-го в театре "Колон". Лифарь ежегодно приезжает в Венецию в августе поклониться маэстро Дягилеву. Плывет до острова Сан-Микеле на vaporetto и там на неповторимо прекрасном тенистом кладбище кладет розу на могилу великого хореографа, своего друга.

Мы пили кофе и минеральную воду, и тут Лифарь вспомнил Эвиту. Тот нескончаемый день в Фонде. Потом они сели в "кадиллак" и отправились в рабочие кварталы на окраины Буэнос-Айреса. И еще он вспомнил праздничный вечер в театре "Колон" и веселый европейский город, который некий сверхмощный ураган занес на далекий континент.

— В тот вечер Эва, Сеньора, показала мне изнанку Буэнос-Айреса, его, так сказать, латиноамериканское предместье. Я заметил, что за день Эва дважды переоделась, и спросил, почему теперь на ней был роскошный костюм, драгоценности, шляпка... Словом, почему она выглядела, что называется, overdressed[3]. "Бедняки любят, когда их всесильный покровитель появляется во всем блеске. Здесь есть нечто магическое. Все задают этот вопрос".

Пока мы путешествовали по рабочим кварталам, она сказала мне кое-что примечательное: "Здесь так же, как у вас в Париже, да и вообще в лицемерном западном мире, бытует порочное убеждение, что все продается и покупается, все имеет цену, а тому, у кого денег нет, остается лишь терпеть, даже если он болен и его ни в чем не повинные дети голодают. Все поставлено с ног на голову, ведь именно с таким положением вещей и связывают идею свободы. Я хочу доказать себе и другим, что это ложь. Бедным можно помогать! Мы должны облегчить боль, дать необходимое, чтобы люди могли выжить! Что тут невозможного? За так называемыми законами экономики и рынка скрывается философия капитализма. Все это ложь. Им кажется, что они победили, а на самом деле они породили больное общество, которое рано или поздно разлетится вдребезги, как случилось в октябре 1917 года. Это общество основано на ложных ценностях и ложной философии!"

1. Джорджо Де Кирико (1888—1978) — итальянский художник-сюрреалист, теоретик искусства.
2. Мануэль Бернабе Мухика Лаинес (1910—1984) — аргентинский писатель.
3. Слишком нарядная (*англ.*).

ЭВА ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ БЮРОКРАТИИ. Сражалась с ней безжалостно, яростно, устраивала скандалы, увольняла...

Деловые и человеческие качества чиновника Эва оценивала прежде всего по тому, как он обращается с бедняками, обездоленными.

Даже мы, министры, с ужасом ждали ее внезапных звонков, которые раздавались в любое время суток, стоило ей узнать, что в одном из наших ведомств кого-то обидели.

Она ненавидела бумажную возню, издевательства чиновников, полицейских и так далее. В числе нововведений Фонда была созданная Эвой Перон и комитетами женского крыла хустисиалистов национальная сеть, проникавшая во все сферы. Эта сеть помогала собирать информацию и принимать необходимые меры.

За два года Эва ухитрилась создать великолепно отлаженную собственную систему информации.

Расскажу вам о том, что случилось 14 июля, когда мне пришлось сопровождать Эву на торжество по поводу Дня взятия Бастилии. Эва любила "одеваться", но в тот день, посвященный национальному празднику Франции, превзошла самое себя: шляпка с вуалью, роскошное платье, расшитое цветами, изумрудное ожерелье...

По какой-то причине наш автомобиль и сопровождавший его эскорт остановились на полпути, на улице Серрито. Напротив банка стояла бедно одетая старушка и плача рассказывала о чем-то прохожим. По приказу Эвы мы вышли из автомобиля. От старушки что-то потребовали в банке. Она ничего не понимала. Протянула Эве какую-то бумажку, и они вместе направились в здание.

Эва была мрачнее тучи. Обняв заплаканную старушку за плечи, она двинулась к главному окошку. Я видел, как горели у нее глаза, потом послышался ее голос, от которого похолодели несчастные служащие и весь персонал банка — от управляющего до курьера:

— Отвечайте! Какой мерзавец велел этой сеньоре прийти завтра?

Разумеется, через неделю там работали уже другие люди. В таких вопросах Эва не церемонилась даже с нами, своими министрами...

Фонд был главным инструментом Эвы, воплотившим сам дух хустисиализма. Он вырос с головокружительной быстротой на деньги казино, ипподромов и лотерей, на пожертвования предприятий и профсоюзов. Сначала он имел 10 000 песо, а когда военные, придя к власти, проверили его счета, они обнаружили капитал в 3,5 миллиарда. Эта была поистине *национальная* организация: диспансеры, поликлиники, школы, детские столовые, передвижные пункты лечения бездомных, которыми руководили 26 священников. Были наняты 14 тысяч специалистов и 6 тысяч простых рабочих для строительства школ и санаториев. По всей стране действовали склады-распределители, куда обращались за обувью, одеждой, кухонной утварью, игрушками, лекарствами, инструментами.

Все это финансировалось законно: за счет части налогов на прибыль от определенных видов деятельности, указанных в законах 13 941 и 14 042 о Налогах на доходы игорных заведений и казино, а также в Резолюции 266.

После переворота морские пехотинцы задержали меня, подвергли допросу, однако ничего противозаконного не выявили.

В некоторых случаях для получения денежных средств Эве приходилось оказывать давление на не слишком щедрых предпринимателей. Тогда она действовала как диктатор. Она отомстила фирме "Массоне" и нескольким производителям карамели, которые отказались поставлять товар, заказанный для передвижных пунктов помощи.

Морских офицеров, которые меня допрашивали, искренне восхитила великолепно отлаженная работа Фонда и невиданный размах его деятельности.

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЫВОДИЛА ЭВУ ИЗ СЕБЯ. Она безжалостно ее искореняла. И делала это как истинная креолка — со страстью и святым гневом. Конечно же, ей доводилось совершать ошибки. Поначалу она не брезговала местью: мстила в театре, в профсоюзных кругах. Но ничего вопиющего, надо признать, не совершала.

Как-то раз я спросил у нее, почему она отказалась быть прежней Эвой и целиком отдалась политике, пламенной страсти под названием "прямое социальное действие". Страсти, наполнившей ее "третью жизнь".

Эва растерянно посмотрела на меня со своих подушек. Она задумалась. Мой вопрос застал ее врасплох. Казалось, ей поднесли зеркало, в котором отразился совсем другой человек — не такой, каким ей хотелось себя видеть. Она не знала, как ответить.

Спустя годы, находясь на чужбине, а точнее в изгнании, на которое меня обрекли мои же соратники за "перонистские перегибы", я многое обдумал и готов поделиться своими размышлениями.

Итак, когда Эва впервые почувствовала тайную силу оказавшейся в ее руках власти, она решила превратить ее в священное оружие для защиты добра, и отныне никто, даже сам Перон, не мог ее удержать. Как и во время бегства из Хунина, остановить Эву было невозможно.

Поймите, в этой стране, в эпоху, когда власть была всего лишь способом достижения славы, почестей, богатства, Эва воспринимала ее как божественный дар (как сказал бы Тейяр де Шарден[1]: "божественная среда власти").

Власть превратилась для нее в высшую форму любви. Безумной, самоотверженной любви.

Кроме того — очень важно, чтобы вы это знали, — начиная с 17 октября Эва чувствовала, что обладает харизмой, что народ помазал ее "на царство" (настоящий *демос*, а не политиканы), поддержал ее подавляющим большинством голосов в 1946 году, а затем на выборах в 1951-м. Эва была убеждена, что ее деятельность отвечает самой сути демократии, выражает народную волю и что данная ей власть абсолютна.

Кроме того, она чувствовала, что защищает интересы тех, кто никогда не смел выразить свою волю, *даже* во времена демократии: женщин, бездомных, больных, других...

Лишь немногим, включая, разумеется, Перона, обладавшего редкой проницательностью, удалось понять, что это было внеполитическое, надполитическое явление — некое подобие мистического полета.

1. Пьер Тейяр де Шарден (1881—1955) — французский ученый и философ-богослов. Главные книги — "Феномен человека" и "Божественная среда".

Эвита отличалась от всех прочих тем, что она открыла высшую сущность власти — *власть давать*. Быть с тем, кто страдает. Делать добро. Кормить. И главное — власть прямого действия, как ее понимали средневековые святые или мать Тереза из Калькутты.

Это могущество святости, бескорыстная щедрость по сути воплотили в себе идею перонизма. (Если после сорока лет правления тиранов, жуликов, слюнтяев и пораженцев в Аргентине по-прежнему голосуют за перонистов, причина тому — огромное любящее сердце и святость Эвиты!)

— Почему же в таком случае, падре, вы — или ваш орден — не подали ходатайство в Ватикан, ведь, судя по вашим словам, Эва — святая, и куда более значительная, чем Святой Сеферино Намункура[1]?

— Я же говорил, что это вопрос теософского характера. У меня были на то причины... Но в одном я совершенно убежден: настоящую правду об Эве Перон нужно искать в секретных архивах Ватикана, в образцовом бункере, выстроенном на случай ядерного взрыва в подвалах Ватикана, который вы, разумеется, осматривали только снаружи...

Я БЛАГОДАРЕН ВАМ ЗА ТО, ЧТО НАШЛИ ВРЕМЯ МЕНЯ НАВЕСТИТЬ. Я много думал о вопросе, который вы задали по телефону, — о феномене Эвиты, миф о которой облетел весь мир. Я не верю в случайность. Изложу вам основные доводы:

• Эвита использовала власть с исступлением праведника, начавшего схватку со Злом (включая и саму власть как традиционное орудие насилия и демагогии).

• Интуитивно Эва чувствовала декомпенсацию (в философском смысле), бесчеловечность власти, и поняла, что только неустанная социальная деятельность вновь сделает гуманной политику распада и нигилизма. Речь шла о культуре солидарности, которую предстояло привить к засохшему древу старых идей, которые агонизировали, как мы теперь видим.

• Эва превратилась в Рембо от политики: она была мистически предана добру, но это была стихийная мистика. Сама она не сумела бы ни объяснить, ни понять то, что я говорю. Она презирала уловки современной политики. Ей были совершенно чужды хитрость Макиавелли, интриги фон Клаузевица, которыми так восхищался ее супруг. (Перон остался — и победил — на равнине реальности. Эва, устремившись в полет, сумела воплотить в жизнь мечту.)

Для латиноамериканских женщин Эвита была Боливаром в юбке. Представьте себе, она не имела ни одного титула, ни одной должности из тех, что так ценят мачо. Она не была ни президентом, ни военачальником. Управляла всем из глубины своего сердца, как говорится, из кухни.

1. Сеферино Намункура (1886–1905) — аргентинский святой; сын касика, крещен в восемь лет, затем, желая стать священником, учился в Буэнос-Айресе и Италии. Скончался от туберкулеза. Канонизирован в 1957 году.

Повелевала по-женски, воплощая собой альтернативу обычной власти. Чего стоит сам ее образ: Эвита одевалась не так, как современные чиновницы или женщины-сенаторы, она наряжалась, красилась, носила драгоценности, умела быть женщиной, а не подражала мужчинам, вопреки обычаю, принятому в обществе мужчин. Самим видом своим она провозглашала женскую революцию: она доказала, что, оставаясь женщиной, можно править страной лучше, чем это делают мужчины.

Благоприятный период в жизни народа обычно очень краток, в то время как период упадка, зависимости и торжества посредственности тянется бесконечно. Аргентина в эпоху Поколения 80-х[1] преследовала дерзкую цель — идти своим путем, *быть* и стать одной из первых стран, не спрашивая на то разрешения у других, являвшихся по сути своей колонизаторами.

Да и задачи, поставленные супругами Перон, заслуживают не меньшего восхищения: укрепить демократию, добиться равенства возможностей как в Аргентине, так и во всей Латинской Америке, населенной ничтожными "цветными" и ничтожной (в моральном отношении) горсткой белых, владеющих деньгами и привилегиями. Это ведь подвиг! Немыслимая по тем временам дерзость!

Для такого перониста, как я — старика, бывшего министра, — нынешняя Аргентина, где всем заправляют лакеи и шустрые дельцы, которые, не выпуская из рук мобильных телефонов, обедают возле кладбища "Реколета" — в двухстах метрах от мумии Эвиты, — являет собой воплощение убожества и никчемности.

Выступая от имени перонизма, эти жалкие людишки, не умеющие мыслить философски, позорят Аргентину, низводя ее до уровня провинциальной страны, лишенной будущего и собственной воли. Группа прагматиков, чуждых высоких помыслов, основала рыночный перонизм.

Политика Перона и Эвы, несмотря на ее наивность и недоработки, поражает сегодня так же, как мужество Факундо, просветительская деятельность Сармьенто, решительность Роки[2]. Поднять весь народ, сплотить молодежь, женщин, профсоюзы под лозунгом солидарности — на борьбу с нищетой! Убедить народ, что эти идеи необходимо защищать, что государство должно сплотиться вокруг общих ценностей, а не преследовать сугубо личные корыстные цели, которые приводят страну к разобщенности!.. Какое донкихотство, какое подвижничество...

Представьте только, что чувствую я, бывший министр, когда слышу этих лакеев-метафизиков, утверждающих, что христианство — вчерашний день, в то время как по данным, опубликованным недавно ООН, в XXI век лишь пятая часть мира войдет без смертной казни и нищеты! Можно ли позволить "рыночным перонистам" чтить память Эвы 26 июля?

КАК Я БЛАГОДАРНА ВАМ, ПАДРЕ, за наш визит в Рим. Сейчас, когда все эти события далеко позади, я хочу, чтобы вы знали, что я отлично

1. Поколение 80-х — движение литераторов, возникшее в 80-е годы XIX века, период, когда Аргентина переживала экономический и культурный подъем.
2. Хулио Архентино Рока (1843—1914) — аргентинский политик, генерал; был сенатором, президентом страны (1880—1886 и 1898—1904).

понимаю, как опрометчиво порой себя вела... Так или иначе, вы сделали больше, чем вам позволяли, и когда-нибудь за это придется платить... Вы задумывались, падре, о том, что бы с вами произошло, если бы у власти не стояли Перон и Эва?

– Нет.

– Очень просто! Они бы вам отомстили. Лишили сана, выгнали из страны. Ваши коллеги, сама же Церковь. Иезуиты никогда бы не простили, что священник, который получил отличное место в колледже "Эль Сальвадор", где учатся дети из состоятельных семей и за их учебу платят большие деньги, поссорил их орден с клиентурой. Они бы вам отомстили...

– Нет, Эва, вы не правы. Церковь – не рынок.

– Дай бог, чтобы я ошибалась. Кругом только и говорят: какой позор, духовник Эвы – иезуит... К сожалению, падре, в этом мире все идет по-прежнему. Мы ведь и революцию устроили, по сути, для того, чтобы все шло по-прежнему. В церкви победил монсеньор Д'Андреа, любимец "обеспеченной" Аргентины... Это они повлияли на папу Пачелли, а вовсе не вы, падре.

– Что вы имеете в виду?

– Вероятно, вы не знаете, что еще до поездки в Рим я пыталась сблизиться с сеньорой Арилаос де Ольмос, маркизой папской милостью[1]. Я понимала, что, если она сообщит Ватикану мнение олигархов, для которых я самозванка и авантюристка, у меня не остается шансов получить титул или Золотую розу[2]. Я знала, что у маркизы больше власти, чем у всего ордена иезуитов. Так оно и оказалось.

– Так вы действительно рассчитывали получить титул?

– Еще бы! Титул маркизы казался мне тогда пределом мечтаний. Вот это была бы месть! В те времена я была другой. Беззаботным существом, очень своевольным и жутко недалеким. Сейчас все это мне кажется смешным, как и мое возмущение тем, что папа римский вошел в базилику Святого Петра не через ту же дверь, через которую предстояло войти мне по протоколу... Когда человек способен на такие глупости, это значит, у него отменное душевное здоровье. Я была настолько дикой, что мне хотелось высказать этому высокомерному и суровому папе свое осуждение: дескать, только Христос, Пресвятая Дева, Иегова или Святой Дух имеют право войти в базилику через особую дверь. 27 июля в самый разгар торжественной аудиенции, продлившейся двадцать семь минут, мне вдруг захотелось рассказать папе, как в 1927 году священник в Хунине не допустил меня к первому причастию, несмотря на то что я усердно готовилась вместе с другими девочками из моего класса. Не допустил потому, что матери отказались продать в долг белую кисею на платье... Но я промолчала. И сейчас, когда прошло уже столько лет, я больше раскаиваюсь в том, что чего-то не сделала, чем в том, что сделала.

– Неужели вы бы осмелились высказать все это папе?

– Да, осмелилась бы. Я не собираюсь казаться лучше, чем я есть, падре. Существует тайный закон природы: если человек не следует душевным порывам, он подавляет свою основную, изначальную силу. Даже се-

1. Мария Хасинта Арилаос де Ольмос – аргентинская светская дама, занимавшаяся благотворительностью.
2. Орден Золотой розы – знак высшего отличия, даруемый католической церковью.

годня, падре, я по-прежнему считаю, что воспитание и хорошие манеры — это что-то вроде кастрации...

— Во время моей первой поездки в Рим, готовя ваш визит, я пытался как можно подробнее объяснить суть вашей деятельности. Было еще слишком рано, Фонд еще только создавался...

— Сейчас я понимаю, падре, что у папы не было никаких оснований давать мне титул маркизы. Надо рассуждать трезво... Черная легенда победила. Монсеньор Д'Андреа обыграл вас с большим преимуществом. Сейчас я стала более разумной, и тогдашнее желание получить титул кажется мне пошлым, далеким, какой-то опереточной интригой... Удивительное дело, болезнь нас изнашивает, старит душу, словно готовя к смерти. Не для того, чтобы мы ее приняли, а чтобы погрузились в нее плавно, как в ледяную воду черного озера. Наверное, болезнь оставляет в нас особенный след, крупицу мудрости, терпимости, мягкого и уважительного отношения к вещам. Так что знаменитая мудрость старцев — всего лишь усталость и смирение...

ЭВА СТУПИЛА ВО ДВОР САН ДАМАЗО. На ней было длинное черное платье, черная мантилья и единственное украшение — Большой крест Изабеллы Католической, который две недели назад вручил ей Франко. Швейцарская гвардия и ватиканские сановники предстали перед ней во всем своем пышном великолепии. Монсеньор Бенжамин Нардоне поджидал ее вместе с генералом Мальтийского ордена принцем Алессандро Русполи. У него было холодное, надменное лицо, один глаз прикрывала черная бархатная повязка. На нем были короткий плащ с высоким воротником, панталоны, черные чулки, туфли с серебряными пряжками, на поясе — небольшая изящная шпага. Высшая знать облачилась в торжественные одеяния, нижестоящие — во фраки.

Эву приветствовал почетный караул швейцарской гвардии во главе с бароном Генрихом Пфюффер фон Альтисхофеном[1]. Далее в сопровождении принца Леона Массино она проследовала по гулким коридорам к папской библиотеке. Эву принимали с почестями, каких удостаивались только королевы и главы государств.

Во время аудиенции Эва объяснила основу хустисиализма и разработанный ею принцип прямого социального действия. Папа одобрил ее политику, которая соответствовала христианским основам и энцикликам. В память о встрече он преподнес Эве четки и золотую медаль, а Перону, как главе государства, передал Большой крест Григория Великого — награду несколько более скромную, чем та, которую когда-то получил генерал Хусто.

Думаю, Эва была взволнована и польщена оказанным приемом. Но вместе с тем ее переполнял ревнивый дух соперничества, и она почувствовала разочарование, поскольку ни одна из высших почестей ей не досталась — ни Золотая роза, ни титул маркизы, как некогда сеньорам Арилаос де Ольмос и Марии Унцуэ де Альвеар[2].

1. Генрих Пфюффер фон Альтисхофен — швейцарский барон, командовал папской гвардией в 1942–1957 гг.
2. Мария Унцуэ де Альвеар — аргентинская светская дама, известная своей благотворительной деятельностью.

Насколько помню, управляющим папского двора был кардинал Мазалли Рокка; именно ему Альберто Додеро должен был вручить традиционное пожертвование на миссионерскую деятельность Церкви. По окончании аудиенции Эва подала Додеро условный знак, и тот протянул "малый" чек на пятьдесят тысяч песо, оставив у себя в правом кармане "большой", на миллион, — сказочно щедрое пожертвование для тяжелых послевоенных лет.

Вы совершенно правы: Эва заранее подготовила этот ход, догадываясь, что папских ушей достигла "черная легенда", распространяемая завистливой религиозной и светской элитой Буэнос-Айреса.

На следующий день, когда поверенный кардинала доставил в Аргентинское посольство орден для Перона, Эва не вышла из своих покоев. Она пребывала в ужасном настроении, и все документы подписал аргентинский посол.

Будьте уверены, визит Эвы в Ватикан нисколько не уменьшил ее внутреннюю неприязнь к католической церкви...

Вот почему несколько дней спустя в Париже она прямо заявила, что "политика интересует священнослужителей куда больше, чем духовная жизнь, и церковь далека от Христа и Евангелия..."

СМЕРТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ, КАК ГУЛЯКА НА РАССВЕТЕ — осторожно, на цыпочках. Неслышно входит в дом. Словно жук-точильщик, повсюду оставляет невидимые следы. Играет с неосознанным страхом каждого человека вновь повстречать ее в своем доме; терпеливо, будто классная дама, ждет своего часа, а потом берет тебя за руку и уводит прочь из Дворца.

Шли дни, и я стала вновь обнаруживать следы ее присутствия.

Стоял конец ноября, после операции миновало уже четыре недели, но я так и не прибавила в весе, как обещали люди в белых халатах — чуть ли не по килограмму в неделю.

Я пичкала себя детскими кашами, приказала Ирме купить побольше шоколада "Аэро", печенья, картофельных чипсов и сливочной карамели. Назначила себе специальную диету и, запершись в ванной, пыталась затолкать в себя всю эту снедь, которая мало общего имела с предписаниями доктора Альбертелли.

После воскресной автомобильной прогулки я чувствовала ужасную слабость и дурноту (и еще хуже мне становилось от того, что я очень старалась скрыть свое состояние от близких, чтоб не разочаровать их).

И вот около полуночи меня настиг неожиданный булавочный укол. Я решила не обращать на него внимания, объясняя боль внутренними ожогами после неудачных сеансов облучения.

Но в глубине души знала: это она, притаившаяся во мне безжалостная Ибаргурен, маленькая убийца, снова собирает свое разбитое войско. Какое горькое разочарование чувствовали мои несчастные белые кровяные шарики!

Tutto da ricominciare[1].

1. Все начинается сначала (*итал.*).

ПОНАЧАЛУ ОНИ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ ТОТ ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ ВДВОЕМ. За руль сел Генерал. Меня вызвали в последний момент. Перон приказал ехать с ними. Я устроился на заднем сиденье.

Сеньора попросила отвезти ее в центр, потом в порт, потом выехать за город по Южной Костанере. Мы молчали. На улице Кордова она сказала:

– Думаю, лучше закрыть окошко, становится прохладно...

– Действительно, холодает, – согласился Генерал и, протянув руку, поднял стекло, потому что Сеньоре это было не под силу. Потом закрыл окошко со своей стороны.

Улицы были пустынны. Изредка навстречу попадались парочки, которые шли, держась за руки, ели мороженое. Мы ехали вдоль доков по неровной булыжной мостовой, по которой тянулись ржавые рельсы, заросшие чертополохом. Рельсы отделяли Буэнос-Айрес от реки, словно город от нее отвернулся. Эва мечтала навестить именно эти места, к тому же в огромном автомобиле толчки не ощущались.

Сидя сзади, я видел сбоку неподвижный глаз Эвы. Взгляд ее равнодушно скользил по грузовым судам, катерам и баркасам. Казалось, ей было тяжело изменить направление взгляда.

Они не разговаривали. Генерал вел машину, сосредоточенно размышляя о чем-то своем. Он полагал, что мое присутствие будет кстати. Когда машина тормозила на перекрестках, они молча смотрели друг на друга. Их бессловесное общение было очень насыщенным, очень глубоким.

Мы миновали ресторан "Мюнхен". Затем повернули.

– Давай вернемся по Коррьентес, – попросила Сеньора.

Так и сделали. Ее взгляд по-прежнему был неподвижным. Как у птицы – напряженный, внимательный, словно стеклянный. Лишенный человеческого выражения.

– Надо попросить Апольда, чтобы он написал сообщение об этой поездке, – произнес Генерал.

Сеньора рассеянно посмотрела на него и кивнула.

– Ведь это твоя первая прогулка.

Я очень хорошо знал Сеньору и заметил, как она побледнела. Это означало, что у нее начинался приступ.

– Давай вернемся, Хуан, для первого раза достаточно. Чудесная прогулка.

Я вздохнул с облегчением. Наверное, Генерал тоже. Стоял раскаленный зной.

Когда мы вернулись в Резиденцию, Эва обратилась ко мне:

– Скажи, чтобы мне подали чай, и, пожалуйста, вели закрыть окна, на улице очень свежо.

ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНЫХ ОСМОТРОВ И АНАЛИЗОВ, которые по просьбе Эвы проводились под общим наркозом, поскольку она больше не могла выносить все эти пытки и унижения, состоялся последний консилиум, и мне, гинекологу, поручили побеседовать с Генералом. Курс лечения требовал, чтобы я постоянно находился в Резиденции. И вот от лица всех врачей я попросил у Перона аудиенции.

Такое не забывается. Стояло восхитительное утро, Буэнос-Айрес тонул в солнечном свете, потоками лившемся в окна. Я социалист и не ис-

пытываю симпатий ни к перонизму, ни к диктатуре, однако, когда вошел Перон в форме, окруженный адъютантами, я почувствовал уважение и трепет. Простите за лженаучную гипотезу, но не могу не признать, что харизма делает политических лидеров, по крайней мере сантиметров на пять выше. Они всегда кажутся выше всех.

Я зачитал убийственно краткое заключение.

— Значит, ничего нельзя сделать? — переспросил он.

— Ничего, Генерал. Абсолютно ничего. Очень сожалею.

И тогда я увидел, как его глаза наполнились слезами. Он встал и вышел из кабинета. По-прежнему высокий, но, казалось, теперь его плечи придавила каменная плита.

Я ПРИЧЕСАЛА ЕЕ И ПОВЕЛА В ВАННУЮ КОМНАТУ. Собачка смотрит на меня, не догадываясь, что перед ней отныне не только я, но и *она* (на самом деле никто не знает, насколько остро чувствуют животные присутствие смерти; иногда собачка злится и лает, показывая зубы, и мне кажется, что она обнаружила *ее* и хочет защитить меня от опасности). Мы спускаемся по лестнице в сад медленно, потому что сегодня у меня совсем нет сил. Быть может, она уже стала половиной меня, и моим бедным высохшим ногам приходится делать двойное усилие, таская на себе груз еще одного тела. (Для нее не действует правило "кто не работает, тот не ест".)

Как-то я читала статью про сиамских близнецов из Франции: они срослись спинами, некоторые органы были у них общие, но не все. Интересно все же, как устроена та, другая? Это чудовищное молчаливое существо, которое я должна в себе носить?

Мы спускаемся в сад. Должно быть, она все время пребывает в полусне, съежившись, словно зародыш. Должно быть, понимает, что я говорю. По ночам, терзая меня, слышит мои стоны.

Напрасно спорила я с врачами, возмущалась, швырнула портфель в доктора Иванисевича. Мне так и не удалось убить, изгнать или выдавить *ее* из себя — ни собственными силами, ни с помощью легиона бутылочек и ампул. Ибаргурен существует. Отныне следует говорить так: "Сегодня Ибаргурен поела с аппетитом", или: "Ибаргурен сегодня еще не писала". Надо смириться с ее существованием...

Невозможно постичь, зачем Бог — Бог падре Бенитеса — создает или терпит эти существа, целиком состоящие из разрушительного зла, из чистой смерти, небытия. Как Он может их поддерживать и питать? Она — это анти-Эва. Тщетны усилия Ирмы и Ренци, заставляющих меня поесть. Как я могу есть, понимая, что Ибаргурен здесь, во мне, прожорливая, как крыса? Разве уступит она хоть кусочек того, что я проглатываю? Она сожрала даже мой аппетит, а это очень плохой симптом. Интересно, сколько весит Ибаргурен? Пять кило, пятнадцать? Может быть, она уже занимает половину Эвы и вот-вот займет целиком? Она поедает меня. Поэтому мне не хочется есть...

В энциклопедическом словаре, который я нашла в библиотеке, сказано, что это называется раком, потому что часто имеет форму рака. Рак растет, его клетки размножаются, захватывают другие части тела. Он пожирает здоровую плоть, образуя хаотичную и крайне живучую структуру "клеток с чудовищно большим ядром". "В борьбе с этим забо-

леванием, — сказано в статье, — нельзя рассчитывать на какую-либо помощь со стороны пораженного организма, поскольку у него не имеется средств защиты и он выступает в качестве питательной среды". В некоторых случаях, когда рак пожирает костную ткань, у него, как утверждает статья, вырастают настоящие челюсти. По ночам холодеющий от ужаса больной слышит, как крысиные зубы вгрызаются в его кости.

Неужели, падре, это тот самый Бог, который создал нашу прекрасную и несчастную Жеральдину, создал гвоздики и порхающих над розовыми бутонами колибри?..

Господи, Боже мой! Убей меня, как Тебе угодно и когда угодно, только не терзай меня, избавь от ужасной, нестерпимой боли! Убей меня как можно скорее, но не допусти одного — чтобы Ибаргурен вонзила зубы в мои кости! Этого я не вынесу, и тогда, Господи, мне придется разбить скрижали Твоих заветов...

Как наивен Ренци, который подкручивает отверткой движок весов (дважды я находила отвертку и наконец ее спрятала). Ибаргурен поедает меня неторопливо, главным образом по ночам. Со стыдливой алчностью, с какой служанка лакомится блюдом, приготовленным для хозяев. Эва Мария Ибаргурен, незаконнорожденная.

До поры до времени у нее нет зубов, о которых сказано в энциклопедии. Она знает, что стоит ей вгрызться в кости, и у нее немедленно отнимут все... Не станет нас обеих — ни ее, Ибаргурен, ни меня, Эвиты Дуарте. В конце концов, терпеть такие ужасы недостойно. Несколько раз я говорила об этом падре Бенитесу, но он только пугался и менял тему.

Ибаргурен жрет меня изнутри (пухленькая сластена, шустрая аргентинская девчушка с толстыми икрами). Несмотря на уловки Ренци, мне удалось установить, с какой скоростью она меня поглощает, — получается килограмм в месяц, однако нет никаких гарантий, что ее аппетит не возрастет.

Вчера вечером падре Бенитес читал мне проповедь Боссюэ[1] о Жизни и Смерти — спокойное и разумное рассуждение о неизбежности смерти: мы должны "уступить место в мире материи и жизни другому творению Бога". Словно природные ресурсы Создателя весьма ограниченны, особенно дефицитны энергия и человеческая плоть, которая на восемьдесят процентов, как известно, состоит из воды. (Однако не подобает Творцу быть таким рассеянным и требовать возврата ресурсов у людей в возрасте тридцати двух лет!)

Завтра Первое мая, очень важный день. Я вновь призову людей к борьбе и бдительности. (По крайней мере я должна сделать все, чтобы Ибаргурен не воцарилась в политике, ведь олигархия — это тоже вооруженный до зубов рак.)

Нам удалось сделать важный шаг: 18 апреля Генерал подписал знаменитый "Всеобщий приказ № 1". Это будет серьезное предупреждение офицерам и заговорщикам, считающим, что им все сойдет с рук, как это случилось после мятежа генерала Менендеса.

Подготовленный нами текст почти не изменен: "На удар, направленный против Президента, мы ответим тысячью ударов". Существует

1. Жак Бенинь Боссюэ (1627–1704) — французский писатель, деятель католической церкви. Автор сочинений на исторические и политические темы.

список, в котором указаны триста имен — это люди, подозреваемые в причастности к заговору; названы пятьдесят иностранных компаний и посольств, которые оказывают содействие подрывным действиям, направленным против конституции, правительства и народа, а также тридцать аргентинских фирм, снабжающих офицеров-бунтовщиков деньгами. Наша позиция изложена четко: "Необходимо любыми способами уничтожать всех подстрекателей, бунтовщиков, мятежников и их пособников, действующих в нашей стране".

Приказ строго конфиденциален. Его получили губернаторы провинций и высокопоставленные чиновники.

Это очень важный шаг. Теперь они поймут, что им придется платить, что их ожидает настоящая война, что мы готовы на любые жертвы. Я не успокоюсь, пока не увижу ребят из ВКТ в военной форме. Даже если Генералу это не по вкусу.

Итак, Ибаргурен, мы снова берем инициативу в свои руки... Мы готовы на любые жертвы.

В ФЕВРАЛЕ 1952 ГОДА МЫ ПОТЕРЯЛИ ПОСЛЕДНЮЮ НАДЕЖДУ. Эва об этом знала. Она сама однажды призналась, что "научилась угадывать все в глазах врачей".

После неудачной лучевой терапии, которую доверили бездарному врачу, на теле Эвы появились ужасные ожоги. (Ее сестра Бланка до сих пор хранит как реликвию лоскуток Эвиной кожи — почти в пять сантиметров сожженной кожи.) Но еще сильнее болели внутренние ожоги, которые никак не могли зарубцеваться. Ее жизнь превратилась в настоящую пытку.

Я навещал ее, и мы беседовали о вере. Я принес текст молитвы, который составил специально для нее, и мы молились вместе. Она звонила мне в самое неожиданное время, часто но ночам. Когда долгий мучительный приступ боли стихал, она говорила. Разговор неизменно возвращался к одной и той же теме — ее смерти. Именно в эти недели она поняла, что обязана начать свою последнюю политическую битву.

Эва была убеждена, что дни перонизма сочтены и в будущем страну ожидает кромешная ночь реакционного режима — к власти придут военные, за спиной которых будут стоять олигархи. Вера Перона в "мирную политическую стратегию" казалась ей наивной и слепой.

Это были отчаянные, напряженные дни, Эву никто не мог разубедить. Она чувствовала, что здоровье потеряно навсегда. Для себя лично она хотела одного — сильных обезболивающих, помогающих поддерживать линию обороны. Словно она была попавшим в окружение полководцем, у которого почти не осталось места, чтобы осуществлять свои стратегические планы.

В "свободное время" (так называла Эва часы, когда боль стихала) она готовила пылкую речь, способную поднять в людях боевой дух. Она произнесла ее на первомайском митинге, затем на специальном собрании губернаторов провинций. И наконец 4 июня она совершила самый невероятный и смелый поступок, но о нем я расскажу позже.

Хотелось бы привести несколько отрывков из ее боевой речи. Эвита говорила с балкона Дома правительства. Она была в сером костюме

с черной лентой на поясе (цвета сочетались таким образом, чтобы не бросалась в глаза ее худоба). Обращаясь к народу, в каждом крике которого слышалось прощание, она произнесла следующее:

Я молю Бога, чтобы Он не позволил этим безумцам поднять руку на Перона. Потому что это будет черный день! Мой Генерал! Если это произойдет, я выйду на улицу с женщинами из народа; живая или мертвая, я буду с ними – с моими оборванцами, и мы не оставим камня на камне – если, конечно, эти камни будут против Перона. Ибо мы никогда не позволим поработить себя олигархам и предателям, которые эксплуатируют рабочий класс.

Я хотела бы сказать вам сегодня многое, но Генерал просит меня быть краткой. Я хочу, чтобы все знали: мы готовы умереть за Перона. Пусть предатели запомнят: мы не ограничимся предложением своей помощи Перону, как это было 28 сентября, мы защитим справедливость собственными руками!

В заключение, товарищи, хочу предупредить вас о главном: будьте бдительны. Враг готовится к броску. Предатели, те, что продают родину за четыре сребреника, тоже вот-вот перейдут в наступление. Но мы – аргентинский народ, и пока народ бдителен, мы непобедимы, потому что мы и есть Родина.

Это была Эва Воительница, только без тела и без войска. Остался лишь незабываемый голос. Закончив речь, она буквально рухнула Перону на грудь. Вечером он признался:

– Я держал в объятиях покойницу...

Она заказала у Риччарди медали с надписью "В память об Эве Перон". Я видел, как одну из них преподнесли какому-то губернатору, и тот плакал. А она в это время отчаянно умоляла его помочь ей в создании народной армии.

Из-за наркотиков Эва была возбуждена, невероятно взбудоражена. Она была уверена, что хустисиализм увязает в болоте рутинной демократии, когда что-то меняют лишь для того, чтобы сохранить целое в прежнем виде...

Свою последнюю речь Эва произнесла 28 мая, когда принимала губернаторов и законодателей. Это были слова умирающей, смертельно раненной Пасионарии. Эва сказала следующее:

Только действия тех, кто фанатично предан добру, могут защитить достигнутое. Мы должны меньше слушать тех, кто твердит о благоразумии, и стать фанатиками. Те, кто призывает к смирению и любви, просто забыли, что Христос сказал: "Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!"

НОЧНАЯ ГРОЗА ПЕРЕНЕСЛА МЕНЯ В ЛОС-ТОЛЬДОС. В тот давний декабрьский день, когда разразилась буря. Мы сидели на кухне, как стадо, испуганное молнией. Дождь и ветер бушевали так яростно, что казалось, вот-вот сорвут цинковую крышу. Чахлые деревца на заднем дворе гнулись от порывов ветра, и фигурка святой Риты упала с шеста, а ее гирлянду буря унесла к уборной.

Мы смеялись. Все "племя" вопило что было силы, уцепившись за юбку матери. Я кричала громче всех, потому что мне было очень страшно. Наверное, нам чудилось, что наши дикие вопли, этот нестройный хор истерических голосов, отгоняют демонов бури.

Год подходил к концу.

В ночь на 31 декабря мы приготовили асадо с салатом, любимое наше блюдо. Сеньор Россет отпустил маме продукты в долг. Это был скромный креольский праздник: на фарфоровом блюде, разогретом на огне, чтобы еда не остыла, лежали одинаковые кусочки мяса, строго рассчитанные по числу едоков.

Однако ни сидра, ни пирожных достать не удалось — хозяин продуктовой лавки отказался продать их в долг, я сама слышала его разговор с мамой. Никто не удивился, ведь в черном списке лавочника давно уже тянулся унылый перечень неоплаченных товаров, который мы прозвали "солитер".

Это был самый печальный день в жизни "племени". Нашего неунывающего "племени", затерянного в выжженной пустыне. Мы шли на дно, и удерживали нас лишь сила и мужество нашего касика. В такие дни бедняки молят прежде всего о том, чтобы в дом не пришла болезнь.

В Ночь волхвов, 6 января, мама отыскала в лавке среди бракованных товаров огромную невиданной красоты хромую куклу, которую ей уступили за пару песо. Светловолосая, стройная, она была идеально красива, как шведка. Одна беда, кукла оказалась не просто хромой — ей недоставало половины ноги ниже колена.

И вот ночью волхвы принесли ее мне и поставили в картонной коробке рядом с кроватью. Мама сшила ей длинную юбку, чтобы скрыть то, чего не скроешь. Едва открыв глаза, я вне себя от радости соскочила с кровати и схватила куклу. Тут-то и обнаружилась трагедия несчастной шведки. Она упала с верблюда — так объяснила мне мама.

Я поблагодарила маму; впервые в жизни я старалась казаться веселой, чтобы порадовать других, рассеять их сомнения.

Бедная кукла, она так ни разу и не улыбнулась, хотя Хуан смастерил ей из старой вешалки деревянный протез и прикрепил к нему картонный башмачок, *почти* как настоящий.

До сих пор светловолосая красавица стоит у меня перед глазами. Пожалуй, у нее слишком пухлые щеки, и, несмотря на стройные ноги, сексуальной ее не назовешь. Золотистая шевелюра, гладкая пластмассовая кожа, словно созданная для земной вечности. Ее шелковистые волосы я заплетала и расплетала тысячу раз. Что с ней случилось потом? Точно помню, что она переехала с нами в Хунин. Куда же она делась? Наверное, как говорил Боссюэ, цитируемый падре Бенитесом, Творец потребовал обратно ее пластмассовую плоть и золотистую паклю, чтобы создавать другие творения. А может, Некто избрал ее, словно Еноха, и теперь она обитает в ином пространстве, в ином времени, в иных небесах. Или медленно гниет на свалке. Или, целая и невредимая, красуется с новой ногой на витрине в музее. Или сидит на полке какого-нибудь коллекционера. А может быть, погрузилась во тьму комода, позабытая на чердаке неведомого дома. Дома, который мог бы называться виллой "Ла Реколета"[1]...

1. Кладбище в Буэнос-Айресе.

Тот Новый год оказался самым тяжелым днем для нашего неунывающего "племени". К счастью, цинковая крыша уцелела. Должно быть, случилось чудо и наше пение и вопли отпугнули бурю. Вот и сейчас, как тогда, грохочет гром и потоки воды обрушиваются на кровлю элегантного дворца Унцуэ, словно собираясь отмыть ее дочиста к приходу гостей.

Осталось только пятьдесят дней.
Пятьдесят коротких зимних дней,
наполненных болью и страхом.
Их всего пятьдесят.

ЧЕТВЕРТОЕ ИЮНЯ 1952 ГОДА. Стояла суровая, ненастная пора. Голые ветки терзал ветер. Внезапный порыв на мгновение раздвинул тучи, хотя дождь хлестал по высоким австрийским окнам. Приоткрыв один глаз, я заметила, что где-то там, в вышине, облака расступились, гонимые яростным ветром, дувшим со стороны реки, с Костанеры. Он стонал, и его голос отчетливо слышался в тишине Резиденции, не нарушаемой первыми шагами персонала.

Все стонет и стонет ветер,
как жалобна на рассвете
апрельская песня его...

Дважды Эва пыталась самостоятельно слезть с кровати. Приподнявшись, рассматривала отпечаток своего тела на простыне. Едва заметная и чуть теплая ложбинка, словно там спала тень.

У нее кружилась голова. В ванной комнате она передохнула, прислонившись к стене. Боялась, что вот-вот упадет, как в прошлый раз, когда сотрудники службы безопасности нашли ее лежащей без чувств под дверью кабинета Перона.

Но с тех пор она стала почти профессиональной больной. Трижды глубоко вздохнула, удерживая в сознании плывущую перед глазами ванную комнату. А потом произошло то, чего она боялась: она почувствовала булавочный укол, кинжальный удар, пронзивший ее от ключицы до грудины. "Это Ибаргурен, она хочет меня запугать и раздобыла матрасную иглу или кинжал, которым тореадор добивает быка".

Первым в комнату вошел Ренци. Он задернул шторы и, не умея лгать, смущенно проговорил:

— Машина готова, в ней сделали каркас, но, к сожалению, на улице дождь, обещают ливни и похолодание. Вчера вечером было четыре градуса ниже нуля...

— Ренци, Ренци... Я поняла. Ты все очень хорошо объяснил. Но однажды в жизни — или в смерти — наступает день, когда дождь не пугает, а полярный холод кажется отрадой и утешением... Меня уже ничто не остановит...

— Сеньора, думаю, лучше вам посидеть дома, в тепле... Поверьте, ваша поездка — безумная затея.

"Пусть ненастье за окном, / у Хозяйки крепкий дом..." Наше "племя" дружно поет хором, спрятавшись в домике в Лос-Тольдосе, а вокруг хлещет дождь. Град барабанит по цинковой крыше. Элиса и Бланка жа-

рят пончики. А Хозяйка крутит и крутит ручку "зингера"... Хор детских голосов словно смеется над непогодой: "Пусть ненастье за окном, / у Хозяйки крепкий дом..."

Потом входит еще один эмиссар, Апольд, который долго беседовал с Пероном и моей матерью в библиотеке. Он тоже говорит о моем легкомыслии, о непогоде. Добавляет, что в этот день, 4 июня, Перона всего-навсего переизбирают на второй срок и мое присутствие — чистая формальность, в нем нет никакой необходимости. Надо дождаться улучшения, врачи уверяют, что оно начнется через несколько недель.

— Эх, Апольд, Апольд! — отвечаю я.

Он уходит в смятении, потому что всмотрелся в меня пристально и заметил, как сквозь кожу просвечивают ключицы. Должно быть, ему почудилось, что перед ним сама смерть.

В три часа пополудни в открытом лимузине мы выезжаем из Резиденции. Сперва направляемся к зданию Конгресса, где Перон говорит речь, оттуда в Дом правительства на торжественную церемонию. Мы с Ренци обо всем позаботились, и там нас уже поджидает доктор Финокьетто. Я знаю, что рано или поздно меня настигнет кинжал Ибаргурен и понадобятся уколы, которые мне сделают прямо в то место, где гнездится боль. Финокьетто безошибочно находит его длинными, тонкими иглами. Эти иглы припасены у него для особенных случаев, таких, как сегодняшний.

Если я останусь в постели, считайте, что я умерла. Если бы вы только знали, как меня манит кровать, это преддверие гроба — омерзительной тупой горизонтальной вечности!

Приспособление, изготовленное ребятами из мастерской, крепится на сиденье лимузина. Я изобрела его сама: это металлический каркас с подушкой, в котором я буду сидеть, укрывшись меховым палантином. С двух сторон к каркасу приделаны костыли, на которые я буду опираться, чтобы стоять прямо, когда боль вонзится в затылок. Мое тело будет практически недвижно, зато я смогу отвечать на приветствия.

Я подготовила краткую речь, призывающую к борьбе против предателей. Очень сильную и простую. Такую же я произнесла 1 Мая. Но выступить не смогла — пропал голос. На прошлой неделе, стоя напротив зеркала, я вдруг обнаружила, что у меня исчезли губы, остались только две белые почти прямые полоски, по которым я красной помадой нарисовала очертания рта. Теперь Ибаргурен откусила мне язык. Когда зашел Ренци, я вспоминала бурю в Лос-Тольдосе, *думая*, что распеваю во всю глотку "Пусть ненастье за окном...". Но это мне лишь казалось. Испуганный Ренци не мог разобрать ни слова и, отвернувшись, заплакал. Сегодня голоса у меня нет. Это значит, что я больше не смогу выступать, убеждать, сочувствовать, говорить с близкими. А без голоса я...

В 15:02 мы выезжаем из ворот Резиденции и движемся по улице Альвеар.

На Кальяо нас встречают гренадеры в парадной форме. В 15:18 мы должны быть на эспланаде перед зданием Конгресса. Все уже готово: мне помогут войти, я будто окружена людьми. В общей сложности меня ожидают шестнадцать минут невыносимой боли. Что ни говори, безумная затея. Как утверждает падре Бенитес, страждущий молит Бога о милости. Бессмысленно: Бог не может сострадать или изменить тупой ми-

ропорядок, который сам же создал! (Где-то я прочла, что Бог, который нам достался в качестве Создателя, — довольно посредственный, что называется, неумелый. Что-то вроде подмастерья, который допустил промахи — несправедливость, нищету. В его творении больше боли, чем любви. Больше крика, чем смеха.)

Процессия остановилась. А рядом, в двух метрах от нас, на площади Франции по-прежнему сохранились четыре неровных плитки на тротуаре и гранитный парапет, на который Эва когда-то поставила свой коричневый чемодан, чтобы передохнуть и разобрать адрес, написанный на салфетке шутниками из кафе: "Угол Альвеар и улицы Аустриа. Пансион. Спросить дона Хусто, управляющего". Потом Эва, девушка с коричневым чемоданом, пересекла площадь и скрылась за памятником Рамону Фалькону. С тех пор прошло всего семнадцать лет. Падают первые тяжелые капли дождя, скоро она промокнет насквозь, но ей будет негде укрыться.

Еще пятьдесят метров — и они видят огромную толпу, которую едва сдерживает военный кордон. Люди выкрикивают ее имя. Ей кажется, что даже воздух дрожит от волнения. Многие наверняка считают, что видят ее в последний раз: "Эвита! Эвита!"

Имя повторяется бесконечно. В голосах женщин слышатся истерические нотки.

Эва силится изобразить приветствие. Показывает зубы, пытаясь растянуть рот в улыбку.

Каркас, собранный механиками Резиденции, держит ее безупречно. Она неподвижна, как Сид Кампеадор[1] во время последней битвы... Перон стоит прямо, величественный в своей парадной форме. У него мерзнет лицо. Он старается не смотреть на Эву.

А она чувствует себя почти что счастливой: ожидаемый приступ не наступил. От сильнейшего обезболивающего она словно парит над Буэнос-Айресом. Ей хорошо.

Она старается не думать, что это прощание. Не думать, что в последний раз заворачивает за угол на улице Кинтана. Чувствует легкость и свободу. Кружит над Буэнос-Айресом, слушает рев толпы, которая словно хочет передать ей свою силу, космическую мощь, вдыхает в нее жизнь.

Народ — это зверь из породы кошачьих, громадный таинственный кот, который все чувствует и с удивительной быстротой подсказывает, что ей нужно, чтобы выжить, спастись. Это он, сказочный кот, злобно прыгнул в тот знойный день 17 октября. А сегодня — я это отлично вижу — он учуял смерть: крик на грани истерики, блестящие, влажные глаза.

На Кальяо гремит военный оркестр. Командиры отдают честь девчушке с коричневым чемоданом. К президентскому лимузину направляется отряд конных гренадеров в историческом обмундировании — с хоругвями и знаменами. Духовой оркестр гремит в неподвижном ледяном воздухе... Неустанно бьют барабаны, напоминая знаменитые атаки: Сан-Лоренсо, Маипу, Хунин, Аякучо...

Чудесная сила наркотиков избавляет Эвиту от оков тела и уносит ввысь.

1. Герой испанской эпической поэмы "Песнь о моем Сиде" (создана ок. 1140 г.).

Улица Кальяо похожа на нарядную реку. Фасады богатых домов украшены флагами (таков приказ). "Они, наши враги, слуги Веселого Теленка, следят за нами из-за опущенных жалюзи и трусливо вывешенных флагов. Они в безопасности. Они уверены, что скоро нанесут ответный удар. Поджидают, сидя в уютных кожаных креслах и попивая виски. Надеются, что мы пройдем мимо и исчезнем..."

Лимузин тормозит напротив кондитерской на улице Агила. С другой стороны — "Пти кафе" и кинотеатр. Когда-то летними ночами мы с Полковником ходили сюда пешком. Ночи 1944 или 1945 года. Долгие ночи любви. Кажется, это было только вчера. Судьба уносила нас, как река уносит утомленных любовников, заснувших на дне лодки, — все быстрее и быстрее к водопаду.

Парфюмерная лавка "Ивонн", где во время распродаж я покупала косметику: "Две коробочки перламутровых теней и кисточка в подарок".

Эва с трудом вытягивает руку. Видит свои белые прозрачные пальцы, соболиный мех. Левая рука Перона вытянута вниз, правая поднята, кончики пальцев касаются козырька. Каркас мешает Эвите поднять руку и одолеть жалкие десять сантиметров ледяного воздуха, отделяющие ее от руки Хуана. Тщетные усилия. Они уже поворачивают на улицу Кордова — другую нарядную реку, которая поднимается от гавани. Угол похоронного бюро, кондитерская, куда захаживал Блумберг, рядом — книжный магазин "Ла Нена". Через полквартала — шумный бар, в глубине — бильярдные столы. В этом баре часто бывал Манси. Все они нас покинули. Но народ с нами. Народ, дон Омеро[1], ни больше ни меньше!

Вдоль самой дороги — неистово кричащие люди. Чуть поодаль, на ступеньках домов, — слуги или зеваки, которые скорее всего к нам равнодушны или настроены критически и даже враждебно.

На крыльце запертой парикмахерской — старый консьерж в поношенной форме. Эва улыбается. Кто-то поет — должно быть, это Хуанита или Элена напевают танго мягким и чуть хрипловатым голосом. Эве кажется, что она различает слова, и улыбается, паря в наркотическом дурмане.

От дождя я весь промок,
я стоял на тротуаре,
вы меня не замечали...
вы в роскошном лимузине
проплывали под дождем,
вы рассеянно смотрели
в запотевшее окно.
Лимузин остановился,
Вы мне подали два песо...

На углу улицы Коррьентес конь одного из гренадеров неожиданно встает на дыбы. Огромные афиши. Пьеса Сандрини[2] — она идет уже второй или третий год. Лига социальной профилактики. Почтовое отделение, куда Эва когда-то прибежала, запыхавшись, чтобы отправить в

1. Имеется в виду Омеро Манси (1907–1951) — аргентинский поэт, сочинитель текстов для танго.
2. Луис Сантьяго Сандрини Лагомарсино (1905–1974) — аргентинский драматург и актер.

Хунин статью с отзывом Эдмундо Гибурга: "Очень точно исполняет свою крошечную роль". Первая победа и последнее поражение в космическом цикле Пернатого Змея, как выразился Муньос Аспири. Сияющим апрельским утром по улице Коррьентес идет девушка. Она шагает решительно, словно жизнь бесконечна и перед нею гостеприимно распахнуты все двери.

"Аполо". "Политеама". "Комедия". "Коррьентес". "Насьональ". Девушка по имени Эва терпеливо дождалась, пока старый свирепый цербер, охраняющий вход в "Политеаму", на минуту отлучится, проскользнула внутрь и постучалась в кабинет администратора: "Нет ли у вас для меня какой-нибудь роли, драматической или комедийной?.." Все эти годы угрюмый старик наверняка просидел на своем безобразном деревянном стуле за грязным окошком. Эва проскользнула мимо и юркнула за кулисы, в театральные декорации и рисованные небеса. Обвела цербера вокруг пальца.

Пансион. Все та же разбитая мраморная лестница, картонная вывеска, но теперь это "Койка за 5 песо" — инфляция!

Фасад универмага, возле которого схватили анархиста Ди Джованни.

Они приближаются, и толпа приходит в неистовство. Тысячи рук тянутся к Эве. Пытаются сломать ограждение. Это напоминает 17 октября, но тогда было начало, а сейчас — прощание. Кричат одно слово: "Эвита! Эвита!". "Эль Тропесон" едва виден, его заслоняет толпа. Эва вспоминает Пабло Суеро. Он пытался ее соблазнить и делал ей свой любимый бутерброд: на кусок поджаристого хлеба клал ломтик мяса и посыпал солью и перцем. На багровом лбу режиссера блестели капельки пота.

Машины останавливаются как раз напротив дома, где когда-то жила Хардин. На великолепном белом жеребце, какому позавидовал бы сам генерал Сан-Мартин, к ним подъезжает командир гренадерского полка и взмахом сабли приветствует Эву, затем Перона. Это означает, что в стране два президента, двуглавая власть — почти как Изабелла и Фердинанд.

В витрине кондитерской на Эль-Молино на красном бархате — десерт "Империал", словно драгоценность или макет восточного замка.

Город — не *подобие* жизни, город — сама жизнь. Тот самый Дворец, место радости и страдания. Счастливый дом, больница, похоронная процессия, кладбище...

Передо мной прошлое и будущее, а настоящее — промозглый холод и восторженные крики — кажется сном. Никто меня не видит, а я могу наблюдать за всеми, как в Хунине, когда я подглядывала за домашними, спрятавшись за шкафом.

Нас окружают великолепные гренадеры. Мы поднимаемся в сторону улицы Ривадавиа. Осталось меньше минуты, а боль так и не вонзила в меня свой острый клинок.

Там, на эспланаде, которая спускается к улице Энтре Риос, стоит странная тишина. Толпа уже не кричит. Люди не поднимают глаз, держат в руках шляпы и сомбреро. Моросит безжалостный ледяной дождь. Медленно проплывает лафет, покрытый национальным флагом, — такая почесть оказывается главам государств. А затем протяжно и печально поет рожок. Тоскливый вой, крик самой тишины летит в сером воздухе. Эва не может понять, почему вокруг так зловеще тихо. Ужас

обжигает ее коротким ударом хлыста. Торжественный зов рожка кажется похоронным пением Тишины. До чего же коварны наркотики!

Гренадеры выстроились перед зданием Конгресса... Холодный ветер доносит запах конского навоза, и Эва вспоминает Лос-Тольдос, лошадей, повозку и слова Перона, которые он произнес в далекий счастливый день 9 июля: "Запах навоза гренадерских лошадей — вот истинный символ власти и победы, это запах почетного эскорта, самый праздничный на свете аромат..."

НАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ, ЭТО БЫЛ ПОСЛЕДНИЙ ВЫЕЗД ЭВЫ. Мужественный поступок или, быть может, жест отчаяния, когда человек знает, что скоро с белых простыней его переложат в гроб.

Люди из службы безопасности, изображая восторженных журналистов, перенесли Эву на трибуну. Перон меньше всего думал о президентской присяге — прежде всего он хотел использовать отвоеванное у болезни время, чтобы воздать самые высокие почести Эве, которая в любой момент могла потерять сознание. Поистине Эва стала воплощением перонизма. Живым сердцем в немощном теле. Одна беда — в этом сердце не осталось жизненных сил.

Она стояла на трибуне. Глаза сияли, а лица почти не было. Наверное, она смотрела вниз — на чиновников, офицеров, сенаторов и депутатов. На губернаторов. Все они приоделись сообразно случаю. Вот она — новая буржуазия, успевшая возгордиться, но забывшая свою миссию.

Думаю, никогда и никого не чествовали так горячо и так искренне, как Эвиту в Конгрессе. Президентская присяга Перона отошла на второй план.

Я внимательно наблюдал за Эвой. Казалось, она не придавала большого значения происходящему. Для нее это было пустой и банальной формальностью. Глаза ее сверкали отчаянной решимостью человека, потерявшего силы, но сохранившего неустрашимый дух борьбы.

Телохранители снова подхватили Эву и перенесли обратно в лимузин, в кресло с каркасом. Я как президент Законодательной ассамблеи шел сразу за ними и слышал, как Перон умоляет ее отказаться от проезда по авениде Де-Майо и инаугурационной церемонии в Розовом доме.

Взгляд Эвы по-прежнему был упрям. Наверное, она медленно покачала головой, отгоняя последние доводы рассудка.

Когда мы спускались по эспланаде Конгресса — я ехал в своем автомобиле, — никто не знал, что всего через несколько недель состоится еще одно шествие, и это будет самая волнующая и пышная похоронная процессия, какую видела Латинская Америка. Лидеры тридцати девяти профсоюзов понесут лафет. И будет море цветов, и тысячи скорбных лиц, и несметная толпа преклонит колени, словно перед чудотворной иконой.

В Доме правительства Эва сознания не потеряла, хотя ее терзали жесточайшие боли. Она это предвидела, поэтому там ее ждали Финокьетто и Тайяна.

Пока готовилась торжественная церемония в Белом зале, в комнате, смежной с президентским кабинетом, Финокьетто попытался уложить ее на диван.

– Если я лягу, приму горизонтальное положение, то уже не встану. Вам придется переносить меня прямо в гроб.

Мы похолодели: никто не думал, что она может сейчас говорить, мы ведь знали, что ее терзают *кинжалы* боли, словно умирающего на арене быка.

Тогда Финокьетто вколол ей три шприца, которые были у него наготове.

Я не мог на нее смотреть. Это было немыслимо, невыносимо. Я стоял в первом ряду в Белом зале, когда Эва появилась там рядом с Генералом и, представьте себе, пыталась улыбнуться!

Она была невероятно упряма. Возможно, считала, что именно женщинам Перон и перонизм обязаны своим триумфом. Женщины голосовали в Аргентине впервые. Она не сомневалась, что их голоса оказались решающими. После шести лет правления за нас проголосовали 62,5 процента! В столице, бывшей гнездом оппозиции олигархов и радикалов, мы получили 55 процентов голосов. Да, быть может, в этом действительно была заслуга Эвы. Некоторые, чьего мнения я не разделяю, утверждают, что Эва стала живой душой нашего движения. Настоящая власть была, конечно, в ее руках.

В ту ночь, 4 июня, в Резиденцию срочно вызвали доктора Такини. Состояние Эвы резко ухудшилось.

Добряк доктор отругал Эву за эту дикую выходку. Как могла она отправиться куда-то без его разрешения да еще в такую погоду? Эва собралась с силами и гневно выпалила:

– Вы забыли, с кем разговариваете!

Но на этот раз доктор Такини не сдался:

– Это вы, Сеньора, забыли, с кем разговариваете. Я приехал сюда, чтобы лечить вас, чтобы вы делали то, что следует...

Да, думаю, это был последний выезд Эвы. Она осталась верна себе: пышное прощание, рубиновое колье с брильянтами, гренадеры и непередаваемый аромат французских духов. Скрывать болезнь она не собиралась – она хотела сбить с толку саму смерть.

Остался сорок один день.
Неожиданно время замедлило
свой бег. Оно превратилось
в бесконечную пустыню тоски
и боли – время, лишенное надежды.

ГЕНЕРАЛ БРАНИТ МЕНЯ ЗА УПРЯМСТВО. Переигрывает, желая скрыть, что на самом деле это теперь не так уж и важно. За свой дерзкий выезд 4 июня я заплатила десятью днями жара и полузабытья. Зловещее хриплое дыхание. На мгновение – странная ясность рассудка, желание жить. Десять дней Ибаргурен пировала в свое удовольствие. Стрелка весов (правильных весов, стоявших в ванной комнате Перона, а не тех, что потихоньку подкручивал Ренци) замерла на отметке тридцать семь – верный признак скорого ухода в небытие. Куда делись украденные килограммы? Может быть, Ибаргурен не дремлет у меня внутри, а бродит где-то по дому, будто вампир?

Когда негодование Хуана улеглось и он умолк, я набралась храбрости и сказала правду: игра окончена, les jeux sont faits[1], прошло время пустых надежд.

– Я знаю, что тяжело больна, знаю, что мне не выжить. Но я чувствую, я уверена, что есть вещи более значительные, чем сама жизнь, и если я их не сделаю, я не выполню то, что было предназначено мне судьбой. Вот почему я не могла оставаться дома ни 1 Мая, ни 4 июня... Как могла я пропустить твою присягу? Для меня это самая большая радость...

Хуан был взволнован, но старался взять себя в руки.

Наверное, то же самое я должна сказать падре Бенитесу и всему нашему "племени"... Но как объяснить маме, что Бог решил изменить правила игры и мне придется освободить место, минуя законы биологической очередности?

Они должны понять, что я кошачьей породы и хочу умереть спокойно, в полном одиночестве, забившись в темный угол. Но как сказать это близким? Мне вспомнилась белая кошка консьержа в Хунине: она пряталась, когда рожала.

Я просыпаюсь, и глаза мои распахиваются с простодушной готовностью, им не терпится увидеть жизнь, новый день. Однако спустя мгновение на меня наваливается черная тень и шепчет: "Кто же спорит, жизнь – хорошая штука, но она уже не для тебя. Ты умрешь, тут ничего не поделаешь".

И все же две-три секунды я принадлежала к беспечному миру живых, не думающих о смерти, наивных счастливчиков, которые не собираются ложиться в могилу.

А затем – черная волна отчаяния и несказанная печаль: все кончено, отпущенное время утекло, и настала пора покидать Дворец. Без лишних слез на последнем пороге.

И ты уже не кричишь, не стонешь, не зовешь на помощь. Надежды больше нет, осталась одна тоска.

Ты закрываешь глаза, наслаждаясь полусном, блаженным покоем, дарованным наркотиками – великим духовником... Ты слышишь, как Пилар – а может быть, Ирма или Мария Эухения – торопливо задергивают занавески, потому что им кажется, что ты уснула. Моя семья, все мои бессменные часовые чувствуют облегчение. Кто-то варит кофе или завтракает, кто-то принимается за неотложные дела, возвращаясь к обычной житейской суете, отошедшей на второй план из-за моей болезни. А Ренци сразу звонит из библиотеки в Дом правительства и, полагая, что его никто не слышит, громко шепчет:

– Не беспокойтесь, Генерал, она уснула...

Это смерть, моя настырная смерть деловито хлопочет вокруг.

Прощание. Уход. Отставка. Когда-то я умела ощутить волшебство каждого мгновения. Дерзкий мотылек, мечтавший взлететь все выше и выше. Но мотыльки живут недолго, всего лишь двадцать четыре часа. Вот и все: рождение, взросление, любовь, созидание, смерть.

До чего же горьки слова "никогда больше". Никогда больше не пройду я по щербатым плиткам узкого тротуара на улице Эсмеральда и

1. Ставок больше нет (*франц.*).

не окунусь в жизнерадостный гул парикмахерской. Никогда больше не запрусь в ванной Секретариата, чтобы накрасить губы и отдохнуть от людской суеты (бронзовая защелка на двери всплывает перед моими глазами *дьявольски* отчетливо).

ПАДРЕ БЕНИТЕС НЕЗАМЕТНО ПЕРЕВОДИТ НАШУ БЕСЕДУ, напоминающую разговор двух усталых путников, бредущих в долгих вечерних сумерках, на тему смирения.

Он считает, что наши разговоры — это все равно что исповедь. Но я-то знаю: сокровенное, самый темный уголок любой жизни, — невыразимо. Даже если человек признается в преступлении, в ужаснейшем грехе, он приоткрывает лишь верхний слой.

Падре Бенитесу известна моя главная тайна, как известна она и моей сестре Бланке. Но они не коснулись тайников моей души. Иногда, сама о том не думая, не пытаясь выразить словами, я наконец различаю некий центр и *чувствую*, что Всевышний видит этот темный закуток. Произнеся слово "тайна", я гляжу на падре. Он удивлен, потому что считает, что я стала смиренной, или, лучше сказать, безразличной:

— У вас тоже есть своя тайна, падре. Я знаю, почему вы с нами, почему готовы отдать жизнь за перонизм, хотя это не идет на пользу вашим отношениям с орденом... Гуманизм — вот ваша тайна, и даже если Церковь этого не замечает, Бог, который видит все...

Словно не расслышав моих слов, падре заговорил о Енохе. Енох ходил пред Богом, и Бог решил взять его на небо, сделать своим приближенным. Восхи́тил его с Земли. Еноху посчастливилось раньше времени узнать иерархию ангельских чинов и тайны Творения.

Я покорно слушаю. Кажется, я понимаю, почему Енох решил вернуться. Чем же так притягательны жизнь и Земля? Почему осужденный на смерть так борется за каждый новый день, который он встретит на своей лежанке, глядя в потолок камеры?

— Падре, я знаю, ваши наставления и советы идут от чистого сердца, однако вы лишь пытаетесь меня утешить. Утешить прекрасными легендами. Но жизнь, падре... Ведь в раю даже перец был пресным... Вот что такое смерть. Знать, что больше никогда не увидишь любимого, сына, а иногда и мать... Смерть сделала жизнь ужасно привлекательной. На пороге смерти человек чувствует страх и желание в последний раз насладиться вкусом уходящей жизни. Нет, падре. Утешить меня нельзя.

Некоторое время мы оба молчим, размышляя. Потом я говорю:

— Енох был восхищен на небо раньше времени. Должно быть, он ужасно тосковал по Земле. Он мечтал *вернуться* не ради великих свершений, вроде революции, отмщения, установления справедливости, братства и равенства. Он тосковал по мелочам, ему хотелось встретиться с другом и посмеяться, вспоминать, бродить по городским улицам. А мне... Выбрать лак для ногтей в субботу утром в парфюмерном отделе "Хэрродза" или встретиться с Пьериной или Хардин в ресторане "Ла Перлита" на улице Чаркас и до изнеможения смеяться над мужчинами...

— Да, — говорит падре, — должен признать, что воскресший Лазарь так и не совершил ничего выдающегося...

Осталось меньше месяца. Пустые, утомительные дни. Праздность, полное бездействие наполняют или опустошают жизнь. Все чего-то ждут.

ПЛАН У МЕНЯ ПРОСТОЙ: собрать последние силы в день вроде нынешнего, когда руки меня хоть немного слушаются. Терпеливо дождаться ночи. Накинуть шубку, намотать шарф, чтобы закрыл лицо, надеть берет и очки. Спуститься в гараж. Позвать кого-нибудь из ребят-шоферов и попросить отвезти меня на ближайшую стоянку такси. Договорюсь с таксистом и за два-три часа доберусь до крошечного домика. Останусь там, улягусь в постель. И, не обращая внимания на тоску и тяжелые воспоминания, которые воскрешает во мне это место, буду ждать смерти — в одиночестве, как та белая кошка.

Я хочу бежать без оглядки от наглой смерти, которую уже горько оплакивают. Генерал все поймет, молча улыбнется и не станет мне мешать. Он ведь тоже из кошачьей породы.

— В ТОТ ДЕНЬ, 29 ИЮНЯ, ОНА НАПИСАЛА ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА. Свое завещание, — говорит доктор Тайяна.

Мы с ним сидим в венском кафе "Захер", за окнами зимний вечер.

— Мы уже не сомневались, что смерть близка, и вот я вошел к ней в спальню, уверенный, что в последний раз вижу ее живой. Но неожиданно застал ее в сознании: к умирающим иногда на миг возвращается ясность ума. Как я понял, она решила воспользоваться этим и написать завещание, которое велела зачитать на митинге 17 октября, где ее уже не будет. Путаный, пафосный текст. Она писала о своей безумной любви к народу, к "оборванцам"; им она завещала свое имущество. Его оказалось не так уж много — пожалуй, только драгоценности. Она просила, чтобы деньги от их продажи пошли на помощь обездоленным. Но это был крик отчаяния: Эва считала, что без нее хустисиализму не выжить... Впрочем, рассуждения о политике вряд ли вам интересны. И, конечно, она много раз повторяла о своей страстной любви к Перону, чьи политические взгляды дали жизнь настоящей Эве...

Раз уж мы с вами встретились, опишу вам небольшую сцену, которая, возможно, объяснит суть этого трагического чувства — *материнской* любви, прерванной смертью. Пока я сидел возле Эвы, по коридору к своей спальне прошел Перон. Внезапно он закашлялся — обыкновенный кашель старого курильщика.

Эва перебила меня и воскликнула:

— Пожалуйста, доктор, сделайте что-нибудь с этим кашлем. Заставьте его лечиться! Позаботьтесь о нем!

В эти последние минуты взгляд ее был жестким, властным. Я пообещал что-нибудь предпринять. Я был очень взволнован.

СЕГОДНЯ У МЕНЯ ПОЯВИЛИСЬ СИЛЫ. Я взяла карандаш, подаренный Ренци, и одним махом написала послание, хотя буквы получились неровные. Муньос Аспири зачеркнул бы половину, но я не боюсь пока-

заться сентиментальной: текст, который после моей смерти прочитают на Пласа-де-Майо, должен передать все мои чувства.

Я хочу вечно жить с Пероном и моим народом.

Но если Господь заберет меня из этого мира раньше, чем Перона, я хочу остаться с ним и народом, оставить им навеки мое сердце, мою нежность, мою душу и мой фанатизм.

Я останусь с ними, чтобы они и дальше шли вперед по широкой и вольной дороге Справедливости и Свободы, пока не наступит великий День народов.

Я останусь с ними, с Пероном и моим народом, чтобы бороться с олигархами, предателями родины и лицемерами, проклятыми эксплуататорами и торгашами, обкрадывающими народ.

Бог свидетель — я говорю от чистого сердца. Он знает, что я отдала себя любви к людям одной со мной крови — моему народу.

Однако Перон любит народ гораздо больше, чем я, ведь, занимая столь высокий пост, он сумел приблизиться к народу, понять его и полюбить. А я родилась среди вас и страдала вместе с вами. Мои тело, душа и кровь такие же, как у вас. Я полностью отдала себя народу, иначе не мысля своей жизни.

Хочу, чтобы в этот час вы узнали, что я любила и люблю всей душой Перона, что Перон — мое солнце и небо. Бог не позволит мне солгать, и я снова повторяю: мне не нужны небеса без Перона.

Хочу, чтобы вы знали: да, у меня случались ошибки, но я их совершала из любви к вам, и, надеюсь, Бог, который читает в моем сердце, будет судить меня не за ошибки и недочеты — их было немало, — но за любовь, которой я отдала жизнь.

Бог простит мне то, что я хотела быть с вами, потому что Он тоже любит обездоленных.

Остается всего двадцать четыре часа.
Нет уже ни сна, ни бодрствования.
Только бесконечное море в непроглядной ночи.
Мои ноги уже коснулись воды.

НЕПРИВЕТЛИВАЯ, СУРОВАЯ ПОРА. Студеные июльские дни, напоминающие европейскую зиму. Взъерошенные воробьи на голых деревьях улицы Аустриа. Вся страна замерла. Я шел пешком от автобусной остановки на Кальяо мимо костров, которые люди жгли прямо на улице. Толпа молилась. Напротив Резиденции выстроился неприступный полицейский кордон. Люди молились всю ночь.

Мне пришлось подождать. У Эвы был Николини, ее приятель из Хунина. В библиотеке ожидал сеньор Риччарди, ювелир. Он передал Ренци медали, выполненные по заказу Эвы. Памятные медали.

То были последние часы, когда Эва пребывала в сознании. Потом настало забытье, а в 20:23 все мы — ее мать, сестры, брат, Перон и врачи — услышали последний вздох, после чего на ее лице появилась умиротворенная буддийская улыбка. Так выпрямляется и замирает, выпустив стрелу, тугая тетива лука. Все по очереди поцеловали Эву в лоб. Внезапно ее брат Хуан завопил и выскочил в коридор, словно безумный. Кто-то побежал вслед за ним.

Но прежде, ожидая, пока выйдет Николини, я успел порадоваться, что Эва еще несколько часов провела в сознании. Позднее Николини передал ее слова: "Не беспокойся, Нико. Я позвала тебя просто потому, что очень тебя люблю. Часто я притворяюсь, что у меня глубокий обморок, чтобы люди чувствовали себя спокойнее. Чао, Нико. До встречи в вечности".

Когда я вошел, Эва была крайне возбуждена. (Три дня назад она проснулась в ужасе и, спрыгнув с кровати, звала медсестер: в полудреме ей показалось, что она лежит в гробу.)

Затем ее соборовали, и она произнесла очень слабым, но ясным голосом:

— Падре, я ждала вас, чтобы сказать: если мне суждено родиться еще раз, я бы постаралась быть счастливой. Часто ли я громко смеялась — весело, от души?

— Вы и теперь *должны* быть счастливы, Эва. Я искренне считаю, что мало кто видит в жизни такой глубокий смысл, как вы. Вас ведет сам Господь. Нет, не спорьте... Вы идете по Божьему пути.

— Как Енох... — ответила Эва. — Я всегда была самонадеянной, падре. Работала в Фонде как сумасшедшая. Всему виной моя самонадеянность... Я суетилась, словно стараясь исправить ошибку Бога, несправедливого к бедным людям...

Она как могла старалась меня успокоить. Достала свои так называемые "амулеты" — словно девочка, показывающая аккуратно выполненное домашнее задание. В кармашке пижамы хранилось изображение святой Риты, которое ей принесла сестра Эрминда, под подушкой — письмо папы Пия и молитва, которую я написал специально для нее (молитву мы читали с ней вместе, иногда по телефону, когда ее особенно мучили боли), письмо монахини, сестры Инес де Хесус, которое прислал ей Анджело Ронкалли, папский нунций в Париже, а также листок с пророческими словами, который дал ей некий человек — с ним она провела всего час. Впоследствии он стал папой римским. Внизу листка стояла дата и слово "Париж". Там говорилось: "Сеньора, продолжайте вашу борьбу во имя бедных, но знайте: когда она обретет истинный размах, вас ждут крестные муки".

Я тем временем лихорадочно подыскивал слова, которые мне следовало произнести как священнику. Но все, что приходило в голову, было банально или слишком сухо. Я машинально перечитал написанное от руки письмо папы Пия.

Она произнесла:

— Не надо слов, падре. Я на дне глубокого колодца, и отсюда меня не вытащат ни врачи, ни родные — никто, кроме Бога... Я ухожу.

И тут я совершенно искренне сказал ей:

— Вы вернетесь и станете миллионами.

— Я вернусь и стану миллионами... Знаете, такой рай мне бы понравился...

В этот миг послышался плач сестер и убитой горем матери. Они вошли в комнату, чтобы в последний раз увидеть свою Эвиту в сознании.

Вы хотите знать, как прощались Эва и Перон в эти последние часы? Они не разговаривали, только смотрели друг на друга. Эва испытывала

к нему чувство нежности и сострадания, как мать, которая вынуждена покинуть свое дитя.

Они беседовали на своем языке, понятном только им двоим. Обычные слова не могли передать их единства. Перон знал, кого он теряет. В пустыне политики Эва была его единственным другом. Любимая, невыносимая, ненавистная, неукротимая. Незаменимая подруга, разделившая с ним победу.

Перон рассказывал, что они не обнимались. Эвита чувствовала страшное утомление, и ее голос был едва слышен. Она сказала:

— Жить мне осталось совсем недолго. Спасибо за то, что ты для меня сделал. Прошу тебя еще только об одном... Никогда не переставай бороться за бедняков. Только они умеют быть верными.

Она позвала Ирму, свою служанку. Та вошла с опухшими красными глазами. Эва протянула ей медаль и сказала:

— Вот моя последняя просьба, ты обязана ее исполнить. Если нужно, передай ее Генералу. Когда меня будут обряжать, пусть Алькарас сделает мне мою любимую прическу, но только не надо сильно стягивать волосы на висках, пусть лицо будет чуточку покруглее.

Ирма плакала, и Эва, которая знала все ее проблемы, сказала на прощанье:

— Меня не устраивала моя жизнь. Поэтому я убежала из дома. Мать выдала бы меня замуж за какого-нибудь парня из Хунина, а я бы этого не вынесла. Поверь, Ирма: разумная женщина презирает мир мачо.

Позвольте представиться: я — Сара Гатти, я делала Эвите маникюр еще в салоне "Лейла" у Алькараса, на улице Эсмеральда.

Я собиралась в кинотеатр "Гомон" на "Плоть и дух", как меня срочно вызвали к ней. Не побоюсь показаться нескромной и скажу, что мне выпала историческая роль — я услышала ее последние слова в этом мире, она произнесла их, когда я перестала рыдать:

— Тридцать три года, тридцать три килограмма, вот и все... Слушай внимательно, Сара, скоро все сюда войдут, потому что я умру, а потом позовут тебя. Сотри с моих ногтей этот красный лак и покрой прозрачным "Куин оф Диамонд", который я вчера приказала купить. От фирмы "Ревлон".

Эпилог

Вы знаете, это было о velorio mais grande do mundo[1]. Для съемок прибыла техническая группа, которая работала с Де Миллом и Джоном Хьюстоном[2]. Уж чего-чего, а хоронить мы, аргентинцы, умеем. Мы настоящие мастера похоронных дел.

Повсюду раздавался плач — то скорбел мой народ, мои "оборванцы".

Доктору Ара, специалисту, овладевшему искусством древних египтян, поручили меня забальзамировать, заплатив сто тысяч песо. Мне са-

1. Самые многолюдные похороны в мире (*португ.*).
2. Сесил Блаунт Де Милл — американский режиссер; Джон Хьюстон — американский актер, режиссер.

мой это никогда не пришло бы в голову. Впрочем, почему бы и нет? Ведь я женщина, и вы знаете, как сильна во мне губительная страсть к роскоши и косметике.

Больше года Ара запирался по ночам в ВКТ и вводил мне в вену на щиколотке эликсир вечной молодости. Он работал молча, как положено творцу не-жизни, чистой видимости, знатоку великого искусства, восходящего к эпохе цивилизации Верхнего Египта — четвертого тысячелетия до Рождества Христова. Содовые ванны. Инъекции спирта, нагретого в стальных резервуарах до шестидесяти градусов. Трихлориды, тимоловые кристаллы, парафин.

Днем меня выставляли в стеклянном саркофаге в доме Всеобщей конфедерации труда. Доктор Ара внимательно следил, чтобы на моей коже не выступили трупные пятна. Иногда он приказывал унести саркофаг, и продолжалась ночная возня со шприцами. На моем лице сохранилась улыбка. Ведь я жаловалась падре Бенитесу, что мало улыбалась при жизни. Теперь легкая улыбка не сходит с моих уст.

"Я для них — враг" — вот что я всегда говорила. В 1955 году, когда последователи так и не расстрелянного генерала Менендеса покончили с народной демократией, меня похитили и скверно со мной обращались. Представьте себе: тупые военные не поверили, что это была я. Они решили, что перед ними кукла, вроде той шведки из Хунина, и важный доктор Нерио Рохас потребовал отрезать у меня мизинец и мочку уха, чтобы отправить на анализ.

Вальш рассказывает, что один одержимый похотью солдафон открыл гроб с моим телом, но так и не решился надругаться над ним. Он ударил меня кулаком по лицу и повредил скулу, вдавив ее внутрь. И только в 1972 году Ара, уже находясь в Испании, мне ее вправил. Помните, как поется в танго:

> Меня ты запомнишь навечно,
> нещадно тебя я терзал...

Я вновь оказалась на улице. Они так и не решились сжечь меня или бросить в реку. Я лежала в фургоне, стоявшем на углу Виамонте и Родригеса Пеньи. Затем меня перенесли на склад Службы разведки, где я долго томилась среди ящиков со списанным оборудованием. Всего в нескольких шагах от нашей квартиры на улице Посадас!

Президент, занявший место Перона, — помните, тот самый офицер, с которым я танцевала на вечеринке у Альвареса и Хардин, — постарался сделать так, чтобы мои следы затерялись. Он подготовил еще несколько гробов и велел положить туда кукол. И вместе с ними меня перевезли в Италию. Там моя судьба складывалась благополучно: я побывала в Риме, а затем покоилась на кладбище в Милане под именем сеньоры Маджио.

Я вернулась в Рим — а все потому, что как-то раз, стоя возле фонтана Треви, машинально бросила монетку в журчащие водяные струи...

Прошли годы, и вот в 1972-м элегантный офицер, взявший штурмом Ворота № 8 в Кампо-де-Майо, где Менендес поднял кавалерию, переправил меня на грузовике через Лазурный Берег в Мадрид. После семнадцати лет скитаний и унижений... К этому времени он уже был генерал-лейтенантом и президентом de facto.

Там мы увиделись вновь. Как обычно, слова нам были не нужны. Стояло особенное утро, какое бывает только в Мадриде. Он увидел, что я сохранила для него улыбку. И мы сказали друг другу все, как в тот день в ресторане "Мюнхен" на Костанере, когда он, попивая кофе, курил свою крепкую сигару, пахнувшую, как табак дедушки Диохенеса.

Благодарность автора

На протяжении многих лет я собирал самые разные версии, касающиеся жизни Эвы Перон. Опросил многих, кто ее любил, и немногих, кто ненавидел по политическим мотивам. Вот почему этот роман состоит из хора голосов. Благодаря исключительности своей личности и легенде, обошедшей весь мир, Эва оказалась выше мелочных нападок, а также сплетен, которые порождает политика.

Я постарался восстановить основные события ее жизни. Все лица, рассказавшие мне о них, реальны, за исключением одного или двух, чьи имена изменены. Маргерит Юрсенар верно заметила: "Так или иначе при воссоздании монумента всегда сказывается личность автора. Хорошо, когда хотя бы камни, из которых он выстроен, настоящие".

Благодарю тех, кто помог мне подобрать краски и оттенки, с помощью которых я воссоздал живую личность, отделив ее от вульгарного стереотипа.

Большое спасибо Хосе Марии де Ареильсе, "цыганскому послу", Иполито Хесусу Пасу, Хосе Марии Костинейре де Дьос, Марии Гранате и Франсиско Муньосу Аспири. Энрике Оливе. Спасибо Тайяне за нашу беседу в Вене, Рамону Сереихо. Морским офицерам, моим друзьям, которых не хочу называть по именам – они оказали Эве особую честь, ненавидя ее, как мужчину. Отелло Борони, Марте Чичеро, Марисе Наварро и Эрминде Дуарте, которые помогли мне воссоздать живой образ Эвиты. Томасу Элою Мартинесу. Удивительному человеку – бальзамировщику и поэту – Педро Аре (а также Луису Софовичу, Рамону Гомесу де ла Серне, Амилькару Табораде и Оскару Уболди за далекую ночь на Эдельвейсе, где они познакомили меня с Арой).

Благодарю людей из мира кино, которые помогли мне узнать вторую жизнь Эвы. Лукаса Демаре и Анхела Маганью, Карлоса Оливари и Сиксто Пондала Риоса за долгие часы, которые мы провели вместе в Аргентинской ассоциации деятелей искусств; Манси, Часа де Круса, снявшего ее в своем первом фильме, за воспоминания об Эве, и Петита де Мурата, которому я обязан волнующим описанием ночной жизни тогдашнего Буэнос-Айреса, где Эва делала первые шаги. Спасибо "Диас де Лимитон", "Эфе", "Пампа Фильму".

Особая благодарность Сильване Рот, Элене Лусене и Маркосу Цукеру. И Фернандо Аяле. Все они внесли неоценимый вклад в написание романа (Элене Лусене за ее рассказ о том, как Эва покупала в "Доме Перуджиа" понравившиеся ей туфли, Сильване Рот – за встречу в кафе на Бельграно, где она постаралась описать отношение Эвы к мужчинам).

Огромное спасибо Эсмеральде Эредиа, Хардин, участнице давнишних скандалов, которые приводили в восторг ее подругу Эвиту Дуарте.

И прежде всего горячая благодарность падре Х. Б., который, благодаря своим религиозным и философским познаниям, своей любви к ней и умению поддержать ее в самые решающие часы ее жизни, сделался главным ее приближенным, не имеющим отношения ни к политике, ни к интригам. Он был непосредственным свидетелем третьей — самой насыщенной — жизни Эвы Перон. Ему была известна ее неразгаданная тайна.

Он оказал мне огромную поддержку, несмотря на годы, проведенные в несправедливом изгнании. Мне очень помогли монологи, записанные на пленку, которые я прослушал бессчетное число раз зимними вечерами в Праге.

В долгих сумерках в нежилом доме мы беседовали о Енохе и прочих земных существах, которых Бог или божества (а также демоны) забрали с земли раньше времени.

А. П.

Ольга Докучаева

Героиня в аргентинской истории

Более полувека назад, в июле 1952 года, в Буэнос-Айресе в возрасте тридцати трех лет умерла Эва Перон, пожалуй, самая известная латиноамериканка в новейшей истории. О ней написаны книги, созданы фильмы... И даже сейчас, много лет спустя, образ этой женщины порождает споры. Короткая, но яркая жизнь супруги президента Аргентины Хуана Перона Эвиты, как ее часто называли, и сегодня остается предметом полемики между приверженцами идей "перонизма" и их противниками.

Первые называли Эву "мадонной безрубашечников", "знаменосицей бедняков". В Аргентине до сих пор бытует миф о "революционерке Эве Перон, пожертвовавшей жизнью ради народа", а сама Эвита, наряду с Че Геварой, остается кумиром левой молодежи. Вторые, не отрицая места Эвы в аргентинской истории XX века, ставят целый ряд "трудных" вопросов. Что было побудительным стимулом для этой женщины: подлинное желание облегчить жизнь народа или тщеславие и жажда власти? Можно ли считать "революционеркой" и "знаменосицей бедняков" жену диктатора, щеголявшую в туалетах от Диора и увешанную драгоценностями? Могла ли благотворительность, осуществляемая Эвитой, привести к реальному улучшению жизни трудящихся? Или она являлась скрытой формой экспроприации частных и расходования государственных средств с вульгарной целью подкупа электората? Как относиться к тому, что жена президента открыто вмешивалась в государственные дела и якобы ради "интересов народа" добивалась назначения на важные и прибыльные должности "своих людей", в том числе и родственников? Наконец, играла ли Эва самостоятельную роль или полностью зависела от мужа, выполняя его указания?

Истина, однако, состоит в том, что, несмотря на противоречивые оценки, образ Эвиты накрепко запечатлен в памяти аргентинцев и до сих пор для многих людей в Латинской Америке является символом подвижничества и служения народу.

© Ольга Докучаева, 2005

Мария Эва Ибаргурен родилась 7 мая 1919 года в местечке Лос-Тольдос провинции Буэнос-Айрес. Она была младшей из пяти побочных детей Хуана Дуарте, владельца небольшой скотоводческой фермы, и его служанки Хуаны Ибаргурен, происходившей из бедной семьи иммигранта баска. После гибели Дуарте в 1926-м Хуана была вынуждена перебраться с детьми в соседний городок Хунин, где зарабатывала на жизнь шитьем и домашними обедами. Несмотря на унизительное в глазах многих положение "безмужней вдовы", она смогла найти трем старшим дочерям обеспеченных мужей "из общества", а сына определить на военную службу в столицу. Однако младшая дочь преподнесла матери сюрприз. С большим опозданием закончив начальную школу, Мария Эва неожиданно объявила, что хочет уехать в Буэнос-Айрес и сделаться актрисой. Зная ее упрямство, мать не стала перечить, и в январе 1935-го поезд увез юную провинциалку в столицу.

В марте того же года Мария Эва Ибаргурен, или Эва Дуарте, как она стала себя именовать, дебютировала в крошечной роли в столичном театре "Комедия". Профессионально актерскому ремеслу она нигде не училась. Однако молодость, красота, чистый и звонкий голос, а главное, умение быстро схватывать требования режиссера позволили ей сделать первые шаги на театральных подмостках. Правда, высот актерского мастерства она так никогда и не достигла.

В 1938 году Эва начала работать на радио, сначала в качестве диктора, позже как актриса радиотеатра. Радиопьесы были в те годы чем-то вроде современных телесериалов и собирали у приемников тысячи людей. Интуиция подсказала честолюбивой девушке, что именно радио поможет ей достичь известности и успеха. Трудности и неудачи Эву не пугали. Как и мать, она была не из тех, кто сворачивает с намеченного пути.

Имя молодой актрисы Эвы Дуарте и на самом деле стало довольно известным. Она даже получила несколько небольших ролей в кино. Однако кино, как и театр, требовало большего профессионализма, серьезной работы над образом. Эва же, по-видимому, всегда хотела в первую очередь оставаться самой собой и демонстрировать собственную личность.

1943 год — переломный в истории Аргентины. В июне, незадолго до очередных президентских выборов, произошел государственный переворот, была установлена военная диктатура. Идеологом и организатором переворота был полковник Хуан Доминго Перон, вначале занявший в военном правительстве скромный пост главы Секретариата труда. Однако уже в начале 1944-го стал также министром обороны и вице-президентом страны. Правительство военных

проводило политику нейтралитета в мировой войне, желая одновременно извлекать выгоду из торговли Аргентины с Германией и ее союзниками, а также со странами антигитлеровской коалиции. Военные-националисты, в том числе и Перон, симпатизировали гитлеровскому режиму, одобряли его экономическую и социальную политику, видели в сотрудничестве с Германией залог большей торговой независимости Аргентины от Великобритании и США.

Период правления военных стал временем неожиданного карьерного роста Эвы Дуарте. Осенью 1943-го крупнейший в стране канал "Радио Бельграно" начал трансляцию масштабного радиосериала "Героини в истории" с Эвой в качестве ведущей актрисы. Цикл включал спектакли об известнейших женщинах — императрицах, королевах, актрисах (Жозефине, Екатерине II, Александре Федоровне, Анне Австрийской, леди Гамильтон, Саре Бернар, Элеоноре Дузе и т. д). Многие коллеги Эвы считали, что ее внезапный успех был результатом тесной дружбы с высокопоставленными офицерами, в частности, с полковником Франсиско Имбертом, который возглавлял в военном правительстве ведомство коммуникаций, курировавшее радио.

Однако по-настоящему судьбоносным стало для Эвы знакомство в начале 1944 года с полковником Хуаном Пероном. В свою очередь сорокавосьмилетний Перон неожиданно обрел в молодой актрисе не только любовницу, но единомышленницу и друга. Этот взаимовыгодный любовный альянс оказал влияние на все последующее развитие Аргентины. Перон хотел использовать радио для пропаганды своих социальных идей и предложил Эве сотрудничать с Секретариатом труда. Она возглавила профсоюз работников радио и стала ведущей новой политической передачи "Навстречу будущему", которая выходила в эфир несколько раз в неделю и рекламировала деятельность Перона и его Секретариата. Благодаря связи с Пероном жизнь Эвиты Дуарте изменилась во многих отношениях. Стремясь угодить вице-президенту страны, дирекция канала "Бельграно" увеличила ей оклад до рекордной суммы. Эва впервые получила предложение сняться в главной роли в кино. Фильм "Расточительница" щедро финансировался казной, а Перон часто присутствовал на съемках.

В 1944—1945 годах Секретариат труда провел ряд мероприятий в интересах рабочих. Профсоюзам было дано право в случае трудовых конфликтов с предпринимателями обращаться за помощью в государственный арбитраж. Была установлена минимальная заработная плата, оплачиваемые отпуска, выделены средства на строительство жилья для рабочих. Перон лично посещал предприятия, встречался с профсоюзными вожаками, привлекая их на свою сторону. Все это было частью его далеко идущего плана, направленного на завоевание поддержки в профсоюзах и одновременно на установление контроля над ними. Перон видел себя в роли харизматического вождя, "сильного лидера", президента-объединителя, опирающегося не столько на армию, сколько на массовое общенациональное движение.

Честолюбивые устремления Перона, его заигрывания с рабочими раздражали респектабельную часть общества и многих военных. Нелестной была в этом кругу и репутация Эвы, в которой видели развязную и жадную выскочку. В октябре 1945 года, по настоянию противников Перона из числа высших офицеров, президент Фаррель отдал приказ о его аресте. Однако заговорщики, сами того не желая, оказали Перону услугу: 17 октября по призыву профсоюзов тысячи рабочих "безрубашечников" и их семьи собрались на Пласа-де-Майо в Буэнос-Айресе перед президентским дворцом, требуя немедленно "вернуть Перона". Этот день вошел в историю Аргентины как дата возникновения перонистского движения. Символом объединения вождя и его "безрубашечников" стало то, что осво-

божденный по просьбе рабочих Перон с балкона Розового дома пообещал толпам своих сторонников стать президентом страны и защищать их права.

22 октября 1945 года Эва и Перон поженились. Так он исполнил обещание, данное ей в дни ареста. При оформлении брачных документов была изменена метрика Эвы. Теперь, согласно бумагам, она официально считалась урожденной Дуарте, а ее возраст был уменьшен на два года. После свадьбы супруги Перон все силы сосредоточили на подготовке к президентским выборам, назначенным на февраль 1946-го. Эва оставила работу и вошла в штаб ближайших помощников Перона. Сначала ее роль была невелика, но быстро становилась все более заметной. Честолюбие, сильный, волевой характер, самоуверенность, энергия, которую нужно было куда-то направить, неудовлетворенное актерское тщеславие, желание "быть на виду, нравиться и покорять" — вот те качества, которые способствовали ее активности. Перон вовлекал Эву в политику — ему казалось выигрышным, что рядом с кандидатом в президенты находится жена, олицетворяющая возросшую роль женщины в современном мире. Кроме того, никто так успешно, как Эва, не мог бы вести агитацию среди женщин. Она быстро усвоила найденный Пероном ораторский стиль, обращенный, прежде всего, к чувствам слушателей, а не к их рассудку, и она умела убедить народ в своей любви и преданности. Учитывая низкий образовательный уровень большинства аргентинцев в те годы, а также особую эмоциональность аргентинского характера, можно утверждать, что такие приемы действовали безотказно.

Соперником Перона на выборах был представитель радикальной партии Хосе Тамборини, единый кандидат Демократического альянса — избирательного блока, объединившего практически все без исключения политические партии Аргентины. Поддержку Тамборини также оказывало посольство США в лице аме-

риканского посла Брадена. Многочисленные противники ополчились на Перона, обвиняя его в расчетливой демагогии, в давних симпатиях к итальянскому и германскому фашизму, в стремлении к диктатуре. И все же Перон одержал на президентских выборах убедительную победу, собрав 52,4 % голосов избирателей, в основном рабочих. Его сторонники получили большинство и в Конгрессе.

Придя к власти демократическим путем, Перон, как многие и ожидали, установил национал-реформистский авторитарный режим популистского типа, продержавшийся вплоть до 1955 года, когда он был сметен в ходе очередного военного переворота. Все эти годы Перон фактически бесконтрольно управлял послушным Конгрессом и страной. В Аргентине открыто ущемлялись конституционные права оппозиции, в отношении противников президента применялись репрессии, действовала цензура. В 1947-м официально оформилась проправительственная Перонистская партия. Она представляла собой массовое народное движение, включавшее профсоюзы, женские и молодежные организации, подчиненные лично Перону. В 1949-м, несмотря на протесты оппозиции, была принята новая конституция, дававшая президенту возможность переизбираться неограниченное число раз. В стране насаждался культ Перона как "вождя нации", а его идейная доктрина "хустисиализма", т. е. "учения о справедливости" навязывалась обществу в качестве единственно правильной и подлинно национальной идеологии. Вместе с тем при Пероне был создан сильный государственный сектор, государство поддерживало и субсидировало местных производителей, выросли и окрепли профсоюзы, увеличилась зарплата рабочих. Новая конституция гарантировала избирательные права женщинам и существенные социальные льготы всем трудящимся. Таким образом, правление Перона отличала двойственность. Недемократический режим проводил политику, привлекательную для национального бизнеса и рабочих, ограничивая влияние местной олигархии и иностранного капитала. Однако такой курс требовал больших государственных расходов. Перону удавалось проводить его только вследствие временно благоприятной для Аргентины конъюнктуры внешнего рынка, высоких мировых цен на аргентинское зерно и мясо.

В системе перонистской власти Эва заняла совершенно особое место, обусловленное спецификой авторитарного правления. Официально никаких государственных должностей она не занимала. Но как жена президента-диктатора обладала огромной властью, возраставшей по мере укрепления режима. Велико было ее влияние в перонистском движении, составлявшем опору популистской диктатуры. Ведь как всякое движение популистского типа, основанное на вере его рядовых участников в "харизму", то есть исключительные качества своего вождя, перонизм не мог оставаться сплоченным без постоянной эмоциональной связи, без прямого общения между Пероном и массами. Однако обязанности президента не позволяли Перону так же часто, как раньше, выступать перед рабочими. Оставалось одно — найти связующее звено, "посредника" между Пероном и его "безрубашечниками", но посредника особого, облеченного доверием самого вождя. Эту ответственную и трудную роль Перон поручил Эве. Уже летом 1946-го она начала посещать предприятия и выступать перед рабочими. Она также вела прием граждан в Министерстве труда (бывшем Секретариате), обосновавшись в старом кабинете Перона. Контакты рабочих с их вождем теперь должны были осуществляться через нее, как его личного представителя. Осенью Эва явилась в Конгресс, где потребовала у председателя палаты депутатов Рикардо Гуардо ускорить рассмотрение законопроекта и принятие закона об избирательных правах женщин.

Огромный резонанс в Аргентине получил визит Эвы в Европу в 1947 году с целью обеспечить международное признание перонистского режима. Он был ор-

ганизован с поистине королевским размахом. В ходе европейского турне, продолжавшегося два с половиной месяца, она посетила Испанию, Италию, Францию, Швейцарию, Португалию, Ватикан и Монако, встретилась с известнейшими политическими деятелями, такими, как Салазар, Франко, папа Пий XII, госсекретарь США Дж. Маршалл, президенты В. Ориоль (Франция), Э. Ди Никола (Италия) и так далее. Благодаря кампании безудержного захваливания, развернутой официальной прессой в ее отсутствие, Эва вернулась на родину лидером национального масштаба, почти равным Перону. О повышении ее статуса в государстве свидетельствовало то, что 17 октября 1948 года она уже наравне с Пероном обратилась к рабочим с речью с балкона президентского дворца.

В последние годы жизни (1950—1952) одним из важнейших занятий Эвы стала благотворительность. Еще в 1946 году по ее инициативе был создан, а в 1948-м получил юридическое оформление фонд "Эва Перон" для помощи бедным. В отличие от Благотворительного общества дам-аристократок, принудительно закрытого указом Перона, деятельность нового фонда осуществлялась в общенациональном масштабе и была частью государственной политики. Фонд "Эва Перон" вел строительство больниц, поликлиник, приютов, интернатов для детей сирот... Он финансировал учебные и спортивно-оздоровительные программы для детей и школьников, а также проводил бесплатные раздачи продуктов и товаров повседневного спроса среди бедноты. Эва с помощниками вела личный прием граждан, нуждавшихся в оказании какой-либо срочной помощи. Несмотря на заметные успехи в работе фонда, очевидно, что победить бедность благотворительностью, даже и широкомасштабной, было невозможно. Также не вызывает сомнений, что фонд выполнял и пропагандистские функции: служил укреплению режима и возвеличиванию Хуана Перона и Эвы Перон.

Размышляя о причинах мифологизации образа Эвиты, невольно приходишь к мысли о неодолимой привлекательности сильного характера. В сложные эпохи история выбирает для реализации своих задач яркие, деятельные фигуры, которые становятся символами своего времени. Перон и Эва были из таких. Впервые в Аргентине супругой президента стала женщина, не принадлежавшая к привилегированной элите, получившая власть и влияние благодаря личным качествам, а не происхождению. Впервые жена президента активно включилась в политику, общалась с рабочими, вовлекала трудящихся женщин в общественную жизнь. Именно поэтому богатство и высокое положение Эвы не вызывали зависти и неприязни в рабочей среде. Напротив, ее личный успех олицетворял надежду на перемены к лучшему для всех простых аргентинцев. Своеобразие участия Эвы в политике состояло в ее подчиненности Перону. Но даже в этих условиях она приобрела довольно большую самостоятельность, особенно, когда в 1949-м возглавила женскую перонистскую организацию. Наверное, можно сказать, что в 1948—1952 годах в перонизме сложилось что-то вроде "двойного лидерства".

Эва, как и Перон, обладала харизмой, особым магнетизмом. В ней было много привлекательного: молодость, красота, неукротимая энергия, огромная трудоспособность, помощь бедным, осуществляемая вне бюрократических рамок. Она сумела установить тесный душевный контакт с рабочими, потому что отношения их были лишены формализма. Авторитет Эвы заметно возрос, когда она отказалась от выдвижения ее кандидатуры на пост вице-президента. Этот "исторический отказ" воспринимался как проявление личной скромности и готовности без всяких почестей продолжать трудную повседневную работу. Ранняя смерть в зените славы навсегда сохранила Эвиту в памяти аргентинцев молодой, она стала символом духовной силы, верности, любви и самопожертвования.

“Чехия: маленькая страна в центре большой истории”

За короткое XX столетие, утеснившееся, по мнению многих влиятельных историков, до трех четвертей века (1914–1989), взгляды мира были как минимум четырежды прикованы к Праге. Сначала – в ноябре 1918 года, когда на развалинах Австро-Венгерской империи первой из новых независимых государств возникла Чехословацкая республика с философом Томашем Масариком на посту президента: кончились, по словам Цветаевой, "триста лет неволи" и начались "двадцать лет свободы". Двадцатилетье, ставшее одной из вершин чешской истории и культуры (вспомним сюрреализм Незвала и Библа, Тейге и Штырского, кино Густава Махаты, вспомним замечательных лингвистов Пражского кружка и великую "Глаголическую мессу" Яначека), завершилось – и это вторая значимая точка – в сентябре 1938-го, когда по Мюнхенскому сговору между правительствами Европы гитлеровская Германия оккупировала Судеты, начав захват страны; из этого и родились цветаевские "Стихи к Чехии", писавшиеся прямо по горячим следам тогдашних событий. Еще через тридцать лет, пражской весной 1968-го, чехи попытались вернуть себе прежнюю свободу и были раздавлены войсками стран Варшавского договора (тридцать и триста – не случайная перекличка, ведь и трехвековая неволя для Чехии наступила с разгромом в 1620 году восстания за независимость страны от Габсбургов). Наконец, еще через два десятилетия, в декабре 1989 года, "бархатная революция" положила конец коммунистическому режиму, и президентство инакомыслящего писателя-политзаключенного Вацлава Гавела открыло новую эпоху чешской независимости.

У географических захолустий истории (тем более – подобной истории) не бывает. *Такой* – тектонически масштабной и тектонически плотной, непредсказуемой и беспощадной – история бывает только в точках пересечения мировых координат, средоточиях общей жизни. Чехия – страна в центре Европы, малая страна с долгой историей на скрещении и во взаимодействии нескольких больших культур (немецкой, чешской, еврейской – об их переплетении в Праге и в мифологии Праги пишет ниже Кирилл Кобрин, а в ближайших номерах читатели "ИЛ" найдут интереснейшую повесть об этом Брюса Чатвина). Отсюда наш сегодняшний интерес к чешскому опыту: кому же еще, если не чехам, писать по-кафкиански лапидарную и по-гашековски сардоническую историю Европы в XX веке, как это блестяще делает Патрик Оуржедник?

Мы обращаемся к опыту, конденсированному в литературе, и это опять-таки не случайность. Конечно, новейшую музыку так же невозможно представить без Леоша Яначека и Эрвина Шульхофа, без Богуслава Мартину и Петра Эбена, как современное кино без фильмов Иржи Менцеля, Милоша Формана и Веры Хитиловой, европейский балет – без постановок Иржи Килиана, а мировую анимацию без выдумок Иржи Трнки и Яна Шванкмайера. Но у языка, слова, словесности как символов собственной родины и самостоятельного народа в чешской истории со времен так называемых "будителей", изобретателей и строителей национальной культуры конца XVIII – начала XIX веков всегда была особая роль (о ней рассказывает Вячеслав Шимов). Один из наиболее известных "будителей", Павел Йозеф Шафарик, еще в 1840-х годах – до Пражского лингвистического кружка было куда как да-

© Б. Дубин, 2005

леко! — шутил, что ни один народ не оставит миру столько учебников грамматики и орфографических словарей, как чехи.

Однако язык в такой ситуации, как чешская, — не только система правил, но и основа прав: свобода. Не случаен взлет литературы в межвоенное двадцатилетие чешской независимости, как не случайно и то, что именно журнал словесности "Literarny noviny" в год Пражской весны стал главным печатным изданием в стране и выходил — при населении меньше десяти миллионов — тиражом в 300 тысяч (да исчезни в сегодняшней Франции хоть все литературные журналы разом, писал позже Милан Кундера, этого попросту никто не заметит, а издатели так еще и с облегчением вздохнут...). Причем слово здесь, как нигде, с одной стороны, насыщено фольклором, стариной, ее приметами и поверьями, а с другой — дышит вольностью и непредвосхитимостью устной, уличной, застольной речи. Уникальным мастером златокузнечной работы с подобным драгоценным сплавом был Богумил Грабал — в нашем "Гиде" эту линию ведут эссе Ярослава Сейферта и повесть Петра Шабаха.

Язык — это свобода, написал я, как будто забыв, что "песнь" и "казнь" рифмуются не только в стихах загнанного Мандельштама. У слова в Чехии особая судьба еще и в том, весьма знакомом нам в России смысле, что за слова предают и продают, убивают и доводят до самоубийства, гноят в застенках, заталкивают в подполье, выдавливают в эмиграцию. Так произошло с немецкой и еврейской литературами Праги первой трети XX века, которые пали жертвой холокоста во время Второй мировой войны и родной национально-государственной ксенофобии после нее. Так во многом случилось с чешской словесностью и гуманитарной мыслью уже подсоветских времен, частью ушедшей в самиздат, как тот же Грабал, как Ладислав Фукс, Иван Клима и Даниэла Годрова, как философ Ян Паточка, поэт Мирослав Голуб и прозаик Павел Когоут, а частью — влившейся в большой мир, как Кундера и Шкворецкий, как летописец концентрационных лагерей Арношт Лустиг и хроникер изгнанничества Эгон Хостовский.

Ряд этих писателей уже относительно известны в России: кого-то не так давно печатали в "Иностранной литературе", у некоторых даже вышло по несколько книг, Кундера и вовсе стал, что называется, "культовой фигурой"; знакомство с иными — и, поверьте, замечательными! — еще предстоит. Как бы там ни было, нынешняя подборка — не только подведение итогов минувшей исторической эпохи девяностых годов и двадцатого столетия в целом (задача, впрочем, и сама по себе важная). Но в ней хотелось бы видеть — после расставания России с имперскими замашками и великодержавными амбициями — начало нового и для читателей, и для пишущих, переводящих, издающих витка живой заинтересованности в том, что происходит сегодня в литературах, в культурах, в душе и в жизни людей близких нам стран Восточной и Центральной Восточной Европы.

Мысль многогранно представить Чехию большим материалом в "ИЛ" принадлежала Алексею Матвеевичу Звереву. Этот гид посвящается его памяти.

Борис Дубин

Петр Шабах

Вода с сиропом

Повесть

Перевод с чешского Антона Ширяева

Однажды я позвонил А. из бара,
сказать, что приду очень скоро.
Тогда она меня спросила:
"Зачем же звонить,
если скоро придешь?.."

Анна, которую тогда еще называли Андулкой, задумчиво стояла перед мрачным домом одной мрачной улицы и с большим интересом рассматривала соседского парня и его новый самокат. Обладатель самоката с победным видом лавировал между мусорными баками и делал вид, что о существовании Андулки даже не подозревает. Притормозив, он стал что-то подкручивать в самокате, давая тем самым понять, что существует мир, куда женщинам не следует соваться. Андулкин взгляд переместился с самоката и уперся в парня. Это было так неожиданно, что он на миг потерял контроль над собой и застыл с видом безмозглого тупицы. Единственно правильным в тот момент было немедля скрыться за углом и больше не показываться, но он упустил мгновенье — Андулка медленно подошла к нему, приковав его к мостовой своим задумчивым взглядом.

— Чего тебе надо? — неуверенно спросил парень.

Андулка медленно облизала губы, прикрыла веки и тихо произнесла:

— Если ты дашь мне покататься на самокате, я покажу тебе пупок...

Парень вздрогнул и судорожно сжал руль. Вихрь любопытства смел все мысли в голове. Все родительские наставления вмиг улетучились. Андулкины глаза произвели лоботомию, в горле пересохло. Он в отчаянии оглянулся.

— Пойдем со мной в подъезд, и я покажу тебе пупок, — повторила Андулка.

Парень послушно поплелся на ватных ногах вслед за ней.

В подъезде было сумрачно и сыро.

— На сколько ты мне его дашь?

— На пять минут!

— На пятьдесят пять минут! — уточнила Андулка.

— На пятьдесят пять минут... — тупо кивнул он и уставился на обнаженный пупок.

Андулка резко опустила майку, взяла у одурманенного парня самокат и как стрела унеслась прочь. И пока он сидел перед подъездом и грыз ногти, она летала по улицам как ветер и весело звенела в звонок. У всех на глазах объехала детскую площадку, покружилась около изумленных

© Petr Šabach, 1996
© Антон Ширяев. Перевод, 2005

подружек и поехала в Стромовский парк. Ее волосы живописно развевались, а юбка трепетала у ног. Она проносилась мимо лавок, на которых сидели старые, такие старые люди.

Она была счастлива и свободна. И плевать хотела на время. На свою улицу она вернулась уже в сумерках – парень был белый от ярости. Без слов он вырвал у нее самокат и побежал домой. Она смотрела на него и наслаждалась обретенным опытом. Теперь она точно знала, в чем ее сила – сила, по своей мощи превосходящая все в мире.

* * *

Андулка ходила по квартире и ела бутерброд, держа его маслом вниз.

– Ты так когда-нибудь пробовал есть? – спросила она меня.

– Господи, зачем? Не знаю никого, кто бы ел хлеб маслом вниз!

– Мне так лучше глотается, – ответила она.

Доев, она присела к старому пианино и сыграла пару мелодий. Затем уютно устроилась на диване и поиграла с куклой. С особой куклой. Папа привез ее с лейпцигской выставки. Сначала он показал огромную коробку, перевязанную цветной лентой, – и Андулка уже не сомневалась ни секунды: это она, кукла, у которой закрываются глаза!

Глаза и вправду закрывались, но кукла оказалась с изъяном – это был пухлый пластмассовый негритенок в девчоночьем платье.

После первого шока пришла волна радости – от ощущения экзотической уникальности подарка.

Так она гуляла по улицам с коляской и, того не подозревая, смахивала на соблазненную каким-нибудь африканским фраером. Родители же с любовью смотрели на нее из окна, потому что, в конце концов, она всего лишь играла, а негритенок был пластмассовый.

Несколько лет спустя Андулка решила, что станет зубным врачом. Насобирав разных инструментов, она постоянно сверлила негритенку зубы. Из муки с водой делала пломбы и закладывала их в проделанные дыры. Еще одну дырку она сделала ему внизу и наливала через нее воду, чтобы он мог пописать. Потом, конечно, ему за это попадало.

Андулка шаталась по улицам и иногда просто так скакала с ноги на ногу. Задержавшись на детской площадке, поиграла там в "классики". По дорожкам гоняли парни на самокатах, среди них был и сосед. Он отталкивался левой ногой и урчал как мотор. Андулка ему улыбнулась. Через пару минут они вместе направились к подъезду, несмотря на то что в тот день парень планировал еще потренироваться в съезде с бордюра.

* * *

Снимая трубку, мой отец говорил: "Прием" или "Слушаю", а однажды сказал: "Дайте добавочный две сотни три", поэтому объяснять, что он был офицером, нет необходимости.

– Тебе что, нечем заняться? – спрашивал он меня, а я непонимающе смотрел на него поверх книжки "Приключения Чиполлино", с которой валялся в постели.

– Твой брат хоть немного помогает по дому, – продолжал отец, показывая пальцем на дверь за собой, откуда гудел пылесос. – Встань хотя бы и посмотри!

С неохотой поднявшись, я поплелся за ним. Отец открыл дверь и застыл как вкопанный: мой брат лежал на диване с ватными тампонами в

ушах и спал. Выключив пылесос, отец потряс его за плечо. Брат приподнял одно веко, и отец тут же вперся взглядом в его открытый глаз.

— Значит, обман? — взревел он. — Гнусный обман?!

Неподвижный глаз наполнился ужасом.

— Парни, парни! — причитал отец. — Вы что, хотите меня в могилу свести?!

Брат сполз с дивана, будто ему было как минимум восемьдесят, прошаркал к пылесосу и апатично стал водить шлангом по ковру. Отец занял его место на диване, устроился поудобнее и попытался перекричать монотонный гул:

— *Мой* отец *меня* за это убил бы! У *меня* подобный обман был бы *первым и последним* в жизни, — кричал он.

Брат его не слышал — куски ваты все еще торчали у него из ушей, так что все это представление предназначалось исключительно мне.

"Я-то тут при чем?" — спрашивал я себя.

Потом отец встал и, сгорбившись, вышел из комнаты. Брат снова улегся.

— Ну, блин, ты обнаглел! — заметил я ему

Его веки несколько раз дернулись. Я подошел поближе и склонился над его лицом — веки были уже неподвижны, и я понял, что брат опять спит.

* * *

У Андулки были красивые длинные волосы, которые всем очень нравились. Больше всего ими гордились ее родители. Мама каждый день любовно расчесывала их перед сном.

— Как принцесса, — шептала она ей. — Как маленькая принцесса.

Беда была в том, что Андулка свои волосы ненавидела. В ее альбоме, где были наклеены фотографии из женских журналов, на главном месте был портрет известной певицы с короткой воздушной стрижкой. Андулка тоже хотела воздушную стрижку и каждый вечер перед сном обдумывала план избавления от своих длинных волос. Однажды она призналась родителям, что хочет подстричься, чем привела их просто в ужас. От такой перспективы им даже стало плохо.

Тогда Андулка пошла на хитрость. Как-то вечером, вернувшись домой, родители обнаружили ее сидящей на столе в кухне. Своими огромными карими глазами она наблюдала за их реакцией.

В волосы, всегда аккуратно расчесанные на пробор и сплетенные сзади в косички, каким-то нечеловеческим способом была вплетена расческа с мелкими зубьями.

На следующий день Андулка скакала по улицам с прической своей мечты. Соседский парень, проезжая мимо нее на самокате, потерял на мгновенье контроль за управлением и врезался в мусорный бак. Приобняв жестяную емкость как женщину после долгой разлуки, он в необъяснимом порыве быстро ее поцеловал и покатил с ней дальше вниз по улице.

* * *

У нас дома была стенгазета. Висела она на почетном месте в коридоре. В ее верхнем углу я приделал пионерский галстук, а прямо под ним регулярно менял газетные вырезки. Чаще всего это были заметки о победах советской науки, в первую очередь космонавтики, потому что она мне нравилась больше всего.

В середине стенгазеты было отведено место под меню – его собственноручно писал отец каждое воскресенье после обеда. Он писал для мамы блюда, которые необходимо было готовить в течение недели. Например:

Понедельник – сосиска с пюре, огурец.

Вторник – котлета, картофель с маслом.

И так далее.

Мама переносила это стоически, а когда я однажды спросил: "Господи, как ты можешь это терпеть?" – она ответила:

– Какой сегодня день?

– Четверг, – сказал я

– А что у нас было на ужин?

– Макароны с ветчиной, – ответил я.

– А теперь загляни в меню.

Естественно, там был написано *ризотто.*

Я пошел в свою комнату. "Своя" означало, что я делил ее со старшим братом. Тот, как обычно, валялся на тахте, читал и грыз яблоко. Этот человек потреблял яблоки в неимоверных количествах. Огрызки он, как правило, кидал под мою кровать. Делал он это абсолютно механически, без всякого злого умысла – просто ему было так удобно. Когда он читал (а читал он почти постоянно), мир вокруг переставал существовать. Можно было на него кричать и все равно оставаться незамеченным. Однажды от злости я ему пукнул прямо в нос, чтобы вызвать хоть какую-то ответную реакцию, но он даже не пошевелился. Это приводило меня в бешенство. Брат был где-то очень далеко: с корсарами или туарегами.

Мне страшно хотелось его зацепить, вывести из состояния, которое меня раздражало. Вечера, когда родители оставляли нас одних, были похожи между собой как две капли воды. Убедившись, что все в порядке, попрощавшись, повторив, чтобы мы никому не открывали, они чмокали нас и уходили. Мне это очень не нравилось, потому что я уже знал, что сейчас будет.

Брат падал на пол и притворялся мертвым. Я поначалу ухмылялся и говорил: "Ладно тебе, я знаю, что ты придуриваешься!", "Ну и лежи себе, придурок!" и все в таком духе. Однако спустя какое-то время мне становилось неуютно. Наклонившись, я слушал его дыхание, а когда мне казалось, что он уже не реагирует даже на щекотку, я начинал сходить с ума и, рыдая, умолял его очнуться, как это делают истерические особы на похоронах. Сполна насладившись моим страданием, он вставал и шел по своим делам. Я покупался каждый раз.

Так вот, брат, как обычно, лежал на постели, читал и хрумкал яблоком. Плевать он на меня хотел. Что ему был человек, который еще совсем недавно в дневнике, где должна была стоять подпись родителей, писал *мама?*

* * *

Случилось это, когда мой отец вернулся из СССР и всем восторженно твердил, что там никогда не будет голода, потому что в гостинице, где он жил с какими-то солдафонами, хлеб в столовой был бесплатный.

В то время всё делали из пластмассы. Я помню, как отец с удивлением вытянул из горячего кофе пластмассовую ложечку, которая расплавилась и стала похожа на спагетти. Отцу не хватило длины руки вытя-

нуть эту странную штуковину из чашки, поэтому он залез на стул и продолжал тащить ее к самому потолку.

В его глазах застыл немой вопрос: в чем же товарищи из ГДР ошиблись?

— Супер! — прокомментировал брат. — Папа, это просто супер!

Отец безрадостно запустил этой штуковиной в раковину и заглянул нам в глаза.

— Ну естественно, — выдал он через минуту, — что не из США, то нашим господам не нравится! Поставь перед тобой две абсолютно одинаковые коробки, и ты скажешь, что лучше та, которая сделана в Америке! — оскорбленно махнул рукой и ушел в пивную.

— Это что еще за свинство? — позже спросила нас мама, с удивлением разглядывая странный предмет на дне раковины.

— Товарищи из ГДР придумали ложечки для дураков, и наш папа купил парочку, — пояснил брат.

— И что он с ними сделал? — поинтересовалась мама.

— Помешал кофе, — сдал я отца.

Мама изумленно подняла брови:

— Кофе?!

— В ГДР носят синие пионерские галстуки, — блеснул я свежепрочитанной информацией. Брат погладил меня по голове.

Однажды я шел на послеобеденный пионерский сбор. Обычно это было гнусное времяпрепровождение. На улице прекрасная погода, а нас — инертных глупцов — заставляют сидеть в классе и проводят над нами невероятно тупые эксперименты. Любимым делом было нарисовать на доске зайца, а на животе ему пририсовать мишень. Потом завязать нам глаза и раскрутить, а мы должны были подойти к доске и мелком попасть в цель. Можно просто умереть со смеху, играя в это третий год подряд, в то время как на улице отличная погода. Ничего они не понимали.

Единственно, что мне нравилось в пионерии, это наша вожатая. Она мило картавила, и мне казалось, что так говорят французы. Кто-то подарил школе кролика, и мы организовали кружок кролиководства. Кролик жил в ящике на школьном дворе, наша вожатая чесала его за ушами и сюсюкала с ним так, что я ему прямо завидовал.

А что меня действительно интересовало, так это лекции "Рассказы о книжках". Их вел странный тип ростом почти в два метра, чей голос время от времени нервозно взмывал вверх. Он бегал по кафедре и декламировал. Однажды, когда мы ждали у актового зала, я от скуки решил проверить, получится ли у меня кувырок через стойку в раздевалке. Там на полу я его и обнаружил. Тип некоторое время тупо таращился на меня, а потом поманил пальцем. Я залез к нему под стойку и присел рядом.

— Пионер, — прошептал он, — сбегай за четвертушкой рома! Сгоняй в магазин напротив. Ты хороший бегун, я надеюсь?..

Я быстро выбежал и вернулся с бутылкой. Лихорадочно открутив трясущимися руками пробку, он блаженно прикрыл глаза и выпил все одним залпом, как будто это был какой-то вкуснющий лимонад. Допив, он одарил меня признательным взглядом и тремя кронами. Через несколько минут он уже скакал по кафедре.

Именно в то время изобрели и опробовали на нас несколько самых идиотских игр. Некоторые из них я не могу понять до сих пор. Пожа-

луй, самой беспредельной игрой на выживание была электрическая коробка с поучительным названием "Выдержи, пионер!". Картинка на коробке изображала двух молодых людей — один из них шарашил другого током, а второй счастливо улыбался. По инструкции, один просто брал в руки два оголенных провода, а другой увеличивал силу тока. Скрутить могло так, что мало не показалось бы. Бог не даст соврать: некоторым пионерам это клали под елку.

Так вот, пока я выплескивал свою бурную энергию на пионерских собраниях путем попадания в зайца, Андулка, в чьих глазах однажды зажглись огоньки понимания правил игры, продолжала свои шалости. К примеру, в пионерском лагере она привязала на мачту вместо флага свою куртку и до сих пор считает это самым отвязным поступком в жизни.

— Что ты несешь? – сказала А. – С чего ты взял, что это было самым, как ты там пишешь, отвязным поступком в моей жизни?!

– Ты мне сама рассказывала. И потом, я лишь хочу обозначить разницу между мужчинами и женщинами. Это для меня главное. У парней гораздо больше наглости. Не говорю, что это хорошо, но парень привязал бы там трусы или рулон туалетной бумаги, понимаешь?! Парню нужен размах...

Когда груди Андулки сравнялись по размеру с выпученными глазами Гурвинека, она обзавелась верхней частью купальника.

Именно тогда оба пола начинают уверенно удаляться друг от друга. Не у всех девочек это начинается так рано, но так или иначе к началу созревания все подходят с чуть съехавшей крышей. В воде у Андулки верхняя часть купальника, надетая для сокрытия того, что в этом возрасте было даже у некоторых парней, иногда задиралась, а Андулка этого и не замечала. Она выскакивала из воды, фиолетовые губы тряслись, зубы стучали... Она куталась в согретое солнцем покрывало, из которого выглядывала только голова. С интересом рассматривая парней, она раздумывала о том, для чего же они существуют на свете и для чего их можно использовать. Больше всего ей нравились те, что постарше, они бесстрашно плавали под водой, пижонски ныряли рыбкой и топили друг друга. В них ключом била жизненная энергия, это ей импонировало.

Нельзя ли ее куда-нибудь направить? — размышляла она. — Не пропадать же ей зря? Потом прикрывала глаза и мечтала, как ее целует самый лучший из них, как носит ее на руках, как падает перед ней на колени, как дарит подарки и цветы.

* * *

В то же время, но в другом месте в реку вошел и я. Я стоял и рассматривал воду. Она так рябила на полуденном солнце, что слепила мне глаза. Кроме всего прочего, мне было страшно неловко, что я не умею плавать. Все давно должны были раскусить меня. Плавать я не умел, а брать круг было стыдно, поэтому я просто ходил по дну и делал руками пассы, изображая, что плыву брассом. Думаю, нет ничего хуже, чем вот так строить из себя идиота.

Однажды я о чем-то задумался, направляясь в противоположную от берега сторону. Дно быстро уходило из-под ног, а в таких местах, если вы не умеете плавать, невозможно остановиться на скользком иле. Сна-

чала мне это даже понравилось, однако через пару шагов я осознал, что если меня ничто на пути не остановит, то вода навсегда сомкнется над моей удивленной физиономией. Но проблема на самом деле состояла даже не в этом: мне было ужасно стыдно позвать на помощь! И этот стыд пересиливал сознание того, что мне остается жить пару секунд. Дети вокруг меня визжали от восторга, шлепали по воде руками и ногами, делали пирамиды и кувыркались. Все были возбуждены, весело смеялись, и лишь я с ужасом в глазах неуклюже шлепал по пути в мир тишины, смотрел на небо, по которому плыли роскошные облака, и сожалел, что ухожу из жизни как какой-нибудь пароход. Как случилось, что самая главная минута в жизни протекает так странно? Ни громыхания небес, ни рева бури... Как получилось, что я умираю среди безумного веселья загорелых полуголых людей?

Когда вода сравнялась с кадыком, передо мной упал мяч, с которым играли парни постарше.

— Пасуй сюда! — кричали мне одни.

— Не им, а нам кидай! — кричали другие, но я лишь виновато улыбался им всем и, задрав подбородок, погружался дальше.

Дна я касался только самыми кончиками пальцев ног, руки сложил на груди. Вода попала мне в нос и глаза, я в последний раз вздохнул, но просить о помощи и не думал. Я решил, что лучше умереть, чем опозориться. Затем я исчез под водой.

Очнулся я на берегу. Не знаю, сколько времени прошло. Первое, что я сказал, было "спасибо". И потом еще несколько раз "спасибо".

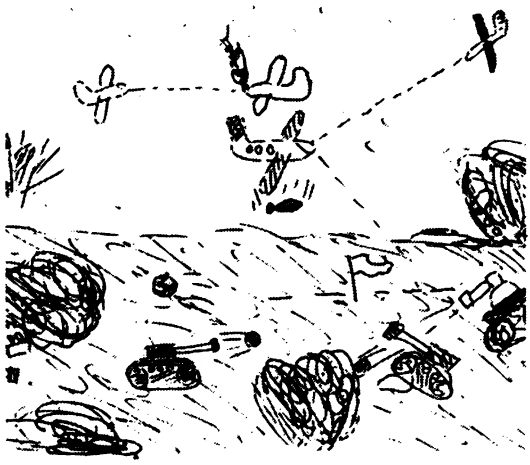
С тех пор так и повелось. Порой мне требуется помощь, иногда не один раз на дню, но что-то удерживает меня попросить о ней.

В школе я все это описал в сочинении *Как замечательно я провел лето.* Хотя уже тогда я понимал, что слово "замечательно" здесь не слишком кстати. Текст я снабдил рисунком. Учительнице это очень не понравилось, она назвала мой рисунок кошмаром. Я просто немного опередил время.

Помню, что девочки всегда рисовали принцесс. Даже не принцесс, а одну и ту же принцессу. Это была какая-то Барби того времени. Меня до сих пор никто не переубедит, что если девяносто девять процентов девочек изо дня в день рисуют миллионы одинаковых принцесс, ничуть не раскрасневшись, без малейшего усилия и без фантазии, то с этими девочками явно не все в порядке. Принцесса выглядела так:

Неужели им это было интересно?

Ребята рисовали ковбоев, машины, но главное — битвы, где все кипело и бурлило, где взрывались самолеты и танки, где из шума и дыма рождалась драма, заштрихованная диагоналями километровых траекторий очередей. Ого! Совсем другое дело. Посудите сами.



Еще мне не нравилось в девочках то, что они не давали списывать. Даже заядлый двоечник, всеми в классе признанный законченным тупицей, охотно делился тем малым, что знал. Девчонки начали давать списывать только где-то классе в шестом-седьмом, будто им вдруг стало ясно, что без парней они как-то пропадут. Поздновато, да?

Их рисунки были образцовыми, но стерильными; холодные, аккуратные, но неприятные. Несмотря на это они получали пятерки. Рисунки мальчишек были полны экспериментов, огня, на них был виден бой за каждую пядь чистого листа, картинки были сдобрены слюной вдохновенья. Ребята не боялись растереть краску пальцем, чтобы достичь необходимого эффекта, использовать неиспробованное, чтобы потом ходить как оплеванный, прочтя: *Оформление – 2*. Потому что в школе были одни учительницы – бывшие производительницы принцесс, бывшие ученицы, у которых всегда все было аккуратно. А каждый пацан просто обязан быть немного свиньей, чтобы его замечали.

Однажды к нам в школу пришли киношники – им были нужны ученики для фильма. Наша учительница тогда чуть не грохнулась в обморок. Причем дважды. Первый раз от радости. Она аж вся расцвела и стала притягивать к себе своих любимчиков – одного зубрилу, который был всегда чистенький и знал, с какими странами мы граничим, и еще девочку, которая была такой изящной, что казалась мне немного прозрачной. Когда она пела, то так старательно открывала рот, что ее мало кто понимал. Второй раз учительница чуть не потеряла сознание от ужаса, когда киношники выбрали самого отпетого хулигана в классе, который больше всех пил ее кровь. Она было начала говорить: "Этого лучше не надо...", но они не обращали на нее никакого внимания. Для нас, мальчишек, это была огромная радость, потому что в то время (а по правде сказать, порой и сейчас) мне казалось, что если бы мозги было видно, то девочки бы и их расчесывали. Наверное, ходили бы в салон красоты, чтобы разгладить ненужные извилины.

Примерно тогда же мне впервые попали в руки порнографические рассказы. Потрепанная тетрадь, отталкивающая уже своим видом. Приятель, давший мне ее на один день, взял клятву, что я ее не испорчу, и шепнул мне с заговорщицкой ухмылкой: "Останешься доволен..." Родители были на работе, так что я без опасений взялся за чтение.

Это был неподражаемый опус, и положительным в нем было то, что мою персону он никоим образом морально не испортил. Прочтя треть, я думал, что речь идет о каких-то ловцах жемчуга, точнее сказать, о двух враждующих группировках: мужчинах и женщинах. А тот улов, который им попался, равнялся как минимум "Звезде юга". К таким выводам меня привели фразы типа: "*Он терял сознание от блаженства, приближа-*

ясь к ее пещерке..." Потом все сменилось детективной историей, потому что там появился парень "*со своим ужасным оружием*", с которым он преследовал женщин. Оружие не было точно описано, так что мне оставалось лишь предполагать, что работало оно по принципу луча смерти.

Я вернул всю эту тарабарщину другу, сказав, что предпочитаю Балдога Драммонда[1], *Полковника, который скучал от покоя*, как было написано в подзаголовке.

Еще в то время мне нравились романы Жюля Верна с оригинальными иллюстрациями, под которыми всегда был короткий текст. И нередко я подолгу рассматривал картинки с такими замечательными подписями: *Пенкроф, – спокойно спросил он, глядя на моряка в упор, – сколько колосьев вырастает из одного хлебного зерна? Вы знаете?*[2]

Алкоголь долгое время приводил меня в ужас, а самым страшным напитком казался мне пунш. Повлияла на это картинка из "Пятнадцатилетнего капитана", где вождь дикарей, увлекавшийся горячительными напитками, "вспыхнул как бочка с керосином", отведав горящего пунша.

Особенно меня шокировала фраза: *Их тела, пропитанные алкоголем, горели светло-голубым пламенем.* Я просто заикал от страха, когда отец както появился с бутылкой прозрачной жидкости и провозгласил: "Столичная! Прямо из Москвы, ребята!" По нему было видно, что он уже принял. Затем он скорчил гримасу и налил себе, не спуская с нас глаз. Потом чиркнул спичкой и поджег "Столичную прямо из Москвы". Мама должна была для пущего эффекта выключить свет. Я с ужасом смотрел на бледное пламя и на отца, который это проглотил. Когда мама включила свет, у отца был очень удивленный вид. Он держался за горло, в глазах застыла боль. В тот день он уже больше не сказал ни слова. Я же очень радовался, что все произошло именно так и что он не сгорел в светло-голубом пламени, как тот дикарский вождь.

* * *

Со временем Андулке надоело играть с дыркой в негритенке – ей нужен был кто-нибудь живой, чтобы на нем испробовать, что в жизни работает, а что нет. Из журнала "Чехословацкий воин" она вырезала фотографию постриженного под ежика хоккеиста, который ей очень нравился, потому что на лице у него был маленький фотогеничный шрам. Кроме того, он очевидно был сильным, а в его глазах читалась мольба о заботе. У Андулки был кошелек с пластиковым окошком для фотки любимого или хотя бы родственника. Андулка решила взять этого *хоккейного мастера* под свою опеку.

Но ее любовь не была абсолютно бескорыстной.

Она нарочно оставляла кошелек на парте, проверяя любопытство своих одноклассниц. Невозможно поверить, как в то время они врали друг дружке. Еще более непонятно, как могли они в пятом классе рассказывать о том, что у них есть парень, который служит в армии.

– А вы уже целовались?

На это девочка загадочно улыбалась и закатывала глаза, как бы говоря тем самым: "само собой". Если бы ее спросили, не зашло ли дальше,

1. Полковник Балдог Драммонд – герой серии приключенческих романов американского писателя первой половины XX века Н. С. Мак-Нейла. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Жюль Верн. Таинственный остров. Перевод Н. И. Немчиновой.

держу пари, что маленькая лгунья улыбнулась бы лукаво и ничего не ответила. Эти феи любви общались только друг с другом. Они с отвращением смотрели на своих одноклассников, которые пытались надеть зубриле на голову мусорное ведро.

Такими они остались и повзрослев — охраняют свое собственное пространство: "Парни, отвалите — это женское дело!" Вот, например, характерная сценка: старая ласковая бабулька выставляет за дверь бледного мужа, чья жена в муках, в поту, нечеловеческим криком встречает новорожденного.

— Извини, что влезаю, – сказала мне А. – Ты когда-нибудь рожал? Она встала и вышла за водой. Затем вернулась и задумчиво на меня посмотрела.

– Представь себе, что у тебя из зада вылезет трехсполовинойкилограммовое дите. Ты что, от этого просто ойкнешь?"

– Я совсем не то имел в виду! – стал я защищаться. – Мне просто кажется, что это похоже на шантаж, будто говорят: "Вот, посмотри, что ты наделал!" Это крик, который означает: "Ну а теперь твоя очередь".

– Продолжай, – попросила меня А.

Андулка писала себе письма.

— Что еще за письма? – спросила А.

– Ну, – сказал я нетерпеливо, – прежде всего, я не утверждаю, что все, что случалось с Андулкой, было с тобой. Я думал, ты это уже поняла. Так делала одна моя одноклассница, но какое это имеет значение? Ты у меня собирательный образ.

– Продолжай.

Андулка писала себе письма — листочки, которые, как и кошелек с фотографией хоккейного мастера, оставляла валяться где только можно. Собственно, это были всего лишь записки.

Завтра на том же месте. Пепик. Или: *Почему ты вчера не пришла? Люблю тебя! Пепик.* А потом тихо ликовала, когда кто-то находил их и зачитывал на весь класс.

— Эй, девчонки! Дуры, отдайте! — Крича, она носилась по всему классу, чтобы отнять свою тайну.

Такова женская природа. В тот момент она действительно верила в то, что напридумала.

Но однажды это действительно случилось — Пепик появился. Наплевать, что имя у него было другое, Андулка была очарована. Лопоухий, передний зуб блестит золотом, ну и еще кое-какие изъяны, которые влюбленный взгляд не замечает. Уши можно пришить или прилепить, утешала себя Андулка. Золото никогда не помешает. А главное — у Пепика было чувство юмора. Он утверждал, что у него есть друг с фамилией Марок.

— Ну и что? — спросила Андулка.

— А то, что зовут его Альбом! — выкрикнул Пепик и зашелся от собственной шутки так, что сполз по стене.

Это Андулке понравилось. С ним хотя бы будет весело.

Прощай, скука!

* * *

Переходный возраст сразил моего брата как удар под дых.

Из него получился чурбан с равнодушным взглядом, который бродил по квартире как существо из далекой неземной цивилизации, как гость с планеты, где рождаются люди с прыщами и надкусанным яблоком в руке, произносящие только одно слово: "Я?"

– Где ты был?

– Я?

– А кого ты здесь еще видишь?! – кричал на него отец со слезами на глазах.

– Я? – отвечал брат, абсолютно не понимая, чего от него хотят.

"Почему он не мог остаться нормальным?" – печально спрашивал я каждое утро небеса.

Брат забил на школу. Он плевал на все. Лежал и смотрел в потолок. Отец стал бояться, что вырастил "лишнего человека", ренегата мысли по шкале мировой науки. Чтобы сохранить в нем хотя бы остатки интеллекта, он купил брату "Повесть о настоящем человеке". Я эту книжку тоже прочел. Мне там понравилось, например, то, как его нашли, а потом какая-то женщина ему сварила суп из своей единственной курицы, хотя сначала не хотела, потому что курицу звали Партизаночка. (Символы в котел нельзя!) Это мне понравилось. Факт.

У мамы было свое мнение о брате. Чтобы тактично дать ему понять, что она в курсе всего, что с ним происходит, она купила для него "Строфы любви" Степана Щипачева, которые, надо признать, не произвели на брата ни малейшего впечатления. Насколько я помню, в то время у него под подушкой валялась книжка с многообещающим названием "Записки венской проститутки" или что-то в этом роде.

В воскресенье отец послал меня за пивом, и какой-то гадский идиот недалеко от нашего дома бросил в меня из окна лампочку. Не сказать, чтобы я от радости описался. Вернувшись домой в слезах, я пожаловался брату. В скором времени мы с ним поехали кататься на велосипедах довольно далеко от нашего квартала и встретили этого лампочного шутника. Брат подскочил к нему и сказал:

– Выбирай: или я надеру тебе жопу, или ты докажешь, что не бздун, и проедешь вон через ту живую изгородь.

Тот, конечно, согласился на второе. Уж лучше поцарапаться о кусты, чем гарантированное членовредительство. Разогнался как черт.

– Ну а теперь смотри, – сказал мне брат, – потому что это никакая не живая изгородь, а стенка, поросшая плющом...

Не успел он договорить, как парень туда въехал.

– Он сам это выбрал, – прокомментировал брат, когда мы влезли на велосипеды.

Чувак валялся на земле и, должно быть, пребывал в глубоком шоке, потому что оглашал окрестности криком: "Насос! Где мой насос?", как будто бы от этого что-нибудь зависело, когда его велосипед представлял собой дивную комбинацию скрученных трубок. Мне это понравилось, хотя я и не был до конца уверен, правильно ли так поступать, потому что в то время находился под губительным влиянием Фолгара[1].

1. Ярослав Фолгар (1907–1999) – чешский детский писатель, один из лидеров чешских скаутов.

С одной стороны, его книжки мне действительно нравились, а потом – не читай я Фолгара, о чем бы я говорил с друзьями? Хотя, честно говоря, некоторые фразы приводили меня в замешательство. Об одном парне я узнал, что у него *красиво вставлены ноги.*

– Куда? – спросил я об этом брата.

Тот пожал плечами:

– Вероятно, в жопу.

* * *

Я очень обрадовался, когда предки сказали, что я поеду в пионерский лагерь. Это должен был быть самый настоящий лагерь, который я знал из книжек и фильмов; лагерь, где танцуют и поют, занимаются спортом и плавают; лагерь, где доброжелательный вожатый учит, как распознавать следы зверей и строить взаправдашний индейский вигвам, разводить огонь в дождь и завязывать несколько видов морских узлов. Никто мне не сказал, что нас три недели будет мучить Александр, женоподобное чудовище с выцветшими бровями и ресницами, человекозверь, который ненавидел детей и изо дня в день напивался ромом до беспамятства.

Так что неудивительно, что мы с Ковбоем решили прибить этого дебила вожатого с пионерским галстуком раньше, чем он прибьет нас.

Ковбоя я знал еще со школы. Он был на мой вкус слишком отвязным, но, с другой стороны, таким хладнокровным и спокойным, как никто из нас. Поэтому его и звали Ковбоем.

Он однажды послал вожатого в жопу. Буквально. Перед всем лагерем, на линейке. Он тогда узнал от одного младшего паренька, что эта тварь Александр (этот децил взял себе русское имя, чтобы улучшить свой кадровый профиль) заставил того ползать голышом по свежескошенному полю.

И когда прозвучало: "К труду и обороне родины будь готов!", а мы все на это: "Всегда готов!", Ковбой ему сказал: "Пошел ты в жопу, дебил!"

При этом он даже не напрягался, потому что стоял прямо перед ним. Такого слова Александр (девочкам постарше он позволял называть себя Сашей), видимо, никогда не слышал. По крайней мере, так оно выглядело, потому что в тот момент он достал загадочный черный блокнот и что-то туда долго записывал, ни на секунду не спуская взгляда с Ковбоевых губ. Затем захлопнул записную книжку с загадочными словами: "Так... Ну, с этим мы разберемся". Однако разбирательство он закончил в ауте, потому что лагерь был для детей элитных офицеров и папа Ковбоя приехал с генералом Свободой, героем Дуклы. Это знали все, кроме вожатого. Так что дебил Александр сделал то единственное, что от людей такого сорта можно ожидать, – стал с тех пор лизать Ковбою задницу. Но было поздно. Если Ковбой вбил себе в голову, что прибьет Александра, то выбить это из его головы уже никто не мог. Александр же был туп и не догадывался, что в жилах Ковбоя течет та же кровь, как и у его отца, который живота своего в боях не жалел.

Я лежал в палатке и читал "Технику молодежи", где нам обещали, что в 1980 году мы все полетим на Луну, а в Праге будут самодвижущиеся тротуары и не помню что еще, как вдруг ко мне вломился Ковбой.

– Просто прибить недостаточно, – стал он размышлять вслух и, покряхтывая, приземлился на соседнюю койку. – Эта сволочь заслуживает медленной смерти.

– Я недавно читал в журнале "Пионер", – сказал я, – как в Индии людей мучили очень интересным способом: сажали бамбук, и к этому бамбуку привязывали человека. Бамбук растет так быстро и с таким напором, что за пару дней прорастает человека насквозь.

– Это не последний пионерский лагерь в моей жизни, – продолжал Ковбой, – но в его – точно последний. Обещаю.

Неожиданно по лагерю прогремела новость: к нам приезжает президент, товарищ Антонин Новотный! И хотя я имел смутное предчувствие, что социализм – это не для детей, все равно пересилило общее возбуждение. Приедет президент! Главный гражданин страны! *Самый обаятельный президент.*

С утра до вечера мы убирались, все ремонтировали и приводили в порядок. Все вожатые (а их тут было чуть больше, чем детей) бегали, суетились и проверяли каждую деталь. Александр предложил Ковбою, чтобы тот называл его Сашей, и Ковбой этим воспользовался незамедлительно, ответив ему: "Kiss my ass, Саша!"[1]

Наконец настал долгожданный день. Приехали "татры-603". Жуткая красота. Вокруг журналисты, телевидение, документалисты. Мы пели и танцевали так, что от нас валил пар. Потом наступила кульминация – перетягивание каната с президентом. На его конец каната поставили бугаев, а нас, подростков, определили с другой стороны. За товарищем президентом в соломенной шляпе, летних брюках, рубашке с открытым воротом и в пионерском галстуке стояло какое-то животное в полном смысле этого слова. У животного на голове тоже была соломенная шляпа, но на несколько размеров больше, поскольку само оно было на несколько размеров больше и толще, чем наш повар.

Все вокруг смеялись и хлопали от радости. Товарищ президент тоже улыбался всем вокруг, особенно журналистам и киношникам.

Понятное дело, что нас перетянули. А потом нас утешали словами "молодцы" и "с такой молодежью нам нечего бояться".

Затем следовала вечерняя беседа у костра с одним товарищем, который вспоми́нал памятные бои. Из левого рукава его формы высовывалась застывшая рука в блестящей перчатке. Товарищ ходил около костра и всем показывал этот деревянный протез. Глаза у него были остекленевшие, а голос очень тихий. Потом товарищ президент спрашивал некоторых из нас, кем мы хотим стать, и качал головой, удивляясь познаниям некоторых пионеров (понятно, что ответы были заранее выучены), смеялся и повторял: "Молодцы!" А потом его взгляд остановился на дерзком лице Ковбоя.

– Едой доволен, богатырь? – спросил его президент.

Ковбой боязливо сгорбился. Кто-то стал нашептывать товарищу президенту что-то на ухо, но тот лишь довольно покачал головой.

– Ну, что же ты? – поторопил Ковбоя Александр с улыбкой. – Давай, отвечай!

Ковбой посмотрел на него с ужасом:

– Вы же мне сами запретили об этом говорить...

Куранты в голове Александра стали отбивать двенадцать. Теперь они оба смотрели друг на друга с ужасом.

1. Поцелуй меня в задницу... (*англ.*).

— Ведь вы сами нам сказали: не ждите бифштексов, как в Америке!

Товарищ президент посмотрел на Александра с некоторым интересом. Александр ослабил узел своего красного галстука и звучно сглотнул. Одна из вожатых безуспешно попробовала затянуть песню с пионерами. Прошло какое-то время, пока из сотен детских ртов действительно полилась задорная пионерская песня. Громче всех пел Александр, отчетливо понимающий, что это его последнее выступление перед здешней общественностью. На следующий день, не дожидаясь распоряжения, он собрал манатки и исчез. С тех пор я ничего о нем не слышал.

Не то что о Ковбое.

* * *

В пору нашего полового созревания нам было отказано в созерцании любых обнаженных тел, кроме нескольких непривлекательных кадров в фильмах вроде "Наш ребенок". Даже маэстро Буриан, известный своими картинами неандертальцев, устраивал их так шикарно, что в тех местах, где у них должен был находиться первичный половой признак, чудесным образом оказывалась какая-нибудь ветка, или ребенок (этому уж было позволено быть нагим), или еще что-нибудь, лишь бы не вызвать возмущения. Поэтому нечего удивляться, что Андулка в своем нежном возрасте имела неверные анатомические представления. Чего можно было ждать от девочки, которая с подружками пела:

За партой в нашем пятом "бэ"
Сидит Эвичка,
По кличке Лойзичка.
Рядом — председатель
по прозвищу Эвачек.
Лучше их на свете
Нету парочки, —

хотя она была в том возрасте, когда ребенку уже пора что-то рассказать. И дома ее для начала информировали об опасностях, которые приготовила ей жизнь вместе с армией всевозможных извращенцев. Мама попробовала ей рассказать об этом как можно более тактично, чтобы не перепугать Андулку, но тут вступил немногословный отец: "Если что — со всей силы бей между ног! Нечего жалеть этих выродков!"

В конце концов, это правильно, кроме одной детали — Андулке еще добавили: "Если к тебе кто-нибудь будет приставать".

Пенсионер Барта был последним из последних, кто хотел бы к кому-нибудь пристать. Этот человек был некогда весьма уважаемой фигурой в научных кругах, потом его безвинно осудили за подготовку покушения на Клемента Готвальда, а еще позже реабилитировали. Так что ему оставили мизерную пенсию и полуподвальную берлогу. Свое существование он поддерживал сбором чего попало.

Еще одна закавыка заключалась в том, что родители сказали Андулке буквально так: "Когда к тебе будет приставать какой-нибудь тип..." Как могла Андулка знать, что за этими грязными тряпками скрывается необычайно чувствительный и интеллигентный человек.

Когда как-то вечером около мусорных баков перед подъездом к ней протянулась грязная рука и раскрылся беззубый рот, Андулка вспомни-

ла предупреждения родителей и в одну секунду точным ударом врезала Барте лакированной туфлей прямо между ног. Почитатель Фомы Аквинского, в чьей памяти воскресли допросы, тут же упал на землю и, свернувшись калачиком, остался лежать.

Андулка, задыхаясь, взлетела по лестнице и закрылась на два оборота. Потом залезла под одеяло и накрылась подушкой. Сердце ее бешено стучало. Однако любопытство пересилило, поэтому вскоре она осторожно выглянула в окно.

Старик лежал не двигаясь, в той же позе.

Андулка опешила. "Неужели я убила его?" – пронеслось у нее в голове. Через полчаса она решилась: потихоньку сползла по ступенькам и неслышно открыла дверь подъезда. Старик не шевелился и выглядел спящим. Или уже мертвым. Андулка пересилила страх и подошла поближе.

– Дедушка! Что с вами? – Она попробовала посадить Барту на землю. Старик, бормоча что-то, с трудом поднялся на трясущиеся ноги. В себя он еще не пришел и ничего вокруг не понимал.

"Что здесь делает эта милая девочка?" – подумал он.

– Все в порядке, – сказал он вслух и слабо улыбнулся. – Теперь уже все в порядке...

– Чем я могу вам помочь? – спросила Андулка.

– Где это я? – не понимал Барта. Андулка попыталась ему объяснить. – Ага, – промолвил дед с благодарностью, – к счастью, мой дом совсем близко, – и на негнущихся ногах, как на маленьких ходулях, направился в сторону перекрестка.

– Подождите, дедушка, – поддержала его Андулка, – я вас провожу.

Так они и пошли по тускло освещенной улице.

– Ты очень добрая девочка, – сказал Барта.

Андулка не нашла что ответить. Не могла же она просто сказать: "Это я, я вас чуть не убила", поэтому сказала то, чему ее годами учили в школе:

– Я – пионерка!

Старика передернуло от отвращения. Однако человек он был образованный и умный, поэтому просто погладил Андулку грязной, но изящной рукой по голове и прошептал:

– Это ничего. Это очень хорошо...

У дома, где он жил в полуподвальной квартире, они тихо и быстро распрощались.

Андулка радостно поскакала домой, напевая:

> В нашем классе пятом "бэ"
> есть компания...

Она была рада, что дед жив.

Я влюбился. Я горел как в аду. Я думал о ней каждый день. Ни есть, ни спать я не мог. Где бы она ни появлялась, позади всегда была моя тень. Полубезумный от любви, на грани сумасшествия, с губами, распухшими от поцелуев с подушкой, которой я две недели шептал сладкие глупости, я остановил ее и спросил:

– Ты хочешь со мной встречаться?

– Не-а, – ответила она.

* * *

Однажды мой отец вернулся домой с таинственным видом. Брата он одарил торжествующей улыбкой, и стало ясно, что он хочет окончательно повернуть в свою пользу их давний идеологический спор.

– Шутки в сторону, парни! – он продемонстрировал загадочный пакет, который держал в правой руке. Мы стояли в прихожей. Мама, брат и я. – Ну-ка, посмотри, насмешник, – он пальцем ткнул брата в грудь, – надеюсь, теперь-то ты признаешь мою правоту.

Брат молча смотрел на отца уничижающим взглядом.

– Я – стирать, – исчезла мама.

Отец повернулся ко мне:

– Пионер, что будет со стаканом, если его бросить на пол?

– Ну, не знаю, – ответил я, – наверное, разобьется.

– Разобьется? – комично поднял брови отец. – Разобьется, говоришь?

Он счастливо рассмеялся, а потом неожиданно посерьезнел:

– Да. Раньше оно так и было. Не лыбься! – это уже брату. – Однако... – тут он выдержал серьезную паузу, – как-то собрались вместе умные головы и сказали: хватит! И не случайно, – повернулся он опять к брату, четко артикулируя каждое слово, – эти умные головы собрались в Польской Народной Республике! В социалистической Польше! – Отец покивал головой и провозгласил: – Небьющийся стакан!

– Как небьющийся? – ошеломленно прошептал я. На меня отец всегда мог положиться. В нашей семье я, наверное, был единственным, кто верил, что через пару лет мы будем вместе смотреть на Марс из ракеты с красной звездой.

– Мне это подарил сегодня мой начальник, – объяснил отец. Затем раскрыл пакет, скрывавший от нас сокровище. – Прекрати гримасничать! – опять наехал он на брата. – Сейчас тебе расхочется смеяться.

Затем он любезно показал каждому удивительный стакан, как фокусник дает зрителям проверить, острый ли меч. Это был самый обыкновенный стакан.

– Можно попробовать? – задумчиво спросил брат, крутя стакан в руках.

Отец покачал головой. Потом что-то взвесил в уме, а в тот момент, когда его взгляд остановился на моем пионерском галстуке, решение было принято.

– Давай! – сказал он мне.

Я взял стакан в руку и остался стоять в неуверенности.

– С какой силой?

– Со всей силы, парень! – раззадоривал отец.

– Аккуратнее с плиткой, – поддержала его мама.

Я поднял руку со стаканом над головой. Отец мне улыбнулся.

Я просто отпустил стакан. Тот упал на пол, несколько раз подскочил и остался лежать на боку. Отец выдохнул.

– Отлично, – оценила мама, закатила глаза и ушла.

– Понимаете, парни, что это значит?! Мы опять на шаг впереди них! – радостно продолжал отец, указывая рукой на юг. – Что ты сказал? – повернулся он к брату.

– Да ничего, – пожал тот плечами.

– Что "ничего", я прекрасно тебя слышал! – настаивал отец.

– То, что слабо кинул, вот и все, – защищался брат.

— Ну давай! — истерически крикнул отец и передал ему чудесный стакан.

И брат, как он всегда и во всем поступал, не раздумывая и не оставляя времени на дебаты, швырнул стакан о плитку. Тот разлетелся на тысячу странных кристаллов, рассыпавшихся по всей прихожей.

Отец стоял бледный, с трясущимися губами. Он был похож на колдуна из сказки, чье стеклянное сердце разбил о скалу отважный принц, и мне было его в каком-то смысле жалко. Отец смотрел на брата, и в его глазах читались немые вопросы: "Что ты со мной делаешь? Что ты хочешь этим сказать? На чьей ты стороне?"

Брат пошел за яблоками. Для него случившееся уже было делом прошлым.

Отец аккуратно все смел веником на совок.

* * *

Наша учительница однажды привела в класс настоящего контрразведчика, обещавшего рассказать о своем опыте борьбы с врагами социалистического строя.

Это было во времена, когда на улицах уже встречались группки трампов[1], возвращавшихся с Сазавы или еще откуда. Мне они очень нравились, хотя, с другой стороны, я их очень боялся. Они были какие-то диковатые и почти всегда пьяные и орали, что хотят "английскую субботу" и "плевать нам на работу!", что мне было весьма по душе.

Контрразведчик пришел в форме, правда без пистолета, что сильно понизило его рейтинг в наших глазах. Начал издалека: рассказал, что враг коварен и хитер и как с ним тяжело сражаться. Училка уговорила его рассказать какую-нибудь занимательную историю из жизни. Тот немного покочевряжился, объясняя, что это рутина и так далее, но потом не выдержал. Уселся поудобнее на первую парту и начал:

— Однажды я принимал участие в операции.

— Против кого? — не выдержала напряжения учительница.

— Проти́в шпионов, — глухо ответил тот.

— Им все неймется! — прошипела учительница.

Контрразведчик снял пояс, положил его рядом с собой на парту и продолжал:

— Ну, тут особо не о чем рассказывать. Мы получили простой приказ: ликвидировать диверсанта на мотоцикле. С кожаной сумой за плечами.

Учительница не шевелилась.

— Ну, заняли мы позицию у поворота, спрятались там за упавшее дерево. Потом проверили оружие...

— Сколько вас там было? — перебила его с ужасом учительница.

— Специалист и я, — продолжал контрразведчик. — Около полтретьего послышался рев мотоцикла. Показался мужчина с кожаной сумой.

— И что вы? — выдохнула учительница.

— Выполнили приказ, — ответил контрразведчик и выпрямился.

Учительница не хотела верить:

— Вы его...?

1. Нечто среднее между КСП, туристами и скаутами.

— Двумя очередями, — кивнул контрразведчик.

Учительница посмотрела на нас и поспешила объяснить: "Так с ними и надо. Они хуже, чем раковая опухоль. Если с ними не воевать, то они налетят на нашу Родину как саранча!", но было видно, что сама она эту информацию еще не переварила. Мне же это показалось довольно скучной историей. Контрразведчик, однако, еще не закончил.

— Стоило отзвучать нашим выстрелам, — продолжал он, — на дороге появился еще один мотоцикл.

Учительница икнула.

— А на нем мужчина с кожаной сумой. Что делать? Приказ звучал четко: он не должен проехать чего бы это ни стоило. Времени на раздумья, кто есть кто, не оставалось.

— Вы хотите сказать... — прошептала учительница.

— Две очереди, — подтвердил ее опасения контрразведчик и затянул пояс.

Учительница смотрела на нас невидящим взором. Контрразведчик быстро попрощался и ушел.

— С ними так и надо... — продолжала шептать оторопевшая учительница.

— Ни хрена себе! Вот это клево, — нарушил тишину Ковбой.

А. пошла к холодильнику за сыром и другими вкусностями. Положила все на доску и присела на кровать рядом со мной, пристроив подушку поудобнее под спину. Отщипывая сыр, она с полуприкрытыми глазами спросила:

– Ковбой. Почему ты называешь его Ковбой? У него не было имени?

– Было, – ответил я, – но это абсолютно не важно.

– Ну не знаю, – продолжала А., – у меня такое ощущение, что вам, мужчинам, абсолютно все равно, как кто зовется.

— Потому что это не важно, вот мне и все равно. И я не хочу придумывать какое-то конкретное имя.

– Половину своих друзей, – продолжала жена, – ты знаешь лишь по прозвищам. И при этом утверждаешь, что они твои лучшие друзья! Я не могу себе даже представить, что, например, о своей подруге, которую вижу два раза в неделю на протяжении двадцати лет, я знаю лишь то, что ее зовут Козявка. Ведь это, в конце концов, безответственно – избегать информации друг о друге.

— Информации? – поразился я. – Это звучит смешно.

– Когда ты представлял их мне, я узнала, что одного зовут Будда, другого Гриб, а третьего Лопух. Ему что, все равно, что его называют Лопухом?

— Это все в шутку, – возразил я, – на самом деле он хороший и умный парень. Он не обижается.

— И на том спасибо! – фыркнула А. – Ковбой... Ну, читай дальше.

Отец как-то собрался отметить свой день рождения на работе. Маме пришлось еще с утра наварить ведро чая, и теперь она аккуратно разливала его через воронку в бутылки из-под рома.

— Это еще что? — спросил ее брат.

— Папа сегодня отмечает день рождения, — ответила мама, — столько людей придет его поздравить! И с каждым надо выпить.

— Можете себе представить, парни, что со мной будет к вечеру? — отозвался отец из ванной, где он брился, и, сам себе представив такую картину, радостно рассмеялся.

Его бритье мне страшно не нравилось по двум причинам. Во-первых, мне не нравилось его гримасничанье перед зеркалом. Жуткое белое лицо, а на нем алая полоска губ и засохшие остатки пены за ушами... Во-вторых, я не переносил его эмалированную черную кружку, где он мыл щетку. Я всегда с тошнотой вспоминал ее, склонившись над укропным супом.

Поздним вечером за дверью раздался глухой удар. Мать с опаской открыла дверь. На полу перед ней лежал отец, а в паре метров дальше валялась его фуражка. Ни одна бутылка с чаем не была почата.

* * *

Я впервые повстречал А. при странных обстоятельствах — на церемонии лишения пионерского галстука. Один из главных хулиганов нашей школы звался Осень. Такое милое, поэтическое прозвище. Будь он еще большей сволочью, звался бы, наверное, Любовь. Несмотря на это, Осень, как и все остальные, был пионером. Его лишали пионерского галстука в заполненном актовом зале, под барабанную дробь. Отлучение, при котором с амвона бросают камень и тушат свечи, ничего общего с этим обрядом не имело. Однако Осень, показательно лишаемый галстука, завязал на нем такое количество узлов, что их не смог развязать даже вожатый. Короче, этот преступник сделал из торжественного акта клоунаду. Его кривляние, однако, никого не тронуло, потому что это был самый ненавистный идиот и грубиян в школе, в отличие от благородного бандита Арсена Люпена, который мне очень нравился. Осень с удивлением смотрел на нас, не понимая, почему мы не смеемся, но ничего смешного в том, что он отдубасил ученика из младших классов и отнял у него деньги на обед, мы не находили. В конце концов он перестал храбриться и расплакался.

Я чувствовал себя неловко и поэтому глазел по сторонам, пока не наткнулся на огромные карие глаза, изучавшие меня долго и серьезно. Подобных глаз я до тех пор не встречал. Отец всегда смотрел на меня строго, мама — с любовью, брат — с насмешкой, друзья — приятельски, но в этом взгляде я увидел что-то абсолютно новое — этот взгляд меня оценивал. От него у меня подкосились ноги. Я оперся о стену и сделал вид, что ничего не замечаю, но, по правде говоря, испытывал необычайно волнующее и удивительное чувство. Надо же, кто-то смотрел на меня с интересом! Этот взгляд говорил: может быть, если бы...

Когда Осень закончил хныкать и нам разрешили разойтись, я попробовал поближе подобраться к этим девичьим глазам. Казалось, они меня ждали. Одно "но": я оказался посреди потока, меня будто относило течение бурной реки. Я попытался немного повернуться и улыбнуться, но на мою улыбку она не обратила никакого внимания, продолжая серьезно разглядывать меня. Толпа несла все дальше, и я второй раз в жизни почувствовал, что тону.

Я даже не догадывался, что снова встретиться с этим взглядом мне доведется лишь много лет спустя.

* * *

Я стал меняться — открыл для себя дорогу в ванную комнату, а в ней — предметы, без которых прекрасно обходился долгие годы: мыло, зубную щетку, полотенце. Не знаю, как девушки, но клянусь, что все юно-

ши питают отвращение к воде и готовы спать под одеялом в ботинках. А если и принимают ванну, то повод должен быть нешуточным.

Вот и я стал тщательно следить за чистотой. Мылся я так часто, что даже оказался объектом насмешек.

– Вылезай, блин, а то растворишься! – кричал мне брат.

– У тебя все в порядке? – спрашивала мама и внимательно прислушивалась за дверью, жив ли я.

К счастью, надолго это не затянулось. Вскоре я снова стал нормальным. Глаза, которые обворожили меня в актовом зале, сосредоточились, видимо, на ком-то другом. За любовную глупость я расплатился частым мытьем и одним коротким стихотворением. Это было во времена, когда девушки записывали в свои альбомы разные глупости, полные нравоучений и сенсационных открытий. Юноши всегда смотрели на мир трезво. "Женщины – змеиное племя. Кто их гладит, того кусают", – говаривали мы. Иногда нам удавалось пощупать какую-нибудь девчонку, на этом все и заканчивалось. Я помню, как после каникул между шестым и седьмым классом у нас состоялся разговор с одноклассником:

– Здоро́во! Чем занимался на каникулах?

– Трахался. А ты?

– И я трахался.

Главное – мы делали вид, что верим друг другу. Можете представить, чтобы девочки говорили так же? Надо признать, некоторые из них все же иногда произносили разумные вещи.

Все вокруг вдруг круто изменилось. Похоже, что мое пионерское прошлое пошло псу под хвост. Я уже знал, кто такие Beatles. Я понимал, что встреча Пола Маккартни с Джоном Ленноном значит больше, чем странная дружба Маркса с Энгельсом. Я стал тайком отращивать волосы. Впервые мне довелось услышать слова одобрения и поддержки от брата. Он признал меня своим и нагрузил музыкой и литературой. Попытка отца воспитать из детей "настоящих граждан своей любимой родины", как говорилось в пионерской присяге, окончилась крахом. Сначала он пугал меня парикмахерской и люто ненавидел. Затем пошел на уступки: "Ладно. Америка так Америка... Что же ты, если так ее любишь, не подстрижешься как американские космонавты?", на что я выпячивал губу и отвечал, как и мой брат пару лет назад: "Я?"

Мама вообще ничего не понимала. Она показывала отцу альбом с семейными фотографиями и говорила: "Посмотри, здесь ему три года. Волосы у него вьются до самых плеч!" И этим его добивала, потому что он знал, более того, был на сто процентов уверен, что теперь и дальше мы будем кричать друг другу с разных и очень далеких берегов. Отец сдался, но напоследок сказал, чтобы меня добить, что я похож на голубого, и это действительно меня сильно задело.

* * *

Брат же мой практически не менялся. Разве что яблоки сменил на пиво. С мамой он общался посредством записок. Каждый день она оставляла на кухне такую записку: "Разогрей ужин. Напиши, когда тебя разбудить. Мама". На что он регулярно отвечал: "Никогда".

У него были серьезные отношения с одной девушкой с миндалевидными глазами. Однажды они страшно поругались, и брат от отчаяния попытался покончить с собой. Он притащил к плите табуретку, свалил-

ся на нее (дело было под утро, когда он вернулся откуда-то в стельку пьяный), открыл все конфорки на максимум и заснул. Все бы было как надо, если бы не одна маленькая деталь — плита у нас электрическая. (Держу пари, что он об этом даже не догадывался, потому что на кухне почти не появлялся, а в тот единственный раз, когда он решил разогреть себе кнедлики, он просто высыпал их на противень в духовке.) Спасла его мать. Брата уже можно было подавать к столу, когда его вытащили с кухни. Мы потом сидели около него с отцом до самого обеда и серьезно спорили, а брат с недожаренной головой стонал и громко требовал пива. На следующий день, понятное дело, он ничего не помнил. Я ему потом все рассказал, а он удивлялся: "Что, бля, правда, что ли?!"

У всех — за малым исключением — девушек в нашем классе наконец появилась грудь. Я приставал к ним всем, но мне фатально не везло. Одна мне отвечала: "Скажи задом наперед ОЛПЕРТ!", другая выламывала мне пальцы, когда я до нее дотрагивался, третья повторяла: "Ну я не знаю". Это не смешно! Особенно когда сам ничего не знаешь.

Я пережил короткий роман с девушкой из тира. Эта романтика мне очень нравилась — я представлял себе, как мы путешествуем по раскаленным на солнце асфальтам дорог всего мира, она готовит еду, а я на ступенях вагончика отбиваю дробь. Еще мне нравились простые отношения в ее семье. Кроме того, она разрешала себя трогать, правда только выше пояса. К тому же она научила меня целоваться, а это всегда пригодится.

Я завидовал "носильщикам" — парням, которые носили девушкам портфели. А однажды я даже встретил фраера с двумя девушками и двумя портфелями, что мне испортило настроение почти на два дня.

Вскоре мне довелось впервые встретиться с голубым. Мы таких называли "сортирных дел мастера". Он сидел на лавочке перед кино в вонючем длинном плаще.

— Можно мне около тебя чуть-чуть погреть яйца? — спросил меня этот шестидесятилетний красавчик.

Так что мне́ ничего не оставалось, как ждать, когда же появится моя половинка. Я все ждал тех глаз из актового зала. И все время повторял: "Блин, да что такое? У девушек что, глаз нету?"

* * *

Каждая вторая девчонка говорит, что мечтала быть парнем. Вспоминает, как лазила с мальчишками на дерево, стреляла из рогатки и все такое. Короче, они были суперпарнями, из которых потом неожиданно проклюнулись потрясающие киски.

Как бы не так! Клянусь, что не помню ни одной девчонки, которая бы с нами в детстве лазила на деревья. Разве что слабоумную Божену, но та была так тупа, что влезла бы на дерево, даже если б никого рядом не было. Всем этим девушкам я так и говорю: "Не трогайте наше мужское дерево!"

* * *

Андулка к тому времени тоже отказалась от тех вещей, благодаря которым ее комната называлась "детской". Оставила лишь плюшевого медведя на счастье. Переставила мебель, на стену повесила фотографии актеров — в общем, обустроила все так, что все немедленно должны были

почувствовать: она — взрослая. Альбом сменила на дневник, которому доверяла свои интимные переживания. Это был ее единственный настоящий друг.

Девушки обычно влюбляются в парня постарше или взрослого мужчину. В пятнадцать-шестнадцать лет они мечтают об отношениях на равных с каким-нибудь золотым юношей, а на парней своего возраста, благодаря присущему им биологическому зову, смотрят с презрением, как на дефективных. Их доводят подростковые ужимки одноклассников, которые постоянно пытаются залезть им под юбку. Они серьезны и томны, а с одноклассниками ведут себя как с младшими братьями.

А. влюбилась в двадцатилетнего дворника с их улицы. Она выбрала его с поразительной решимостью и сделала предметом своего обожания, причем бедняга об этом даже не догадывался. Писала о нем стихи и каждый день записывала в дневник, где и когда с ним встретилась. Ей нравилось, что он был мужественный, курил, а из кармана рабочей формы у него торчала газета. Звали его Тоша.

* * *

Впервые на танцы Андулка пошла в сопровождении своей чуть тронутой кузины. Случилось это в маленьком городке, запруженном пьяными, наводящими страх солдатами и девушками с белыми сумками. Играл оркестр, приехавший из районного центра. Пока играла будоражащая летний вечер музыка, Андулка с интересом и легким испугом смотрела вокруг. В тот момент она поняла одну важную деталь: право выбора не принадлежит ей одной!

Тупая двоюродная сестра счастливо порхала по паркету. Вскоре Андулка стала ее уговаривать: "Пойдем домой!", но та с перекошенным лицом, потная, что-то шептала влажным ртом солдату, танцевавшему с ней.

Андулка решила выйти на улицу и понаблюдать оттуда, скрывшись за фонтаном на площади. Вокруг, создавая кутерьму, носились парни на мотоциклах. Они рычали моторами и били пустые бутылки из-под вина о ближайшую стену. Двое из них перешли от громкого спора к драке. На кино это было совсем не похоже. Удары кулаков были совсем не изящны, скорее похожи на шлепок мяса, упавшего на ковер. Растрепанные, они страшно сопели. Уже измазанные с ног до головы кровью, они все нападали друг на друга как помешанные. Естественно, что драка произошла из-за девушки. Эта крашеная блондинка хоть и кричала все время: "Прекратите немедленно, ради бога", но было видно, что она страшно горда таким поворотом событий. Обычная деревенская Маня вся тряслась от возбуждения, как и стайка наблюдавших за этим действием пьяных подростков.

В конце концов один из драчунов остался лежать на земле. Он попытался было подняться на трясущихся ногах, но снова упал, держа при этом обе руки у паха.

Победитель же слабо переваливался с ноги на ногу и тупо спрашивал: "Какого хрена? Что все это значит? Почему над этим лишенцем склонилась моя девушка и вытирает ему платком кровь?" Все вокруг его поздравляли, а он стоял и смотрел на девушку, которая помогла встать побежденному и оттащила его к фонтану. Даже позволила тому обнять себя за плечи, внимательно рассматривая его разбитую морду!

— А как же я?! — не понимал победитель, в то время как приятели подталкивали его в сторону пивной — ведь такую победу надо было отметить. — Блин! Что я сделал не так? — спросил он у приятеля, влив в себя ром через саднящие губы. А Маня у фонтана целовалась с другим.

Андулка вернулась в зал.

Сестра объявилась не скоро. Солдат, бывший все время с ней, небрежно попрощавшись, скрылся в безымянной зелени своих товарищей. Сестрица поправляла платье, чувствуя себя виноватой. Всю дорогу домой они молчали.

Вернувшись домой в Прагу, Андулка сразу попала под машину. Бог знает, чем была занята ее голова. Водитель объяснил, что ничего уже не смог сделать, свидетели это подтвердили. Андулка пролетела по воздуху, как тряпичная кукла, без крика, свернувшись в комочек, и в абсолютной тишине потеряла сознание. Когда же она открыла глаза и увидела перед собой лица зевак, то прошептала: "Передайте привет Тоше..." К счастью, никто не понял, о ком идет речь.

* * *

Отец смирился и только нервно наблюдал за нами. Иногда он пытался напомнить о себе, о том, что с ним тоже надо считаться, но это было не просто. Тогда он взял себе небольшой участок земли и занялся разведением овощей. Наверное, потому, что среди овощей трудно встретить хамский сельдерей или пьяную картошку с суицидальными наклонностями.

Полное поражение он потерпел однажды вечером, когда мы смотрели хоккей по телевизору. Отец вдруг со значением поднял брови.

— Говорят, — начал он, — это будет последний чемпионат для Голечека.

Минуту было тихо. Затем брат что-то пробубнил.

— Я все слышал! — взревел отец и выскочил из комнаты. Добежав до кухни, он схватил мать: — Ты слышала этого мерзавца?!

А она лишь удивленно пыталась понять, в чем дело. Отец что-то ей возбужденно несколько раз повторил, на что мама ему ответила "Тебе, наверное, послышалось...", что завело его еще сильнее.

— Я отлично все слышал! До чего я дожил?! Один оброс, как Эзоп (вряд ли отец четко представлял себе, о ком идет речь), а другой вообще меня в гробу видел!

Затем снова подлетел к телевизору, вскинул на брата палец и зашипел:

— Ты сказал ДЛЯ ТЕБЯ ТОЖЕ! Ты сказал ДЛЯ ТЕБЯ ТОЖЕ! Не отопрешься!

Брат спокойно, хладнокровно, невозмутимо смотрел на него. В разговор, вытирая руки о фартук, вступила мама:

— Можешь повторить, что ты сказал папе? — спросила она беззлобно, доброжелательно.

— Я сказал, что служебная собака Цыган сломала обе руки. Еще сказал, что капитан Бартошевич разбился на скользком камне, — ответил брат, вальяжно наливая себе пиво.

— Вот видишь! — повернулась мать к отцу и проследовала на кухню.

Ужас застыл в глазах отца. Неожиданно он понял, что битва окончена. Он проиграл. Окончательно и бесповоротно. Мир его небьющихся

стаканов, его наставлений ("В жизни, парни, для всего необходима бумажка!"), мир его отцовского авторитета, его волшебная империя, которую он выстраивал, – все сгинуло, он их просрал навсегда.

А чтобы заверить отца, что он все понял правильно, брат встал, положил руку ему на плечо и успокаивающим голосом сказал:

– Туристы в Брдских горах, не стоит расстраиваться. Снежный человек не опасен. Он просто суров...

Отец хлопнул дверью.

– Куда он пошел? – спросила мама из кухни.

– На дачу! – ответил брат.

* * *

С длинными волосами я выглядел довольно дико. "Волосатым не наливаем" – так называлось то время моей жизни. Я шатался по пивным, и это было здорово. В школе тоже напирали. Всюду одно и то же: волосы, волосы...

Приближались выпускные экзамены, а это было совсем не здорово.

У меня в то время была сначала одна девушка, потом другая, потом еще и третья, но все было не то. Все они обладали дурацким "интеллектом". Мне это не нравилось. Мне было нужно их тело.

– Как ты думаешь, – спросила меня одна из них, – Грабал – дутая фигура и вскоре лопнет?

– Откуда, блин, я знаю? – ответил я, продолжая свое дело.

Меня одолевали сомнения, не извращенец ли я, но мне нравились воспитанные девушки и чистюли, в то время как липли ко мне сплошные псевдоинтеллектуалки с длинными волосами, глотающие горстями феназепам, курящие и потребляющие неимоверное количество кофе. Девушки, готовые в любой момент покончить с собой. Ну их на хрен!

Брат устроился на работу. Поступить в институт у него не вышло. Да и плевал он на это. Почти год, пока его не уволили, он работал "ликвидатором счетов". Однажды к нему зашел шеф посмотреть кое-какие счета и не́ смог их найти. Брат ему помогал тем, что грыз яблоко и рассматривал стену.

– Парень, а что ты сделал со счетами? – спросил его перепуганный шеф, глядя на пустые ячейки. Брат вытер рот и ответил:

– Ликвидировал, понятное дело.

– Как ликвидировал?! – спросил шеф, почуяв недоброе.

Брат мотнул головой в угол комнаты:

– Вон в том ящике я их и ликвидировал.

Шеф принюхался к обгорелому железному коробу и пулей вылетел из комнаты. Через полчаса оттуда вылетел и брат.

Ковбой пришел в школу в настоящих ковбойских сапогах ручной работы. Он отказался сдать их в гардероб, аргументируя это их астрономической ценой. К удивлению, даже учителя согласились, чтобы он держал их в классе на видном месте, потому что не хотели брать на себя ответственность за их сохранность. Они стояли у его стула, а когда он после уроков кряхтя натянул их и встал, то оказался на десять сантиметров выше, чем обычно. Походка его неузнаваемо изменилась. Эти ботинки сами собой являли уверенность. Я ему завидовал черной завистью, несмотря на то что сам старался выглядеть скорее как битник и даже зимой ходил в белых теннисках.

Вскоре начались выпускные экзамены. Для начала — письменные русский и чешский. На русском запороли лишь одну работу на тему "Путешествуем по Советскому Союзу". Парень списал все из какого-то путеводителя и очень радовался.

— У меня все готово! — ликовал он, пока не выяснил, что его работа написана без единой ошибки, но на безупречном болгарском языке.

На чешском не прошло две работы. С первой вышло так: одноклассник, сидевший прямо за мной, был достоверно информирован, что одной из тем будет "Магистр Ян Гус". Всю ночь вместе с семьей он писал шпоры, и к утру для него не осталось белых пятен в биографии Гуса. Однако такой темы на экзамене не оказалось, и он сделал невероятную попытку протащить магистра в спасительном вопросе "Мой любимый писатель", но тщетно. Ему не поверила даже добрая учительница чешского. Ей пришлось выдержать нелегкий бой с собственной совестью, но мысль, что этот мальчишка, которого кроме футбола интересует разве что хоккей, ходит в школу, раздумывая и негодуя по поводу Константинопольского собора, казалась ей все же невероятной.

Вторую двоечную работу написал Ковбой. Этот повел себя стильно. Он не стал дергаться, как все остальные. Просто остался Ковбоем.

Тему он себе выбрал "Илья Эренбург". Первые несколько минут он смотрел на заголовок и грыз ручку, вскоре у него заблестели глаза, и он приступил. Это сочинение оказалось круче всех остальных.

Свою судьбу он решил уже первой фразой: "Илья Эренбург (далее просто Илья)..."

В сентябре ему все же удалось получить аттестат.

* * *

Андулка уже была женщиной по всем статьям, но за одним маленьким исключением — не было парня, с кем бы она могла гулять, не было парня, с которым могла целоваться, и тем более не было парня для тех вещей, о которых она даже не смела думать.

В ее взгляде была серьезность, она не умела просто флиртовать, а мечтала о долгих и высоких отношениях до самого гроба.

Поняв это, каждый стремился улизнуть. Конечно, парни звали ее на свидания, но никто не заинтересовал ее настолько, чтобы она доверила ему свою любовь, которую носила в себе, иными словами, она ни в кого еще не влюблялась.

Один все время рассказывал ей о мотоциклах. Андулка смотрела на него внимательно и изумленно. Парень чувствовал, что пропадает, бледнел и покрывался потом. Она ни капельки ему не помогла, лишь серьезно смотрела, а он еще сильнее потел и таял под этим изучающим взглядом, как снеговик на солнце. В конце концов он сдался и вышел из игры. Это выше человеческих сил — часами рассказывать о шестидневной гонке и смотреть в глаза, ясно говорящие: "Сколько же можно!.."

Следующий соискатель повел ее в кино. Фильм ей так понравился, что она и не заметила, что парень пристраивается положить ей руку на бедро. Она смеялась и даже в какой-то момент пожала его шарящую руку. Когда весь зал заходился в хохоте, она, улыбаясь, поворачивалась к парню. Тот, решив, что дело в шляпе, смеялся ей в ответ даже больше, чем требовалось, гоготал как сумасшедший. Он был рад, что ему с первого раза подфартило и все идет гладко. Он пошарил рукой еще чуть вы-

ше, как вдруг зажегся свет. Андулка еще продолжала вытирать носовым платком слезы от смеха.

Они остановились перед кинотеатром. Накрапывал дождь, и Андулка серьезно посмотрела на парня, будто вопрошая: "И что дальше?" Парень пытался еще несколько минут продержаться в атмосфере фильма, вспоминал некоторые эпизоды, но под этим взглядом почувствовал себя паяцем. Дождь, капавший ему на голову, обнажил ранние залысины. Андулка сосредоточенно их рассматривала, и ему казалось, что она разглядывает рога у него на голове. Нет ничего хуже, когда человек, болтая с вами, смотрит куда-то выше вашей головы.

Потом Андулка не выдержала и попыталась эти залысины немного замаскировать волосами. Парень сразу это понял и окончательно скис. В общем, он так и остался там стоять, как идиот, с кое-как прикрытой плешью, а Андулка была уже далеко, напевая грустную мелодию. Вскоре, однако, что-то вспомнив, опять прыснула от смеха.

Эти неожиданные перепады настроения у нее остались до сих пор. Как и глаза, которые, кажется, постоянно вопрошают: "И что дальше?"

В ту пору она перестала быть Андулкой.

* * *

Я сразу же узнал эти карие загадочные глаза. Когда компания начала расходиться, я на автопилоте пошел за этим взглядом. Я рассказывал ей что-то, кажется, очень веселое, а сам покачивался. Но меня это не смущало, даже наоборот: тогда я думал, что если парень покачивается и что-то громко говорит, то это выглядит сексуально. Только с годами понял, что так и останусь "тем уродом", сколько ни старайся.

Она молча шла рядом со мной и уже в те минуты серьезно размышляла, как ей со мной будет тяжело в жизни и сколько понадобится сил, чтобы сделать из меня человека.

Естественно, тогда я об этом даже не догадывался. Как можно было догадаться?

Просто однажды я вышел из дома как свободный человек, чтобы уже никогда таковым не вернуться. Это была классика. Сначала я даже не понимал смысла всех ее действий, но со временем до меня стало доходить. Нельзя было не заметить такого количества симптомов.

Например, я заходился икотой от какой-нибудь шутки, а А. сжимала мне руку, что означало "не позорься".

Перед домом я сделал попытку ее поцеловать. Она позволила, после чего ее взгляд остановился где-то на уровне моей шеи.

— У тебя оторвалась пуговица, — сказала она деловым тоном, — завтра я тебе ее пришью.

Из чего я понял, что завтра мы все же увидимся, но не более того. Мне, наверное, стоило уделять больше внимания этим мелким знакам. Может, я просто не хотел?

На следующий день я пришел в назначенное место. А. тоже пришла, только прихватила с собой какого-то друга, попавшегося ей по дороге. Так что на собственном свидании я оказался стопроцентным кретином. Они болтали обо всем на свете, а на моем лице было выражение идола с острова Пасхи.

Того идола в моем лице они таскали по улицам до самой пивной, где мне таки выпало сыграть эпизодическую роль. Ее друг вообще не пони-

мал, что это мое свидание. Лишь к концу вечера он стал волноваться больше, чем я. Видимо, он вообразил, что такой приятный день мог бы плавно перетечь в эротические сумерки, но А. вдруг сказала: "Ну, нам пора" — и взяла меня за руку. Чувак пару минут находился в прострации, не зная, в каком направлении ему податься.

Перед домом я поцеловал А., и она, зевнув, сказала: "Завтра". Я уже понимал, что это значит.

На другой день она пришила мне в парке пуговицу, посмеялась над своей работой (не надо мной) и поправила мне воротник. То был очень важный момент. Как только она отпустила мой воротник, мне следовало немедленно вскочить в первый попавшийся трамвай, автобус, на самого быстрого коня или еще лучше — сразу улететь. Я этого не сделал.

* * *

Сразу после школы я подал в одно министерство заявление о приеме на работу. Я зашел туда по-простому, в джинсах и майке, потому что был уверен в исходе — выперли бы меня по-любому. Принимавший чиновник держался на почтительном расстоянии — то ли не хотел говорить, то ли боялся подцепить блох, не знаю. Выслушав меня, он пожал плечами и отвел к начальнику отдела кадров.

Тот сидел за огромным столом с портретом Густава Гусака за спиной и обнюхивал бумаги перед собой. Все здесь было продумано так, чтобы человек перед этой демонстрацией мощи абсолютно потерялся. Даже кресло, на которое меня усадили, продавливалось все ниже и ниже к полу. Последние капли уверенности покидали меня. Может быть, причиной тому был внимательный, но строгий чиновник, в задачу которого входило всегда смотреть в направлении окон. Кадровик через стол вперил в меня водянистые глаза и с улыбкой и неподдельной бодростью перешел прямо к делу:

— Ну шо? Как давно работаешь?

Я начал медленно и сдержанно объяснять ему, что еще не работаю, только что закончил школу, еще в поиске и потому вспомнил про это вот заведение.

Он удобно откинулся и понимающе кивал головой. Когда я закончил, он с улыбкой мне пояснил:

— Я имел в виду работу в политике!

Я что-то проблеял о том, что до сих пор у меня не получилось активно заняться этим — не было времени, но что я всегда принимаю участие в субботниках около дома, при этом майка на моей спине стала мокрой. Кадровик встал, обошел стол и ласково обнял меня за плечи. Затем улыбнулся и похлопал по спине со словами:

— Не важно! Это не важно. Ты знаешь шо?! — В его глазах появилось вдохновенье. — Ты приходь, как начнешь работу!

Мы расстались, улыбаясь друг другу как два кретина.

* * *

Через шесть лет мы с А. поженились. Осуществив мечту детства, А. стала лечить людей. Я же работал в ДК на окраине Праги. В мои задачи входил и цыганский вопрос.

— На следующей неделе вам необходимо организовать лекцию о контрацепции. Вы готовы? — поймал меня шеф врасплох.

– Я разослал более трехсот приглашений в цыганские семьи. – Мне пришлось идти на явный блеф.

– Сколько ожидаете слушателей? – продолжал любопытный директор.

"Бля, откуда же я знаю?" – хотелось заорать мне. Вслух же я пробормотал:

– Ну... – и представил пустой зал, где единственное, что будет напоминать о жизни, – это трепетание занавески на сквозняке.

– Товарищ инспектор придет проконтролировать!..

– Ух ё... – вырвалось у меня.

– Вы что-то сказали? – вскинул шеф брови.

– Ничего, – ответил я.

Вечером я пожаловался А.

– Знаешь, как обстоят дела? – со знающим видом говорил я ей. – Известно, что цыганская девушка первый раз беременеет в пятнадцать или шестнадцать лет. Рожает ребенка – и что дальше? Работать она, понятное дело, не будет, да, по правде сказать, ей такое и в голову не придет. Вот у нее ребенок. Ребенок – это проблема. Девка начинает шлюшничать. Только не за тысячу, а за пару крон, понимаешь?! Потом ее загребут и посадят. И так бесконечно, пока эта несчастная не поймет, что гулять-то она может, но при наличии документа, где будет написано, что она работает. А это уже только ее проблема. Лет ей к этому времени около двадцати. И вот для таких надо организовать лекцию.

– Это ужасно! – ответила А.

– Ужасно то, что лекцию должен организовать я.

– Бедняжки, – вздохнула А.

– Никакие они не бедняжки! Они себя такими не считают. Они не хуже, чем мы. И не лучше. Они просто совсем другие. Что для них гаджо? Гаджо – это тот тип из социальной помощи, это белое чмо, которое время от времени забирает их детей в колонию для несовершеннолетних или хрен знает куда. Расизм, детка, девочка, милая, – продолжал я возбужденно, – имеет одну очень важную особенность. Он существует с обеих сторон. Не жалей их. Они тебя тоже не жалеют. Когда тебя обворовывает цыган, когда он в трамвае тащит у тебя из кармана деньги, то чувствует себя почти Робин Гудом.

– А как им можно помочь? – спросила А.

– Чего? – оторопел я.

* * *

Мы стояли с куратором на верху лестницы и ждали, кто же придет на лекцию. Инспектор уже устроился в зале. Меня трясло от напряжения, куратор же, наоборот, сохранял ледяное спокойствие.

– Не придут? – паниковал я.

– Не придут, – успокаивал меня куратор. – Обломаемся? Не обломаемся!

Пришли. Невероятно: шестнадцать цыганок. Парами – мать и дочь. Мое сердце скакало от радости. Они расселись в зале. Инспектор встречал их милой, ничего не говорящей улыбкой. Они недоверчиво его рассматривали.

Я выскочил из зала и стал разыскивать доктора, который должен был читать лекцию о контрацепции. Когда я совсем было отчаялся, за

углом появился бежевый "трабант". Он затормозил прямо передо мной. С водительского сиденья протянулась волосатая рука.

– Помогите же мне, черт подери! – проревел доктор.

Я в жизни не встречал более импозантного мужчины. Весил он около ста пятидесяти кило. Портфель в его лапе выглядел просто смешно. Когда мы вместе поднимались по лестнице, он тяжело дышал и каждые десять ступенек отдыхал. Эти короткие передышки он использовал для того, чтобы внимательно меня рассмотреть.

– Знаете, – попробовал я его предупредить, – там цыганские женщины. Они не поймут обычную лекцию. Просто не поймут, что вы будете говорить.

Он покивал головой, а наверху, отдохнув, похлопал меня по спине своей огромной рукой и успокоил:

– Не бойся!

Тогда я перестал бояться.

Мы вошли в зал. Инспектор благожелательно кивнул. Цыганские женщины сохраняли спокойствие.

Доктор провел лекцию весьма разумно. Не пользовался латынью, говорил чуть ли не матом, чтобы его понимали. Мел скрипел по доске, женщины даже выглядели заинтересованными. Только где они в тот момент были? Их взгляд витал далеко – у очага, мужей, детей. Инспектор что-то сосредоточенно записывал, куратор улыбался. Рисунок на доске выглядел так, будто его нарисовал сам Жоан Миро[1].

– Ну что, – закончил где-то через час доктор, – есть вопросы, девушки?

"Эх, доктор! – хотелось крикнуть ему. – Вы же их не знаете! Ничего не знаете!"

Доктор бесконечно долго задержал на них взгляд. Потом взял портфель и стал складывать туда вещи.

И тут это случилось! Смуглая рука в первом ряду неуверенно взмыла вверх.

Доктор был готов ее поцеловать. Он погладил цыганку по голове и почти прошептал:

– Что тебя интересует, девочка?

Если у него и были какие иллюзии, то эта красавица срезала их на корню. Она неуверенно подошла к исписанной доске, ткнула куда-то в разрез матки и спросила:

– А это у каждого человека так – три желудка?..

Спускаясь, доктор не проронил ни слова. Я нес его портфель, а потом помог ему втиснуться в машину.

– Спасибо, – сказал я ему. Ничего другого в тот момент мне не пришло в голову.

– Идите к черту! – пробурчал он и уехал.

А потом меня осенило! У А. были глаза как у той цыганки.

* * *

Я начал понимать, что такое семейная жизнь. Были у нас относительно спокойные времена, были и такие, когда мы кричали и кидались посу-

1. Жоан Миро (1893–1983) – испанский живописец, график, дизайнер.

дой. Я упорно не хотел меняться, и поэтому наша жизнь иногда походила на войну.

Я вполне сносно готовлю, а главное — мне это нравится. Мужчина, который не любит готовить, для меня загадочен и непонятен.

Таким образом, мой первый конфликт с А. произошел у плиты. Было видно, что ее задевает моя независимость на кухне. Я, когда готовлю, оставляю гору грязной посуды — мне не сложно ее потом помыть. Меня радует этот художественный беспорядок вокруг — доска, на которой режу овощи и мясо, куча баночек со специями и соусами... Клянусь, я не знаю большего кайфа, чем такая забава. А. сначала зашла просто так, посмотреть. Даже поначалу смеялась, но — не будем переоценивать — это был натянутый смех. Я заметил, как она нервно рассматривает грязную посуду. Она тихонько подошла к раковине и стала ее мыть. А. все время моет посуду. Ну ладно, это я могу стерпеть. Однако я заметил, что А. уменьшила огонь под одной из кастрюль. УМЕНЬШИЛА ПЛАМЯ! Я стоял как ошпаренный. Потом я заорал:

— Оставь огонь как есть!

Она повернулась и сказала:

— Извини, но он был слишком сильный.

— Он не был сильным, и вообще, чего ты лезешь?! — орал я. — Какого хрена? Если готовлю я, то это мое дело! Я не лезу, когда готовишь ты!

Может, для кого-то это ерунда, но это совсем не ерунда! Если подумать, то это бой за каждую пядь своего жизненного пространства... Когда на него покушаются, УМЕНЬШАЯ ПЛАМЯ!

Мы ждали гостей, и настроение было что надо — праздничное. Мы стояли друг перед другом и злобно сверкали глазами.

— Не сходи с ума, я лишь чуть-чуть уменьшила. Оно слишком сильно кипело.

— Это должно сильно кипеть! Здесь так написано! Не надо экономить воду, варите в бурлящей воде, или ваши макароны станут липкими! Понимаешь, ЛИПКИМИ!!! Я хочу сделать хороший салат из макарон. Не ЛИПКИЙ!

А. подошла к плите, вывернула газ на полную и бросила:

— Чтобы ты не облажался!..

Наш ужин совершенно перестал меня интересовать, и мне захотелось куда-нибудь смыться. К сожалению, гости уже звонили в дверь и мы должны были им улыбаться. Им и друг другу.

А. — мастер спустя миг после ссоры не на жизнь, а на смерть рассказывать о ней как о смешной истории. Да так, что слушатель, смеясь, восклицал: "Да, она умеет преувеличить!" Мне же оставалось лишь таращить глаза.

Еще я научился понимать, что́ она говорит. Я даже не догадывался, что мне понадобится этому учиться. Когда она мне говорит: "Не читай долго...", это значит: "Выключи немедленно свет!" Радостное "Завтрак готов!" в переводе означает "Хватит валяться, молодой человек!"

Да, забыл сказать: А. все делает лучше. Не знаю почему, но у нее все получается. Сначала она просто подойдет, станет рядом и скажет: "Здорово, что ты наконец решил это сделать".

А через минуту начнется.

— Нет! — скажет, например, она.

— Что нет? — спрашиваю я недовольно.

– Я просто подумала, что лучше это приделать так.

– Как так?

– Наоборот!

– Иди на фиг. Как наоборот? Это тогда будет поворачиваться!

– Нет, так не будет поворачиваться. Можно я тебе покажу? ПРОСТО ПОКАЖУ!

Я отдаю ей инструменты и наблюдаю.

– Ты бы не мог мне здесь подержать? – попросит меня А. в конце концов.

Заканчивается это всегда одинаково – доделает, как считает нужным, а я всего лишь тот, кто ей ПОДЕРЖАЛ!

Такое не придает уверенности в себе.

А. слушала меня, поклевывая виноград. Она предложила и мне, но я не взял, так как продолжал читать.

Я зашел к брату. Он развелся, и мы за это выпили. На руке у него была татуировка. Примерно такая:

– Что это значит? – спросил я его.

– Это значит "Одна ласточка весны не делает".

* * *

Районный дом культуры от души приглашает Вас на цыганский рождественский вечер. Приходите и вы! Цыганская музыка – цыганское веселье. Вечер, который вы запомните навсегда!

Эти несколько предложений я сочинял целых полдня. Весь мой стол был усеян исписанной бумагой – приглашения, которые я отверг. Из всего написанного этот текст мне показался лучшим.

Да, остановлюсь на этом, решил я. Сделаю такую вечеринку, что все будут диву даваться. Годами будут вспоминать. Меня уже не будет, а у цыганских костров из поколения в поколение будут рассказывать об этом событии.

У цыган, как известно, есть свои старейшины, которые принимают все важные решения. Без старейшин нельзя сделать ничего серьезного. Для начала я встретился с куратором по цыганским вопросам. Мне были нужны его советы и связи. Мы решили начать со старейшин и других уважаемых членов сообщества.

Встреча проходила в цыганской пивной с цыганским персоналом и цыганскими песнями, которые нас встречали уже у входа. Куратор и я были здесь единственными белыми людьми. Мне и в страшном сне не пришло бы в голову зайти сюда, кабы не старейшина. Каждому там давали свой персональный счет. Официант на нем писал имя или прозвище посетителя. Задержавшись около меня, он задумался, а затем что-то энергично черканул на другой стороне счета. Незаметно перевернув, я не поверил своим глазам. Там было написано "Коммуняка". Только чувство ответственности за эту славную организацию заставило меня стерпеть.

Встреча началась. Куратор в общих чертах рассказал, о чем речь, мне тоже удалось коротко выступить. Цыгане пили пиво, кивали головами, будто все понимают, и изредка косили взглядом на старейшину.

Как оказалось позже, этот парень был крепким орешком. Временами мне казалось, что он ничего не соображает. Было такое чувство, что я очутился среди индейцев.

Выслушав нас, старейшина обтер губы, влажные от пива, затем набрал в легкие воздуха и провозгласил: "Не ищи яблоки под грушей!" Цыгане задумчиво покивали. Само собой, говорили их лица, только дурак будет искать яблоки под грушей. Старейшина хитро нас разглядывал. Куратор заказал еще одно пиво и сразу же за него расплатился. Цыгане активно закивали головами.

– Это будет отличный вечер! Цыганский вечер! – провозгласил свое решение старейшина.

А. лежала в роддоме и готовилась к родам. Вчера вечером я помог ей дотащить сумку. Мы шли пешком, поминутно останавливаясь из-за ее болей. Чувствовали мы себя как загнанные. Улицы были пусты, и у меня в висках стучала фраза: "В случае неожиданных родов можно использовать для обрезания пуповины острый камень" – из книжки "Ожидая ребенка" или как она там называлась.

Мне казалось, что А. переживает все спокойнее, чем я. Когда медсестра отвела ее в палату, я вздохнул с облегчением.

Рождественский праздник должен был начаться в восемь, я же торчал в пивной "Чехия" в Либени уже с обеда. Мне удалось найти оркестр цимбал, и я был счастлив, что музыканты отказались от гонорара.

Днем собрались дети, которых я угостил фруктами и орешками. Дети были очень милые, несмотря на то что от них сбежал начинающий артист, изображавший черта. Гремя цепью, он влетел в толпу детей с криком "Бууу! Бууу! Бууу!", а потом грустно огляделся и увидел пятьдесят настоящих маленьких чертенят, которые смотрели на него с немым вопросом: "Что тебе тут надо?"

Артист тут же сдался и исчез.

Затем стали приходить первые цыгане. Некоторых я помнил со встречи и разговаривал с ними запанибрата. Я выбрал из них десяток самых внушительных и раздал им повязки с надписью "ОРГАНИЗАТОР". Они так обрадовались, что тут же пошли обмыть это дело к бару. Там они так друг друга напоздравляли, что до конца вечера я ни одного из них не видел.

На праздник пришло втрое больше людей, чем мог вместить зал. Мы с гардеробщиком даже закрыли двери, но вскоре их снесли с петель, и народ продолжал прибывать. Я лежал на полу, а по моей голове лупил цыганенок со словами: "Где мама? Где моя мама?" Откуда я мог знать? Она могла быть той, что крутила задницей на сцене и курила толстую сигару, или любой из женщин в зале, кормящих грудью детей. Гардеробщик исчез. Да и действительно, что тут было делать гардеробщику?

Началось. Народная музыка ввела всех в транс. Танцевали на столах, в воздухе летали винные бутылки. Накурено было так, что у меня текли слезы. Вскоре слез прибавилось: гости начали бить стекла, ломать стулья и дико орать. Я безмолвно смотрел на это буйное веселье и просчитывал в уме, на какой срок меня могут посадить. Я хотел было

спрятаться в туалете, но там на меня напал руководитель оркестра и, молотя меня по спине футляром от скрипки, заорал: "Дэнги давай! Давай дэнги!"

Выбора у меня не оставалось. Выбежав на улицу, я из ближайшей телефонной будки позвонил в полицию. Вполне четко я сказал им, что мне нужна пара полицейских, чтобы угомонить цыганскую вечеринку. Однако, услышав слово "цыганскую", голос из трубки произнес: "Вы нас не учите. Сами разберемся, сколько людей послать", — и телефон замолчал.

Вернувшись в зал, я до приезда отряда спрятался за колонной. Полицейские сразу по приезде достали длинные дубинки — подобных я еще не видел — и закрыли лица щитами. Их начальник отвел меня в сторону, сгреб мои документы и стал лыбиться.

— Я не смеюсь, — сказал он мне, когда заметил, что я пытаюсь улыбнуться ему в ответ. — Это мне "нарисовали" цыгане, до того как я попал в отряд. Цыгане, понимаешь?!

А я бессмысленно кивал головой, наблюдая за бойней. Полицейские молотили дубинками куда попало, пинали и тащили людей за волосы из зала. Некоторым счастливчикам удалось смыться, остальных полицейские затолкали в воронки, из которых доносились причитания женщин и мужские проклятья.

— Не слишком ли, шеф? — заметил я озабоченно.

— Вот так мне та падла засунула пальцы в рот и разорвала его, — обернулся он ко мне с дьявольской улыбкой: — Б...! — сорвался он. — У меня было наезжено миллион километров на автобусе! Без аварий и отличная зарплата!

Затем повернулся и заорал:

— Не жалеть их, парни!

Ну все, понял я. Сюда мне больше хода нет. Здесь меня убьют. Какого хрена я вообще во все это влез?

— Из-за этих шлюх мне пришлось уйти из автопарка, — сплюнул начальник. — Все надо мной смеялись!

Зал был идеально пуст. Ничего пустее я в жизни не видел. На полу валялись щепки, вокруг куски мебели, на стенах с разбитыми окнами разводы крови и лоскуты одежды, снесенные двери.

— Мы тебя подкинем куда-нибудь подальше отсюда, — предложил мне начальник, и я был ему искренне благодарен. Когда я драпал к его машине, ветер пронес передо мной одинокое приглашение, заканчивающееся словами: "Вечер, который вы никогда не забудете!" Ага! Я уж — точно.

Примерно в те самые минуты у меня родился сын.

* * *

Мальчик рос не по дням, а по часам. Семейная жизнь с ребенком — это совершенно другое дело.

Теперь тебе будут поправлять воротнички, бахвалился я.

Мы просто светились от счастья и почти перестали ссориться — нам даже в голову это не приходило, потому что ребенок выматывает так, что спать мы могли даже стоя. Из А. получилась образцовая мать. Это же по-настоящему! Не какой-то там негритенок из Лейпцига.

В обществе мы появлялись крайне редко. Я помню, мы как-то пошли в гости к знакомым. На такие классические посиделки с бутылкой. Остановившись перед дверьми, А. испуганно повернулась ко мне: "Мы же ненадолго, да?"

Невинный вопрос, на первый взгляд. Но, во-первых, идти предложила она, а во-вторых, я долго предвкушал визит к людям, которые и мне и ей были очень симпатичны. Я почувствовал, что наливаюсь краской от злости.

— Это что значит? — сорвался я. — Мы еще туда не зашли, понятия не имеем, как сложится вечер, а ты уже меня спрашиваешь, когда мы пойдем домой?! Да я лучше вообще не пойду! Возвращаемся обратно.

А. к тому моменту нажала на звонок, так что мне пришлось заткнуться.

Я уже говорил, что мы тогда почти не ссорились, но иногда набегали тучи. Хотя вовсе не ежедневно и не так наигранно, как у наших соседей. Их ссоры разносились по всему колодцу двора, и я невольно становился свидетелем их бесконечных семейных сцен. Его почти не было слышно. Вернее, слышны были удары по нему. Выглядело это примерно так:

— Где ты был, пьянь?!

Бумц! Бумц!

— Помогите!!!

— Гестаповец!

Бумц! Бамс!

— На помощь!!!

— Фашист!

Меня удивляло, что при этом они были молодыми людьми, не имеющими к войне никакого отношения. Обычно это заканчивалось громким "Бух!" (так хлопали двери). "Буха" я всегда ждал с нетерпением, чтобы приникнуть к окну.

Через минуту он появлялся на улице, а она, чтобы не терять достоинства, всегда кричала ему вслед: "И не забудь, Ярка, купить печенье!" — и улыбалась лицом, искаженным от злости, а ее carissimo[1] Ярка с мрачным видом возвращался туда, где еще совсем недавно шумно и весело проводил время.

* * *

Говорят, что еда и секс в литературе всегда рядом. Мне, в принципе, по фиг, но наши ссоры чаще всего происходили на фоне еды.

Однажды А. кинула в меня полную тарелку супа. Причина? Я всего лишь наклонился и понюхал его. Просто хотел выяснить, из чего он!

Босой, я стоял на голом линолеуме, и холод сковал мою спину так, что я чуть не трясся. А. даже не предупредила меня взглядом, как она обычно делает, а сразу метнула в меня тарелкой.

Я успел увернуться, но мне стало жутко.

— Тебе повезло! — сказала она хрипло. И вопрос был для нее решен.

— А если бы ты в меня попала? — спросил я, придя в себя.

— Тогда бы тебе не повезло! — радостно ответила она.

1. Дражайший (*итал.*).

– Вообще-то тарелками с супом кидаться как-то не принято. Это неправильно, – возражал я.

– Ооо! Я этого знаю! – и А. ткнула пальцем в какую-то фигуру в телевизоре, расплывшуюся в моих слезах отчаяния.

– Выкини, – сказала А., зевнув во весь рот. – Сначала я, значит, такая милая черноглазка, а под конец делаешь из меня какую-то убийцу. А ты такой хороший, плачешь от непонимания, ты слишком хрупкий для этого мира, где вокруг твоей задумчивой головы летают супы. На фиг! В конце концов, этого даже не было...

– Было, – шепчу я, на всякий случай отвернувшись к стене. – Было... Было, – говорю.

А. начала ходить на так называемые "девичники". Когда я услышал это название в первый раз, то зашелся в хохоте до колик.

– Классно вы это назвали! Там должно быть весело. Вот бы побывать, послушать вас!..

Главное, выглядел я тогда как последний дебил. Я просто еще не понимал, как эти женские посиделки оздоровительны и полезны.

Женушки сначала договаривались по телефону – задолго до встречи, – и по А. было видно, что она просто трясется от нетерпения.

В общем, поначалу я над этим лишь посмеивался и крутил головой.

Когда А. наконец пошла на встречу, мне тут же позвонил муж "подруги", у которой все происходило. Вскоре мы с этим парнем уже сидели, пили пиво и болтали обо всем на свете. Ему просто нужно было куда-то смыться из дома. На тот момент в доме не допускалось присутствие ничего мужского.

Домой он отправился, только когда вернулась А. Спать ей ни капли не хотелось – она была просто переполнена переживаниями и свежей информацией, которую ей необходимо было с кем-нибудь обсудить.

Тогда-то до меня дошло, что здесь самое время отыграться за супчик. В чем она могла обвинить меня перед подругами? Что иногда я задерживаюсь в пивной? Это не высоко ценилось в тех кругах. Это было обычным для всех. Ну, почти для всех. Вот какая-нибудь измена – это уже что-то. По мере детального обсуждения женушками своих мужей (обычно их там бывало десять – найдите мне десять беспристрастных женщин!) я выходил средним безопасным дурачком, не то чтобы идеальным, но вполне терпимым.

Хорошенькие вещи, должно быть, там обсуждали. Иначе как объяснить, что А. всегда возвращалась с этих встреч такой милой и внимательной. Я себе это представляю примерно так:

№ 1: "Девки! Мой-то вчера пришел пьяный как свинья, мог только хрюкать..!"

№ 2: "Хрюкал? Завидую! Мой вообще приполз на карачках!"

№ 3: "Сам приполз? О чем вы здесь говорите! Моего привезли на тележке!"

№ 4: "Ну да, зато хоть одетого и одного, а не как моего – с какой-то девкой!"

№ 5: "Орал на меня страшно!"

№ 6: "А мой еще и на детей!"

№ 7: "А нас сразу отдубасил!"
№ 8: "Меня отдубасил, а детей продал!"
№ 9: "Хотел приготовить тещу на ужин, но не нашел скороварку!"

Мне казалось, что из подобных разговоров я выплывал ангелом, невинным созданием, для которого семья является единственным смыслом существования.

Но пока мы сидели с мужем гостеприимной подружки и пили пиво.

— Прикинь, — говорил он мне. — На прошлой неделе она возилась в саду. И вдруг смотрю — словно спятила. Обеими руками раздвигает траву и елозит на четвереньках туда-сюда как безумная. Я говорю: "В чем дело?", а она лишь злобно смотрит и молчит. Я ее еще раз спрашиваю: "Что случилось-то?" А она так зло: "Сережку потеряла". Я пошел ей помочь, но мы так ничего и не нашли. "С ума сойти, — говорю я ей. — Как это на таком маленьком пространстве мы не можем найти эту сраную сережку". Где-то через полчаса меня это достало, и я уже в сердцах ее спрашиваю: "Ты можешь мне объяснить, как ты могла ее потерять?" Тогда она, вне себя от ярости, снимает с правого уха другую и говорит: "Как? Да вот так!" — и швыряет ее в траву.

Приятель сделал глубокий глоток и добавил:

— Вся хрень в том, что первую мы потом нашли. А вот вторую уже нет.

— Знаешь, — сказал я после короткой паузы. — Я одного не понимаю. Что же мы, блин, не женились на первой же девушке, которая нам встретилась? На фиг мы выбирали, потратили годы, выясняя, та ли эта половинка или нет? Ведь суть едина. Все, что происходит с остальными, происходит и со мной.

История с сережками мне понравилась, надо бы ее запомнить.

* * *

Что меня гарантированно приводит в дикое бешенство, так это совместные по́ходы в магазины. Продавщицы должны просто боготворить мою А. Она, делая покупки, говорит тихим, ровным голосом, но никогда не может принять решение. Поэтому постоянно оборачивается ко мне с классическим: "А что ты думаешь?"

— Ну, я не знаю, — всегда нервно отвечаю я, потому что хорошо разбираюсь в ситуации.

— Покажите, пожалуйста, еще вот это, — просит А., и продавщица с ужасом следит за направлением ее пальца, который показывает в сторону самой высокой полки магазина с не самыми низкими потолками.

— Девушка, это то же самое, только другого цвета, — пытается увильнуть продавщица, а я, к тому моменту уже весь мокрый от пота, делаю вид, что к А. никакого отношения не имею.

А. настаивает:

— Я все-таки хотела бы посмотреть.

Это уже открытый вызов к бою между мирами. Продавщица притаскивает лестницу и лезет наверх, где воздух теплее, так что каждое движение дается с трудом. Потом бросает желанную вещь перед А. и смотрит сквозь нее невидящим взглядом.

А. разворачивает аккуратно вещь, щупает и поворачивается ко мне:

— Ну, что ты думаешь?

— Ну, не знаю, — повторяю я.

Да елки-палки, я действительно не знаю! Я ненавижу покупки. Я не хочу ни с кем неприятностей, не хочу наживать себе врагов, а главное — мне это просто не нравится.

Я собственными глазами видел, до чего такие совместные шопинги могут довести. Как-то я перед примерочной кабинкой поджидал А., чтобы к ней никто не влез. В этот момент в магазин привели какого-то полоумного старика. Его таскали с места на место и при этом громко кричали, так как дед был глуховат. А тот послушно вертелся, ничему не сопротивляясь.

Вот и я таким буду через пару лет, подумал я, когда деда затолкали в кабинку, где тот должен был примерить какие-то уцененные вещи.

Отупевший и склеротичный дед уперся в зеркало и воскликнул: "О, я смотрю, вы тоже покупаете брюки?" — думая, что наконец нашел товарища.

* * *

Я побывал в гостях у брата. Тот развелся во второй раз. По этому поводу мы чуток поговорили и прилично это дело запили. Две ласточки тоже весны не делают.

* * *

К сожалению, большинство шуток о женщинах имеют основание, однако афоризм "Все бабы — дуры!" довольно далек от истины.

Конечно, они дуры и каждый мужчина об этом должен знать, но дуры такие, что во многих случаях оказываются в тысячу раз умнее нас. Да и в этих анекдотах можно разглядеть лишь желание превосходства. Мне довелось их слышать десятки. К тому же они, как правило, исходят из ложных посылок. Они столь же обоснованны, как утверждение, что, идя по Карлову мосту, я оказываюсь напрямую связанным с Карлом Четвертым.

Однажды я подслушал в винном погребке разговор двух тетушек бальзаковского возраста. Одна из них вдруг рассмеялась и рассказала анекдот:

— Женщина спрашивает у подруги: "Ты когда-нибудь видела глаза мужа во время секса?" — "Конечно", — отвечает та. "Ну и как это было?" — "Ну как... Стоял в дверях и пялился как дебил".

Это отличная месть за все "бабские" шутки. Кроме того, это отличный выбор цели, так как именно вес проклятых рогов не дает всем нам покоя.

* * *

Нормальный мужчина проводит половину жизни во лжи. Дома он лжет постоянно — иначе бы просто не выжил.

Началось все с того, что где-то в кустах он промурлыкал: "Я люблю тебя!" Это, понятно, она сразу и услышала, хотя он имел в виду всего-навсего: "Было не так уж и плохо..."

И вот теперь это на всю жизнь.

Не будь такой хватки, большинство женщин считали бы, что их мужья родились без печени, если после трех кружек пива они, разуваясь, заваливаются на бок и громко над всем смеются; и что если он охладел

к ней, то вообще потерял интерес к сексу; и что ему единственному по ошибке не дали премию.

Бывают, конечно, и исключения.

* * *

Я нашел другую работу. Мой новый начальник, похоже, возненавидел меня еще до моего появления на свет. Заданий он мне не давал, но требовал, чтобы я показывал ему результаты.

В эту игру мы проиграли с ним два года. На что-то же мне нужно было жить.

Я ходил инспектировать культурные программы и потом писал какие-то заключения о них. Дремучие семидесятые.

Хуже всего было общение с разными партийцами, которые на меня влюбленно пялились и подбивали на разные коллективные забавы. Я чувствовал, что как-то подпитываю их, что без меня бы они просто не смогли существовать. Все товарищи хлопали меня по спине и выразительно мне подмигивали. Они знали, что я из большевистской семьи и, понятное дело, я — "их дорогой парень". Один мой приятель предложил поступить, как он, и назваться анархистом.

— Я — анархист, — сказал я на какой-то очередной пьянке по поводу Международного женского дня одному партийному борову.

Тот улыбнулся, покивал головой и ответил:

— Да мы знаем...

Что бы я ни сказал, ответ был бы одинаков.

Нас было много — несчастных, которые не знали, что делать в такой ситуации.

Ковбой, получивший диплом юриста, работал судьей в небольшом районном городке. Всё его уже порядком достало, и ситуацию с партийной вербовкой он решил по-своему: кивал на все, что ему говорили, а когда его спросили, напишет ли он заявление в партию, немедленно ответил: "Не вопрос! Давайте ручку!" Ему со смехом заметили: "Ну, парень, не так шу́стро!" Затем он поинтересовался, пошлют ли его в США, после того как он подпишет заявление, так как ему очень хочется там побывать. Те в удивлении скривили губы: "США? Почему США?" — "Ну как... Это же сделка, да? Вы хотите, чтобы я вступил в партию, и я готов — хоть сегодня, но в обмен хочу съездить в США. Хочу навестить дядю Грюнбаха, тетю Сару, маленького Морица и всех остальных, кто у меня там есть. Или это не бизнес?.." И его оставили в покое.

Кроме одного типа, который тогда публично пообещал его уничтожить. Но он чудовищно просчитался, потому что на Ковбоя, как знают даже маленькие дети, управы нет.

Остальные товарищи не только оставили его в покое, но и носились с ним как с писаной торбой, превратив его в экземпляр для показа гостям: "О каком партийном засилье вы говорите? Вот, смотрите, этот товарищ, например, — беспартийный".

Как-то родственник того партийца, который так невзлюбил Ковбоя, подстрелил в лесу зайца. Лесничий тогда так разозлился, что, благодаря своим связям, довел дело до суда, где председательствовал Ковбой. "Товарищ" пришел к Ковбою со "стеклянной гостьей" и стал просить: "Забудем все, что было!" и все такое. Ковбой его успокаивал: "Конечно, тут даже говорить не о чем. Решим ваше дело".

Бутыль они выпили вместе, а под конец даже душевно попели. "Товарищ" чувствовал себя абсолютно спокойно — все шло так гладко...

В день суда над родственником "товарища" Ковбой улыбался уже с самого утра. В судебном зале было много народа, потому что этот браконьер достал уже всех в округе. Он был эдаким фраером местного значения, который, зная о своей безнаказанности, везде и всюду вел себя просто по-хамски.

Суд должен был быть простой формальностью с наложением штрафа. Ковбой сидел в своем кресле и внимательно слушал показания лесничего. Защитник от скуки зевал во весь рот — он был уверен в исходе. Ковбой иногда делал какие-то пометки в бумагах. Браконьер дурачился, поторапливал выступающих и даже жвачку изо рта не вытащил. Чего ему было бояться, если вчера дядя в очередной раз повторил: "Дело в шляпе, ничего не бойся. Ситуация под контролем товарищей!" — что было не вполне правдой.

Товарищи за Ковбоем действительно стояли и взвешивали, смотрит ли Ковбой на ситуацию через ту же призму, что и они. Удостоверившись, что да, пустили суд на самотек.

Выслушав обе стороны, Ковбой объявил перерыв. Потом снова всех собрал и провозгласил: "Суд рассмотрел все детали, приведшие к злодеянию, и внимательно выслушал обе стороны. Принимая во внимание безупречную репутацию обвиняемого и его отличные рекомендации, суд постановил: браконьер именем Чехословацкой Социалистической Республики приговаривается к смертной казни!"

В зале суда установилась такая тишина, что было слышно мышей в подвале. Браконьер грохнулся в обморок, не вынимая рук из карманов, а Ковбой стал равнодушно складывать бумаги в папку.

Когда браконьера привели в чувство, он плаксиво воскликнул:

— Как же это?..

Ковбой глянул на него и твердо ответил:

— Жизнь за жизнь!

И вышел, хлопнув дверью.

Какое-то время Ковбой провел в психбольнице, но и там у этого счастливчика был знакомый врач, так что, вспоминая те времена, он утверждает, что прекрасно тогда отдохнул.

* * *

Мне ничего не оставалось, как перетерпеть на каждой работе пару лет, делая все возможное, чтобы о моем уходе не сожалели. Минусом в этом методе было то, что моя карьера выглядела перевернутой. Каждое новое место оказывалось на ступень ниже в воображаемом карьерном росте. Так что я бил баклуши, насколько это было позволительно.

Как-то я сидел в своем кабинете и просматривал несделанные задания, то есть практически все. Я уже собрался идти на обед, как вдруг открылась дверь.

— На минуточку, товарищ, — попросил меня директор. Звали его Мурек.

Каждый раз, как меня называли "товарищ", у меня возникало ощущение, что идет суд или мне необходимо заплатить какой-то штраф. Я апатично поплелся за ним.

— Садитесь, — сказал мне начальник, когда мы оказались в его кабинете. Я совсем пал духом. Начальник, как обычно, уперся взглядом в ковер — две полосы ковролина отталкивающего зеленого цвета, между которыми шла широкая щель.

Примерно год назад этот кошмар был совместно изготовлен мною и начальником. Мы все измерили как минимум десять раз перед тем, как нарезать ковер. Жуткая работа. Никогда не забуду удивленного взгляда начальника, обнаружившего, что нам не хватает доброго десятка сантиметров. Он сначала закаркал как ворона, а потом зашипел на меня: "Это все ваше разгильдяйство!" Конечно же, ошибся он, но попробуйте поспорить с тупым начальником. С тех пор я бывал здесь много раз, и он ни разу не преминул напомнить мне о том происшествии.

В общем, тут все и началось.

— Во сколько вы сегодня собираетесь домой? — спросил он меня.

— Рабочий день заканчивается в полпятого, — ответил я глухо.

— Зайдите ко мне в полпятого, я сегодня поеду в вашу сторону и отвезу вас домой на машине.

Сказав это, он занялся какими-то бумагами.

Что бы это значило, размышлял я и пытался посмотреть на это с разных сторон. Неужели понял, что вся моя работа — полная фикция? Ну да, это наверняка тот дурацкий опросник, по которыму я проводил исследования в профучилище. Именно!

Господи, ну и дебил же я! Полгода я вешаю лапшу про эту работу. "Социологическое исследование", как я это назвал. Вот оно и лопнуло. Всем стало ясно: все, что я сделал, — лишь раздал анкеты.

Я мысленно сложил свои вещи в сумку, с которой никогда не расстаюсь. Затянул потуже ремешок и перекинул ее через плечо. Взглядом я попрощался со зданием, в котором мне два раза в месяц добрая кассирша выдавала пару крон, и мысленно побрел на распутье. Все время после обеда я грыз ногти, а когда от них уже ничего не осталось, занялся кожей вокруг.

В полпятого мы сели в автомобиль. Начальник был разговорчив. Рассказал мне о городе, о его проблемах, о стройках и обо всем, что с ними связано. Сначала я сидел очень напряженно, но во время езды немного расслабился. "Видимо, я параноик, — решил я. — Слишком много о себе думаю". Я провожал взглядом убегающие дома и, насколько было возможно, старался устроиться поудобнее. Голос начальника доносился ко мне издалека. Он становился все более возбужденным.

— За все придется заплатить! — орал он. — Старые дома должны уступить место новым!

Господи, почему он так кричит? И зачем он говорит эти глупости?

— Короче, по-другому не получается! Когда приходит новое, старое должно уйти! — с жаром закончил начальник.

Взглянув на него с удивлением, я вдруг обнаружил, что мы стоим и он тычет куда-то трясущимся указательным пальцем. Я чувствовал, что из уголка моих губ вытекла слюна. Я продолжал таращиться на какой-то распланированный пустырь.

— Вот, например, здесь! — ревел начальник. Тут я наконец все понял.

Например, здесь стояло мое ПТУ. Мое социологическое исследование об использовании свободного времени. Теперь, я думаю, у меня его будет достаточно.

Не проронив ни слова, я вышел и остался смотреть на эту безутешную равнину, которая так напоминала мою чиновничью жизнь.

Об этом начальнике я вспоминаю каждый раз, когда слышу о выставках кошек.

У А. нет работы, но есть призвание, а это разные вещи. Поэтому ее никогда не интересовал вопрос, ***чем*** *она будет заниматься. Ее интересовало лишь* ***где.***

Естественно, мой брат был не единственным человеком, который развелся с женой. Половина моих знакомых развелись.

Однажды я встретил друга, который как раз возвращался из суда, опять холостой, хотя с обязанностями: алименты есть алименты. Мы выпили пива, и я слушал его как одноклассника, сдавшего экзамен на неделю раньше меня.

— Спросили нас, как часто мы ругаемся, — рассказывал он, — она (подразумевая бывшую жену) начала блеять, что я вечно возвращаюсь пьяным из пивной и что друзья для меня важнее, чем она. Судью это не заинтересовало. Он сказал, что мы должны попробовать еще раз, что еще есть время, чтобы наша семейная жизнь вошла в русло и принесла плоды, и подобную чушь. Я уже стал бояться, что нас не разведут. К счастью, там в составе комиссии был еще один неприметный мужичок, который меня спас. Сначала я думал, что он спит и ничего не слушает. Он, понимаешь ли, каждый день там слушает эти истории о том, как жена с топором гоняет мужа вокруг стола. Я подумал, что все пропало... Теперь нас пошлют мириться, а у меня через неделю новая свадьба! Этот мужичок повернулся ко мне и спрашивает: "Расскажите-ка суду о какой-нибудь вашей ссоре". Мне в тот момент вообще ничего в голову не пришло, только глупости разные, но говорить что-то надо, вот я ему и рассказываю: "Возвращаюсь я как-то домой и спрашиваю, что будет на ужин. А она мне отвечает, что будет обжаренная цветная капуста. Я пошел, взял капусту и спрашиваю: "А где яйца?", а она мне отвечает: "Яиц нет, так что де́лай без них". Ну я, понятное дело, разозлился и сказал ей, что она дура". Они немного посовещались, о чем-то там пошептались между собой и развели нас с первого раза. А тот неприметный судья, проходя мимо нас, посмотрел на нее как на чудовище и спросил: "Значит, вы жарите цветную капусту без панировки?" Представляешь, дружище, это его сильно зацепило. Если бы мы говорили, что деремся на ножах, это бы их не удивило, и наверняка нам бы сказали: "Попробуйте еще раз!" Короче, спасла меня дурацкая цветная капуста.

Конечно, этот мой знакомый — явное исключение. Остальные о разводе так весело не рассказывают.

Меня всегда удивляет: люди еще пару лет назад ходили под ручку, и он с радостью помогал ей делать покупки, а вокруг них носились дети.

Когда я ходил в первый класс, в нашем классе разведенные родители были только у одной девочки. Тогда она мне казалась какой-то прокаженной. Сейчас все совсем по-другому.

Один мой друг, которого я всегда при встрече пытался утянуть на пиво, постоянно отвечал мне с улыбкой: "Ну что ты, парень! У меня забот выше крыши. Нам с тестем надо еще этаж пристраивать!"

Это мне в каком-то смысле даже нравилось. Звучало очень по-мужски. Я мысленно представлял себе двух мужиков, которые вместе рабо-

тали как отлаженная машина. После работы они зайдут в пивную, а жены им не перечат, потому что "ребята вкалывали", и даже жарят им огромные бифштексы и возят из магазина в тележке ящики пива.

Через пару лет я опять его встретил, и он снова прокричал мне, что они с тестем строят "еще один этаж". Уже потом из разговора я понял, что речь идет совсем о другом тесте. Мне даже поплохело, когда я себе представил, сколько этажей его еще ждет.

– У нас нет на это времени, – сказала мне А. в ответ на то, что, по моим наблюдениям, женщины по своей природе не игривые существа.

– Я не говорю о куклах. Я говорю о развлечениях как об основе мужского подхода к жизни. Если я напеваю, когда работаю, тебе кажется, что я ничего не делаю, лоботрясничаю, потому что работа, при которой можно петь, – это совсем не страдание, которое является главным смыслом слова "работа". Только нам забыли об этом сказать. Все, что вы, женщины, делаете, вы оплетаете паутиной смертельной важности.

– Женщины такие же игривые, как и мужчины, – возразила А.

Был жаркий летний день, и мы с А. лежали на берегу реки. Недалеко от нас разложили покрывало две молоденькие привлекательные девушки. А. заметила, что я кошусь в их сторону, и сказала:

– Ну да. Давай, разглядывай.

– Что значит "разглядывай"? – возмутился я. – Ты еще скажи: "Чего уставился?" Они симпатичные, поэтому я на них и смотрю. Вот и все.

– Я ничего такого не имела в виду, – защищалась А. с какой-то странной улыбкой.

– Ну да, – ответил я.

– Я знаю, – сказала А.

– Что знаешь?

– Ты им нравишься.

Это подняло мне настроение. Приятно чувствовать, что кто-то тобою интересуется.

– Наверное, они полные дуры, – сказал я.

Всегда, когда у тебя чего-то нет или ты куда-нибудь не можешь попасть, ты реагируешь одинаково. Это или банально, или глупо, или плохо пахнет – и все лишь для того, чтобы очернить это в собственных глазах. Зачем ты клевещешь? Почему именно эти две девушки должны оказаться глупыми?

– Пойдешь купаться? – спросила А.

Я покачал головой и попытался сосредоточиться на строчке, которую перечитывал уже в десятый раз:

Все, теперь я его никуда не пущу. Никакого страха, решение было неожиданным и приятным, и давно забытая дрожь пробежала по ее спине.

Чтение не шло. Я стал мысленно представлять себе, как бы все могло произойти в идеальном случае. Одна из тех двух девушек смотрела на меня почти влюбленно. Наверное, она смелая, подумал я. Это смелая девушка, которая ничего не боится и всегда добивается своего. Видит же, что я здесь не один, и ей плевать на это. Ее подруга куда-то отошла, а она одна продолжала смотреть на меня.

Все, теперь я его никуда не пущу. Никакого страха, решение было неожиданным и приятным, и давно забытая дрожь пробежала по ее спине.

— Вы не одолжите мне крем? — прозвучало в том сне над моей головой. — Он у вас вон там, — показала девушка на полотенце возле меня.

А. стояла на берегу реки и испытующе смотрела на нас.

— Мне кажется, мы знакомы, — продолжала девушка. — Мы не виделись раньше?

— Я бы вас не забыл.

Девушка присела рядом.

— Это ваша девушка?

— Жена, — ответил я тоном, который мог быть истолкован так, будто это ничего не значит, просто такая мелочь, с которой можно нормально жить.

— Вы не могли бы намазать мне спину?

Немного напрягшись, я набрал в ладонь крем и посмотрел на ее загорелую спину, а затем стал нежно растирать. Когда она повернулась ко мне, я ее поцеловал. Она сунула мне в руку бумажку со своим телефоном и сказала: "Вечером".

А., накупавшись, возвращалась назад. Проходя около девушки, внимательно ее рассмотрела. Дойдя до меня, она упала рядом. Сон кончился.

— Она к тебе липнет, парень. Что будешь делать?

— Слушай, я думаю совсем о другом. Я читаю.

Все, теперь я его никуда не пущу. Никакого страха, решение было неожиданным и приятным, и давно забытая дрожь пробежала по ее спине.

Я захлопнул книжку, чтение потеряло смысл.

Встав с подстилки, я пружинистой походкой направился к реке, как будто играл для невидимой съемочной группы. А. продолжала странно улыбаться, и было видно, что она о чем-то размышляет. Она дала мне дойти до берега, потом тоже встала, приставила руку ко рту и закричала на несколько километров вокруг: "Далеко не плавай, ты только что поел!!!"

Когда я через пару минут вернулся, девушки уже не было.

— Довольна? — пробурчал я.

А. грызла яблоко и мило на меня смотрела. Я снова открыл книгу.

Все, теперь я его никуда не пущу. Никакого страха...

* * *

Одному моему знакомому повезло и не повезло с тем, что он был сыном известного академика. Не повезло, потому что своего отца он почти не видел — тот все время пропадал где-то за границей. Повезло же потому, что отец каждый раз привозил ему из своих путешествий множество необычных игрушек и старался всячески его ублажать, пытаясь наверстать упущенное.

Они жили на вилле с бесчисленными комнатами и ванной с туалетом на каждом этаже. Всюду на стенах висели картины знаменитых художников, а некоторые работы известных мастеров и вовсе были разбросаны в неподходящих местах. Например, на диване, где мы дрались подушками, валялся Славичек.

Однажды я уговорил друга показать мне всю виллу — от подвала до чердака. Мы ходили от двери к двери, и все мне было интересно.

— Это зал, — говорил друг, — здесь мама проводит свои вечеринки. Отсюда выход в сад, там есть беседка. И бассейн.

У меня захватило дух. Как у кого-то может быть дома бассейн?

— Здесь живет мама, — показал он на двери, — здесь — бабушка, там — дедушка, а там — сестра.

Мы шли по дому, и я смотрел на все с большим уважением. Одна дверь меня сильно заинтересовала. Она была больше и массивнее всех остальных. С первого же взгляда она вселяла уважение и авторитет.

— А кто здесь живет? — спросил я.

— Муж, — ответил он.

* * *

Эту историю я вспомнил в ту минуту, когда получил приглашение на родительское собрание. Надо бы побольше заниматься детьми, чтобы бедняжки не думали, как тот мой друг из детства, что с ними в доме живет "муж". Обычно такие мысли приходят накануне Рождества и ненадолго, а потом опять скрываются за горизонтом.

Сначала я ходил туда со скукой на лице, потому что мне там действительно было скучно. Я не любитель ходить на родительские собрания. Они всегда на меня действуют угнетающе.

Но однажды все изменилось. Сегодня я бы, наверное, даже подумал, стоит ли пойти на удачный спектакль какого-нибудь третьесортного театра или все же посетить родительское собрание своих детей.

В тот вечер я не торопясь приближался к мрачному школьному зданию, пиная по дороге камешки. В сумке у меня лежала ручка, блокнот и сменная обувь. Чувствовал я себя препаршиво. Сев за парту, я принялся разглядывать соседние лица.

Все как всегда... Некоторые матери были знакомы, поэтому сидели вместе и о чем-то щебетали. Отцы обычно серьезно смотрели на доску или читали газеты — разговаривали между собой они редко. Матери, как правило, спрашивают классных руководителей о каких-то глупостях. Отцы, наоборот, спрашивают редко, но их вопросы хотя бы имеют смысл. Всегда найдется среди отцов и один энергичный, который все организовывает и сам ходит в школу помогать. Чаще всего это отец проблемного ученика. Учительница может спокойно попросить его отремонтировать все парты, а весь класс из-за его ребенка по несколько раз повторяет пройденное. Так бывает.

Тем же необъяснимым чутьем, которым за пятьдесят метров всегда узнаешь голубую кровь и не можешь объяснить, почему именно, я узнаю учителей. Это особый вид людей. Почти все учительницы имеют что-то общее. Прическа, манера держать себя, взгляд, походка, одежда, группа крови, почерк... Да, главное почерк!

Я сидел и нетерпеливо смотрел на двери, которые постоянно хлопали за опоздавшими. Большинство из них выглядели обычными людьми, и не было смысла их особо изучать, но вдруг вошел мужчина, при появлении которого все непроизвольно замолчали.

Это был мужчина, каждой клеточкой принадлежавший каким-то высшим сферам политики или международной торговли. Мужчина, который в телевизионной рекламе убедил бы вас в чем угодно. Форма его головы была божественно идеальной. Красивая проседь на висках, энергичный подбородок с маленькой ямкой и идеально ухоженное ли-

цо цвета благородного металла. Его светло-голубые глаза смотрели на нас дружески. Несколько мгновений он взвешивал, куда присесть, а затем выбрал место около меня. Я решил, что он это сделал, дабы подчеркнуть контраст между моим потрепанным видом и его собственным совершенством. Его одежда была выше всякой похвалы, кроме того, от него исходил приятный ненавязчивый аромат. Излишне говорить об ухоженности его ногтей, золотых часах и ручке "Пеликан".

В тот момент, когда мы его достаточно изучили, вошла учительница. На фоне этого мужчины она была отброшена из первой лиги в конец списка дворовой команды. Высокая, костлявая — настоящая старая дева, которая злобно смотрела на нас через дешевую оправу очков. Маленький пучок редких волос и жирная кожа цвета и вида восковой бумаги говорили о том, что она пожертвовала ради своего призвания абсолютно всем и даже более того. Вы не поверите, но она еще и картавила.

— Доббрый вечерр, — поздоровалась она с нами. На кафедре она выглядела карикатурой на саму себя: под мышкой журнал, руки сложены на груди. На среднем пальце правой руки раскачивалась тяжелая связка ключей.

Какое-то время мне казалось, что это не может быть правдой, что должен наступить момент, когда это невероятное создание скажет что-то типа "Шутка!" — и снова будет выглядеть нормально, а мы все вздохнем с облегчением и зааплодируем.

Она сухо нас поприветствовала, рассказала о наших детях и о том, сколько нужно сдать денег на какие-то там мероприятия, и еще о других вещах, которые обычно приходится выслушивать на родительских собраниях. Мой сосед несколько раз демонстративно зевнул, давая тем самым понять, что сегодняшний день был для него действительно необычно тяжелым.

Вдруг учительница сменила тему.

— У нас появилась еще одна прроблема, — заявила она, — дети стали нецензуррно выррражаться.

Мы все пр̀итихли. Нецензурные выражения — дело серьезное.

— В общем-то, говоррят они одно слово, — загадочно продолжала учительница, оставив нам пару секунд на собственную фантазию. — Это слово — "трррахаться", — добавила она так неожиданно и без предупреждения, что мы почувствовали себя не в своей тарелке. Было почти слышно, как у некоторых родителей отливает кровь от лица.

— Э-э-э?.. — произнесла женщина в первом ряду, которая получила эту пощечину раньше других. Ее представление о нравственности разлетелось на тысячу кусочков.

Вдруг все стали страшно кричать, махать руками и оглядываться.

— Где они этого набрались? — стала выспрашивать одна из мамаш. — Как это вообще могло сюда попасть?!

Учительница пожала плечами. Все защитные механизмы отказали, говорил ее жест. Враг уже здесь, и надо действовать в соответствии с новой ситуацией.

— Знаете, — сказала она с грустью, — мне очень жаль. Мы здесь действительно старраемся дать вашим детям хоррошее обрразование и подготовить к жизни. И вот достаточно такой на перрвый взгляд мелочи, и мирр ррушится у нас под ногами.

— Все говорят это слово? — расстроенно выкрикнула еще одна мать в надежде, что ей ответят: "Ну конечно не все! Ваш Вашек, например, нет..."

— Абсолютно все, — подтвердила учительница.

Мужчина около меня поднял глаза в потолок. "Господи, куда меня занесло?" — спрашивал он небеса.

Почти полчаса понадобилось на то, чтобы все немного упокоились и можно было продолжать дальше. Подозревали, что слово могло залететь во время совместных походов, из кружков по интересам или других источников, а я подумал, что на этом сегодняшний вечер и закончится, как вдруг учительница остановилась перед нашей партой.

— Пан Вогельтанц, — посмотрела она на моего соседа. — Я хотела бы у вас кое-что спрросить.

Пан Вогельтанц улыбнулся ей в ответ. "Давайте, конечно", — говорили его бледно-голубые глаза.

Я вам скажу, что бы сделал этот идеальный человек, знай он, о чем его спросят. Вероятнее всего, он бы постарался унести ноги как можно скорее. Поскольку собрание проходило на втором этаже, возможно, он бы попробовал выпрыгнуть в окно, как Дуглас Фербэнкс или Жан Маре, и довериться воле божьей.

Но он, ничего не подозревая, откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Эту ошибку во второй раз он бы не допустил.

— Понимаете, это уже восьмой класс, — напомнила ему классная руководительница, а затем перед притихшим классом, глядя сверху вниз на моего соседа, спросила: — Вы считаете это норрмальным — прринимать ванну вместе с дочеррью?

Вогельтанц потерял сознание. Он сделал единственную разумную вещь в этой ситуации. Упал на меня всей своей тушей, а затем тихонько сполз на пол. Учительница от него отвернулась.

Мы пытались привести его в чувство водой и положили в антишоковую позу. Очнувшись, он слабым голосом поблагодарил нас, а затем нетвердым шагом с ослабленным галстуком в тишине покинул класс.

По пути домой я слегка приплясывал.

— Как ты себе представляешь отношения между мужчиной и женщиной? — спросила меня А. — Эдакое идеальное сожительство. Как ты думаешь, можно это как-нибудь описать?

— Не знаю, — ответил я. — Попробую. Послушай, что я тебе расскажу. Что-то в этом роде.

Был у меня дядя. Он жил со своей женой в маленьком домике. Ближайшие соседи были в зоне слышимости. Как-то я провел у них отпуск.

Они были интересной парой. Я никогда не был до конца уверен, шутят они или ведут себя так на самом деле. Оба делали очень интересные повороты в разговоре. Например, типичный вечер у них выглядел так:

Дядя: "Что на ужин, Маня?"

Тетя: "Не называй меня Маней!"

Дядя: "Что на ужин, Марийка моя золотая?"

Тетя: "Отрежь себе хлеба и намажь его чем-нибудь".

Дядя шел к окну и кричал в сторону соседских окон: "Полить гуся? — затем снова садился и продолжал: — Хлеб... гм..."

Тетя: "Тебе что-то не нравится? Я не собираюсь каждый вечер готовить тебе ужин, — затем тоже подходила к окну и высоким голосом кричала: — Полей обоих!"

Дядя, намазав кусок хлеба салом, подходил к тете: "Представь себе, Марийка, шестьсот лет назад родился Ян Жижка!"

Тетя, всплеснув руками: "Господи боже мой, как летит время! Жижка всегда мне об этом напоминает".

И так эти двое были готовы веселиться всю дорогу.

А я лишь сидел на скамейке и думал: несмотря на то что все мои родственники немного не в себе, жизнь прекрасна!

— Пора бы тебе остановиться, — заметила как-то тетя дяде однажды, когда он с высунутым языком писал какое-то письмо. Собственно, это был какой-то запрос. — Почему ты так уверен, что опять приедут те двое и вы снова пойдете в пивную? Что, если на этот раз пошлют кого-то другого? И вообще, разве можно так обманывать? Это нехорошо, и ты это знаешь!

Дядя не отвлекался. Каждый год весной он посылал письмо. Содержание он никогда не менял, лишь дату. В этом году ему показалось, что страховая компания слишком долго не отвечает, поэтому он писал напоминание. Содержание письма было таково:

Дорогие товарищи,

в мае этого года в нашем районе случились проливные дожди (об этом писали в газетах). Ущерб, который нанесли эти ливни (с градом!) нашему дому, таков: испорчена крыша, затоплен подвал, также есть множество других повреждений, нанесенных сильным ветром. Прошу вас возместить причиненный ущерб. Кроме того, хочу напомнить, что я являюсь клиентом вашей компании уже более десяти лет.

Да здравствует мир во всем мире!

Потом мы вместе пошли на почту отправить это напоминание.

Где-то в середине августа после обеда у калитки раздался звонок. Дядя вскочил с дивана, аккуратно отодвинул занавеску и явно с облегчением вздохнул.

— Это они! — закричал он тете. — Они, парни мои золотые!

Мне было очень любопытно, что же это за "парни золотые". Те стояли за калиткой и приветственно приподнимали шляпы. На них были болоньевые плащи, а в руках они теребили портфели. Дядя с ними весело поздоровался, как со старыми знакомыми.

— Это из страховой компании, — пояснила мне тетя, разливая в рюмки сливовицу. — У этого негодяя счастья больше, чем совести.

— Проходите, парни, — сердечно звал гостей в дом дядя. — Для начала за встречу! — Затем, чокнувшись, предлагал: — А теперь на посошок!

Выпив, все трое пошли в пивную.

— Каждый год одно и то же, — с улыбкой сказала мне тетя, а затем, посерьезнев, добавила: — Не вздумай кому-нибудь рассказывать!

В общем, дядя повел страховых агентов в пивную и там — по местным меркам — угостил их по-королевски. Точнее сказать, напоил коррумпированных чиновников до поросячьего визга. После чего те с большой радостью подписали ему подтверждение о полученном ущербе, что в итоге составило приличную сумму. Дядя потом проводил их на

вокзал, где они долго прощались, обнимались, пели песни и говорили друг другу: "Встретимся через год!.." Вернувшись домой, дядя победоносно махал страховой квитанцией перед тетиным носом и, пошатываясь, тянул ее танцевать. Та поначалу отмахивалась от него полотенцем. "Старый козел!" – со смехом говорила она, бегая от него вокруг стола, но вскоре сдалась и даже позволила себя поцеловать. Потом все же она ему заметила: "Как-нибудь у тебя это не выйдет, вот увидишь!"

Не вышло уже следующим летом. Тогда, как обычно в августе, прозвенел звонок у калитки, но стояли там не два улыбающихся подельщика, а весьма строгого вида женщина.

– Господи боже... – запричитал дядя, выглянув из-за занавесок, – это еще что?

Его удивление было не беспочвенным. Чиновница из страховой компании была как минимум под два метра ростом и тоже одета в болоньевый плащ. От своих коллег она отличалась тем, что вместо шляпы у нее на голове был серый берет. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что в ее портфеле нет ничего интересного, кроме строгих страховых бланков.

Дядя ссутулился, и стало заметно, как ему не хочется открывать дверь. Звонок же не переставал дребезжать.

Тетя вытолкала его к двери со словами: "Давай иди!", а сама задержалась около буфета в раздумье: стоит ли доставать какую-нибудь бутылку или нет. Решив, она налила три рюмки сладкого ежевичного ликера.

Было слышно, как дядя нервно выкрикивал: "Добро пожаловать! Присядьте, пожалуйста!" – и суетился вокруг.

Чиновница категорически отказалась от предложенного напитка и холодно осмотрела комнату.

– Приступим к делу, – сказала она и достала из портфеля стопку бумаг. – Прежде всего: господа Мотичка и Краузе, которых, видимо, вы ждали, больше у нас не работают. В их работе обнаружилось множество недочетов, с которыми мы не могли больше мириться. Далее, вот здесь – справка из гидрометцентра за тот период, который вы указали в своем заявлении. Не только здесь, но практически по всей Европе 15 мая был солнечный день, без каких-либо осадков. Вы можете объяснить, как случилось, что в тот почти засушливый день именно ваш дом оказался затоплен? Цитирую: "...страшным ливнем, пришедшим в наши края в мае сего года..." Как прикажете это понимать?

Дядя в абсолютной тишине выпил ежевичный ликер, наморщил лоб, с отчаянием посмотрел на тетю и выдавил из себя:

– Ну, могла быть локальная гроза...

– Знаете, – продолжала чиновница, – я говорила с вашими соседями. Ни один из них не смог вспомнить, что весной хоть раз шел порядочный дождь...

– Локальный ливень... – шептал дядя, и было видно, насколько он сам мало верит своим словам. Наконец он мужественно провозгласил, показав на тетю: – У меня есть свидетель.

– Слушайте, девушка или женщина, – уперла тетя руки в боки, – не хотите ли вы сказать, что мой муж все придумал? Что он врет?

– Я ничего не хочу говорить, но вот черным по белому написано, что в указанное время дождь шел в Москве, а не здесь.

Тетя нахмурилась:

— Значит, то, что мы с мужем ведрами таскали воду из подвала, после чего он слег от изнеможения, мне померещилось? Вы, уважаемая, пришли сюда с какой-то бумажкой, которой машете у нас перед носом и пытаетесь нам внушить, что дождя здесь не было, хотя я вам ясно говорю, что лило так, как я в жизни не помню! И что какой-то маразматик-сосед вам поклялся, что дождя не было? А я вам могу поклясться, что этот бедолага вечером не вспомнит, что у него было на обед! Да и вообще, что вы себе думаете?! Мы порядочные люди, аккуратно платим страховку, а когда нас постигнет несчастье, катастрофа (в этом месте у тети дрогнул голос), нам не только никто не поможет, а кроме того, еще такие люди, как вы, плевать на нас хотели. Если вам, дорогая, жалко пары крон на известь, так вот двери и до свидания! Мы с мужем как-нибудь выкрутимся. Мы к таким несчастьям привыкли.

Тут тетя расплакалась.

— Локальный ливень... — продолжал дядя, видимо, чтобы дать понять, что и с ним в этой игре следует считаться.

Чиновница занервничала. Ее первоначальная уверенность поколебалась.

— Понимаете... — хотел еще добавить дядя, но тетя срезала его взглядом и прошептала так, что слышно было даже мне: "Ты замолкни! С тобой поговорим потом!"

Дядя сник и с того момента в постановке участвовал вторым планом.

Чиновница была уже готова признать возможность "локального ливня" и, качая головой и вздыхая, приступила к заполнению каких-то бумаг.

Дядя опрокинул еще один ликер.

— Вы утверждаете, — продолжала женщина из страховой компании, — что вы заново белили подвал, и просите возместить стоимость известки. Могу ли я этот подвал, с вашего позволения, осмотреть?

Все, кроме меня, направились в подвал. Дядя включил свет и посерьезнел лицом, будто вспомнил времена, когда укрывал там советского партизана.

Чиновница огляделась. Затем достала из портфеля складной метр и стала измерять стены. Что-то просчитала, затем что-то записала и произнесла:

— Хорошо, известку мы вам возместим. Надеюсь, вы не будете утверждать, что у вас от воды сгнил настоящий персидский ковер!..

Дядя нарочито громко рассмеялся, тем самым показывая, что прекрасно понимает ее опасения и что ему отлично известно, сколько жуликов существует на свете.

— У нас проржавел молоток, — неожиданно сказала тетя.

— Это еще что? — вскрикнула оторопевшая чиновница. — Не собираетесь же вы требовать возмещения ущерба за ржавый молоток?!

— Конечно собираюсь, — подтвердила тетя. — Он был совсем новый. Недели не прошло, как купили!

Дядя поднял брови в удивлении. Он увидел, что женщины перешли в открытый бой.

— Молоток мы вам ни в каком случае не возместим! — настаивала чиновница.

— Может, мы сможем смириться с его потерей... — несмело предложил дядя. По нему было видно, с каким удовольствием он бы покинул подвал и пошел расслабиться в пивную.

Однако тетушка не собиралась так легко идти на уступки страховой компании. Как это обычно бывает: "Вот вам пара крон и больше к нам не приставайте". Она эту ситуацию уже не выдумывала, а жила ею и хотела выйти абсолютным победителем. Естественно, она понимала, что это в последний раз, и прощание должно быть незабываемым.

— Значит, за молоток и клещи вы нам не заплатите? — грозно спросила она. Дядя, заметив, что появились еще и клещи, растерянно стал стучать ногой по стене. Вид у него был как у упрямого подростка.

— Нет! — отвергла чиновница.

Тетушка опасно сузила глаза. Она повернулась к дяде:

— В таком случае расскажи, что случилось с яйцами!

Дядя уже ничего не понимал, монотонно дубасил стену и мрачнел.

— Хочешь, чтобы я рассказала? — спросила его тетя.

— Ну да... Давай, — пробормотал он.

— Хорошо. Уважаемая, если вы так уперлись из-за глупого молотка, клещей и набора отверток, то мне интересно, что вы скажете на это! Я каждый год консервирую яйца.

Чиновница насторожилась, поняв, что подошел миг главной атаки. Она втянула голову в плечи, и я ждал, когда они с тетей ринутся друг на друга.

— Ну и?.. — спросила она.

— Что "ну и"? — воскликнула тетя. — Они стояли здесь в бутылках на полках, а когда мы в суматохе сюда влетели, мой муж поскользнулся на мокрых ступенях (это она подчеркнула), схватился за полки и свалил все на пол. Что, на это страховка тоже не действует?

Чиновница тихо спросила: "Сколько?", а тетя отрезала: "Пятьсот!"

Дядя восхищенно посмотрел на нее. В его глазах читались восторг и уважение.

Потом мы вернулись в комнату. В гробовой тишине чиновница заполнила все бумаги и молча все подписала. Встала, подала дяде руку и сухо сказала: "Поздравляю!", без сомнения имея в виду тетю, а не деньги.

Когда визит закончился, дядя обнял тетю и поцеловал ее в обе щеки.

— Ты сокровище! — сказал он.

— Тебя убить мало, — вздохнула она.

* * *

Это был невероятно правдоподобный сон. Живой, цветной, широкоформатный, с долби-стерео. Была олимпиада, а прекрасный город был Римом. Я вспоминаю торжественный выход нашей команды. Мы приветствовали переполненный людьми стадион, где царила праздничная атмосфера. Руководитель нашей делегации нес государственный флаг, улыбаясь и держа его одной рукой, как детскую игрушку. Выглядели мы великолепно. С улыбками махали всем приветствующим легкими летними шляпами. В лазурное небо взмыли десять тысяч голубей мира. Тогда мне стало ясно, что я проживу десять тысяч лет и выиграю десять тысяч соревнований. Играли гимны и читали поздравления, со мной говорили президенты, мне улыбались самые красивые девушки вселенной.

Я ступал мягко, как кошка, и озарял всех вокруг своей сияющей улыбкой. Десять тысяч автографов раздал я и немного позировал перед камерой. Двух или трех девушек пришлось оттаскивать от меня силой. Одна из них потеряла сознание. Здесь были избранные со всего мира. Пару дней назад я подписал эксклюзивный контракт и имел полное право быть довольным.

Все забеги я прошел, как докрасна раскаленный нож сквозь подтаявшее масло, и теперь меня ждал финал. Я стоял на старте и рассматривал своих соперников. Чарли Браун по прозвищу Газель, как обычно, кривлялся перед публикой. Длинноногий Оле Олсен был стопроцентный аутсайдер главного забега на стометровку. Вид он имел немного оторопелый, и было ясно, что он не перестает удивляться, как вообще попал в нашу компанию. О'Брайн сидел на дорожке и, театрально наклонив голову, разминал икры, похожие на два огромных кувшина. Он жевал жвачку — впрочем, как всегда. Лис Абебе Бизила, Восьминогий Абиссинец, на мое приветствие оскалил зубы, сверкнул белками глаз на своем черно-фиолетовом лице и указал большим пальцем вниз. Все мы знали его шутки. Гарри Гаррикейн выглядел озабоченно. Наверное, все, что о нем говорят, — правда, подумалось мне. На его лице было напряженное выражение, а нерв под левым глазом пульсировал, как червяк на крючке. Он знал, что это его последний шанс.

Я был абсолютно спокоен, будто, вернувшись минуту назад из будущего, я увидел себя там — на верхней ступеньке пьедестала. Энергии у меня было на десять тысяч таких забегов. Снаряд перед выстрелом, идеально синхронизованный механизм, идеально выверенный и сложенный набор мышц, энергии и воли. Это был я.

Мы встали на старт. Я не мог сдержать улыбку. Еще секунда, и я полечу! Как стрела, как мысль, брошенная в бесконечность.

Раздался выстрел! Стадион трескался по швам от напряжения. Боковым зрением я заметил, что Гарри задержался на старте. С абсолютно ясной головой, в эйфории на грани помешательства я тремя могучими, но изящными шагами взял старт.

Моя мысль была в сто крат быстрее, чем самое быстрое движение около меня, потому все это представление мне виделось как замедленная съемка.

С середины трассы я бежал уже один. Оле Олсен отстал и сопел нам в спины, как старый, отъездивший свое паровоз. Я стал медленно вскидывать руки над головой.

Мой старт был таким мощным, что его заряда хватило бы на то, чтоб, выбежав со стадиона, облететь, как Бэтмен, несколько раз вокруг Земли, задержаться поболтать у родителей, зайти с друзьями на стаканчик и успеть на свидание. Побродить с подружкой босым по росистой траве, внимая ее запах. А затем вернуться опять на дорожку и как будто с высоты наблюдать двухметровые скачки своих элегантных ног.

Чарли Браун сдался на середине трассы. Принцесса Диана встала в своей ложе и бросила мне розу.

Рев публики достиг предела и стал мелодичным. Я понял, что они поют мое имя. Я помахал рукой, и на солнце заблестели мои перстни. Особенно тот, самый большой, который я ношу на большом пальце правой руки и который журналисты прозвали, как и меня: "Магнум I". Медленно я наклонился так, что угол моего тела составлял с дорожкой око-

ло тридцати градусов. Вдруг в одну десятитысячную секунды все вокруг взорвалось ослепительным солнечным светом, будто мне со всей силы врезали по затылку.

Я ощутил себя лежащим на раскаленном покрытии беговой дорожки. Боль была дикая, но по сравнению с чувством отчаяния, которое нахлынуло на меня, о ней не стоит и говорить. Я не мог даже двинуться с места, глаза налились горючими слезами. До цели я попытался хотя бы доползти, но у меня ничего не вышло, и, лежа без сил, я проклинал Бога.

Разлилась тишина, был слышен лишь грохот темных туч, приближавшихся ко мне с устрашающей скоростью. Я метался и кричал, бесполезно пытаясь избавиться от оков, спутавших ноги. Откуда-то издалека ко мне донесся голос. От него невозможно было укрыться, он становился сильнее и все больнее ранил мои барабанные перепонки. Из последних сил я нечеловеческим усилием посадил себя.

Я сидел на кровати и полными ужаса глазами смотрел на свои ноги, на которых лежала А. и всей своей силой придавливала их к постели.

— Где все? — спросил я.

— Никого уже нет. Не бойся, они тебя не догонят.

— Что ты, боже мой, сделала с моими ногами?..

— Тебе снился страшный сон.

— Где леди Ди?

— Спокойно, спокойно, спи. Об этом мы поговорим завтра.

Не будет никакого завтра, решил я, этого уже никогда не вернуть. Этот забег мне не дано выиграть. Я уже никогда не вернусь в Рим. Никогда. Потому что мне держала ноги моя собственная жена.

Сквозь окно мерцали звезды.

— Они очень далеко, — сказал я тихо.

— Спи уже... — зевнула А.

— Такой маленький тест, – предупредил я А. – Я тебе сейчас расскажу анекдот, над которым женщины никогда не смеются.

Больше всего мне нравится, когда мы с А. рассказываем друг другу анекдоты. Это бывает не так часто, но я б хотел, чтобы все слышали, как она преподносит пошлые анекдоты. Выглядит это примерно так:

Я: "Я не понимаю. Одни местоимения, что тут смешного?"

А.: "Все же и так понятно, разве нет?"

Я: "Что значит 'делали сам понимаешь что'?" Откуда я могу знать, что они делали?"

А.: "Не тупи!"

Я: "Что у парня выглядывало? Все время говоришь 'это'. Что – это?"

И так постоянно. Странное развлечение – слушать пошлые анекдоты без матерных слов. Иногда я говорю их за А., чтобы понять, что она хочет рассказать. А когда я сразу врубаюсь в анекдот, ее глаза светятся от счастья и в то же время бегают по сторонам – не услышал ли кто еще.

Сейчас она спросила про анекдот, над которым не смеются женщины.

– Почему это женщины его не понимают?

– Сейчас увидишь. Ты тоже не поймешь. Он слишком тонкий для женского восприятия. Это описание жизнеощущений, свойственных лишь мужчинам. Это самый лучший анекдот, какой я знаю. Зуб даю. Не просто шутка, которой улыбнешься и забудешь, а шутка на всю жизнь. Всегда свежая.

– Ну давай же, рассказывай, – нетерпеливо сказала А.

– Ну слушай! Приходит медведь к леснику и стучит в дверь. Ему открывает жена лесника и говорит: "Привет, Миша! Чего тебе?" А он топчется в дверях и несмело бормочет: "Можно попить?" Женщина отвечает: "Конечно можно! Почему же нет?" – и идет в кухню, включает воду, чтобы та стекла похолоднее. Миша топчется, оглядывается, а потом не выдерживает, заглядывает внутрь и спрашивает: "Лесник дома?" Та ему отвечает: "Нет, Мишенька, пошел на обход". "Ну, тогда добавь туда сиропа!" – просит Миша.

Молча мы посмотрели друг на друга.

– Это все, – сказал я.

– Я поняла.

– А что не смеешься?..

– Не очень смешно.

– Неправильно! Ты должна была сначала засмеяться, а потом до тебя бы дошло. Ах да... Я же говорил, что ты не поймешь.

– Я поняла, но мне не кажется, что от этого анекдота можно валяться по полу со смеху.

– А он тебе понравился?

– Ну да.

– Ты как тот американец, которому я как-то его рассказал. Он смотрел на меня с абсолютно каменным лицом. "Это был анекдот", – сказал я ему. "Yeah!" – ответил он. Понимаешь? Все, что сказал, было "Yeah!". Пойми, изюминка в том, что там особенные отношения. Миша очень милый и хороший. Жена лесника его очень любит. А что лесник? В этом и есть суть! Медведь, когда выяснил, что того нет дома, то быстро добавил про сироп. Вот о чем речь! Егерь бы тоже дал ему напиться, но ни за что не добавил бы туда сиропа. В этом суть. Это то, что парни переживают тысячу раз в жизни. Каждый из нас хочет немножко сиропа!!!

А. заснула.

Наши знакомые опять позвали нас в гости. Опять мы стояли перед их дверью и смотрели друг на друга. В этот раз А. не сказала мне: "Мы же ненадолго, да?", в этот раз она сказала вещь гораздо страшнее.

– Пообещай мне, – обернулась она с радостным лицом, – что мы там не будем ссориться!

– Ой, бля! – застонал я.

– Смотри, ты уже материшься. Я лучше вообще не пойду туда с тобой.

– Да ладно! – пытался я прийти в себя, в то время как паника уже подступила к моему сердцу.

– Не кричи здесь, – напомнила мне А.

– Если бы ты не открывала рта, мне бы и в голову не пришло кричать. Что значит: "пообещай, что не будем ссориться"? Ты этим сразу же пытаешься меня достать!

– Господи, ну ты и хамло! – отреагировала А.

На лестнице погас свет, и я вместо выключателя по ошибке нажал на звонок, так что деваться нам было некуда.

Невероятно, с какой скоростью может А. сменить выражение лица. Через секунду она уже обнималась и целовалась в дверях с людьми, к которым мы пришли в гости. Не успев разуться, уже все всем рассказала. Сразу увидела все обновки и хвалила их, и смеялась.

Все это смотрелось так, будто в гости пришла идеальная пара.

В моих же глазах сохранялся огонек гнева. Та сцена на лестнице очень меня завела. По опыту я знал, что пройдет немало времени, пока я ее забуду.

* * *

Эти наши знакомые — очень милая пара. Она говорит примерно так же быстро, как и А., а он, довольно развалившись в кресле, смотрит в сторону и спрашивает меня: "Как дела, дружище?" И так продолжается до того момента, пока вино нас не расслабит и не освободит. Затем мы уже двое, развалившись в креслах, болтаем.

А. никогда нам не дает поговорить, постоянно влезает в разговор, но к этому я уже привык.

Прошли те времена, когда я обиженно говорил: "Ну давай, продолжай, если ты такая умная!" Теперь, когда она призывает меня в свидетели: "Помнишь, как в прошлый раз..." или "Расскажи, как мы...", я вступаю в разговор и говорю, что да, так оно и было, ничему не переча. Теперь я не такой идиот, чтобы спорить.

Лучше сдержаться, иногда обращаясь к приятелю с вопросом: "Освежим стаканы, дружище?", а потом смеяться над тем, как А. меня корит: "Чего ты болтаешь?"

Временами, когда в компании я слушаю, как наши жены обсуждают нас, я не перестаю удивляться. То, что вчера было проблемой, готовой разрушить нашу семью, на таких посиделках с легкостью превращается в анекдот. О том, что происходило это со слезами и сбором чемоданов, неожиданно забывается.

Когда чья-нибудь жена со смехом повествует, как ее идиотский муж что-то нечаянно испортил дома, ее подруги восклицают: "Какая прелесть!", будто напротив сидит не бестолковый манекен с двумя левыми руками, а милый щенок с шелковым бантом на шее.

Эдакие оздоровительные моменты, когда все уходит и прощается и все скопившиеся яды превращаются в удивительно милые закуски.

Спасибо, Господи, за походы в гости!

Потом мы идем с А. домой, и она весело продолжает:

— Ты слышал, что ее муженек устроил? Я бы тебя, наверное, убила!

И я тоже смеюсь и радуюсь, что она такая милая, а я до сих пор жив.

* * *

Я зашел в гости к брату. Он все еще женат. За это мы и выпили.

* * *

Я отлично помню тот вечер, помню до малейшей детали, несмотря на то что А. посмеивается надо мной своим кусачим способом, утверждая, что "малейшая деталь" — звучит немного преувеличенно, особенно из уст человека, который, возвращаясь из пивной, налетел на мусорный бак.

Шел я тогда действительно кое-как. Расслабленно. Очень расслабленно. Сияла луна, и мне, эрудированному парню, вспомнилась родственная душа китайского поэта и почитателя вина, великого Ли Бо, и примерно в тот момент, когда я попытался положить на музыку *На замерзшей тропке скользят копыта горных коней! Не сбейтесь с дороги, счастли-*

вьми возвращайтесь!, на моем пути встал тот бак. Повалив его, я и сам свалился не особо достойным образом.

Водрузив его на место, я обнаружил, что рядом со мной стоит какое-то существо. Маленький, сморщенный мужичок, у которого давно был выработан иммунитет на гепатит, как у индийских детей, живущих на городских свалках, улыбался мне средь лунной ночи беззубым ртом.

Эта луна, этот Ли Бо и вино, которое я выпил, слились в едином образе — мужской фигуре, приятельски щурившей глаза.

Это было знамение небес. Я таки встретил на пути своего прокаженного. Подобно Франциску Ассизскому, я был той ночью подвергнут важнейшему испытанию духа.

"Я христианин!" — звучало в моей душе.

Обняв за плечи мужчину, я воскликнул:

— Я христианин, отче!

— С вами все в порядке? — тихо спросил он.

— Пойдемте, отче! — велел я ему. — Вы мой брат, и негоже, чтобы человек вашего уровня искал объедки в мусорном баке! Сегодня я хочу сидеть со своим братом за одним столом! Когда вы, отче, в последний раз ели?

Мужичок что-то прошепелявил, подхватил сумки, в которых держал свои сокровища, и приготовился идти за мной.

— Постойте! — остановил его я. — Это оставьте здесь!

Я заметил его неуверенность и даже попытку к слабому сопротивлению. Не слыша возражений, я взял его под мышки и повел к дому.

Добравшись до освещенного подъезда и внимательно его осмотрев, я удовлетворенно причмокнул. Этот нищий был без изъянов!

На нем был ободранный, ветхий и на несколько размеров меньше, чем надо, пиджак. Рубашка была очень грязная, а в смешные штаны с полосками влезли бы два таких, как он. На ногах — рабочие ботинки. Образцовый лузер, которого я в ту ночь должен был обнять и уверить в бескорыстной любви. Всю дорогу он неуверенно улыбался, медленно бредя за мной.

А. было не привыкать. Я не впервые приводил кого-нибудь с собой поздно ночью, но этот персонаж несколько ее ошарашил. По ее задумчивому взгляду было ясно, что в эту игру она вступать не собирается.

— Он пришел со мной на ужин, — сказал я ей. — А еще мы могли бы отдать ему какие-нибудь старые вещи.

Затем мы сели со старцем в гостиной, ожидая, пока А. приготовит нам что-нибудь поесть. Мой гость, немного шепелявя, пустился в рассказ о семи смертных грехах, которых человечество должно опасаться, оглядываясь при этом на А., что с ласковой улыбкой присела к нам. За все это время А. одарила меня лишь парой загадочных взглядов.

Развалившись в кресле, я чувствовал себя равным Богу.

— Ужин почти готов, пойдемте, я покажу вам ванную, чтобы вы могли умыться перед едой, — осторожно проводила его А., будто опасаясь, что по дороге он рассыплется.

Старец сполоснул руки и вернулся к столу.

Я был очень собой горд. Кто бы еще так, бескорыстно привел домой нищего на ужин? Кто в это равнодушное время ищет пути к страждущим?

— Один из смертных грехов есть гордыня, — сказал мне старец и улыбнулся А., которая поставила перед ним блюдо.

Я даже не подозревал, что в нашем доме что-то может быть таким огромным.

Еда выглядела великолепно. Это была моя любимая картошка по-французски.

Я вспомнил, что еще утром говорил о том, что мы давненько ее не ели. Гора золотистых, маслено-желтых, нежно пропеченных картофелин со всеми вкусностями, которые к ней полагаются, и гарнир из помидоров и соленых огурцов источали умопомрачительный аромат.

Старец оставил разговоры о семи смертных грехах и принялся за еду.

Я пожелал ему приятного аппетита и с нетерпением ждал свою порцию. Минут через пять я начал нервничать.

Добравшись до кухни, я спросил А. о своей доле:

— Я что, есть не буду? Что-то не так?

— Это был твой ужин, — сладким голосом ответила А. — Ты отдал его нищему. Знаешь, это очень неожиданно и приятно. Я бы в жизни не поверила, что ты на такое способен.

— Что?!

— У тебя замечательная душа, — приласкала меня А., — и я тебя за это очень люблю.

— Может, на противне хоть что-нибудь осталось?!

— Я не могу тебя не любить, — вздохнула А., будто речь шла о каком-то проигранном бое.

— Я бы противень хотя бы выскреб ложкой, — продолжал я в смятении, — понимаешь, хотя бы то, что пригорело...

Из комнаты донеслось оглушительное рыганье. А. подала мне запотевшую бутылку пива:

— Отнеси ему, пожалуйста.

— Всего один стакан? — удивился я. — А как же я?!

— Не заставляй брата ждать, — поторопила она меня ласковым тоном.

Я поставил перед старцем пиво и даже сам ему налил.

— Ваша жена — просто сокровище! — сказал он признательно, промокнув рукавом влажные губы. — Истинное сокровище...

Меня взяла оторопь. А. убрала со стола, принесла старцу кофе, открыла шкаф и стала доставать аккуратно сложенные рубашки.

— Они, наверное, будут немного велики, но если закатать рукава, то все будет в порядке.

— Закатаю! — торжественно пообещал дед.

А. засунула все рубашки в пакеты.

— Еще бы какой-нибудь свитер... — озадаченно бормотала себе под нос А. — Вот в этом вы будете просто неотразимым! — нашла она.

Меня пробил пот. Мой любимый свитер с норвежским узором!

— Правда ему пойдет? — повернулась ко мне А.

— Он будет в нем потрясающе выглядеть, — прохрипел я.

— У вас золотая жена, — сказал старик.

— Помолчи уж, — прошипел я.

— Вот это еще дадим! — решила А.

— Это не пойдет! — запротестовал я. — Это будет выглядеть на нем глупо! Не может он с надписью UCLA лезть в мусорку!

— Ну тогда хотя бы продаст, — сказала А. весело.

Я подошел к ее шкафу и повернулся к старцу.

— Вы женаты? — спросил я его коварным тоном. Старик завертел головой. Я мрачно, грустно, угрюмо сел обратно.

— Майки и трусы тоже пригодятся, — убеждала его А. и, не ожидая ответа, складывала все в сумки.

— Ну это он же не возьмет, подумай сама! — возмутился я.

— Возьму! — богатырски воскликнул старик.

— Может, подруга? Есть у вас хорошая подруга, которой вы бы хотели сделать приятное? — продолжал я безнадежно выпытывать. — Она даже не должна быть хорошей, просто любая подруга есть?

— У вас не жена, а золото.

Я поднялся и подошел к А.

— Ну все, шутки в сторону. Мне же ничего не осталось! Я понимаю, я немного перегнул палку, и ты хочешь преподать мне урок. Хорошо, он поел, сунь ему старую рубашку, и пусть идет. Ладно, я остался голодный... Попью холодной воды и пойду спать, но ты это прекрати, милая.

— Я должна ему это дать, — одержимо сказала А., — я должна это закончить за нас обоих. Иначе бы нам пришлось расплачиваться, понимаешь? Мы не можем просто играть с людьми. А ты, кстати, говорил, что ты христианин. Я понимаю, что ты не принимал это всерьез, но сейчас мне даже приятно, что я отдаю эти вещи. Мне от этого легче.

— Христианин, христианин... — ворчал я в бешенстве, но вдруг все изменилось. Я утонул в ее темных, слегка раскосых глазах, и мы, обнявшись, поцеловались.

Старик многозначительно кашлянул, будто хотел сказать: "Прекрасно, что вы так друг друга любите, а теперь давайте вернемся к делу! Хотелось бы, чтобы мне с этими дарами кто-нибудь подсобил..."

Он подобрался к нам и сказал:

— До свида́ния!

Я помог ему стащить сумки до дверей.

— У вас золотая жена, — повторил он.

— А что же я?

Старик прошуршал с пакетами во тьму. На углу оглянулся и прошамкал:

— Мы с тобой одной крови: ты и я...

* * *

После этого случая я зашел к А. и спросил:

— Где дети?

— Их больше нет, — засмеялась она.

— Как это нет? — спросил я. — Я еще не успел им все сказать! Мы даже не попрощались нормально!

— В общем, их больше нет. Смирись с этим, — сказала А.

— Но я же слышу, как они смеются в детской...

— Это они смеются над тобой... Но я не должна была этого говорить.

— Почему они надо мной смеются?

— Потому что ты возвращаешься на их место, — улыбнулась мне А. — Иди сюда, — сказала она. — Теперь, когда мы одни, ты не должен ходить

вот так. Не бойся, теперь у меня достаточно времени для тебя, – пообещала она, поправляя мне воротничок.

– Я думал, что... – выдавил я.

– Так не думай, а поцелуй меня!

– Значит, уже никогда?.. – я указал на двери.

А. покачала головой, пошла на кухню и открыла воду.

– Добавить сиропа? – крикнула она мне оттуда.

Исследования "Смерть по естественным причинам", проведенные на материале общей сложностью 2 745 249 случаев смертей, показали, что женщины значительно чаще умирают в течение недели после собственного дня рождения, а их смертность за неделю до дня рождения, напротив, падает. Из анализа следует, что эти итоги не являются результатом манипуляций со свидетельствами о смерти или датами смерти, а также не связаны с временем года, серьезными операциями или изменением ритма жизни в связи с грядущим днем рождения. В настоящее время наиболее распространено мнение, что женщины способны продлить собственную жизнь настолько, чтобы дожить до символически важного для них момента. В отличие от женщин, смертность мужчин значительно возрастает в течение недели перед днем рождения. Авторы исследования предполагают, что день рождения воспринимается женщинами как значительная жизненная веха, тогда как для мужчин – это дата, приближающая смерть.

Журнал "Практикующий врач" 73, 1993, № 4, с. 172

Ярослав Сейферт
Эссе о Праге

Перевод с чешского И. Безруковой

Три золотых дуката

Святые, изваянные в камне,
сделали больше, чем живые.

Г. Кристоф Лихтенберг[1]

Я не слишком хороший рассказчик. Когда я начинаю что-то рассказывать, то всегда слишком тороплюсь. Слова и фразы так и сыплются из меня, чтобы я как можно быстрее добрался до конца и остановился. Я точно опаздываю куда-то. Никуда я не опаздываю. Это все неопытность, а вернее — неумение. Я не чувствую деталей, на которых можно было бы отдохнуть, выполнить парочку словесных пируэтов, чтобы потом продолжать неспешно и спокойно, пока нетерпеливый читатель переводит дыхание. Я не осмеливаюсь намеренно замедлять повествование и делать паузы. Не решаюсь я и уклоняться в сторону, чтобы придать рассказу драматизм. Я попросту не умею этого делать. Вот почему я писал в основном стихи. Мне казалось, что так проще. Рассказами я не заработал бы даже на газировку. Но иногда мне все же хочется рассказывать, а для этого нужны слушатели.

Со мной не раз происходили удивительные истории, хотя никаких приключений на свою голову я не искал. Правда, многим из этих историй предшествовала пара глотков вина, ну да что же с того? Вино я любил. И без обиняков утверждаю, что этот напиток творит чудеса.

Когда-то я читал про одну святую. Имя ее я забыл. Как забыл и название монастыря, где она жила. Знаю лишь, что это была не только очень набожная, но и необыкновенно милая и добрая женщина. Толпы нищих теснились у ворот монастыря, и эта благочестивая — и вдобавок весьма привлекательная — женщина раздавала им деньги и еду. Когда же созревал виноград, она собственноручно срывала для них на монастырских стенах спелые гроздья, которые сама и растила. Но однажды виноград не уродился. Тогда благочестивая сестра принялась ходить вдоль монастырских стен и возлагать на пустые виноградные плети свою прекрасную руку с длинными нежными пальцами, руку, сложенную горстью. И там, куда она ее возлагала, появлялась отменная сочная гроздь. Все, кто собирался у монастырских ворот, получали свою часть этого чудесного урожая. И я вспоминаю об этой дивной руке, когда поднимаю бокал ви-

© ČeskoslovenskÝ spisovatel, 1982
© И. Безрукова. Перевод, 2005

1. Георг Кристоф Лихтенберг (1742–1799) — немецкий писатель-сатирик, театральный и литературный критик, ученый-физик. Прославился своими афоризмами. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

на и ищу в нем искристый огонек. Вот почему я люблю целовать женщинам руки. Ладони. Они слаще.

Итак, у меня припасена одна поразительная история из жизни. Только я сразу хочу предупредить, что не стоит относиться к ней как к анекдоту. Давным-давно в пражском Камерном театре ставили пьесу госпожи Йожи Гец. Она там над этим моим случаем посмеялась. Я не сержусь, я уже простил ее. Да и знала она далеко не все.

Однако пора начинать!

Был благоуханный прекрасный майский вечер. Мы с Богумилом Матезиусом и Йозефом Горой[1] сидели в маленьком кафе, которое отчего-то называлось "У мохнатой валторны". Дело было накануне праздника святого Яна Непомуцкого, который в те годы отмечался в Праге шумно и широко. Кафе находилось на Страусиной улице, неподалеку от огромного распятия; распятие это высилось на крохотной уютной площади, одну сторону которой составляла боковая стена храма Святого Войтеха. Я отлично помню это место. В одном из домов напротив жила до замужества моя жена, и я, бывало, поджидал ее на площади. Довольно часто на запыленной скамеечке для молитвы я видел коленопреклоненную госпожу Марию Гюбнерову[2] — перед ее вечерним спектаклем. Кажется, она обитала где-то по соседству.

Не то чтобы мы заглядывали в это кафе регулярно. Только от случая к случаю. Там два-три раза бывал Ф. Кс. Шальда[3]. Захаживал туда и поэт Йозеф Мах, который все свои стихи знал наизусть. Но только, ради бога, не подумайте, что Ф. Кс. Шальда шлялся вместе с нами из кабака в кабак. Не так-то легко нам было заманить его. А когда он, заставив себя подождать, все же появлялся, это походило скорее на визит епископа и вся наша беседа сразу принимала другой характер — торжественный и возвышенный. При этом пили мы мало. По крайней мере до тех пор, пока Шальда не уезжал на такси домой.

Дело шло к полуночи, и мы с Горой и с Матезиусом живо обсуждали проблему ударения в чешском стихосложении. Это был любимый конек Матезиуса. Он горячо убеждал нас, что когда Эрбен[4] отклонялся от правильного чередования ударных и безударных слогов, то это был совершенно осознанный замысел поэта. Тем самым, мол, он подчеркивал ритмическую красоту стиха и избегал стереотипа регулярности. Беседа наша оказалась необычайно интересной и захватывающей. Подпортило ее лишь то обстоятельство, что, так и не разрешив до конца литературоведческие проблемы, мы внезапно обнаружили, что денег у нас больше нет и еще вина мы заказать не можем. Неприятно было обрывать диспут вот так вот, на взлете.

Я уже несколько раз нащупывал в нагрудном кармане жилета шелковистую бумажку с завернутыми в нее тремя австрийскими дукатами. Скромное наследство матушкиного отца, которого я очень любил. Де-

1. Богумил Матезиус (1888–1952) — чешский литературовед и переводчик, один из виднейших ученых-русистов; Йозеф Гора (1891–1945) — чешский поэт, прозаик, переводчик и публицист.
2. Мария Гюбнерова (1862–1931) — чешская драматическая актриса, долгие годы проработавшая в труппе Национального театра.
3. Франтишек Ксавер Шальда (1867–1937) — историк чешской литературы и культуры, литературный критик, эссеист, прозаик и драматург.
4. Карел Яромир Эрбен (1811–1870) — чешский поэт-романтик, собиратель фольклора, автор сборника баллад "Букет".

душка хранил монеты не одно десятилетие и завещал их внукам. Старшим из внуков оказался я, вот почему эти три золотых попали ко мне. Мать, утирая слезы, наказывала беречь их и со временем передать моим детям. Она была искренне растрогана.

Меня так и подмывало извлечь заветный сверточек, но всякий раз я отдергивал руку от кармана. Однако в конце концов я все же поддался искушению и выложил дукаты на стол — на обозрение своим друзьям. Разумеется, тогда австрийский золотой стоил куда больше цифры, отчеканенной на самой монете с императорской головой в лавровом венке. Когда я объяснил, откуда у меня этот маленький золотой клад, Гора возмущенно велел немедля завернуть дукаты в бумажку и спрятать обратно в карман, пригрозив, что иначе расскажет моей жене о том, какой я легкомысленный: пускай, мол, сама уберет их куда-нибудь. Я послушался и засунул золото поглубже в темноту жилетного кармана. А Матезиус, добрая душа, постучал по рюмке своим обручальным кольцом, подзывая официанта, и без лишних слов положил на салфетку этот наш общий заклад. Такое случалось и прежде. Однако сейчас добавилось кое-что новенькое: Матезиус как раз разводился со своей первой женой. После недолгой оживленной пантомимы на столе появилось несколько полных кувшинчиков. Признаюсь, у меня точно камень с души свалился, и я с облегчением принялся беззаботно потягивать вино.

Когда наступила ночь и заведение почти опустело, а заложенное кольцо было пропито, мы с тоской и неохотой поднялись из-за стола. Гора жил довольно далеко, в Коширже, Матезиус, наоборот, — совсем близко, а мне предстояла долгая дорога до нового Тройского моста.

Днем проделывать этот путь пешком было не слишком приятно. Но дело происходило майской ночью, и воспламененная вином кровь придавала резвости моим ногам. Я радостно и беззаботно шагал от монастыря урсулинок по направлению к Пороховым воротам. В такие минуты я даже сочинял на ходу стихи. И именно в тот вечер мне казалось, что вот-вот родятся весьма удачные строфы. На душе у меня было как-то особенно легко и весело, хотя я и вынужден был время от времени останавливаться, чтобы передохнуть. Никогда не сомневался я в том, что до утра сумею удержать свои новые стихи в памяти, дабы с рассветом перенести их на бумагу. К сожалению, по утрам я, как правило, не помнил ни единого своего творения, зато голова противно болела.

Прага уже почти опустела. Время было позднее, а мне вдруг ужасно захотелось курить. В кармане как на грех не завалялось ни единой сигареты. Да и голод дал о себе знать. И еще напасть, самая страшная из всех, — кошмарная жажда. Напрасно обвевал меня сладостный ветерок с Петршинского холма — словно там взмахивал крылами ангел, летящий за мной над электрическими проводами. Дьявол, как известно, способен принять любое обличье. Чаще всего он прикидывается красивой женщиной, реже — льстивым златоустым Мефистофелем. Меня же он поджидал в белом фартуке ночного торговца сосисками, прилепившегося к черной каменной кладке Пороховых ворот. И почему только я не пересек улицу и не продолжил путь по другому тротуару?! Дважды прошел я мимо лотка со стоявшим на нем небольшим котлом и дважды вернулся к аромату горячих сосисок, кипевших в жирной воде. И открытую картонку с сотней сигарет я сразу приметил и жадно втянул носом воздух. Ну, а в третий раз я решительно шагнул к торговцу и спросил, не

разменяет ли он дукат. Мол, мне надо купить сосиску и сигарет. Я извлек из кармана шелковистый сверточек и вынул оттуда один золотой. Продавец взял монету, нацепил пенсне и внимательно оглядел ее при свете керосиновой лампы. Потом аккуратно спрятал мой дукат в свой кошелек и спросил, нет ли у меня еще. Я простодушно отдал ему два оставшихся. Рассмотрев их, торговец не раздумывая заявил, что покупает все три. И протянул мне засаленную и мятую двадцатикроновую купюру, сосиску с булочкой и полную горсть сигарет, которые я немедленно запихнул в карман. Затем он извлек откуда-то лимонадную бутылку и налил мне стакан крепкой вонючей сливовицы. Я хищно проглотил сосиску, закурил сигарету и залпом выпил спиртное. После чего продолжил путь домой. Две ярко накрашенные ночные пташки тихонько хихикали надо мной. Вынужден признаться, что ноги у меня несколько отяжелели, а стихи в голове умолкли. И где-то в глубине души проснулись угрызения совести. Я неторопливо побрел к Главкову мосту, а оттуда повернул к бойне. Ночь была теплой, и уже издалека я почувствовал вонь от гниющих внутренностей забитой скотины, которые иные рачительные хозяева вывозили к себе в сады, чтобы заложить в компостные кучи. Коровы, оставшиеся в вагонах, жалобно мычали. Они чуяли кровь и смерть своих сородичей. Эти жалобные причитания пугали меня. Время от времени они долетали даже до нашего дома.

Иногда я машинально запускал пальцы в жилетный карман. Разумеется, там было пусто. Совесть взывала ко мне все настойчивее.

Проходить между бойней и Голешовицким вокзалом мне совсем не нравилось. В те времена там тянулся обитый толем деревянный забор, казавшийся бесконечным. По ночам в этих местах бывало совсем безлюдно, и я научился засыпать на ходу. Правда, всего на пару минут. Но зато поистине замечательных. Я довел процесс до такого совершенства, что во время этой пешей дремоты мне даже снились сны, а просыпался я как раз в тот момент, когда ступал на булыжники улицы, по которой ходил трамвай. Оттуда до дому было уже рукой подать.

Утром после пробуждения человек обычно пытается припомнить события предыдущего вечера. Выскочив из кровати, я сразу ринулся к своей одежде. Извлек из карманов кучу сломавшихся сигарет. Обнаружил в кошельке засаленные двадцать крон, а в жилетном кармане – смятую и пустую шелковистую бумажку. Я постарался хотя бы восстановить в памяти стихи, сочиненные по дороге. Но не смог вспомнить ни одного. Поглядел в зеркало — и испугался собственного отражения. Табачная труха была даже у меня в волосах. От дукатов остались только тревожная горечь на душе да неприятный привкус сосиски и сливовицы во рту.

Жена встала раньше, чем я, и, естественно, поздоровалась со мной не слишком приветливо. Она еще не знала, что молчание бывает куда страшнее слов. Мы поженились совсем недавно, и в мечтах супружеская жизнь рисовалась ей несколько иначе. Она пока не достигла спокойной мудрости одной из своих старших подруг, которая давно уже посоветовала мужу не извиняться, не оправдываться и не клясться, а просто заказать себе маленькую карточку со следующим текстом:

Надеюсь, у тебя, милая, голова не разболится;
больше такое никогда не повторится.

Теперь он всякий раз молча кладет ее ночью на стол.

Излив на меня поток горьких упреков, жена сухо сообщила, что вчера вечером приходила моя мать и спрашивала о каких-то дукатах. И что нынче вечером она заглянет опять. У меня екнуло сердце. Торопливо покончив с утренним туалетом, я, охваченный стыдом, выбежал на улицу.

Был праздник Яна Непомуцкого, и Прагу переполняли толпы сельских паломников. Мы жили совсем рядом со Стромовкой. Выскочив из дому, я сразу направился в парк и уселся там на первую попавшуюся скамейку. В те времена аллеи еще пересекались трамвайными путями. Я погрузился в раздумья. Праздник середины мая напомнил мне об одном замечательном человеке.

В начальных классах гимназии чешскую словесность преподавал у нас учитель Кашик. Весь класс так и льнул к нему. Он нам нравился. На его уроках мы сидели не шелохнувшись, боясь упустить хотя бы слово. Привлекательный мужчина средних лет, Кашик одевался со сдержанной элегантностью. Он был симпатичным, даже, пожалуй, обаятельным. И вспомнил я о нем вовсе не случайно. На своих уроках он частенько отклонялся от темы, и тогда мы восторженно внимали его экспромтам. Святой Ян Непомуцкий не принадлежал к числу любимцев нашего учителя. Он в подробностях живописал нам полемику, развернувшуюся между Гербеном и Махаром[1], с одной стороны, и церковными кругами — с другой. Борьба против этого барочного святого выплеснулась тогда на страницы всех передовых газет. Получалось, что речь шла об элементарном обмане. Настоящий Ян Непомуцкий вроде бы снискал известность совсем не как священник, а как банкир, ссужавший священникам деньги под ростовщические проценты. А исповедь королевы и яростная ревность короля Вацлава — это, мол, всего лишь хитроумная римская легенда и подтасовка. Чудо же сохранения в целости языка святого казалось нашему учителю слишком уж мелким и ничтожным для Господнего всемогущества, ведь, согласно постулатам католической веры, у Бога есть множество возможностей доказать свое присутствие на небесах, и для этого ему вовсе не обязательно возиться с жалким языком какого-то пражского патера. Все это, дескать, объяснялось одним: хотя страна и была уже покорена, иезуиты стремились вытравить у чешского народа остатки светлой памяти о Яне Гусе и заменить этого истинного святого святым фальшивым, с пятью звездочками вокруг головы — фигурой смешной и одновременно зловещей. Говоря это, Кашик легонько постукивал костяшками пальцев по зеленому сукну кафедры, как тогда назывался учительский стол. Да, именно так все и было. "Сейферт, выйдите сюда и расскажите нам..." — и я, спеша к доске, едва не спотыкался о ступеньку перед ней.

На свежем, благоуханном воздухе Стромовки голова болеть перестала, и я, по-прежнему пребывая в состоянии легкого опьянения, которое так и не покинуло меня со вчерашнего вечера, сел в трамвай и вскоре уже пробирался сквозь толпу паломников, заполнившую двор Пражского Града. Могилу Яна Непомуцкого, находившуюся в храме Святого Вита, буквально осаждали сотни людей. Я протиснулся к самому серебряно-

1. Иван Гербен (1900–1968) — чешский журналист и политик, в разное время был редактором газет "Трибуна", "Чешское слово" и "Лидове новины"; Йозеф Сватоплук Махар (1864–1942) — чешский поэт и прозаик.

му надгробию, где среди моря цветов горели свечи. Одна служба сменяла другую. Да что там говорить, атмосфера торжественнее некуда — и я стою совсем рядом с королевской скамьей и могу напрямую обращаться к статуе святого, который преклонил колени на собственном саркофаге.

Молитва, которую я вознес к серебряному лику, была не слишком-то благочестивой. Не стесняясь в выражениях, я попытался лишить Яна Непомуцкого нимба со всеми его пятью звездочками. Я пересказал ему то, что много лет назад заронил в наши неокрепшие умы ныне уже покойный учитель Кашик. В довершение я прибавил кое-какие сведения, почерпнутые мною из "Антиклерикальной хрестоматии", где об этом несчастном святом было понаписано много всякого. И тем не менее я оставил ему шанс! В самом конце своей еретической молитвы я намекнул, что он мог бы совершить крохотное, на мой взгляд, чудо и сделать так, чтобы я получил три завещанных мне дуката назад. Это было дерзкое желание, но я дал понять, что если Ян Непомуцкий и впрямь находится среди сонма ангелов, то такая просьба для него — сущий пустяк. Кроме того, я напомнил, что моя мать очень почитает его и что после паломничества на Святую гору в нашем доме появилась фарфоровая статуэтка с пятью звездочками надо лбом, которую матушка поставила рядом со статуэткой Девы Марии, привезенной оттуда же. Обе фигурки украшают ее комод, и цветы она делит между ними поровну. Белые достаются Деве Марии, а все прочие — ему. Мне, мол, будет крайне неприятно, если она узнает, как дурно я обошелся с ее дукатами. Я взывал к его чувствам святого. Говорил, что дедушка, завещавший мне эти три дуката, тоже был набожен и наверняка молился ему. Впрочем, упоминать, как я жалею о чистом золоте, потраченном на сосиску, шибавшую в нос сливовицу и несколько сигарет, я не стал. Нет-нет, об этом я предпочел умолчать.

Моя молитва в кафедральном соборе длилась недолго и закончилась через четверть часа. Дабы она возымела надлежащее действие, я, подобно другим паломникам, еще прикоснулся к оправленной в серебро косточке святого, что хранилась под стеклом, а также перекрестился. Впрочем, весьма небрежно. Потом я попрощался со святым и по Новой замковой лестнице поспешил вниз, в город. По дороге я зашел в пивную "У Шнелу" пропустить кружечку пльзеньского. Мне страшно хотелось пить, и вдобавок я мечтал избавиться от засаленной двадцатикроновой купюры, которая жгла мне карман.

Домой я вернулся в середине дня. Жена все еще сердилась. Она молчала, не желая со мной разговаривать. Однако любопытство, неотъемлемое качество всех женщин, оказалось сильнее, и, не выдержав, она принялась делиться новостями.

— Ты не представляешь, что со мной случилось!

Я весь обратился в слух.

— Выбрала я утром в зеленной лавке овощи и протягиваю продавщице деньги. А она их пересчитывает и одну из монет возвращает мне обратно. Мол, такая не годится. Странная какая-то. Давайте другую. (Во времена Первой республики монетки в десять геллеров имели желтовато-красноватый, можно сказать, золотистый оттенок. Особенно новые.) В общем, протягиваю я ей другую денежку, а дома смотрю на ту, которую мне вернули, — а это золотой дукат!

И жена показала его мне.

— Объясни, пожалуйста, как он у меня очутился?

— Господи! — в изумлении воскликнул я. — Дай-ка сюда твой кошелек!

Я открыл его и увидел в другом отделении вторую монету, а в третьем — третью. Боже мой! Ну и шутник же этот самый святой Ян! Я выложил все три монеты рядышком на стол и рухнул на диван. Сердце у меня едва не выпрыгивало из груди. Тут кто-то позвонил в дверь.

— Это, наверное, твоя мать, — сказала жена.

Староместские куранты

В жизни нас поджидает одно разочарование за другим. Если вы не признаётесь в этом даже самому себе и не обсуждаете это с окружающими, то вы оптимист. Начинается все в детстве и продолжается до конца дней.

Одно из таких разочарований — причем достаточно жестокое — я испытал еще маленьким мальчиком. Не помню уж, по какому случаю у моего отца появилась возможность осмотреть вместе со мной Староместскую ратушу, а потом нас с ним завели еще и на башню с курантами. И господин Гейнц, знакомый часовщик со Староместской площади, который следил за курантами и чинил их, принялся объяснять нам, как устроен старинный механизм. Знаки Зодиака меня тогда еще не слишком интересовали, зато, к своему горестному изумлению, посмотрев вблизи на апостолов, которыми я всегда безмерно и почтительно восхищался снизу, с брусчатки под башней, и которых даже считал почти живыми, я увидел, что это всего лишь торсы, прикрепленные к деревянному колесу. И колесо это медленно вращается. Иисус не шагает от одного окошечка к другому, да его и вообще только половинка. Иоанн, любимец Господа, тоже был безногий, и святой Петр с серебряными ключами являл собой просто убогий обрубок, как и все прочие.

Это было разочарование, больно ранившее меня. Иллюзии рассеялись, и никогда уже не мог я глядеть на процессию в окошках с таким интересом, как прежде.

Тем не менее я и сегодня останавливаюсь возле Староместской башни и, если время еще есть, рассматриваю витрины с вовсе ненужными мне вещами в ожидании момента, когда начнется это скромное действо и богач примется позвякивать своими дукатами, а Смерть кивать и звонить, и, наконец, пропоет петух.

Разумеется, я здесь не один. Обычно рядом со мной стоит кучка иностранцев и гостей Праги. Иностранцев бывает предостаточно. Немцы, этих больше всего, французы, да и американцы с флажком в петлицах тоже попадаются. Американцы запомнились мне лучше прочих. Возможно, именно они были совсем недавно в Хьюстоне и наблюдали там за запуском ракеты на Луну. Возможно, там они были бесстрастны и их любопытство тоже было спокойным и естественным. Здесь же они живо, едва ли не с горячностью указывали друг другу на движущиеся фигурки и в волнении смотрели на механическую ежечасную процессию в синих окошках курантов.

Ах, конечно же они не догадывались, что у апостолов нет ног!

И кто же после этого осмелится утверждать, что в Праге и по сей день не происходят средневековые чудеса, таинственные и неповторимо прекрасные?..

Ключ в сугробе

Раньше мне не приходило в голову, что эту удивительную и почти невероятную историю я когда-нибудь издам в виде рассказа. Меня, можно сказать, к этому вынудили. Жена была совершенно права, когда советовала, чтобы я помалкивал о своем ночном приключении и не говорил о нем даже близким друзьям. Однако я все-таки доверился нескольким добрым знакомым. Те – разумеется, из лучших побуждений – пересказали эту историю другим, и через какое-то время она принялась возвращаться ко мне в таком искаженном и неузнаваемом виде (либо же вовсе как поклеп или анекдот), что в интересах истины я решил написать рассказ о том, как все происходило в действительности.

Незадолго до Второй мировой войны мы прожили какое-то время прямо в Пражском Граде. Нет-нет, не пугайтесь – никакого официоза, никакого пафоса. Речь идет всего только о восточной части Града, той, что располагается неподалеку от Черной башни, под Золотой улочкой. Мы занимали тогда маленький одноэтажный домик, прилепившийся к старой резиденции бургграфов. Оба здания, как и еще два домика рядом с Далиборовой башней, принадлежали земскому комитету, где работала моя жена. Однако все это было на территории Града, и люди, в основном обслуживающий персонал, говорили – причем без всякой рисовки, – что живут в Граде. Совсем неподалеку от нашего дома высилась Далиборка, знаменитая крепостная башня с прославленной темницей. Из своих окон мы любовались угрюмой Черной башней, как раз у подножия которой стоял второй домик, несколько более нарядный, чем наш, с галереей. Он стоит там и сейчас. А прямо возле входа на маленькую площадь был третий домик, тоже одноэтажный, на месте которого нынче просторный подъезд Дома чехословацких детей – так переименовали бургграфскую резиденцию, когда залы, где в течение нескольких столетий судили чехов, превратились в место детских игр. Не думаю, что решение было удачным, однако сейчас речь идет о другом.

Наш низенький домик был довольно про-

сторным. Туда вело несколько каменных ступеней, осененных старым грушевым деревом. На внешней стене между небольшими окнами комнат красовались три герба бургграфов. В том числе и гербы Ярослава Боржиты из Мартиниц и Вилема Славаты, тех самых, которые столь благополучно упали на кучу навоза в замковом рве. Как известно, вскоре после этого началась затяжная война[1]. Большие и богатые гербы придавали домику значительности, и посетители Далиборки постоянно заглядывали в наши окна. На обширном чердаке доживали свой век гигантские, хотя уже и рассохшиеся бочки для воды, давным-давно приготовленные на случай пожара. Этот самый чердак был почти вровень с брусчаткой Золотой улочки, так что прохожие могли бы запросто пинать нашу крышу. Но им это было ни к чему.

Сегодня на месте нашего дома раскинулась большая площадка со скамейками и огромными декоративными вазонами. Домик сломали, когда перестраивали восточную часть Града, а гербы перенесли к остальным, на стену резиденции бургграфов. Иногда я хожу туда — подышать. В общем, хотя жить в домике было практически невозможно, красота все искупала.

Я был не единственным писателем, обитавшим в этих местах. На Золотой улочке прожил какое-то время Франц Кафка. А непосредственно над нами занимал две крохотные комнатки Иржи Маржанек[2]. Сейчас через его низенький домик можно пройти прямиком в Далиборову башню. Да что там — сам римский император и чешский король Карл IV, тоже писатель, имел тут свое скромное жилище.

Вернувшись из Франции на родину и заняв трон после своего отца, Карл нашел Град в столь плачевном состоянии, что решил немедля привести его в порядок и перестроить, а сам на это время поселился в бургграфской резиденции. Как раз здесь и довелось императору пережить ту удивительную ночь, о которой он повествует в собственном жизнеописании. История эта известная, но мне все же кажется уместным напомнить ее.

Это не легенда или небылица — короче говоря, не выдумка. Император, как все мы отлично знаем, был человек глубоко верующий. Следовательно, лжи он чурался. Вдобавок имеется свидетель, причем свидетель в высшей степени достойный доверия, а именно дворянин Бушек из Велгартиц.

Однажды ненастной зимней ночью два этих господина вернулись в Прагу из Кршивоклата и, усталые с дороги, заснули в зале — то есть совсем рядом с нашим домиком — на своих меховых ложах. Был мороз, и в зале уютно потрескивало пламя в очаге. На столе горело несколько свечей, а на скамье возле стены стояли кувшины с вином. Всем известно, что император Карл любил глотнуть вина в компании Бушека. Мы даже читали об этом в прославленной новелле Яна Неруды[3]. Итак, очень скоро обоих сморила усталость.

Однако сон их длился недолго. В зале раздались шаги, и мужчины проснулись. Император велел господину Бушеку, лежавшему неподале-

1. Имеется в виду так называемая "дефенестрация" 1618 г., когда упомянутые в тексте императорские наместники были выброшены представителями восставших против Габсбургов протестантских чешских сословий из окна канцелярии в Пражском Граде; это событие дало толчок к началу Тридцатилетней войны в Европе.
2. Иржи Маржанек (1891–1959) — чешский драматург, прозаик, музыковед.
3. Ян Неруда (1834–1891) — чешский прозаик и поэт, хорошо знавший и любивший Прагу.

ку, взглянуть, кто же это ходит. Но тот никого не увидел. И зажег Бушек на столе еще несколько свечей, выпил вина из чаши и подбросил в камин парочку поленьев. Потом оба снова попытались уснуть, но тут — в отблесках пламени и мерцании свечей — заметили, как один из кубков на столе упал, хотя к нему не прикасалась человеческая рука. И тут же увидели, как этот кубок, с силой брошенный, летит через ложе господина Бушека в другой угол помещения и катится оттуда в центр зала. И никого. Только шаги прозвенели по каменным плитам, точно некто неведомый и невидимый опять удалился. Когда и на этот раз они никого не заметили, то осенили себя крестным знамением и снова заснули. И спокойно проспали до самого утра. Проснувшись же, увидели посреди зала опрокинутый кубок.

Сегодня, когда и милый мой друг Иржи Маржанек предстал перед Господом, я могу сознаться, что в его квартирке на Золотой улочке, куда мы частенько захаживали, не раз происходили похожие сцены. Но всегда всему находилось объяснение, и никакие кубки не опрокидывались и не летели в угол, брошенные туда пускай бы даже и видимой рукой. Да и Маржанек, хотя он и любил всяческие розыгрыши, вряд ли бы одобрил подобное поведение. От матери ему досталась красивая старинная мебель. В общем, никакой таинственности, никакой загадочности. Где там... Квартирная хозяйка была куда внимательнее господина Бушека.

Из окна нашей третьей комнатки открывался прекрасный вид. Совсем рядом были округлая кровля и темная стена Далиборовой башни, правда, ее бóльшую часть закрывали густые ветви деревьев и одичавших кустов Оленьего рва. Высоко над деревьями зеленела крыша Бельведера королевы Анны. Зрелище было изумительное, навевающее покой и меланхолию. А в мае, когда мы открывали единственное окошко комнатки, оно сразу полнилось розочками шиповника, ветви которого переплетались и цвели как раз перед окном. Это было потрясающе.

Жизнь в домике не всегда была приятной. Зимой плохо топилась печь. Дымовые трубы совсем обветшали. Да и вообще домик оказался неприятным барометром. Когда собирался дождь или же надвигалась гроза, двухметровой толщины стены сильно отсыревали. И одеяла становились влажными, а в морозы на них появлялся иней. Половицы поразил грибок. Зато летом там бывало довольно симпатично. Это жилье очень подходило моей слегка романтической натуре.

Из других окон мы хотя и видели только стену, окружавшую крохотный дворик, и кровлю дворца Лобковицев, зато прямо перед окнами росло старое раскидистое ореховое дерево, а на мощеном тротуарчике возле него было отмечено то место, где стоял некогда эшафот, на котором в числе прочих скатилась с плеч и голова рыцаря Далибора. Прекраснее не придумать! За многие века на этот эшафот взошли, наверное, десятки бедняков и попрошаек.

Домик, стоявший возле самых ворот, был хотя и меньше и темнее нашего, но зато сухой, а перед его окнами виднелся садик, где хирело несколько роз и пышно цвели летние длинноногие золотые шары. В домике жили три женщины. Бабушка, уже в преклонных годах, со своей овдовевшей дочерью, госпожой Т., которой земский комитет поручил опекать посетителей Далиборки, и с ними внучка, молодая элегантная девушка, работавшая, как и моя жена, в самом земском комитете. Мать и бабушка поочередно водили посетителей в темницу для приговорен-

ных к голодной смерти и в саму башню, в черных, мрачных, наверняка многажды проклятых стенах которой смотреть было решительно не на что — разве только на игральные карты, нарисованные кровью узников. Посетителей, особенно по воскресеньям, бывало немало, и они вытаптывали садик перед нашими окнами. Кроме травы и парочки однолетников, там росла одна желтая роза. Летом она обвивалась вокруг герба с его солнечной стороны и замечательно расцветала.

С ключом от мощных деревянных ворот, выходящих на Иржскую улицу, дело обстояло неважно. Он был гигантский. Весил не меньше килограмма. И вдобавок был очень неудобным, так что я носил его в портфеле, хотя и с большой неохотой. Нередко, задержавшись в городе, я обнаруживал, что ключа с собой не захватил. Правда, возле ворот был укреплен звонок, но ни одна из трех спящих женщин не считала своей обязанностью идти открывать мне. Особенно когда время было уже довольно позднее. К тому же звонок был старинный. Следовало дернуть за рукоятку с проволокой — и возле самого окна, где спала старушка, дребезжал жестяной колокольчик, который, наверное, было слышно даже у Матиашовых ворот.

Этого момента я всегда боялся. Открывала мне только бабушка. Она спала не так крепко, как остальные. Несмотря на то что при свете дня мы с ней общались вполне дружелюбно, по ночам я бы даже с натяжкой не назвал ее приветливой. Почему, мол, у меня нет ключа, почему я не оторвусь пораньше от стакана, ну и все такое прочее. Нет, я не утверждаю, что она была неправа. Да и ее преклонный возраст оправдывал некоторую расшатанность нервов. Особенно зимой, когда ей приходилось брести по снегу. На следующий день я, конечно, вежливо приветствовал старушку, однако она упорно хмурилась.

Поскольку это повторялось довольно часто, мою жену осенила счастливая мысль. Жен нередко осеняют счастливые мысли, однако мужья не бывают им за это особенно благодарны. Если вечером я не успевал вернуться до закрытия ворот, а кошмарный ключ висел у двери квартиры, то жена бежала и подсовывала его под толстые ворота, туда, где створка не прилегала вплотную к земле. Разумеется, с улицы заметить ключ было нельзя. Просто следовало пошарить под створкой. И все были довольны!

Итак, проблема, казалось, была решена. Но вот однажды зимой... К вечеру с неба полетели легкие хлопья снега. Они меня совершенно не обеспокоили. Однако ближе к полуночи началась метель. А поскольку Иржская улица спускалась к воротам в Черной башне и на ночь ворота закрывались, так что оставалась нараспашку лишь боковая калитка, где стояли часовые, то ветер заметал снег с улицы и с крыш прямиком к нашей стене и к нашим воротам. Когда в полночь я вернулся домой, то обнаружил возле ворот метровый сугроб, который и похоронил под собой несчастный ключ.

Какое-то время я пытался прокопаться через снег. Руками это сделать не удалось. Снег оказался сухим и по большей части тут же сыпался обратно. Портфель тоже мало помог. Он был слишком мягким. На башне собора Святого Вита пробило полночь. Мелодичный звон курантов разносился среди снежного безмолвия — и мне подумалось о Пасхе в Мадриде, когда по улицам шагают монахи в черных капюшонах. Неумолимо и зловеще. Когда они наконец прошли, я ступил в сугроб и, за-

таив дыхание, дернул за ручку звонка. Звон раздался оглушительный. Миновало несколько томительных минут. Я даже не дышал. Потом я позвонил снова. И еще несколько раз! И вот скрипнула дверь, и в промерзшем замке заскрежетал ключ.

"Как же вам не стыдно, господин редактор, – приветствовала меня старушка. – Я так крепко спала, что еле проснулась". И мне вслед полетело и настигло меня еще несколько неприятных слов, однако я уже торопился по свежему снегу к нашей двери, чтобы этих самых слов не слышать. Старая женщина даже не заперла за собой, когда исчезла в своем домике. Напрасно я рассыпался в извинениях. Она была неумолима. Она не обращала на мои слова никакого внимания. Точно вообще их не слышала.

Жена уже спала. Звонок ее не разбудил. Чтобы как-то предвосхитить ее упреки и оправдать свое позднее возвращение, я принялся горько жаловаться на старушку – как она меня отчитывала, как сердилась, как была со мной невежлива.

Жена, широко раскрыв глаза, послушала меня какое-то время, а потом придвинула к себе стул, села и отчаянно зарыдала:

– Господи, да что же ты такое говоришь? Ведь бабушка еще вчера вечером умерла и лежит себе сейчас спокойно в сенях. Посмотри, там же горят свечи!

И верно. В маленьком окошечке над входной дверью мигали тусклые желтые огоньки. И тишина стояла прямо-таки гробовая.

Что мне оставалось делать? Я разделся и отправился спать. Засыпая, я рассуждал сам с собой: то-то мне показалось странным, что в будний день на ней был нарядный жакет с черными гарусными блестками на рукавах и вороте. Обычно она надевала его только по воскресеньям, когда торопилась к обедне в собор Святого Вита. И вот почему глаза у нее так запали! А вместо лампы она держала в руке горящую свечку!..

Патрик Оуржедник

Европеана, или Краткая история XX века

Фрагменты книги

Перевод с чешского и послесловие Екатерины Бобраковой-Тимошкиной

<...>

В конце XX века люди не знали точно, когда им отмечать начало нового тысячелетия: в 2000 или 2001 году. Для тех, кто ждал конца света, это было важно, но большинство в конец света не верило, и им было все равно. Иные люди ждали конца света, но думали, что он произойдет в какой-нибудь совершенно обыкновенный день. А некоторые христиане утверждали, что на самом деле уже 2004 год, потому что Иисус родился на четыре года раньше, чем считается. А по еврейскому календарю был уже 5760 год, а по мусульманскому календарю был только 1419 год, а еще юлианский календарь отставал от григорианского, и поэтому, кстати, в 1917 году Октябрьская революция случилась только в ноябре. А буддистам тоже было все равно, потому что по буддистскому календарю был 2542 год буддошакраянской эры, и буддистов больше интересовало, кем они станут в будущей жизни, жабой или мартышкой и т. п. У буддизма и даосизма в XX веке в Европе появилось много приверженцев, которые били в гонг, и дышали диафрагмой, и рассуждали об инь и ян, и писали мистические книжки, и говорили, что мир полон чудес, но это лишь видимость, потому что на самом деле все в мире гармонично. А когда с кем-нибудь происходило чудо, он писал об этом книжку, потому что пришла информационная эпоха и каждый хотел написать какую-нибудь книжку. И больше, чем конца света, люди боялись террористических актов и аварии электронных систем, которая вывела бы из строя телевизоры и видеомагнитофоны, и микроволновые печи, и банкоматы, и аэропорты и светофоры на магистралях, и светофоры в городах и лифты в новостройках. Теракты в XX веке были очень популярны, потому что с их помощью можно было показать, что кто-то с чем-то решительно не согласен, а самым известным терактом было покушение в 1914 году в Сараево на наследника австрийского престола, которое повлекло за собой Первую мировую

Конец света

Инь и ян

© Patrik Ouředník, 2001
© Екатерина Бобракова-Тимошкина. Перевод, 2005

войну, а тем самым и открыло XX век. Авария электронных систем, о которой специалисты предупреждали граждан, называлась MILLENIUM BUG, и она могла случиться 31.12.1999 в полночь, когда дата менялась на 1.1.00, потому что большинство компьютерных программ использовало систему двузначного определения года и существовала опасность, что электронные системы идентифицируют год 2000 как год 1900, будто XX века и убийства наследника австрийского престола никогда не было.

Авария

Во время Первой мировой войны женщины играли важную роль, потому что многие мужчины воевали на фронтах, и женщины должны были вместо них работать на заводах, на общественном транспорте и т. п. Еще во время Первой мировой войны возникла военная пропаганда, потому что война была всюду, и в тылу тоже, и, чтобы она поскорее закончилась, одни люди должны были жертвовать собой без колебаний, а другие – принимать эти жертвы не раздумывая. И тогда начали сочинять плакаты, которые обращались к гражданскому населению. Австрийские женщины на плакатах говорили WIR HALTEN DURCH!, а британские женщины на плакатах говорили WOMEN OF BRITAIN SAY – GO!, а венгерские женщины на плакатах говорили HA MAJD EGYSZER MINDNYAJAN VISSZAJOENNEK!, а итальянские женщины на плакатах говорили SEMPRE AVANTI!, а французские женщины на плакатах говорили ILS SONT BRAVES, NOS GARS!, а американские женщины на плакатах говорили GEE! I WISH I WERE A MAN! I'D JOIN THE NAVY! И все это означало: не сдадимся, вперед, когда-нибудь они вернутся к нам, только вперед, наши парни не знают страха, о, если бы я была мужчиной, то пошла бы в матросы. Чуть позже на плакатах стали появляться дети, и на одном английском плакате было нарисовано яйцо, из которого вылезал ползунок с винтовкой и штыком и спрашивал: ЕСТЬ ТУТ КАКОЙ-НИБУДЬ ФРИЦ? А в министерствах просвещения размышляли, как поскорее добиться окончательной победы. И немцы рассказывали, что французы едят лягушек, а русские – маленьких детей, а французы рассказывали, что немцы едят маленьких детей и потроха. А еще женщины посылали незнакомым солдатам на фронт посылки и письма, а солдаты отвечали и хотели знать, сколько им лет. Иногда случалось, что солдат погибал, прежде чем приходило письмо, и командир потом искал кого-нибудь с таким же именем, кому еще никто не написал. Женщины отправляли письма, и работали на военных заводах, и делали бомбы и боевые газы. В Англии на военных заводах работал миллион женщин, и из них в среднем восемнадцать в день слепло, а другие умирали, отравившись газом. У

Многие мужчины воевали

Вперед

женщин, которые работали на военных заводах, были оранжевые волосы и желтые лица, и люди называли их канарейками. А врачи считали, что две трети из них после войны окажутся бесплодными. Боевые газы использовались для деморализации вражеских солдат, но пробить вражескую линию обороны газ не мог. А солдаты, которые не успели надеть противогаз, вели себя так, будто тонули. Те, кто умели плавать кролем, делали движения, как при кроле, а те, кто не умели плавать кролем, плыли брассом или по-собачьи. И старались выплыть из газа куда-нибудь, где можно было дышать.

Те, кто умели плавать кролем

До Первой мировой войны люди в городах пользовались керосиновыми лампами, а в деревнях свечками и топили углем или дровами, но это было недолго, и в города начало проникать электричество, благодаря которому в новом столетии должны были осуществиться даже самые сумасбродные мечты. Люди в деревне сначала боялись электричества и не знали, зачем оно нужно, потому что радио или граммофона почти ни у кого не было. А после Второй мировой войны, когда начали делать холодильники и стиральные и отжимальные машины и телевизоры, люди в деревне решили, что будут слушать радио и смотреть телевизор, чтобы знать, что происходит в городах, и просили правительство, чтобы оно их электрифицировало. Инженеры называли радио беспроводной телефонией, и некоторые пожилые люди думали, что радио – это как телефон и что они, купив приемник, заплатили за то, чтобы кто-то им звонил и рассказывал, где началась война. А когда они впервые смотрели телевизор, то думали, что это "волшебный фонарь", который они видели на выставке, и что кто-то из домашних, сноха или внук, крутит в соседней комнате ручку и разыгрывает их. Еще некоторые пожилые люди привыкли отвечать на вопросы, которые задавали теле- и радиоведущие; когда, к примеру, кто-нибудь по телевизору или по радио говорил: И КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧЕМ ЭТО ЗАКОНЧИЛОСЬ? – отвечали: ПОЧЕМ ЖЕ МНЕ ЗНАТЬ; или когда кто-нибудь по телевизору или по радио говорил: И КАКАЯ ЖЕ ЗАВТРА БУДЕТ ПОГОДА? – отвечали: ХОТЬ БЫ ДОЖДЬ ПОШЕЛ НАКОНЕЦ, НЕ ТО БЕДА УРОЖАЮ. Также были достигнуты большие успехи в области гигиены, потому что до Первой мировой войны люди мылись редко, и если мылись, то всей семьей в одной бочке, или всей семьей и с соседями, и т. п. У богатых людей в городах были собственные ванны, а со временем – и подача горячей воды. Но другие люди, из городов и деревень, долго боялись горячей воды, потому что думали, что в ней микробы. Они не знали точно, что такое микробы, но воображали их как нечто, не совместимое со здоровым образом жизни. И врачи

Зачем нужно электричество

проводили просветительскую работу, чтобы просветить народ, и объясняли, что в горячей воде не больше микробов, чем в холодной, хотя понять это довольно сложно. И так мало-помалу дошло до того, что люди, в том числе в деревнях, стали регулярно мыться раз в месяц, раз в две недели или каждую неделю. А в конце века люди в развитых странах мылись и принимали душ два раза в день или даже чаще, и у всех были ватерклозеты и отрывная туалетная бумага. Отрывную туалетную бумагу придумал один швейцарский производитель бумаги в 1901 году, в день, когда швейцарское правительство выдало Италии анархиста, которого подозревали в покушении на итальянского короля, и в газетах написали, что это непримечательное, но важное изобретение. А в 1914 году одна француженка придумала бюстгальтер, и в газетах написали, что изобретение бюстгальтера дарит новую жизнь женщинам, которые мечтают о более современном и спортивном образе жизни, и что отказ от корсета иллюстрирует конец старой жизни, которая была как бы зашнурована всевозможными предрассудками. А в 1935 году американцы придумали бюстгальтер с вкладными подушечками для женщин с маленькой грудью. А в 1968 году, когда женщины в западных городах выступали за права женщин, они срывали бюстгальтеры перед журналистами, чтобы показать, что права для мужчин и женщин могут быть равными. И потребление воды на одного человека поднялось с десяти литров в день до ста пятнадцати, и во всем мире начал падать уровень грунтовых вод, и грозила опасность, что через пятьдесят или сто лет воды будет не хватать.

Врачи проводили просветительскую работу

Изобретение бюстгальтера

Уровень грунтовых вод падает

В первый год или полтора войны иногда случалось, что солдаты переставали стрелять друг в друга, и на несколько часов возникало необъявленное перемирие, и солдаты вели себя так, будто войны не было. Под Вокуа у немецких солдат была дрессированная собака, которая бегала от немецких линий к английским и обратно и носила хлеб, и сигареты, и шоколад, и коньяк. У немцев были сигареты и шоколад, но не было ни хлеба, ни коньяка, а у англичан хлеба и коньяка было достаточно, а сигарет не хватало. А под Предаццо австрийские солдаты послали к итальянцам кота с карточкой, на которой было написано: ПОСЫЛАЕМ ВАМ НАШЕГО КОТА С СИГАРОЙ. Сигара была привязана к кошачьей спине куском веревки. И итальянцы выкурили сигару, а кота убили и съели. А в 1914 году под Каренси в сочельник немецкие и французские солдаты вместе пели колядки и пили за здоровье и кричали друг другу анекдоты. И немцы спрашивали у французов, правда ли, что те едят лягушек, а французы спрашивали у немцев, правда ли, что от пива растут усы. В военных штабах к необъявлен-

Солдаты пели колядки

ным перемириям относились снисходительно, потому что таким образом можно было дать солдатам отдохнуть и сэкономить на отпусках. А позже в немецком верховном командовании рассудили, что было бы жаль не использовать необъявленные перемирия в интересах справедливой пропаганды и информирования неприятеля, и начали печатать листовки и открытки, которые немецкие солдаты потом посылали через минные поля с сигаретами. В листовках было написано, что англичане помогают французам только для виду или что восточного фронта уже не существует и русская армия загнана за Урал. А на открытках были фотографии французских солдат, которые попали в немецкий плен, и у всех были загорелые лица и чистая форма.

Новый человек

Еще были люди, которые ждали XXI века и утверждали, что он открывает новые возможности для человечества и мы должны осмыслить ошибки прошлого и создать нового человека, который будет более соответствовать новой эпохе. И когда люди осмыслят ошибки прошлого, то больше не будет войн и болезней, и наводнений и землетрясений, и голодных моров и тоталитарных режимов, потому что новый человек будет динамичным, и толерантным, и позитивным. О XX веке говорили, что он был самым кровавым в истории человечества, и те, кто ждали XXI века, утверждали, что уж хуже-то точно не может быть, а другие утверждали, что хуже может быть всегда, или хотя бы так же плохо. Некоторые люди, читавшие Библию, говорили, что человечество не способно учиться и что в Библии все записано с помощью анаграмм и контаминаций, что там, например, сказано, когда кто́ на кого совершит покушение, и когда где падет правительство, и кто где будет президентом, и там написано, к примеру, про ПОЛМИЛЛИОНА ПОГИБШИХ ПОД ВЕРДЕНОМ, про ЦИКЛОН Б, про БОЛЕЗНЬ СПИД, про ПАДЕНИЕ КОММУНИЗМА В РОССИИ и отмечены все даты и события, абсолютно все, что было и что будет, но ничего нельзя знать наперед, ведь мы не знаем, что искать, а если бы знали, то нашли бы вовремя, и тогда этого события впоследствии не случилось бы, но тогда о нем не могло бы быть там написано. Они говорили, что это может звучать странно для того, кто этого не понимает, но они сами это постигли. А некоторые говорили, что конец света будет очень скоро, а другие — что не так уж и скоро. А антропологи утверждали, что конец света — важный фактор для индивидуума и общества, потому что он позволяет дать выход страху и агрессивности и смириться со смертью. А психологи заявляли, что очень важно, чтобы индивидуум мог направить свою агрессивность в нужное русло, и что лучше всего профессионально заниматься спортом,

Конец света

Психологи заявляли, что очень важно

потому что все дадут выход своей агрессивности, а мертвых будет куда меньше, чем на войне.

В немецкой армии в 1944–1945 годах воевало полмиллиона женщин, а некоторые работали в специальных отрядах по разминированию, чтобы немецким солдатам было куда отступать, а других расстреливали вражеские самолеты, которые бомбили немецкие города. И четыре миллиона женщин работали в гражданской обороне и вытаскивали трупы из-под обломков домов и отвозили их в братские могилы, чтобы не началась эпидемия. А в некоторых городах для женщин устраивали специальные курсы по сжиганию трупов. Курсы длились четыре дня и были организованы для групп по пятнадцать-двадцать слушательниц. Те учились, как обращаться с машиной для дробления костей, как закапывать яму, куда складывали останки, и как просеивать почву, чтобы на месте этой ямы потом можно было сажать деревья. Деревья имели большое значение для городов, потому что обеспечивали регенерацию кислорода, а пепел можно было использовать как удобрение для садов и огородов, потому что в Германии стало недоставать органических удобрений. Трупы в руинах домов, в которые попала бомба, часто были скрючены, а иногда два или три трупа держались за руки или обнимали друг друга, и их надо было резать пилой, чтобы разъединить. А одна женщина отказалась резать трупы, и командир бригады, занимавшейся разбором завалов, хотел предать ее смертной казни за саботаж, но солдаты, которые должны были ее расстрелять, тем временем дезертировали.

Бомбардировки городов

Регенерация кислорода

Иприт был самым действенным из всех боевых газов и постепенно вытеснил другие боевые газы – хлор, фосген, хлорпикрин, синильную кислоту или арсин, он успешно применялся еще долго после Первой мировой войны. Тем временем ученые выдумали другие боевые газы – люизит, табун, зарин, зоман. Использование боевых газов было запрещено на различных конференциях в 1899, 1907, 1922, 1925, 1946, 1954, 1972, 1990, 1992 годах. А на фронтах и в тылу устраивали учебные газовые атаки: солдаты и мирные жители учились быстро надевать противогаз и следить, чтобы в фильтр не попала земля или пыль с развалин. А в 1915 году французы придумали специальный противогаз для лошадей, а в 1922 году немцы придумали специальный противогаз для собак. А в конце века врачи придумали превентивные лекарства от отравления газом, но часто получалось так, что лекарства от отравления вызывали гепатит, и туберкулез, и мигрень, и провалы в памяти. Во время Второй мировой войны немцы производили 18 000 тонн бое-

вых газов в год, но немецкие стратеги рассудили, что использование боевых газов затормозит наступление войск, а позже — отступление войск. Немцы использовали боевые газы для истребления цыган и евреев в концлагерях и изобрели газ под названием циклон Б, который позволял убить большое количество людей быстро и дешево. Циклон Б по своему составу входил в группу дезинфекционных веществ и впервые был опробован в феврале 1940 года в концлагере Бухенвальд на 250 цыганских детях, которых чешская полиция задержала в Брно, и опыт показал, что циклон Б гораздо более пригоден для этой цели, чем другие газы.

Использование боевых газов

Большим разочарованием XX века стало то, что всеобщее школьное образование и развитие техники и культуры не привели к тому, чтобы человек стал лучше и гуманнее, как верилось в XIX веке, и что огромное количество маньяков, изуверов и серийных убийц любили искусство и слушали оперы, и ходили на выставки, и писали стихи, и изучали гуманитарные дисциплины и медицину и т. п. А среди философов чем дальше, тем больше распространялось убеждение, что в XX веке эпоха гуманизма заканчивается и начинается новая, названная эпохой постгуманизма, потому что было еще неясно, как ее определить. Историки и философы говорили, что гуманизм был письменной культурой и что он давал возможность управлять обществом как литературным сообществом, а с наступлением радио после 1918 года и телевидения после 1945 года и технологической революции этого уже нет. И что последний удар гуманизму нанесла биотехнология. А некоторые говорили, что теперь как раз все в порядке, что гуманизм был большим обманом в истории человеческого мышления, что за многие столетия он не смог оптимизировать человека. И что биотехнология предлагает новые возможности оптимизации человека, потому что впервые в истории человечества можно задуматься о пренатальной селекции. И что теперь ближайшая задача — найти соответствующий код оптимизации. А другие говорили, что это неправда, что гуманизм оптимизировал человека в том смысле, что сделал его ответственным за собственные действия, и что в этом заключался великий прогресс. Однако чем дальше, тем больше людей считало, что ответственность преодолена: ее вытеснили производительность, и действенность. И что новый человек будет не ответственным, а действующим. И что действенность — в естественном порядке вещей, тогда как ответственность — гуманистический вымысел и подмена бездействия.

Закончилась эпоха гуманизма

Как оптимизировать человека

Новый человек

После Первой мировой войны в Европе распространились коммунизм и фашизм, так как многие люди счита-

ли, что старый мир прогнил и нужно искать новые пути, что демократический режим оказался неспособным предотвратить мировую войну и капитализм спровоцировал экономический кризис. Коммунисты и фашисты говорили, что необходимо создать нового человека, который будет гордым и сильным, работящим и честным и будет обладать чувством высшей справедливости и чувством коллективизма. Высшая справедливость означала, что люди не абсолютно равны, как утверждали демократические режимы, чьи постулаты гарантировали каждому гражданину равные права. Коммунисты и фашисты считали, что права человека — это ширма, за которой скрываются интересы буржуазии, эксплуатирующей рабочих. И говорили, что нужно избавить мир от буржуазной гнили, чтобы можно было окончательно разрушить старый мир и построить новый. Фашисты говорили, что в новом мире каждый будет рабочим — так, как когда-то каждый был крестьянином, а коммунисты говорили, что в новом мире общество будет бесклассовым и в нем все будут трудиться на всеобщее благо. И еще говорили, что коммунизм — это окончательный и закономерный этап истории человечества. И что с утра люди будут заниматься физическим трудом, а после обеда — умственным. Первая коммунистическая партия возникла в Советском Союзе в 1918 году, а первая фашистская партия возникла в 1919 году в Италии, и из Италии фашизм распространился по всей Европе, потому что люди чувствовали, что политическая власть коррумпирована и многопартийная система только переводит деньги, а толку от нее никому никакого. Коммунисты и фашисты были против многопартийной системы и говорили, что многопартийность и демократия ведут к дегенерации общества и разрушению ценностей. И что когда они придут к власти, то обеспечат спокойную и счастливую жизнь всем, кроме тех, кто ее не заслуживает, и что необходимо обеспечить свободное развитие здоровому ядру общества и избавиться от паразитов, которые держатся за старый мир, потому что не способны к революционному мышлению. А в Германии возник нацизм, который выступал за расовую чистоту, и это означало, что арийцы не должны смешиваться с неполноценными расами, чтобы не испортить арийскую кровь. Арийцев можно было узнать по белой коже, по светлым волосам и форме черепа (отношение длины к ширине не более 75), и еще они были наделены духом творчества и чувством коллективизма. Нацисты говорили, что природа жестока, но справедлива. И еще говорили, что тот, кто хочет нести новые революционные идеи и ценности и высшую справедливость, должен тоже быть жестоким и справедливым. И что история — это вечный бой между правдой и ложью. И что они — это правда. И что каждый человек должен вы-

Мир прогнил

Разрушение ценностей

Чувство коллективизма

брать, на чьей стороне ему быть, потому что иначе его сметет ураган истории.

Нацисты придумали газовые камеры и циклон Б, который позволял дешево и быстро убивать большое количество людей, чтобы спасти арийскую расу от дегенерации. Нацисты считали, что арийская раса – лучшая из всех и что лучшие арийцы – это они, потому что умеют и воевать, и торговать, и веселиться от души. И говорили, что Европа переживает упадок, но они воспрепятствуют ее разложению, потому что оставить Европу в упадке до полного разложения было бы большой ошибкой. И что необходимо избавить Европу от тех, кто ни на что не годен, от цыган и славян и сумасшедших и гомосексуалистов и т. п., но прежде всего от евреев, потому что евреи хотят обесчестить Европу. И в Германии, и в оккупированных странах устраивали облавы на евреев и отвозили их в концлагеря, а там раздевали догола и отправляли в особые устройства, которые назывались "газовые камеры". Это были большие залы с одним входом и без окон, по потолку тянулись трубки, и когда люди набивались в залы, на них из трубок пускали газ, и люди задыхались. А у задохнувшихся людей вырывали золотые зубы, а с некоторых сдирали кожу и делали из этой кожи абажуры для офицеров высшего ранга и известных политических деятелей. А прежде чем послать евреев в газовые камеры, их стригли наголо, и волосами потом набивали матрасы или делали из них парики для кукол. А ученые придумали, как из жира задохнувшихся людей делать мыло для немецких солдат. К пяти килограммам жира добавляли 10 литров воды и килограмм соды, смесь варили в котле́ три часа, потом ее охлаждали так, что образовывалась пенка, которую снимали, резали и снова варили, а перед следующим охлаждением добавляли в котел специальный раствор, чтобы мыло не воняло. В Гданьске один немецкий солдат сошел с ума, потому что до войны у него была любовница, о которой он не знал, что она еврейка, и которую потом отправили в концлагерь в Освенциме, и товарищи в шутку сказали ему, будто мыло, которым он моется уже неделю, сделано из его любовницы, что они узнали это от директора гданьского анатомического института, куда привозили трупы, чтобы делать из них мыло. И этого солдата потом пришлось отправить в сумасшедший дом в Германию.

Европа в упадке

Евреи хотят обесчестить Европу

Немецкий солдат сошел с ума

Постепенно большинство верующих признали, что Библия скорее символична, нежели научна, и что с сотворением мира все не так просто, но это не имеет значения, потому что Библия, в сущности, аллегория, а аллегория есть ключ к миропорядку и судьбе человечества, и что все подчинено одной всевышней власти. И что за всем

этим наверняка что-то стоит. Некоторые создавали секты и верили во всевозможные вещи. Одни провозглашали, что человек может стать богом, верили во всеобщее воскрешение и составляли генеалогический архив, чтобы все знали, кто есть кто, когда оно произойдет. Другие не ели мяса и не пили спиртного, и не курили и ожидали скорого прихода Христа, и ждали, когда отправятся в рай, а иные верили, что в каждом человеке есть потаенный свет и что если они будут много медитировать, то Святой дух в них этот свет зажжет. А самыми известными были Свидетели Иеговы, пятидесятники и амиши, которые не признавали электричества и пользовались керосиновыми лампами и ходили в черной одежде и говорили, что технический прогресс ведет к тому, что человек отдаляется от Бога, а отдалить человека от Бога — цель Антихриста, который хочет убить душу в человеке. Свидетели Иеговы в бессмертие души не верили, но верили, что после смерти вернутся на землю и будут жить в вечном блаженстве и что вместе с ними вернутся двадцать два библейских патриарха, для которых после войны был построен большой дом в Калифорнии. И что люди забудут земные языки и будут общаться силой веры и мысли. А в конце столетия распространились апокалиптические секты, которые хотели приблизить апокалипсис и построить новый и лучший мир, куда смогут попасть только те, кто вовремя прозрел. И чем больше убывало христиан, тем больше становилось людей, которые верили, что какой-то бог существует, но нужно искать его не в христианстве. А иные люди верили, что жизнь на земле или хотя бы человек возникли в результате вмешательства неземных сил, что какие-то инопланетяне когда-то давно остановились на Земле и разбрызгали в атмосфере кислород или оплодотворили обезьяну, чтобы могло возникнуть разумное существо. А в 1954 году один американец придумал сайентологию. И говорил, что сайентология — единственный истинный путь к свободе и что он может освободить все человечество. И говорил, что мир сотворил не Господь Бог, а люди. Они сотворили его когда-то давно, в то время, когда все люди были еще бессмертными духовными существами. Потом произошло несчастье, и люди потеряли свое могущество и дегенерировали настолько, что забыли, что они бессмертные духовные существа. Но сайентология может освободить их от оков материи, пространства и времени и помочь обрести утраченное осознание самих себя, а тем самым и утраченную власть.

Всеобщее воскрешение

Бог существует

Освобождение от оков материи

<...>

После Первой мировой войны начали ставить памятники павшим воинам, чтобы о них помнили. Историки говорили, что памятники павшим воинам существовали

еще до Первой мировой войны, но только в 20-х годах они стали в западной культуре универсальным символом памяти, а скульпторы и каменотесы радовались, что у них много заказов. Памятники павшим создавались преимущественно в виде стелы или обелиска. Наверху помещался петух, или святой Георгий, или орлица, в зависимости от того, какой национальности были солдаты, посередине — воин с оружием и спокойным и решительным выражением лица, а внизу — женщины с детьми, и антропологи и этнологи говорили, что это характерно для индоевропейской культуры. Имена павших воинов обычно были выбиты в алфавитном порядке. Чаще всего на памятниках писали: РОДИНА, ГЕРОИ, МУЧЕНИКИ и ПОМНИ! Иногда на памятнике также была надпись: БУДЬ ПРОКЛЯТА ВОЙНА! А в некоторых местах ставили памятники и тем воинам, которых во время войны осудили на смертную казнь или послали в концлагерь, потому что они не хотели выполнять приказ. А в 1916 году в Ювенкуре казнили солдата, не имевшего форменных брюк и отказавшегося снять брюки с павшего товарища и надеть, потому что они были грязные и заляпаны кровью. А в 1920 году французы придумали памятник неизвестному солдату с вечным огнем, который имел большой успех в Англии, и Бельгии, и Италии, и новых странах, у которых еще не было истории, — в Чехословакии, Югославии и т. д. Неизвестным солдатом мог стать воин, которому вражеская пуля раздробила идентификационный знак, или солдат, которого завалило землей, или солдат, которого затянуло в трясину. Один бельгийский солдат у Кортрийка по колени увяз в болоте, и четверо товарищей не могли его вытянуть, а все кони погибли. А когда спустя два дня они отступали по той же дороге, солдат был еще жив, но из болота торчала только его голова, и он уже не кричал.

Индоевропейская культура

Неизвестный солдат

Кони погибли

А когда нацисты проиграли войну, страны-победительницы организовали международный суд и юристы стали думать, как назвать "окончательное решение еврейского вопроса" и всевозможные планы уничтожения цыган и славян и т. п., и придумали понятие геноцида. Историки считали, что в XX веке в мире произошло около шестидесяти случаев геноцида, но что не все из них вошли в историческую память. Историки говорили, что историческая память не является частью истории и что из исторической сферы память перешла в сферу психологическую, и это породило новый вид памяти, когда имеется в виду не память о событиях, но память о памяти. Следствием стало появившееся в людях чувство, будто они должны отдавать прошлому дань, но только непонятно, какую и кому. "Окончательное решение еврейского вопроса" потом получило название Холокост, или

Новый вид памяти

Шоа, потому что евреи утверждали, что это был не просто геноцид, а нечто иное, большее, нежели геноцид, нечто, выходящее за рамки человеческого понимания, и не желали, чтобы о Холокосте говорили как о других геноцидах, и утверждали, что это еврейская специфика, а многим людям казалось, что евреи присваивают себе геноцид, хотя жертвы любого геноцида воспринимают свой опыт как нечто выходящее за рамки человеческого понимания, а евреи подменяют историческую действительность ее репрезентацией — таким парадоксальным образом способствуя тому, что большинство людей стало представлять себе Холокост как какую-то драматическую сцену из фильма. А некоторые раввины говорили, что евреи погибли в концлагерях не случайно и не по ошибке, что произошла реинкарнация душ, нагрешивших в прошлой жизни, не сумевших остаться богобоязненными и неосквернеными. А историки говорили, что западное общество перешло от традиционного понимания истории как продолжения памяти к пониманию памяти, проецирующемуся на прерывность истории. А другие раввины говорили, что Бог во время Холокоста отвернулся, и что это не было наказание как таковое, а возвращение мира в его исходное состояние, прежде чем Бог навязал ему порядок, и тьма была над пропастью. А одна молодая еврейка пережила войну благодаря тому, что играла на скрипке на площади в Дахау арии из "Веселой вдовы". А историки говорили, что век отождествления окончательно ушел, потому что историография вступила в эпистемологическую эру.

"Веселая вдова"

<...>

Первый случай геноцида в XX веке произошел в Турции в 1915 году. Правительство посадило в тюрьму и расстреляло 600 армянских семей, которые жили в Константинополе, и разоружило, и расстреляло солдат армянского происхождения, служивших в турецкой армии. И все армяне получили приказ оставить города и деревни в течение двадцати четырех или сорока восьми часов, и турецкая армия заняла позиции у городских ворот, а когда люди вышли, то всех мужчин застрелили, а женщин и детей выслали в пустынные области Месопотамии. И женщинам и детям пришлось проделать путь в 300 километров пешком без пищи, и большинство из них погибли. А французы, и англичане, и русские послали ноту протеста, в которой впервые в истории говорилось о преступлении против человечности. А один немецкий офицер, который в ту пору был инструктором в турецкой армии, привез в Германию 66 фотографий, запечатлевших осуществление армянского геноцида, и послал их немецкому императору, и написал ему, что Германии следовало бы лучше выбирать союзников, потому что позор Тур-

Преступление против человечности

ции пал и на нее. А с 1928-го по 1949 год русские депортировали шесть миллионов граждан нерусской национальности: армян, татар, литовцев, эстонцев, украинцев, поляков, немцев, молдаван, греков, корейцев, калмыков, курдов, ингушей и т. п. И 30 % из них погибли по пути, а 20 % умерли спустя год. Коммунисты позже говорили, что это была не депортация, а оптимизация географического пространства и первый шаг к новому наднациональному обществу, в котором будет важно не кто где живет, а насколько усердно он работает на всеобщее благо. А в 1934 году они придумали резервацию для евреев и призвали всех советских евреев переехать туда. Резервация находилась на границе с Китаем в Хабаровском крае, и зимой температура там опускалась до −40°, а коммунисты говорили, что это не резервация, а автономная область, где евреи будут среди своих и будут иметь собственное самоуправление. А в 1944 году в Казахстан и Киргизию депортировали 477 000 чеченцев в 12 525 вагонах для скота, и 190 000 чеченцев погибло по пути от голода и мороза; а в 1999 году для подозрительных чеченцев придумали специальные лагеря, которые назывались лагеря для временно перемещенных лиц или лагеря беженцев. А в 1948 году журналистов, инженеров и врачей еврейского происхождения обвинили в космополитизме, сионизме и буржуазном мышлении и большинство из них убили, а остальных отправили в концлагеря. Количество жертв армянского геноцида составило приблизительно один-полтора миллиона человек, но турки говорили, что армянский геноцид был не настоящим геноцидом, и большинство евреев тоже так считало.

Лагеря для беженцев

<...>

Во время Первой мировой войны возникло множество гуманитарных организаций и благотворительных обществ, потому что Первая мировая война была со многих точек зрения новаторской, и стороны, которые в ней участвовали, имели в своем распоряжении многочисленные средства вооружения и уничтожения, а обязательная воинская повинность позволяла послать на войну большое количество солдат, а дальнобойные пушки, дирижабли и аэропланы давали возможность воевать также против гражданского населения и успешно действовать в тылу врага, чтобы сломить его волю. А в 1905 году двенадцать государств подписали заявление, в котором обязались помогать раненым солдатам вне зависимости от того, на чьей стороне они воевали, потому что солдат — это не только часть национальной целостности, но и индивидуум. Некоторые генералы с этим были не согласны, предостерегали от индивидуалистического понимания единства и говорили, что солдаты —

Благотворительные общества

сыновья родины и должны слушаться ее приказов. А пацифисты и гуманисты говорили, что индивидуум должен быть лояльным к человечеству, а не к родине — впрочем, некоторые гуманисты считали, что если родина в опасности, то она может воплощать в себе человечество. А в 1929 году разные страны подписали конвенцию, в которой обязались хорошо обращаться с военнопленными и обещали, что те смогут получать письма и посылки от родителей, и жен, и благотворительных обществ, и гуманитарных организаций. А в 1941 году советское правительство заявило, что не желает, чтобы гуманитарные организации поддерживали советских военнопленных и помогали им получать письма и посылки, и советские генералы называли пленных дезертирами, которые присвоили себе звание советского солдата, потому что советский солдат скорее умрет, чем попадет в плен. Гуманитарные организации оказывали первую медицинскую помощь, поставляли в армии лекарства и бинты и ездили с инспекциями в лагеря для пленных, чтобы убедиться, что с ними хорошо обращаются; самым известным был Красный Крест. А в 1942 году представители швейцарского Красного Креста узнали о газовых камерах в концлагерях, но решили не сообщать об этом общественности, потому что опасались, что немцы могут использовать это для дискредитации гуманитарных организаций и запретить им доступ в лагеря для пленных и в больницы. А в 1944 году немцы сняли для представителей Красного Креста и разных международных комиссий документальный фильм о жизни в концлагере в Терезине. В фильме играло 270 актеров, 1600 детей и взрослые статисты, среди которых не было блондинов, потому что блондины не похожи на евреев. Фильм назывался КАК ЧУДЕСНО БЫЛО В ТЕРЕЗИНЕ, и евреи в нем ходили в кафе, выращивали овощи на огородных участках, прыгали солдатиком в воду на пляже, ходили в банк за деньгами и на почту за посылками, слушали оперу и дискутировали в городской библиотеке о смысле европейской цивилизации. А когда съемки закончились, немцы организовали одиннадцать внеочередных транспортов и отправили всех, кто играл в фильме, в лагерь смерти Освенцим. А когда советские военнопленные вернулись домой после войны, правительство отправило их в лагеря, чтобы они искупили усердным трудом недостаток боевого духа во время войны. И если в предыдущие войны от разных болезней и эпидемий умирало в пять раз больше солдат, чем в бою, то во время Первой мировой войны, благодаря гуманитарной помощи, прогрессу в хирургии, новому оружию и т. д., соотношение погибших от болезней и погибших в бою переменилось, и это тоже было новаторством.

Красный Крест

So schön war es in Terezin

Что еще было новаторским

Коммунисты и нацисты говорили, что необходимо создать мир, который будет соответствовать естественному миропорядку. Историки и антропологи потом говорили, что коммунизм и нацизм заменили религиозную веру революционной верой и что люди обращались к коммунизму и нацизму из одних и тех же побуждений, сильнейшим из которых было чувство принадлежности к избранным, в руках которых вскоре будет находиться судьба человечества. Нацисты полагали, что грядущий гармоничный мир будет состоять из сильных, самоотверженных и солидарных личностей, что общие интересы и взаимная приязнь создадут преграду разложению, к которому привели старый мир гуманисты и просветители. Коммунисты же считали, что в новом мире любого гражданина можно будет заменить другим, и люди будут составлять монолитное и неделимое целое, и ни у кого не будет собственных интересов, потому что все будет общее, и это остановит разложение, до которого довели старый мир эгоистические интересы правящих классов. И те, и другие провозглашали необходимость террора, потому что только таким путем можно успешно бороться против демократии, которая подтачивает все и превращает людей в гомосексуалистов, анархистов, тунеядцев, скептиков, индивидуалистов, алкоголиков и т. д. И они выступали против гомосексуалистов, тунеядцев и пьяниц, и в коммунистической России дети пьяниц должны были ходить каждое воскресенье по площади с табличкой ПАПА, НЕ ПЕЙ, Я ХОЧУ ИМЕТЬ СВОЕ МЕСТО В НОВОМ МИРЕ, а в нацистской Германии пьяницы должны были ходить по площади с табличкой Я ВСЕ ПРОПИЛ, И СЕМЬЕ НИЧЕГО НЕ ОСТАЛО́СЬ. А если пьяницы не исправлялись, их отправляли в концлагеря, чтобы там они работали на всеобщее благо. В немецких концлагерях над входом был лозунг РАБОТА ДЕЛАЕТ СВОБОДНЫМ, а в советских концлагерях над входом был лозунг ДОБРОСОВЕСТНЫМ ТРУДОМ – К ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА! А вместо ДОБРЫЙ ДЕНЬ коммунисты говорили СЛАВА ТРУДУ, потому что были уверены, что труд важен и что если все будут работать, то коммунизм победит во всем мире. А люди, которые вместо СЛАВА ТРУДУ говорили ДОБРЫЙ ДЕНЬ, или ПРИВЕТ, или СЛАВА ИИСУСУ, вызывали подозрение, и соседи говорили, что они плохие патриоты.

Судьба человечества

Гомосексуалисты и т. д.

Arbeit macht frei

<...>

После Второй мировой войны в демократических странах приобрели большое значение молодые люди, потому что возникло общество потребления, и когда молодые люди видели рекламу чего-то молодежного, то хотели, чтобы родители купили им это. В обществе по-

Молодые люди

требления новые поколения детей вырастали в материальном благополучии, и у них были шапки и ботинки, и мелки́ и конструкторы, и они смеялись над родителями, которые рассказывали, как ходили в школу босиком, а шапку делили с братьями. А когда они выросли, то стали говорить, что общество потребления порабощает человека и нужно придумать новый мир, в котором никто не будет порабощен. И в 60-х годах молодые люди начали восставать против общества потребления, и порабощения, и войн, и расизма, и т. п. Сначала молодые люди начали бунтовать в Соединенных Штатах, потому что американцы в то время вели войну во Вьетнаме, были наиболее прогрессивными в потреблении, имели ванну и телефон и недолюбливали негров, тогда как молодые люди говорили, что негры — это кладезь для человечества. Война во Вьетнаме была первой телевизионной войной в истории, подобно тому, как Первая мировая война была первой радиовойной в истории, а негры в Америке не могли занимать высокие посты в армии и садиться в автобусе на не предназначенные для них места и посещать туалеты, предназначенные для белых граждан. В некоторых случаях туалетом могли пользоваться только белые граждане, а негры должны были искать какой-нибудь другой туалет, а в иных случаях туалеты были разделены на два помещения, и на одном было написано БЕЛЫЕ, а на другом ЦВЕТНЫЕ, потому что надпись НЕГРЫ могла быть для негров оскорбительной. И государственные школы были двух видов, отдельно для белых и для цветных, и карусели и лесенки на детских площадках, и стоянки и лавочки в парках, а в некоторых городах и телефонные будки. Приверженцы ассимиля́ционной иммиграционной модели говорили, что это проявление сегрегации, а приверженцы интеграционной модели говорили, что это не сегрегация, а дифференциализм и что, в любом случае, неграм лучше среди своих и в обществе белых граждан они не нуждаются.

Американцы были наиболее прогрессивными

Так неграм лучше

Когда люди перестали верить в Господа Бога, то начали искать способ выразить абсурдность мира и придумали футуризм и экспрессионизм, дадаизм и сюрреализм, экзистенциализм и театр абсурда. И дадаисты хотели покончить с искусством и делали искусство из того, из чего раньше оно не делалось: из проводов и спичек, лозунгов и газетных заголовков, телефонной книги и т. п., и говорили, что это новое и абсолютное искусство. Футуристы писали стихи, в которых было много непостижимых слов, например КАРАЗУК ЗУК ЗУК ДУМ ДУМ ДУМ, и пропагандировали нетрадиционное типографское оформление, а экспрессионисты и дадаисты писали стихи на новых, неизвестных языках, чтобы по-

Каразук зук зук

казать, что все языки равны, и понятные, и непонятные, например БАМБЛА О-О ФАЛЛИ БАМБЛА, а сюрреалисты в свою очередь пропагандировали автоматическое письмо и неизбитые метафоры, писали, например, МОЯ ВАННА ИЗ ПРОБКИ КАК ТВОЙ ГЛАЗ ЧЕРВЯКА, и объясняли почему, ведь смысл этого стиха сам бьет ключом, это одновременно физическое и метафорическое явление. Экзистенциалисты же утверждали, что метафизика в упадке и все субъективно, но объективность все-таки существует, и тут мы на неверном пути, потому что самое главное — это интерсубъективность. И что нужно, чтобы все было аутентичным, и что история и ее течение проистекают из философского вопроса: обладает ли человек способностью к подлинному общению, и если да, то история могла бы быть более осмысленной, чем до сих пор, если бы была обновлена трансцендентальная инстанция. А лингвисты говорили, что коммуникация — это вопрос способа деконструкции и что деконструировать можно разными способами. А пожилые люди говорили, что с коммуникацией плохо дело, потому что люди разучились смотреть в глаза друг другу и отводят глаза, как только столкнутся с чьим-нибудь взглядом, что сегодня люди смотрят в глаза разве что слепым.

Обновление трансцендентальной инстанции

В Первую мировую войну погибло девять с половиной миллионов мужчин и шестьсот тысяч женщин. А шесть миллионов мужчин и двести тысяч женщин стали калеками. А семь миллионов женщин потеряли на войне мужей, а девять миллионов детей — отцов. И страны были в долгах, и правительства печатали деньги, на которые ничего нельзя было купить, и инфляция росла, и в 1923 году инфляция в Германии выросла на 2,3 миллиона процентов, и одно яйцо стоило около 810 биллионов марок, а когда кто-то шел купить буханку хлеба, то вез деньги на тележке. И многие люди хотели изменить старый мир до основания и вступали в коммунистические и фашистские партии. А другие вспоминали о довоенной Европе и тосковали по временам, которые стали называть LA BELLE ÉPOQUE, или Прекрасная эпоха. Бель Эпок была порой, когда развитые промышленные страны имели всего вдоволь, и в магазинах колониальных товаров продавались экзотические овощи, и шоколад, и халва, и люди считали, что новое столетие скажет vale![1] бедности и тяжелому физическому труду и люди будут жить комфортно и гигиенично, и что обязательное школьное образование сделает человека лучше и человечнее. В Прекрасную эпоху люди были вежливее друг с другом и преступники были деликатнее и не стре-

Прекрасная эпоха

1. Прощай! (*лат.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ляли в полицейских, а молодые люди обращались друг к другу с уважением и без фамильярности и не занимались сексом до свадьбы, а если какой-нибудь парень изнасиловал в поле девицу, когда та возвращалась с работ, и она забеременела, то ребенок отдавался в приют, где о нем пеклись за государственный счет, а если какой-нибудь автомобилист переезжал курицу, то выходил из машины и платил за нее. А мужчины снимали шляпы и не глазели на женщин, с которыми не собирались здороваться, а в Англии мужчины ждали, пока женщина подаст знак, что ее можно поприветствовать, а во Франции мужчины целовали женщинам перчатки, а женщины роняли платочки, которые мужчины потом подбирали и с поклоном возвращали, и женщины не курили, потому что это считалось вульгарным, а мужчины курили виржинские сигары и трубки, и нюхали табак, и поглаживали усы. А по воскресеньям люди ходили в церковь, а люди из города ездили по железной дороге в дачную местность, и дамы носили кружевные чепцы, а господа — клетчатые бриджи, и перебрасывались в воде мячом и смеялись, а сюрреалисты и психологи потом говорили, что этот самый мяч был сексуальным символом. После войны стало больше безотцовщины и приютов и сумасшедших домов, зато нюхать табак стали меньше, потому что это негигиенично.

Почему стали меньше нюхать табак

<...>

Во времена Бель Эпок люди, сами того не зная, были расистами и интересовались неграми и папуасами и т. д., и зоосады в больших городах устраивали этнографические экспозиции с дикарями, которые сидели перед бамбуковой хижиной со шкурами вокруг бедер и мастерили разные вещи, а люди ходили смотреть, как живут папуасы, ашанте и зулусы, и бросали им конфеты и кусочки сахара. Этнографические экспозиции имели успех, потому что люди хотели видеть, как живут в других краях света, и на Всемирной выставке в Париже в 1900 году развитые страны наряду с техническими новинками и новым искусством и новой архитектурой выставляли также аборигенов из своих колоний: нубийцев, и дагомейцев, и караибов, и малайцев, и канаков. Канаки на выставке сидели перед бамбуковой хижиной со шкурами вокруг бедер и точили кремнем каменную пику, хотя прежде ни разу не держали в руках ни кремня, ни каменной пики, потому что это были младшие чиновники колониальной администрации, которых французское правительство рекрутировало в государственных интересах. А когда Всемирная выставка закончилась, Колониальный музей послал их в турне по Бельгии, Германии и Дании, а канаки писали письма директору музея и спрашивали, когда они смогут вернуться домой и заняться своей работой, но ответ все

Канаки сидели перед хижиной

не приходил, и однажды канаки сбежали из вагона, в котором путешествовали по Германии, и вернулись во Францию и тайно сели на корабль, о котором слышали, что он плывет в Новую Каледонию, но на самом деле судно направлялось в Ливан. А когда моряки нашли их в трюме и узнали, что это канаки со Всемирной выставки, то были горды, что те выбрали именно их пароход, и носили им еду, и не разрешали работать, и спрашивали, сколько в Новой Каледонии производят в год каменных пик. После Первой мировой войны этнографические экспозиции постепенно прекратились, потому что на стороне Соединенных Штатов воевали 1 700 000 дикарей, и людям они были уже не так интересны.

Моряки были горды

Молодые люди говорили, что расизм — это пережиток старого мира и что нужно придумать мир заново, и что телевизор и холодильник менее важны, чем любовь и счастье. И они не хотели слушать родителей, которые заставляли их учиться и запрещали им курить, и заниматься сексом, и носить длинные волосы, и т. п. А в 1968 году в Западной Европе начались студенческие волнения, и студенты строили баррикады, и ходили на фабрики, и убеждали рабочих в том, что необходимо изменить общество до основания, и писали на стенах СИНЕЕ БУДЕТ СЕРЫМ, ПОКА ЕГО НИКТО НЕ ПРИДУМАЕТ, и БУДЬТЕ РЕАЛИСТАМИ, ТРЕБУЙТЕ НЕВОЗМОЖНОГО, и ВСЯ ВЛАСТЬ ВООБРАЖЕНИЮ, и оккупировали аудитории и театры, и курили, и занимались сексом всевозможными способами, и дискутировали о политике. 60-е годы знаменовали важный перелом в истории, потому что царило материальное благополучие, и женщины могли пользоваться контрацептивами, и молодые люди стали важной частью общественного мнения, а постепенно и пожилые граждане стали заниматься спортом и молодежно одеваться, и заниматься сексом всевозможными способами, и высказывать неизбитые и неформальные мысли, а если кто-то не был молод хотя бы духом, то принадлежал к старому миру. А социологи утверждали, что буржуазное общество исчезло и его сменила новая форма общества, которую они называли адолесцентной[1], и говорили, что это свидетельствует о радикальном переломе в развитии западного общества и что нужно над этим задуматься. А некоторые философы утверждали, что культ молодости — одна из самых больших глупостей в истории человеческого мышления, и характерно, что его выдвинули фашисты и коммунисты, а демократические общества имели глупость перенять от фашистов и коммунистов культ молодости, но другие на это говорили, что так и нужно, что молодость, быть может, и глупа, зато ди-

Молодые люди хотели заниматься сексом

Неформальные мысли

1. Адолесцентный — подростковый.

намична и позитивна. Социологи говорили, что быть позитивным — новая ценность западной цивилизации, она заменяет традиционные гуманистические ценности, которые уже не соответствуют состоянию общества. Быть позитивным означало то, что люди должны с уверенностью глядеть в будущее, и заниматься спортом, и жить здоро́во и гармонично, и регулярно ходить к врачу, и доживать до преклонных лет, и усердно работать, чтобы на пенсии развлекаться и молодо одеваться. И никто больше не хотел быть бедным, и все хотели иметь холодильник и беспроводной телефон, и собаку, и кошку, и черепаху, и вибратор, и заниматься спортом, и ходить к психоаналитику. Католические философы говорили, что во всем виноваты протестанты, потому что они придают большое значение материальному успеху — "На Бога надейся, а сам не плошай", тогда как католики верят скорее в "Кого Господь любит, того испытует". Протестантские же философы говорили, что упадок католической церкви подтверждается тем, что она не умеет идти в ногу с эпохой, и что ментальность развивается, и что они — современны, и что их пасторы могут жениться и утолять половую страсть и благодаря этому лучше пропагандировать христианские идеи в обществе, впавшем в нигилизм. А люди в городах заводили дома собак, и кошек, и черепах, и морских свинок, потому что тварь бессловесная не предаст даже в чужом мире. И у собак и кошек были свои парикмахерские и салоны красоты, и спортзалы, и медицинские центры, и морги, и кладбища, и т. п. А американские солдаты, которые вернулись с вьетнамской войны, за свои деньги поставили памятник 4100 американским собакам, павшим во Вьетнаме за свободу и демократию. А в развитых странах появлялись фермы, которые назывались "деревенские музеи", или "деревенские уголки", и люди из городов ездили туда смотреть, как выглядит конь, или овца, или корова, или курица, потому что сельские животные постепенно исчезли из городов. И других животных тоже становилось меньше: ежей, и сычей, и квакш, и бабочек, и жуков на дорогах, и экологи говорили, что во всем виновата загрязненная атмосфера, и пестициды, и выхлопные газы, и т. п. А некоторые экологи по ночам нападали на медицинские и фармацевтические исследовательские центры, где проводились опыты на животных, и выпускали на свободу обезьян и кроликов, и хомячков и собак, и змей и лягушек. И все больше людей думали, что необходимо защищать животных, и основывали общества защиты животных и иногда переодевались в медведей или кобчиков и манифестировали на городских улицах против охотников, и против боев быков, и против научных экспериментов на животных и говорили, что убивать животных бесчеловечно. Некоторые из них были вегетарианцами и

Молодость динамична

Бессловесная тварь не предаст

питались морковью и т. п. Охотники говорили, что охотятся на животных, чтобы сохранять традиции, что традиции умирают и что в современном мире традиции важны. И каждый год какой-нибудь охотник по ошибке убивал вместо кабана другого охотника, и тогда остальные охотники скидывались и покупали вдове новую стиральную машину или еще что-нибудь полезное в хозяйстве.

Традиции умирают

<...>

В конце века мужчины курили на треть больше, чем женщины, и чаще водили автомобиль, и больше всего автомобилей на душу населения имели американцы и немцы, а греки в свою очередь больше всех курили. Женщины жили дольше, чем мужчины, и совершали меньше самоубийств, и произносили в день приблизительно в три раза больше слов, а люди в городах ездили на велосипеде, и занимались спортом, и бегали утром по улицам, чтобы прочистить легкие. Бег по утрам придумали американцы, которые обзаводились для этого блестящими штанами и обувью с воздушной подушкой, чтобы не повредить позвоночник, и в 1985 году сто тридцать пять американцев получило от бега по утрам инфаркт. Люди в конце века хотели оставаться молодыми и динамичными, но одновременно быть политкорректными и сексуально корректными, и это означало, что они не хотят соблазнять женщин и сладострастно им улыбаться и т. п. и не хотят рассказывать анекдоты о евреях и немцах и о гомосексуалистах. А некоторые женщины жаловались на своих начальников, потому что те вели с ними разговоры с эротическим подтекстом или предлагали подвезти до дома, и выражение лица при этом у них было порочное, и одному американскому адвокату пришлось в 1997 году заплатить четыре миллиона штрафа своей секретарше за то, что он насыпал ей в вырез платья шоколадное драже. А в 1998 году некоторые американцы хотели сместить своего президента, который имел некорректные отношения с одной стажеркой и трогал ее за грудь и совал ей в вагину кубинскую трубку, а она делала ему фелляцию, в то время как он говорил с представителями правительства и т. п., а американцы между тем бомбили Ирак, и иракцы говорили, что бомбежкой Америка хочет отвлечь внимание от некорректного сексуального поведения своего президента. Европейцы тоже хотели быть политкорректными, но немного менее корректными сексуально, потому что соблазнение женщин имело большую культурную традицию — прежде всего в романских странах, — тогда как Америка была более пуританской. Средний возраст граждан в демократических странах был выше, чем в коммунистических, потому что они чаще ходили к врачу и кушали свежие овощи и т. п., а в коммунистических

Женщины жили дольше

Американцы хотели сместить президента

странах граждане больше курили, потому что не могли понять, что им следует вести здоровый образ жизни и дожить до преклонного возраста, а самый низкий средний возраст был в развивающихся странах, которые назывались странами третьего мира. В развитых странах люди в конце века доживали приблизительно до 78 лет, а меньше всего жили граждане Сьерра-Леоне, которые проживали в среднем 41 год. А социологи говорили, что, согласно всевозможным критериям, лучше всего жить в Канаде и Франции. А Соединенные Штаты были на 18 месте, а Сьерра-Леоне на 187 месте. Люди в городах жили дольше, чем в деревне, и произносили в среднем в пять раз больше слов. И врачи утверждали, что при правильном образе жизни – при условии регулярного врачебного осмотра – люди могли бы доживать до 110–130 лет, а некоторые считали, что однажды человек станет практически бессмертным, и что общество станет идеальным, когда люди будут умирать только от несчастных случаев и самоубийств. Психологи говорили, что если кто-то хочет дожить до преклонного возраста, то он не должен вспоминать о прошлом и должен смотреть в будущее, потому что погружение в прошлое с точки зрения долгожительства непродуктивно, в то время как будущее полно напряжения и волнения и неизвестных величин, и люди могут представлять себе, как будет выглядеть мир через двадцать или пятьдесят лет, а психиатры говорили, что личные воспоминания все равно не соответствуют реальности, и что манипуляции с объективной реальностью – охранный механизм человеческой психики, и если бы у человека не было возможности манипулировать с прошлым, то он умирал бы гораздо раньше. Во время Первой мировой войны средний возраст в разных странах упал на 10–12 лет, однако в рабочих слоях средний возраст, наоборот, увеличился, потому что не было безработицы и рабочие и работницы, чтобы они могли лучше помогать победе, ходили к заводскому врачу и получали талоны на питание. А многие требовали, чтобы в больницах была узаконена эвтаназия, и некоторые лаборатории предлагали людям после смерти спрятать их тело в морозильную камеру и оставить там до тех пор, пока не придумают, как сделать человека бессмертным, или пока нельзя будет клонировать человека, потому что тогда было можно клонировать только личиночнохордовых и водомерок, и анкилостом и лягушек, и овец и коров и т. п. Клонированием называлась техника, которая позволяла создать из клетки генетическую копию живого организма, и это был один из способов, как достигнуть бессмертия.

Лучше всего живется в Канаде

Будущее полно волнения

<...>

Люди, которые ждали XXI века, утверждали, что исчезновение контроля за информацией означает конец

институциональной власти и последнюю фазу демократизации, потому что теперь власть будет в руках отдельных личностей или групп граждан по интересам. И что это перерастет в падение традиционной политики, и что пользователи Интернета представляют собой новый тип гражданина, который называется гражданин Вселенной, или гипергражданин. Гипергражданин был первым наднациональным и совершенно свободным гражданином в истории, им мог стать каждый, кто способен перестать мыслить по-старому и начать мыслить иначе, потому что в следующем мировом порядке работа и капитал и сырье не будут играть никакой роли. И что парламентскую демократию заменит гипергражданская демократия и каждый гипергражданин будет равен другому гипергражданину и все будут жить в интерактивном взаимодействии. А каждую неделю исчезал в среднем один язык и 35 000 гектаров леса. А 96 % населения Земли говорило на 240 языках, а 4 % населения земли говорило на 5 821 языке, а на 51 языке говорило только по 1 человеку. А в 1996 году ООН объявила программу, которая называлась UNIVERSAL NETWORK LANGUAGE[1], а многие анархисты изучали эсперанто, и в 1910 году на эсперанто вышло пособие, в котором говорилось, как организовать покушение на политических деятелей. И в 1921 году один французский анархист призвал эсперантистов-пролетариев, чтобы они вышли из буржуазных эсперантских структур и организовали свои пролетарско-эсперантские отделения. А 370 миллионов людей из 180 разных стран имели доступ к Интернету и могли коммуницировать с теми, у кого такие же или сходные интересы, и подключиться, скажем, к содружеству швейцарских матерей, которые советовали, как общаться с взрослеющими детьми, или к разным гражданам, которые духовно общались с инопланетянами и желали рассказать об этом другим гражданам, или к ученикам средней школы в Виннипеге, которые нашли на школьной экскурсии мертвую ласку и написали сочинение о жизни ласок. А коммунисты разработали специальный язык, который назывался "древовидный" и на котором следовало говорить в новом обществе до тех пор, пока не начнется общение силой революционной мысли. Лингвисты говорили, что задачей "древовидного" языка было сократить коммуникацию в общественной и внеобщественной сфере и таким образом разрушить в человеческом сознании когнитивные языковые структуры. Особенность "древовидного" языка состояла в том, что слова в нем вступали в сложную систему коннотаций, которые указывали на властные механизмы общества. Таким образом у слов отбирали исконное значение и заме-

Равенство гиперграждан

Коммуникация

1. Универсальный сетевой язык (*англ.*).

няли значением, которое было тем шире, чем выше был говорящий в политической иерархии. И когда один коммунист встречал другого коммуниста, то говорил, например: КАК У ВАС В РАЙОНЕ ПРОДВИГАЕТСЯ ЖАТВА? – а другой отвечал: МЫ ПРИЗВАЛИ ХЛЕБОРОБОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА, или: МЫ ЭНЕРГИЧНО ВЗЯЛИСЬ ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ, или: ТОВАРИЩИ ВНЕСЛИ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Сначала на этом языке говорили главным образом о работе и о политических постановлениях государства, но постепенно люди научились говорить на нем обо всем: о погоде, отпуске, телепрограммах или о том, что жена стала прикладываться к рюмочке и не ходит на собрания родительского комитета.

<...>

Конец истории

А в 1989 году один американский политолог придумал теорию о конце истории, согласно которой история закончилась в 1989 году, потому что современная наука и новые средства коммуникации позволили людям жить в благополучии, и что всеобщее благополучие – залог демократии, а вовсе не наоборот, как считали когда-то просветители и гуманисты. И что гражданин – это, в сущности, потребитель, и что потребитель – гражданин, и что все формы общества в результате развития превращаются в либеральную демократию, и что либеральная демократия, в свою очередь, приведет к исчезновению всех авторитарных форм правления и к политической и экономической свободе, и равенству, и новому веку в истории человечества, который, однако, уже не будет историческим. Но многие люди не знали об этой теории и делали историю дальше как ни в чем не бывало.

Смех утомленного интеллектуала

Патрика Оуржедника можно с полным правом назвать представителем "французской" ветви современной чешской литературы — наряду с сюрреалисткой и культурологом Верой Лингартовой, знаменитым писателем Миланом Кундерой и другими. Француз по матери и чех по отцу, он в совершенстве владеет обоими языками. С 1985 года Оуржедник живет во Франции, где редактирует раздел литературы в ежеквартальном журнале "L'Autre Europe" ("Другая Европа"), пишет словарные статьи для чешской "Encyclopedie Universalis" и "Словаря литературных произведений", выходящего в издательстве "Robert Laffont". Ему принадлежат многочисленные переводы — как с французского языка на чешский (Б. Виан, С. Беккет, Ф. Рабле, Р. Гари и др.), так и с чешского на французский (В. Ванчура, Б. Грабал, поэзия В. Голана, Я. Сейферта, Я. Скацела, И. Груши). В чешской среде Оуржедник блеснул еще в 1992 году благодаря ставшему библио-

графической редкостью словарю арго и обсценной лексики "Гроссбух чешского языка" (1992). Также в Чехии вышли его путеводитель по библеизмам (метафорам, поговоркам и пословицам) "Нет ничего нового под солнцем" (1994), два поэтических сборника — "Или" (1992) и "Скажу ли" (1996) и коротенькое экспериментальное биографическое эссе "Год двадцать четыре" (1995). А в 2001 году его книга "Европеана, или Краткая история XX века" заняла первое место в анкете газеты "Лидове Новины" для критиков и литераторов "Книга года", покорив чешских интеллектуалов не свойственной местной эссеистике европейской стилистической легкостью в сочетании с традициями национальной литературы и окончательно заморочив голову книгопродавцам. Чтобы купить бестселлер Оуржедника в пражском книжном магазине "Академия", нужно подняться на второй этаж — в раздел книг по истории XX века. А во "Дворце книг" этот тоненький томик можно найти на полке с беллетристикой.

Действительно, нелегко однозначно определить жанр этой экспериментальной прозы, балансирующей на грани художественного повествования и эссеистики. Подзаголовок ее, в сущности, анафраза, ибо от поэта, переводчика и лингвиста Оуржедника трудно ожидать учебного пособия по истории. Собственно, позитивистского линейного изложения исторических фактов мы и не встретим. Традиционная нить повествования под пером автора превращается в сеть, паутину. На отдельные факты, как бусинки, нанизываются другие, связанные с ними ассоциативно. Да, историю можно рассказывать и так. Именно так отвечает урок у доски десятилетний школьник: отсутствие обобщений, зацепки за какие-то конкретные и шокирующие факты и цифры и, в результате, неосознанная мудрость вывода.

Оуржедник, написавший на первый взгляд "нелогичную" в контексте его творчества книгу, на самом деле удивительно последователен, познавая и описывая окружающий мир через язык. По словам самого автора, книга задумывалась как стилистический эксперимент на благодатном материале — истории XX столетия. При этом XX век для него — прежде всего риторическая фигура, эмблема, а не реальное время с реальными надеждами, бедами и горестями. В книге говорится не столько о войнах и революциях, сколько вскрывается риторика эпохи. Не случайно часто повторяется формула "говорили... полагали... провозглашали..." XX век встает перед нами не как последовательность исторических событий, а как совокупность исповедей, убеждений, лозунгов, символов и концепций. Идеология фашизма и изобретение бюстгальтера, геноциды и поэзия футуризма, сексуальная революция и искусственные языки общения становятся явлениями одного порядка. Подлинные факты перемежаются с анекдотами наподобие тех, которые рассказывал всем известный Швейк, и сами пропитываются этой заразой, обрастая нелепыми деталями и теряя связь с реальностью. Ирония подчеркивается пометками на полях текста, призванными будто бы помочь ориентироваться в тексте, а в действительности — вырывающими из контекста наиболее абсурдные фразы. Автор не щадит ничего, включая постмодернистскую концепцию "конца истории".

Реакция на "Европеану" в Чехии была неоднозначной — рецензенты высоко оценили ее художественные достоинства, но предлагали часто противоположные трактовки. Кроме рассуждений о роли языка в познании и создании реальности, для некоторых (например, для философа Вацлава Белоградского) она стала поводом задуматься о попытках оптимизировать человека на протяжении всего XX века и их крахе. Иные рецензенты восприняли содержание книги убийственно серьезно, признав в ней прежде всего маргинальный учебник — пародию на (псевдо)научное изложение, пестрящее фактами, цифрами и пометами на

полях, и оценив глубокий гуманистический пафос творения. Их можно понять. Деконструируя XX столетие, Оуржедник, пусть даже невольно, предлагает нам неприглядную картину (и предстает перед нами циником, для которого нет ничего святого). Проклятый век, где одно безверье сменяется другим, где попытка улучшить человеческую жизнь оборачивается гуманитарной катастрофой, где развитие способов коммуникации никак не мешает исчезать человеческим языкам, а людям — становиться все более разобщенными и одинокими, где человечество не учится на своих ошибках. Где, несмотря на все это, жизнь все-таки идет своим чередом. Сам автор в интервью чешским газетам и журналам возражал против подобного понимания, то ли в шутку, то ли всерьез попрекая критиков забытым филологическим наследием: при сильной традиции формализма в Чехии внимание к содержанию и полное равнодушие к форме по меньшей мере странно.

Впрочем, навязывать трактовку — дело неблагодарное. Несомненно одно: Патрик Оуржедник, более всего ценящий в любом деле смех ("научный труд без шутки, что роза без бутонов"), неплохо повеселился в процессе собственного стилистического эксперимента и подарил нам задорную, свежую книжку. Тон ее заразителен — мало кто из рецензентов удержался от соблазна "поиграть в Оуржедника" и спародировать стиль "Европеаны" в своих отзывах. Прочитав первые несколько фраз, хочется отдохнуть от оптимизаций, дискурсов и вербализаций, удобно устроиться с книжкой на диване и от души посмеяться над тонкими остротами и парадоксальными выводами, над тем, что знакомо нам под именем прошедшего столетия.

Ярослав Шимов

История как публицистика и публицистика как история

О том, как чешские литераторы создали свой народ

Случилось так, что чехи во многом вынуждены были если не *вы*думывать, то по крайней мере *до*думывать собственную историю, а отчасти и собственную культуру. Это довольно обычное явление в Центральной и Восточной Европе, где естественное историческое и этнокультурное развитие многих народов то и дело прерывалось разного рода катастрофическими событиями, в первую очередь иноземными вторжениями. Для чехов таким вторжением стал поход войск германского[1] императора Фердинанда II Габсбурга против непокорных сословий королевства Богемии в 1620 году, завершившийся битвой на Белой горе в окрестностях Праги. Армия, с бору по сосенке собранная богемской шляхтой и пражскими горожанами, битву проиграла, а мстительный Габсбург развернул в королевстве кампанию репрессий. Полетели головы зачинщиков мятежа, тысячам протестантов, бывших его главной движущей силой, был предложен выбор — переход в католичество или эмиграция с потерей всего имущества. Большинство предпочло второе, в результате чего наиболее образованный и культурный слой чешского общества понес катастрофические потери. Земли изгнанников император раздавал пришлым дворянам из католических стран — Австрии, Италии, Испании, Португалии и даже Ирландии, в результате чего понятие "чешская аристократия" навсегда ушло в прошлое, ибо пришельцы, как правило, не интересовались культурой своих подданных, говорили по-немецки — на языке венского двора, а появившийся у их потомков местный патриотизм был региональным, то есть богемским или моравским, но никак не национальным, чешским. Началась двухсотлетняя doba temna (эпоха тьмы), период почти полного исчезновения чешской "высокой" культуры и упадка культуры народной.

Все это было так... и не так. Вышеописанные события (вернее, не сами события, а именно способ их описания) можно с равным успехом считать как исторической правдой, так и историческим мифом. В истории, как известно, очень многое, да что там — почти всё, зависит от расстановки акцентов. А акценты эти в новой чешской истории расставляли "будители" — поколение национально ориентированных просветителей, литераторов, филологов и историков, которое появилось в первой половине позапрошлого столетия и успешно привило свой, как сказали бы сегодня, дискурс всему чешскому обществу. За рамками этого сугубо национального дискурса остались многие примечательные явле-

© Я. Шимов, 2005

1. Точнее, "римского", так как государственное образование, во главе которого стояли Габсбурги, тогда именовалось Священной Римской империей германской нации.

ния – от философских трактатов пражского иезуитского кружка до расцвета позднего барокко в городах Богемии, Моравии и Силезии, от развития в конце XVIII века системы начальных школ – не только немецких, но и чешских! – до того факта, что богемская шляхта "отомстила" Габсбургам за Белую гору, переметнувшись во время войны 1740–1745 годов на сторону баварского курфюрста Карла, неприятеля венского двора... Да и сама трагедия у Белой горы была не столь однозначным событием. Как отмечал в 20-х годах XX века известный историк Йозеф Пекарж, в случае победы протестантской стороны чешским землям тоже угрожало бы политическое и культурное поглощение – только не южноевропейской, католической, а североевропейской, протестантской, стихией. И чехи точно так же попали бы в поле притяжения могучей иноземной династии – но не австрийской, а прусской, шведской или датской.

Однако все эти тонкости не очень интересовали патриотически настроенных литераторов, оказавших в XIX веке решающее влияние на формирование сознания чешского народа. Не будет большим преувеличением сказать, что именно они и придумали современный чешский народ, – конечно, с учетом немаловажных корректив, внесенных в бытие и сознание чехов перипетиями XX столетия. "Будители", апологеты романтической традиции, заметно отличались от первого поколения чешских просветителей – рационалистов-прагматиков вроде составителя первого толкового словаря чешского языка Йозефа Добровского (1753 – 1829), для которого "чешский язык и культура были интересным с научной точки зрения предметом исследования, однако в жизнеспособности и успешном развитии чешского национального движения Добровский не был уверен"[1]. Как и всякая национальная идентичность, чешская формировалась, отталкиваясь от истинных или чаемых различий между собственным народом и "значимыми другими" народами, в силу исторических и культурных причин занимавшими наиболее заметное место в сознании чехов. Для них это были в первую очередь немцы и русские. Тем и другим уделено немало внимания в сочинениях "будителей".

Франтишек Палацки, публицист, историк и просветитель, в письме либеральным депутатам Франкфуртского парламента (1848 г.), звавшим его принять участие в политическом обновлении Германии[2], писал, обосновывая причины своего отказа: "Я – чех, из славянского племени, и все немногое, что имею и могу, отдал полностью и навсегда на службу моему народу. Это народ хоть и малый, но испокон веков особый и самостоятельный. Его государи издавна входили в союз князей немецких, народ же никогда не считал себя частью немецкой нации... С той же обидой, с какой многие в Германии считают меня противником немцев, многие в России полагают, что я – противник русских. Ничуть... [Однако] сама возможность появления универсальной русской монархии вряд ли может иметь более откровенного противника, нежели я; не потому, что это была бы монархия русская, а потому, что она была бы универсальной"[3]. И хотя, в отличие от германофильского, русофильское

1. Z. Šolle. Století české politiky. Od Palackého k Masarykovi. Praha, 1998. S. 13.
2. Чешское (Богемское) королевство в то время входило в состав не только Австрийской империи, но и более широкого Германского союза.
3. F. Palacký. Psaní do Frankfurtu / Český liberalismus. Texty a osobnosti. Praha, 1995. S. 36–37.

течение в чешской культуре и политике было достаточно сильным вплоть до Октябрьской революции[1], однако в сознании чешского общества доминировал разработанный Палацким, его единомышленниками и последователями либерально-националистический дискурс, согласно которому чехи — "народ малый, но испокон веков особый и самостоятельный", не склонный ни к чреватому ассимиляцией тесному сближению с немцами, ни к идеям панславизма, ведущим славянские народы Восточной Европы и Балкан в объятия огромной и малопонятной России. Национальная политика Габсбургов, ставивших своих немецких (австрийских) и венгерских подданных в политически более выгодное положение, чем славянских, лишь способствовала утверждению такой версии чешской национальной идентичности.

Народу "особому и самостоятельному" нужны были собственные легенды и предания, древности и памятники старины, свои "Слова о полку Игореве" и "Оссиановы песни". Не важно, подлинные или выдуманные, главное — чтобы они удачно вписывались в "будительские" представления о прошлом и исторической роли чешского народа. Последний момент весьма существен, ибо в принципе чешская культура — одна из древних по европейским меркам: первое крупное государственное образование с развитой материальной и духовной культурой — Великая Моравия — существовало на территории нынешних Чехии, Словакии и части Венгрии еще в VIII—IX веках. Однако древности сами по себе не интересовали романтиков национального возрождения: они нуждались в идеологически "правильных" памятниках. И в конце XIX века предметом оживленных дискуссий становятся Краловедворская и Зеленогорская рукописи, "найденные" и опубликованные в 1819—1820 годах поэтами и филологами Вацлавом Ганкой и Йозефом Линдой. Рукописи, плод фантазии двух поэтов, представляли собой довольно качественную для той эпохи имитацию средневековых летописей, наполненных, однако, вполне современным для Чехии XIX столетия национально-освободительным и антигерманским пафосом. Оба автора до своей смерти настаивали на том, что рукописи действительно датируются ранним Средневековьем.

"Находки" Ганки и Линды сыграли заметную роль в подъеме национального самосознания чешской интеллигенции. "Народ чешский ликовал в связи со столь великолепным открытием, — писал один из лидеров национального возрождения Юлиус Грегр. — Ведь тем самым было доказано, что еще в далеком прошлом этот народ находился на высоком культурном уровне. Краловедворская рукопись стала несомненным свидетельством тому, сколь древней является чешская культура..."[2] Поэтому проведенные в середине 80-х годов XIX века профессором-лингвистом Яном Гебауэром исследования, аргументированно доказавшие

1. И в определенной мере сохранилось после нее, если считать модернизированной версией прежнего русофильства "советофильство" чехословацкой левой интеллигенции 20—40-х гг. К ней принадлежали и многие ведущие чешские писатели той эпохи — Витезслав Незвал, Иван Ольбрахт, Константин Библ, будущий лауреат Нобелевской премии Ярослав Сейферт и др. О том, насколько сильны были просоветские и просталинские настроения в интеллигентской среде предвоенной Чехословакии, свидетельствует хотя бы популярность написанного поэтом-коммунистом Станиславом Косткой Нойманом памфлета "Анти-Жид, или Оптимизм без суеверий и иллюзий" (1936) — ответа на критическую по отношению к советским порядкам книгу Андре Жида "Возвращение из СССР".
2. Цит. по: P. Kosatík. Sen o rukopisech // Týden, 2003. Č. 30. S. 69.

художественный, а не исторический характер рукописей и их современное происхождение, вызвали у чешской элиты негодование. Вслед за Гебауэром нападкам младочешской[1] интеллигенции подвергся и молодой профессор Томаш Масарик, опубликовавший в 1886 году в журнале "Атенеум" несколько статей в защиту Гебауэра. Масарика обвинили чуть ли не в национальном предательстве. Он защищался, указывая на приоритет научной истины перед идеологическими соображениями.

Ирония судьбы, однако, заключалась в том, что именно Масарик, будущий первый президент Чехословакии, философ, историк и публицист, впоследствии сделал очень многое для закрепления и развития таких представлений об истории, психологии и культуре чехов, которые далеко не всегда соответствовали их подлинным традициям, национальному характеру и той самой исторической истине, которую профессор так горячо защищал на страницах "Атенеума". Зато эти представления вписывались в близкую чешской интеллигенции концепцию идентичности чехов как народа не просто "особого и самостоятельного", но и верного традициям демократии, гуманизма и христианского братства. Еще Палацки отводил роль носителей таких традиций — а значит, культурно-исторического и морального ориентира для чешского народа — Яну Гусу и гуситам с их протестантским протокоммунизмом. "Будители" сильно осовременили наследие гуситов, придав ему актуальный для XIX (но никак не для XV!) столетия романтический национально-освободительный оттенок. В одной из своих наиболее известных работ — "Ян Гус" — Масарик отшлифовал постулаты новой национальной идеологии, критикуя одновременно либералов и радикальных националистов: "Гуманистический чешский идеал имеет своим историческим основанием нашу (гуситскую. — *Я. Ш.*) реформацию, а не французскую революцию... Кто хочет мыслить и чувствовать по-чешски, должен понять эту разницу... Спустя 400 лет внутренней борьбы, разброда и несамостоятельности мы вернулись к духовным истокам нашей реформации... Наши просветители основывали национальную идею на религиозном гуманизме; наш либерали́зм, однако, как и везде, довольствуется лишь национальным эгоизмом, который, как мы видим повсюду, ведет лишь к негуманности, к подавлению языка и национального сознания иных народов... Мы должны наконец начать жить позитивно и без боязни идти своим чешским путем. Только так мы сможем избавиться от страха перед собственной малостью, который как червь точит изнутри чешскую душу..."[2].

Как видим, будучи реалистом (кстати, небольшая политическая партия, точнее интеллигентский кружок, основанный им в 1900 году, назывался "реалисты"), Масарик не мог не понимать, что его представления о собственном народе — это скорее наброски того, какими чехи могли бы быть — и, по мнению Масарика, должны были быть, — нежели отражение того, каковы они есть. Программа Масарика была своего рода на-

1. Младочехи (официальное название — Национально-либеральная партия, Národní strana svobodomyslná) — одна из наиболее влиятельных политических партий в чешских землях в конце XIX — начале XX вв. Объединяла представителей чешской националистически настроенной интеллигенции, служащих, предпринимательских кругов. Основана в 1874 г. В 90-е гг., одержав победу над старочехами (Национальной партией), стала крупнейшей чешской политической группировкой. В начале XX в. постепенно утрачивала влияние. После образования Чехословакии (1918) идеологической преемницей младочехов стала Национально-демократическая партия.
2. T. G. Masaryk. Jan Hus. Naše obrození a naše reformace. Praha, 1903. S. 118–123.

циально-демократической утопией, которая, однако, после 1918 года фактически стала идеологией новорожденной Чехословакии. Сам же ее первый президент превратился почти в полубога, стоявшего не во главе государства, а скорее *над* ним. Впрочем, если повнимательнее присмотреться к наследию "батюшки" (именно так — Tatíček — называли президента в межвоенной Чехословакии), то можно обнаружить двух Масариков. Один провозглашал (устами Карела Чапека, ставшего "евангелистом" президента: его "Беседы с Масариком" представляют собой подробное изложение взглядов последнего, своего рода многотомную проповедь[1]): "Всякая разумная и честная политика есть реализация и укрепление принципов гуманизма. Политику, как и все, что мы делаем, следует подчинять этическим принципам. Политику, как и всю жизнь человека и общества, я не могу понимать иначе как sub specie aeternitatis[2]"[3]. Другой же Масарик был умным и расчетливым политиком, не чуждым макиавеллизму (хотя в этом он, возможно, не признался бы и самому себе), умевшим в случае необходимости "надавить авторитетом", стравить между собой противников и ловко использовать политику кнута и пряника.

В этом отношении Tatíček действительно был плоть от плоти своего народа, ибо для чешского сознания той эпохи характерна такая же двойственность. Она проистекала из противоречия между "будительской" традицией, которая высоко подняла планку требуемого от чехов морального совершенства, и реальностью, в которой весьма частыми оставались проявления столь удручавшей Масарика "чешской малости". Можно сказать, что на протяжении большей части XIX и начала XX века национальному романтизму в Чехии упорно противостоял критический (а то и скептический) реализм, если понимать оба не как наименования художественных стилей, а шире — как способы мироощущения. С одной стороны возвышалась благородная Бабушка из одноименного романа Божены Немцовой, с другой — валял дурака и рассказывал свои бесконечные истории бравый солдат Швейк. Ведь роман Ярослава Гашека явился сатирой не только (а может быть, даже не столько) на австро-венгерскую монархию в ее последние годы, сколько на чешскую натуру, воплощением которой был Швейк, а в определенной мере — и его создатель. "Маленький чешский человек"[4] не желал втискиваться в рамки, отводимые ему национальной мифологией Палацкого — Масарика (или, если угодно, расширяться до этих рамок). Он вел свою жизнь, в которой главными ценностями были вовсе не религиозный гуманизм и демократия, а индивидуальное благополучие и умение выжить в неблагоприятных исторических условиях, а основными черта-

1. В 30-е гг., незадолго до смерти престарелого президента (1937 г.) и сразу после нее, в Чехословакии выходили посвященные Масарику издания почти агиографического характера — например, посвященная семейной жизни Tatíčka книга Яна Эрбена, по стилю несколько напоминающая воспоминания соратников Ленина о "самом человечном человеке" (J. Erben. Masarykův rodinný život. Praha, 1936).
2. С точки зрения вечности (*лат.*).
3. K. Čapek. Masaryk o demokracii // Česká mysl, 1930. Č. 2.
4. "Маленький чешский человек" — термин, довольно часто используемый исследователями, пишущими о Чехии, для обозначения психологического типа чешского обывателя. Одним из наиболее интересных исследований, посвященных характеру и национальным мифам чехов, является, на мой взгляд, книга британского социолога, чеха по происхождению, Ладислава Голы, которая так и называется — "Маленький чешский человек и замечательный чешский народ" (L. Holý. Malý český člověk a skvělý český národ. Praha, 1999).

ми — скептицизм по отношению к высшим авторитетам, включая государственную власть и церковь, ироническое и в какой-то мере философское отношение к превратностям судьбы, сопряженное, однако, с любовью к уюту, материальному процветанию и радостям частной жизни, со стремлением замкнуться в своей "раковине" перед враждебным и неуютным окружающим миром.

Поэтому и чешский патриотизм никогда не был "громким", напыщенным, мессианским, как патриотизм больших наций, например, немцев, французов или русских. Он чаще сводился к незамысловатым умозаключениям вроде бытующей по сей день поговорки Co je české, to je hezké (То, что чешское, — то и хорошо (приятно, красиво)). Однако "маленький чешский человек" все-таки не превратился в примитивного материалиста или нигилиста. Он чтил свои авторитеты — но именно свои, чешские, вроде Гуса или Масарика, хоть и не особенно старался "делать с них жизнь"; до чужих же идолов ему и вовсе дела не было. В то же время, будучи индивидуалистом по натуре (ведь если бороться лучше вместе, то выживать нередко сподручнее в одиночку), "маленький" чех почти никогда полностью не отождествлял себя с той или иной теорией, идеологией или лидером. В результате, как отмечает современный чешский историк и писатель Душан Тржештик, "то, о чем мы сегодня говорим как о 'духе первой республики'[1], явилось следствием его (Масарика. — *Я. Ш.*) идеологической революции, это была 'чешская мечта', аналогичная 'американской мечте'. Но если Ричард Хофстеттер когда-то мог сказать об американцах, что 'судьба нашего народа — не иметь идеологии, а *быть* идеологией', то демократическая, эгалитаристская и антиавторитарная 'мечта' первой республики была, увы, лишь одной из идеологий... Мы сами не были этой 'чешской мечтой' и еще менее являемся ею сегодня"[2].

XX век изрядно потрепал и "маленького чешского человека", и "замечательный чешский народ". Если его начало — это Швейк, веселый циник, но, ежели присмотреться повнимательнее, удивительно уверенный в себе человек, то вторая половина — это Гантя из "Слишком шумного одиночества" Богумила Грабала, печальный философ, пражский одиночка, превращающий своим гидравлическим прессом книги в спрессованную бумагу и мечтающий об одном — чтобы его оставили в покое, наедине с его прессом, книгами и пивом. Между Швейком и Гантей — несколько изломов чешской истории, четыре роковые восьмерки: 1918-й, 1938-й, 1948-й, 1968-й. Рождение Чехословакии из праха рухнувшей 400-летней монархии, гибель первой республики в результате мюнхенского соглашения великих держав, послевоенный коммунистический переворот, на сорок лет сделавший Чехословакию одним из бараков соцлагеря, и, наконец, "пражская весна" — неудачная попытка сделать этот барак чуть более уютным. Четыре события, четыре мифа, четыре психологические травмы. Как полагает Ян Тесарж, автор нашумевшей в свое время книги "Мюнхенский комплекс", самой тяжелой из них был 1938 год — "продажа" Чехословакии Гитлеру западными союзниками, вновь усилившая в чешском

1. Первая республика (První republika) — принятое в чешской и словацкой историографии и литературе обозначение основанной Т. Г. Масариком Чехословацкой республики, существовавшей в период между мировыми войнами (1918 — 1938).
2. D. Třeštík. Češi, jejich národ, stát, dějiny a pravdy v transformaci. Texty z let 1991—1998. Praha, 1999. S. 103.

сознании ощущение собственной беспомощности, обреченности и зависимости от более сильных стран и народов.

Тесарж утверждает, что "мюнхенское предательство", при всей неприглядности поведения тогдашних чехословацких союзников, Англии и Франции, превратилось для чехов в очередной миф, извиняющий их собственные слабости и промахи, главными из которых были именно чрезмерные надежды на союзников, внутренняя слабость первой республики и некоторая инфантильность поведения ее лидеров. Автор "Мюнхенского комплекса" идет дальше и выдвигает еще более серьезные обвинения: "Чешской традиции... почти полностью чужда политическая и государственная культура, являющаяся важной составной частью любой другой культуры. Этот недостаток то и дело замещается заимствованиями... Для нации не может быть ничего худшего, когда этим прикрываются действительные, исторически глубокие причины нашей слабости и тем самым уничтожаются предпосылки возможной духовной борьбы, которая одна способна принести преодоление этой слабости!"[1]. Однако борясь с одним психологическим комплексом, Тесарж создает другой – комплекс исторической неполноценности и некой изначальной "испорченности" чехов. Пожалуй, автор "Мюнхенского комплекса" пошел дальше других по пути бичевания истинных и мнимых пороков собственного народа (отсюда и немалый шум, который наделала публикация его книги, написанной в эмиграции в середине 80-х годов). Впрочем, "флагеллянтская" традиция весьма характерна для чешской историографии и публицистики второй половины XX века, отмеченной психологическими травмами Мюнхена, "победоносного Февраля"[2] и разгрома "пражской весны". Так, в декабре 1968 года, вскоре после советского вторжения, Милан Кундера писал в небольшом эссе "Чешский удел": "Годы с 1939-го по самое недавнее время не могут наполнить чешскую душу какой-либо гордостью. Мелочность, приспособленчество, неспособность к самостоятельной политике, господство завистливой посредственности – все это вызывает крайне скептические суждения о чешском характере..."[3]

Атмосфе́ра интеллектуального пессимизма, ставшая следствием перечисленных событий, наложила отпечаток на чешскую культуру в целом – если, конечно, не считать навязанного коммунистами официального оптимизма и его довольно скудных соцреалистических плодов, произросших в 50-е – начале 60-х годов. Неудача же "пражской весны" имела не только политическую, но и культурно-психологическую сторону. Она стала крахом очередной попытки политического и культурного возрождения, поскольку на короткое время мертворожденный лозунг "социализма с человеческим лицом" стал для Чехословакии тем же, чем пятьюдесятью годами раньше были слова Масарика: "Табор – вот наша программа!"[4] И знаменитый реформистский манифест "Две тысячи

1. J. Tesař. Mnichovský komplex. Jeho příčiny a důsledky. Praha, 2000. S. 119 – 120.
2. "Победоносный Февраль" (Vítězný Únor) – утвердившееся в коммунистической пропаганде наименование событий февраля 1948 года, когда в результате политического кризиса в Чехословакии к власти впервые пришло коммунистическое правительство; аналог советского "Великого Октября".
3. Цит. по: V. Havel. O lidskou identitu. Úvahy, fejetony, protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969 – 1979. Praha, 1990. S. 187.
4. Табор, город в центральной Чехии, в период гуситских войн начала XV в. – место дислокации основных сил радикального крыла гуситов (таборитов). В переносном смысле, в частности у Масарика, – синоним радикального революционно-демократического и духовного обновления чешской нации.

слов", подписанный наиболее заметными фигурами интеллектуальной жизни тогдашней Чехословакии (он появился в прессе летом 68-го, за несколько недель до вторжения войск Варшавского договора), остался печальным памятником несбывшимся надеждам. Над страной опустился серый занавес так называемой "нормализации", принесшей скептицизм, экзистенциальную тоску и одиночество. Гантя, рожденный Богумилом Грабалом на пике "нормализации", в 1976 году, при всей своей маргинальности может служить символом того времени, поскольку его "слишком шумное одиночество" и философическая печаль вполне совпадали с мироощущением многих чехов, особенно же интеллигентских кругов. Осознание очередного поражения без борьбы — этого проклятия чехов в XX веке — стало психологическим ядом для целого поколения. Как отмечает современный социолог Иржи Бродски, "коммунистическая система превратила чешское общество в предельно атомизированное, почти без каких-либо горизонтальных социальных связей, столь важных для конструирования собственной идентичности"[1]. На практике это выражалось в подчеркнутой аполитичности абсолютного большинства чехов (при неизменном наличии "фиги в кармане") и массовом уходе в частную жизнь. Символом последней стали забавно звучащие для русского уха "хаты и халупы" — дачи и загородные дома, превращавшиеся в маленькие крепости, за воротами которых их обитатели прятались от прогрессирующего маразма "самого справедливого в мире общества".

Преодолеть "мюнхенский комплекс", если понимать его именно как ощущение собственного бессилия, одиночества и подчинения чужой злой воле, пытались чехословацкие диссиденты 70—80-х годов. По большому счету, здесь мы имеем дело с новым поколением "будителей". Ведь при всей своей первоначальной изолированности и немногочисленности диссидентские группы, в первую очередь "Хартия-77", впоследствии стали создателями и носителями тех представлений о национальной идентичности и историческом пути чехов, которые оказали очень заметное влияние на мировоззрение современного чешского общества. Можно сказать, что в социа́льно-психологическом смысле сегодняшняя Чехия — причудливый плод слияния трех начал: посткоммунизма, современных западных влияний, от консьюмеристских до антиглобалистских, и местной диссидентской культуры 70—80-х годов. Один из основателей "Хартии-77", философ Ян Паточка, рассматривал диссидентство не как форму политической борьбы или протеста, а как способ мироощущения и метод сохранения морального и психического здоровья в обстановке "Абсурдистана", как называли пражские интеллигенты тогдашнюю Чехословакию. Или — словами Вацлава Гавела: "Диссидентство — это не профессия, даже если человек отдает ему 24 часа в сутки; это изначально и прежде всего экзистенциальная позиция"[2]. Поскольку диссиденты вплоть до самых последних месяцев социализма оставались единственной — по-настоящему, а не фиктивно — политически активной частью чехословацкого общества, неудивительно, что после падения режима их мироощущение, их идеи, созданные ими мифы и представления получили рапространение в обществе столь же быстро, как некогда взгляды "будителей".

1. J. Brodský. The Czech Experience of Identity. In: National and European Identities in EU Enlargement. Ed. by P. Drulák. Prague, 2001. P. 24.
2. V. Havel. Moc bezmocných / O lidskou identitu... S. 93.

Это касается в первую очередь представлений о месте чешского народа, его культуры, истории и государства в европейском и более узком — центральноевропейском контексте. И на сей раз расставлять эти представления по полочкам взялись главным образом литераторы. Тот же Милан Кундера одним своим знаменитым эссе "Трагедия Центральной Европы" решил задачу, вполне сопоставимую с "будительской": выстроить исторические и культурные факты, характерные для своей страны и ее соседей, в таком порядке, чтобы они превратились в ладно скроенную концепцию, под которую, исходя из логики "будительства" (далеко не только чешского), и следует подгонять реальность — а никак не наоборот. Вернее, в данном случае мы имеем дело с еще более сложным процессом: реальность препарируется, "нужные" ее элементы выставляются на видное место, "ненужные" — выбрасываются на свалку. В результате получается своеобразная философско-идеологическая мозаика. Кундера дает Центральной Европе хоть и не лишенную точности, но в то же время однобокую и несколько кичливую характеристику: это "маленькая архиевропейская Европа, модель Европы, построенная по принципу 'максимум разнообразия при минимуме жизненного пространства'"[1]. И тут же, чтобы оттенить это определение — опять, как некогда у Палацкого, за счет "значимого другого"! — добавляет: "Как же было не ужаснуться Центральной Европе, столкнувшись с Россией, исповедующей противоположный принцип — 'минимум разнообразия при максимуме жизненного пространства'?". Как справедливо отмечает один современный автор, при таком подходе пишущему "необходим образ патологического Другого, чтобы сама Центральная Европа в западном сознании перестала быть невидимой и маргинальной. В качестве этого Другого ему нужна Россия — она позволит визуализировать Центральную Европу как... 'нормальную' или, как минимум, достойную звания 'нормальной'"[2]. Цель этой концепции — создание нового образа Центральной Европы (как насильственно отторгнутой "патологическим Другим" органической части Запада) одновременно в глазах самих центральноевропейцев и западного общества. Последнее особенно важно — ведь, как меланхолически вздыхал тогда, в 1984 году, Кундера, для Запада "мы не существуем".

Я далек от того, чтобы обвинять автора "Невыносимой легкости бытия" в передергивании фактов. Он просто определенным образом расставил акценты — хотя при рассуждениях о судьбе Центральной Европы вообще и Чехии в частности возможна и другая расстановка, которая может показаться не менее убедительной. Сила концепции Кундеры, как некогда концепции Масарика, в том, что она появилась в нужное время в нужном месте. Быстрый, хоть и давно назревавший, конец "развитого социализма" привел к образованию определенного ментального вакуума, для заполнения которого простая, понятная и — при всей своей мифологичности — не лишенная внутренней логики теория "возврата в Европу" оказалась весьма подходящей. После "бархатной революции" Запад стал играть для чешского сознания (равно как и для

1. Здесь и далее эссе М. Кундеры цитируется по изданию: M. Kundera. The Tragedy of Central Europe // New York Review of Books. 1984, April 26. P. 33–38.
2. М. Вальдштейн. Новый маркиз де Кюстин, или Польский травелог о России в постколониальном прочтении // Новое литературное обозрение, 2003, № 60.

польского, венгерского, прибалтийского — конечно, с учетом национальной специфики) ту роль, которую сорока годами раньше играли коммунизм и Советский Союз. От "единой Европы" многие стали ожидать того, что не принесло когда-то "социалистическое содружество", — небывалого количества материальных благ с приятным "довеском" в виде ощущения причастности к крупному, мощному и высокоразвитому целому.

Увы, те, кто совсем недавно успешно развенчивал мифы прежней эпохи, совсем не противились созданию новых мифов. Особенно ярко это проявилось в судьбе Вацлава Гавела. Четверть века назад в "Силе бессильных" он писал: "Посттоталитарная система (то есть 'развитой социализм'. — *Я. Ш.*) является лишь одним, наиболее ярким и очевидным... проявлением общей неспособности современного человека быть хозяином собственного положения; инерция этой системы — это особая, экстремальная версия глобальной инерции технической цивилизации... Вряд ли традиционные парламентские демократии нашли способ противостоять инерции технической цивилизации с ее индустриально-потребительским обществом; и демократии находятся в плену этого движения и бессильны перед ним; только используемые ими методы манипуляции человеком бесконечно более мягки и рафинированы, нежели грубые методы посттоталитарной системы"[1]. Достаточно заменить "посттоталитарный" на "посткоммунистический", чтобы понять, что мир, по сути дела, не слишком сильно изменился с 1978 года. Зато, став из диссидента президентом, сильно изменился Гавел. Иначе трудно объяснить, почему человек, еще в 1990 году призывавший к одновременному роспуску НАТО и Варшавского договора, девять лет спустя в одном из интервью назвал натовскую операцию против Югославии "первой в современной истории войной, ведущейся во имя прав человека". А еще через четыре года поддержал и нападение на Ирак, глубокомысленно заметив, что либеральные ценности в их западной интерпретации, видимо, "все-таки имеют универсальное значение". Что поделать, президентство, в отличие от диссидентства, лишь в исключительных случаях бывает "экзистенциальной позицией", а пребывание у власти подчинено совсем иной логике, чем противостояние власти.

Путь Вацлава Гавела, впрочем, не уникален для людей его круга. Значительная часть поколения диссидентов — и в Чехии, и в других бывших соцстранах — предпочла "проклятым вопросам", которые они так любили задавать когда-то, простые, очевидные, лежащие на поверхности, но зачастую весьма обманчивые ответы. Чтобы найти их, порой достаточно лишь поменять знаки, назвав отрицательным все, что считалось положительным в прежние времена, и наоборот. Однако вопросы остаются — и более того, возникают новые. В сегодняшней Чехии это вновь ставший актуальным вопрос о сохранении собственной "самости", своего места в Европе и мире. Впрочем, если верить Милану Кундере, этот вопрос в Чехии и Центральной Европе никогда не снимался с повестки дня: "Малый народ... в момент, когда он перестанет создавать [собственные] ценности, утратит смысл своего существования — и, скорее всего, действительно исчезнет..."[2] Есть, однако, и другой взгляд на

1. O lidskou identitu... S. 127.
2. Там же. S. 189.

эту проблему: "...Чешская история давно не является той великолепной эпопеей, которую создал великий Палацки. Мы – уже не тот народ, к которому он обращался... Сами того почти не заметив, мы перестали быть нацией с прежде всего культурно-языковой идентичностью, превратившись, по сути дела, в стандартную государственно-политическую нацию западного типа"[1]. Видимо, борьба между этими позициями и будет определять интеллектуальный пейзаж Чехии в ближайшем будущем.

...Минувшей зимой, незадолго до своего ухода с президентского поста, Вацлав Гавел разрешил пражскому художнику Иржи Давиду разместить над Градом большое неоновое сердце – символ того, что "правда и любовь победят ложь и насилие" (так звучал в 1990 году лозунг Гражданского форума, одержавшего победу над коммунистами на первых за сорок с лишним лет свободных выборах). В связи с этим появилось множество шуток, хороших и пошловатых, поскольку сердце над Градом показалось многим торжеством кича, а кое-кому даже напомнило вывеску ночного клуба. Жаль, однако, что на Граде не отдали предпочтение другому проекту, который тоже предлагался, – большому знаку вопроса. На мой взгляд, именно он является подлинным символом сегодняшней Чехии, да и всей Центральной Европы, которая, вопреки распространенному мнению, еще очень далека от своего "конца истории".

Прага, август 2003 г.

1. D. Třeštík. Češi... S. 75.

Кирилл Кобрин
Конец игры

Вчера обедал или ужинал в Праге около полночи. Следоват., Праги не видел. Г. Ан. Кир. Разумовский говорил мне в Венс, что она походит на Москву. Не догадываюсь чем. Дома высокие, улицы узкие, река широкая. Вот все, что я видел.

Петр Андреевич Вяземский

Наведем оптику. Вот надоблачный масштаб волшебной шекспировской географии на первый взгляд совершенно немыслимой, но, по сути, более верной, нежели самый дотошный меркатор наших дней: "*Архидам*: Если вам случится, Камилло, по долгу государственной службы приехать в Богемию, как я приехал к вам, вы убедитесь, насколько я прав, говоря, что между нашей Богемией и вашей Сицилией огромная разница". А вот свидетельство страхового служащего Франца К., истинного пражанина начала прошлого века, немецкого еврея, прилично говорящего по-чешски: "Позавчера сон. Сплошной театр... В одном акте декорация такая большая, что ничего другого не было видно... Площадь была очень поката, асфальт почти черен, церковь Тайнкирхе на своем месте, но перед ней стоял небольшой кайзеровский замок, на переднем плане которого в большом порядке собраны все стоявшие на площади монументы: колонна Девы Марии, старый фонтан перед ратушей, которого я сам никогда не видел, фонтан перед Никласкирхе и дощатый забор, возведенный теперь вокруг котлована для памятника Гусу". Да-да, именно в Богемии, где, если верить "Зимней сказке" Шекспира, никогда не покидавшего Англию, правит король Поликсен, в той самой Богемии, которая так непохожа на столь же фантастическую Сицилию, есть столица Прага, чья главная площадь — всего лишь театральные декорации спектакля, приснившегося Кафке. Между двумя этими свидетельствами, апеллирующими к воображению, а не к путеводителю или "Желтым страницам", следует искать истинный образ Праги. Образ, имеющий отношение к сфере платоновских архетипов, совершенный, окончательный и навсегда недовоплощенный. Помыслить его целиком — невозможно; остается слабая надежда приблизиться к нему неверными маршрутами, проложенными двумя-тремя смельчаками (а то и просто по бездорожью): приблизиться, ухватить несколько деталей и, вознося хвалы Всесильному Богу Литературы, отправиться восвояси — готовиться к новым путешествиям, паломничествам, для которых не нужны ни визы, ни гостиничная броня.

Так наведем же оптику. Прага. Музиль назвал ее "важнейшим пунктом пересечения старых осей мира"; за четыреста лет до него аноним-

© К. Кобрин, 2005

ный автор габсбургской карты, на которой Европа изображена в виде человеческого тела, делает Прагу сердцем континента. В то же время, если смотреть снаружи (особенно с Запада или Юга), богемская, позже чешская, столица — место географически неопределенное, где-то в Европе (как у Шекспира), где-то в Центральной Европе или даже нигде (и в то же время везде). Символ условной, разве что несколько фантастической, Европы, лишенной определенных признаков. Жизнь там вполне знакомая, европейская, однако порядок вещей слегка нарушен: отсюда сновидческая легкость, с которой в Праге и ее окрестностях происходят вещи, немыслимые больше нигде — ни во Франции, ни в Британии, ни даже в Италии.

Для жителя Западной Европы, тем паче обеих Америк, Прага — лишь условные декорации для невозможных происшествий. Согласно Конан Дойлу, там правит король Вильгельм Готтсрейх Сигизмунд фон Ормштейн, попавший в руки прелестной авантюристки Ирен Адлер. Примерно в то же время наследный (по другой, поликсеновской, шекспировской династической линии) принц Богемии Флоризель охотится за приключениями в Лондоне. Юному Стивену Дедалу мерещится призрак погибшего "далеко-далеко за морем", под Прагой, Максимилиана фон Брауна, ирландца на австрийской службе. Аполлинер повстречал на пражских улицах жизнелюбивого Вечного Жида. Именно здесь, в окрестностях чешской столицы, набоковский Герман нашел своего рокового Феликса, этого непохожего двойника; наконец, несколько лет спустя, в самой Праге не всуе помянутый выше Всесильный Бог Литературы (точнее, один из главных его пророков[1]) свершил тайное чудо и дал возможность Яромиру Хладику досочинить поэтическую драму "Враги" буквально за мгновение до смерти. В конце концов, Прага — столица кортасаровских хронопов, этих влажных зеленых фитюлек, пляшущих как стояк, так и коровяк то ли на Староместской площади, то ли на Карловом мосту.

От этого перечисления устаешь, даже слегка подташнивает, будто сладкого пёрёел. Слишком заманчиво, слишком красиво. Кстати, "красиво" — самое распространенное прилагательное, применяемое к Праге. Ни Париж, ни Лондон, ни Рим, ни Петербург так не назовут. Вот это-то и подозрительно. Подозрительно не только представление о Праге как о "красивом городе". Подозрительна сама эта "красота", ее состав и тайный смысл.

Прага красива — спору нет. Но созерцание ее неизбежно наводит на привычные мысли об искусственном характере "красоты", ведь вся красота этого города — результат многовековой деятельности человека, превратившей довольно банальные холмы над ничем не примечательной рекой в артефакт. Прага — полная противоположность моему родному Нижнему Новгороду, о котором Николай Первый сказал так: "Природа сделала здесь все, люди же все испортили". В Праге именно люди "сделали все", потому незримая грань между Природой и Культурой здесь необратимо нарушена в пользу последней. Прага — удивитель-

1. Борхес вывел себя в этом рассказе в образе слепого библиотекаря пражского Клементинума: "Библиотекарь в темных очках обратился к нему: "'Что вы ищете?'". В 1943 году, когда было сочинено "Тайное чудо", автор еще не окончательно потерял зрение, а директором Национальной библиотеки, правда не чешской, а аргентинской, он стал более десяти лет спустя. Борхес разыграл свою будущую судьбу в декорациях заморской Праги.

но умышленный город, но "умышленный" по-другому, нежели, например, Венеция или Петербург. Венеция умышленна своим невозможным местонахождением; общепринято, что люди на воде не живут, а здесь они делают это, да еще и с непринужденным изяществом. Город Св. Марка – воплощение многовековой коллективной воли, преодолевшей Природу, сделавшей Природу Культурой. Город Св. Петра (не Рим, конечно, а Санкт-Петербург), как известно, еще более умышленный, ибо Природа превратилась здесь в Культуру волей одного человека за удивительно короткий промежуток времени. Прага – совсем другое. Природа ни мешала, ни способствовала ее созданию. Драма Культуры разыгрывалась здесь буквально на лоне равнодушной природы, отсюда ощущение театральной неестественности, условности, умышленности этого города. Вот что на самом деле увидел Кафка во сне: истинный образ Праги – склад монументов, фонтанов и памятников на главной площади, в окружении ратуши и разностильных соборов, будто материализовавшихся из диснеевских мультфильмов по сказкам Шарля Перро и братьев Гримм. Этот город никак не соотносится ни с местом, на котором стоит, ни со страной, столицей которой является, ни с народом, который в нем живет. Он поражает странной, стилизованной под никогда не существовавшую историю, необязательной, двусмысленной красотой, которую порой невозможно отличить от кича.

Рискну сказать: Прага – город культурного кича, быть может даже столица европейского кича. Ее аляповатое, тяжеловесное барокко, этот иезуитский мейнстрим эпохи Контрреформации, ее упадочная готика и подростковая неоготика, ее благодушный пошляк Альфонс Муха, любитель западной славянщины и французских арнувошных реклам. Прага будто специально создана для того, чтобы стать декорацией голливудского фильма "про историю"; собственно, здесь и снимаются десятки картин, одна другой хуже. Сейчас к архитектурно-декоративному кичу добавился неизбежный туристический: улицы города кишат лавками, торгующими миллиардами донжуанов, марионеток, големов, швейков. Довершает картину Книга – "Магическая Прага" Анджело Марии Риппелино, римского слависта, влюбленного в столицу черной магии и пивного алкоголизма. Сумбурное сочинение тридцатилетней давности, изобилующее длинными рядами прилагательных и диковинных существительных, плод какого-то безумного градоведения, достроило миф о Праге как о своего рода коммунальной квартире, населенной алхимиками, каббалистами, нестерпимо романтическими писателями и площадными эксцентриками. Миф о "магической Праге" – городе, где особенно загадочны ноябрьские туманы и горько жидкое пиво. Книга эта – своего рода шедевр кича, кунсткамера, где рядом выставлены двухголовый младенец и гвинейская маска; листать ее любопытно, читать – невозможно. В сущности, сочинение Риппелино можно было бы назвать образцом позднего постмодернизма, если бы не время его написания. Впрочем, и Прагу искусствоведы называют "городом поздних стилей"...

Довольно сложно точно определить истоки кичевой красоты Праги. Может быть, они – в маньеризме, художественном и моральном, который расцвел при дворе Рудольфа II Габсбурга, австрийского императора, обожавшего Прагу и сделавшего ее сценой своего небанального, в духе Нерона, сумасшествия? Джузеппе Арчимбольдо, гений живописного кича, был его придворным художником. Здесь Арчимбольдо рисовал

свою яровую "Осень", свой птичий "Воздух", свою рыбастую "Воду", своего книжного "Библиотекаря". Его любимый трюк — дьявольски искусное механическое составление портрета из готовых предметов, ready-made[1]. Разве это не то же самое, что приснившаяся Кафке архитектурно-декоративная выставка на Староместской площади? Иной скажет, что стиль Арчимбольдо — материализация метафоры, нет, не метафоры, аллегории, но ведь кич и есть первейший продукт такой "красивой" и беспроигрышной редукционистской игры[2].

Таких, как Арчимбольдо, героев кича было немало при дворе Рудольфа. Например, увешанный астролябиями, секстантами, глобусами астролог и астроном Тихо Браге, человек с огромным искусственным носом — персонаж то ли Свифта, то ли того же Арчимбольдо. Но главным, конечно, был сам император, венценосный арт-плюшкин, собравший немыслимую коллекцию артефактов и курьезов. Бесконечные комнаты, забитые этим драгоценным хламом[3], сейчас странным образом воплотились в бесконечные пражские лавки старьевщиков с красноречивым названием "Старожитности". Опять, как у Арчимбольдо, материализация метафоры, даже аллегории: вот он — хлам старого житья, старого мира.

Странным образом, уже в XIX — начале XX века тема кича, даже, пожалуй, роскошной вульгарности, непроизвольно возникает в самых разных сочинениях, так или иначе касающихся Богемии, Праги. Вот как является Шерлоку Холмсу король Богемии: "Он был одет роскошно, но эту роскошь сочли бы в Англии вульгарной. Рукава и отвороты его двубортного пальто были оторочены тяжелыми полосами каракуля; темно-синий плащ, накинутый на плечи, был подбит огненно-красным шелком и застегнут на шее пряжкой из сверкающего берилла. Сапоги, доходящие до половины икр и обшитые сверху дорогим коричневым мехом, дополняли то впечатление варварской пышности, которое производил весь его облик"[4]. Эдакий Версаче пополам с Пако Рабаном. Столь же вульгарна и вся интрига, лежащая в основе рассказа "Скандал в Богемии": оперная примадонна, центральноевропейский жуиристый принц, переодевания, ловкий смазливый адвокат, оказавшийся заботливым женихом. То ли оперетта, то ли очищенный от мистики роман Майринка... Аполлинер пишет рассказ "Пражский прохожий", который сейчас бы запросто напечатали в глянцевом журнале; в нем протагонист обходит именно те места, которые упоминают в современных путеводителях: Поржич, башня ратуши на Староместской площади, знаменитые часы с двигающимися фигурками, еще один туристический аттракцион — часы на еврейской ратуше, которые идут в другую сторону, Карлов мост, Град, дешевые пивные с местным гуляшом и пивом, бордели. Да и сама тема — прогулка с Вечным Жидом — позднеромантический кич. Аполлинер невозмутимо громоздит одну красивую банальность на другую, будто Прагу невозможно и помыслить в иных образах.

Я уже не говорю о Майринке, одном из главных, если не главном, создателей "пражской легенды"; точнее, важнейшей составной ее части —

1. Бытовой предмет, оформленный и рассматриваемый как предмет искусства (*англ.*).
2. Например, один из шедевров кича, произведенный Дали: женские губы сделаны из коралла, зубы — из жемчуга. "Коралловые уста, жемчужные зубки".
3. Куда он почти никого не пускал.
4. Артур Конан Дойль. Скандал в Богемии. Перевод Н. Войтинской.

легенды о "мистической Праге" туманов, алхимиков и големов. Бретон, как ворона падкий на все блестящее (и фальшивое!), довел дело до конца, объявив Прагу "мистической столицей Европы". Впрочем, на этой ниве потрудились многие авторы конца XIX – первой половины XX века как иностранцы, так и местные. Образ "мистической", "магической" Праги – порождение эпохи модерна, "заново открывшей" этот город точно так же, как мирискусники "открыли" красоту Санкт-Петербурга. Подобно многим вещам, созданным в те невероятно плодотворные времена, этот образ позже стал глянцевой картинкой, слоганом, брэндом; в современной Чехии, однако, не нашлось своего Энди Уорхола, поместившего бы этот брэнд в кавычки.

Попробую внести свой скромный вклад в ретроспективное пражское мифотворчество. А что, если не редуцировать аллегорию, не материализовывать ее, а, наоборот, заняться возгонкой пестрого хлама эпохи Рудольфа II в аллегорию, да еще и подозрительно этического свойства? С точки зрения сурового религиозного моралиста, то, что происходило в Праге в правление императоров Рудольфа и Фердинанда – падение нравов, безбожие, колдовство, – неизбежно повлекло за собой наказание в годы Тридцатилетней войны, когда город много раз был до нитки ограблен и чудовищно унижен. Будучи нерелигиозным, неморалистом, замечу, что наказаны были вовсе не те, кто грешил. Авантюристы и алхимики рассеялись по всей Европе; придворные по большей части благополучно умерли или вовремя переметнулись в стан победителей; расплачивались же, в основном, обычные горожане-чехи, не отличавшие саламандры от Саламанки. Приговор был вынесен совсем не тем, оттого и так похож он на проклятие. Но оспаривать его было не перед кем, да и некому. Лишь 150 с лишним лет спустя в городе появился повытчик по такого рода делам – автор "Приговора" и "Процесса".

Однако вернемся к вопросу о красоте этого города. "Красивая Прага" по праву могла бы стать столицей постмодернистских 90-х годов, если бы не одно важное обстоятельство. Она – хотя и столица (в некоторых исторических эпизодах даже имперская столица), но, в сущности, город сугубо провинциальный. Начиная с середины XVII века Прага – провинциальный город в габсбургской империи; Богемия – одна из провинций этой империи, сама Центральная Европа – провинция как по отношению к Западной Европе, так и, до недавнего времени, по отношению к Восточной[1]. Пражский кич во многом – следствие провинциальности в кубе.

Этот город, подобно какому-нибудь уродцу из коллекции Рудольфа II, – существо с тремя сердцами. Три этнические группы – чехи, немцы (точнее, австрийцы) и евреи, – почти не перемешиваясь, обустраивая свои части Праги согласно собственным представлениям о насущном и прекрасном, сделали ее *такой* красивой. Идея кунсткамеры, кабинета редкостей была абсолютно воплощена не полубезумным императором, а его не шибко утонченными подданными: они просто строили то, что считали нужным. Австрийская (хотя и богемского происхождения, но именно австрийская) знать возводила дворцы, деятели Контрреформа-

1. С этой точки зрения русофобские заклинания Милана Кундеры – просто защитная реакция напуганного провинциала, вынужденного сделать выбор между влиятельными столичными штучками.

ции, прежде всего иезуиты, набросили на город сеть барочных соборов, еврейское гетто вспухало, как тесто, в жестких своих границах, пока реконструкция квартала и общая религиозная эмансипация не превратили его в аттракцион крупнобуржуазного консюмеризма; наконец, чехи, которые реконструировали не жилой район, а собственный язык и даже историю, устремились в погоню за ненавистными немцами: вот вам наш специальный чешский театр! А вот и наше специальное чешское кладбище, где заботливо собраны национально-значимые мощи просветителей, композиторов и патриотических фабрикантов. Град, Гетто и Вышеград — три сердца, некогда гонявшие кровь по узким улочкам Праги. Символ великолепный, но не совсем верный; он имеет отношение как раз к Праге "красивой", но не "исторической"; к образу, но не к городу.

Как любое обобщение, тем более мифологизирующего характера, символика "трех сердец Праги" — Града, Гетто и Вышеграда — игнорирует многие принципиально важные для понимания вещи. Например, забыта важнейшая немецко-буржуазная составляющая города — район Виноградов, выстроенный в конце позапрошлого — начале прошлого века; здесь буржуазность (понимаемая во флоберовском смысле) оказывается сильнее национальных барьеров; тихие улицы, аккуратные четырех-пятиэтажные дома, украшенные модерновыми финтифлюшками, превосходные парки — все это можно найти и в Вене, и в сохранившемся крупном немецком городке, и в Париже. Стилистика образа жизни среднего класса эпохи fin de siècle была интернациональной, как, впрочем, и основной буржуазный художественный стиль той эпохи, как бы его ни называли: модерн, сецессион или ар нуво. Именно поэтому Виноградов были сознательно исключены из пражской мифологии: образ "трех сердец" не предполагает плоти, которую эти сердца питают жизнью.

У этих сердец были свои певцы. У чешского — Ярослав Гашек[1], у еврейского — Густав Майринк и Лео Перуц; только вот у немецкого, точнее, австрийского, еще точнее — имперского, их нет, разве что вспомнить Кафку, который, если верить некоторым его интерпретаторам, неустанно сочинял путеводители по лабиринтам австро-венгерской бюрократии. Впрочем, и неугомонный Майринк успел сказать нечто важное об имперском сердце Праги, о Граде. В чудовищно болтливой (но не лишенной странной привлекательности) "Вальпургиевой ночи" Майринк разыгрывает тему еще не написанного "Замка" в излюбленных им декорациях популярной мистики. Один персонаж из этого романа запоминается навсегда — императорский лейб-медик Таддеуш Флугбейль по кличке Пингвин, который живет в Граде и никогда не спускается вниз, в обывательскую Прагу. Примерно в то время, когда выходит в свет "Вальпургиева ночь", Кафка сочиняет свой "Замок"; в некотором смысле, топография этого романа та же: гора власти и дол рабства, Замок и Деревня, Град и Прага. Если у Майринка взгляд направлен сверху вниз: "С пристроенного брустверa, на котором стояла мощная подзорная труба, он имел возможность взирать на 'мир', на Прагу...", у Кафки наоборот — герой смотрит снизу вверх: "Теперь весь Замок ясно вырисовы-

1. Гашек, конечно, певец не "Вышеграда", а "чешской, обывательской Праги", на фундаменте которой был возведен символический Вышеград.

вался в прозрачном воздухе, и от тонкого снежного покрова, целиком одевавшего его, все формы и линии выступали еще отчетливее".

Вообще, если вдуматься, Франц Кафка – главная опасность для символики "трех сердец". Он – пражский еврей, немецкий писатель, говоривший и даже писавший по-чешски; быть может, поэтому в его сочинениях Праги почти нет. То есть, конечно, она присутствует, но не как символическая Прага, "красивая", "мистическая" и проч., а как условный город, точнее, Город, равнодушная декорация человеческой трагедии, Культура, ставшая Природой. Кафка пророчески не замечает красот Праги, как рыба не замечает красот реки, в которой живет. Любопытно, что одно время он снимал дом на знаменитой Златой улочке в Граде, той самой, где, по преданию, Рудольф II поселил алхимиков[1], но не из романтических (и романических) соображений, а просто в поисках тишины и покоя[2]. Тот, кто хочет найти верный тон разговора о Праге, должен следовать за Кафкой: "Люди на Никласштрассе и на всем мосту растроганно оборачиваются на собаку, которая с громким лаем сопровождает автомобиль добровольного общества спасения". Ничего больше. Прага – это просто место, где происходят уличные сценки, место, где происходит человеческая жизнь.

Этот тон мог бы быть востребован сейчас, когда из "трех сердец" Праги осталось только одно – чешское. Оно с трудом справляется с оставшейся ей огромной кровеносной системой; не удивительно, что многие части городского организма выглядят столь анемичными, если не сказать полумертвыми. Старый образ Праги, "красивой" и "мистической", окончательно превратился в рекламный брэнд, новый – не сложился, да и вряд ли сложится в ближайшие десятилетия. Для этой страны, этого города История бесповоротно закончилась; чешский хэппи энд с упокоением на груди благожелательного Европейского союза окончательно отменяет драматургическую символику, да и драму вообще.

Последний писатель, который пытался выстроить новый миф "чешской Праги" – 85-летний Богумил Грабал, – выпал из окна[3]. За семнадцать лет до смерти он написал удивительную повесть "Слишком шумное одиночество", главный герой которой – маргинал, пьяница и одержимый книгочей – работает в пункте переработки макулатуры. В то время как станок прессует миллионы книг, его мозг перерабатывает десятки тысяч книжных страниц; мир этой повести сложен из книг, подобно арчимбольдовскому библиотекарю; все, совершенно все – Прага, Карлова площадь, Спалена улица, статуя Игнатия Лойолы на фасаде его же имени храма – книжное, литературное, ослепительно прекрасное, наконец сам герой, после того, как его выгоняют с работы, хочет быть спрессованным собственным гидравлическим прессом: "Я устроил в

1. На самом деле, как утверждают современные местные историки, там жила придворная челядь.

2. Во что сейчас, лицезрея орды туристов, текущие сквозь Град, трудно поверить.

3. Между прочим, это падение поставило точку и в истории легендарных "пражских дефенестраций": сначала чехи-пражане выбрасывали из окон имперских чиновников, затем загадочным образом из окна вылетел министр иностранных дел Ян Масарик, сын основателя независимой Чехословакии, который мешал срочному наступлению коммунистической просперии, и вот, наконец, глубокий старик, самый нежный и волнующий из чешских писателей, совершает роковое падение. В обстоятельствах смерти Грабала можно усмотреть некий историософский знак: "последняя пражская дефенестрация" была, по сути, "автодефенестрацией", она не была порождена ни этническим, ни политическим конфликтом, она случилась сама собой. Частная драма пришла на место исторической.

лотке с макулатурой уютное гнездышко, я все еще остаюсь щеголем, мне нечего стыдиться, я по-прежнему умею мнить о себе, подобно Сенеке, когда он вступил в ванну, я перекинул одну ногу и помешкал, а потом тяжело перенес внутрь другую ногу и свернулся клубочком, просто так, чтобы примериться, затем я встал на колени, нажал зеленую кнопку и улегся в гнездышко в лотке, окруженный макулатурой и несколькими книгами, в руке я крепко сжимал своего Новалиса..." Вот так, в макулатурном лотке, с Новалисом в руке, этот последний герой последнего пражского мифа хотел быть раздавленным прессом, от которого его отлучила новая, "безлитературная" эпоха, хотел вплыть в книжный Рай, однако на самом деле ничего этого не было, он просто уснул, отяжелев от выпитых с горя литров пива, на скамеечке в сквере на Карловой площади, и знакомые цыганки разбудили его к другой жизни, где нет ни Новалиса, ни Канта, ни Праги трех сердец, трех народов — ничего, только просто жизнь: "...мои две цыганки... пробежали в ритме польки слева направо сквер на Карловой площади и скрылись за поворотом усыпанной песком дорожки, где-то за густым кустарником".

Литература, игра кончилась, остался город; что им — пражанам, нам — пражанам, мне — случайному пражанину, делать с ним? Ничего. Просто жить. История, мифологическая История распалась, начались персональные истории каждого из этих людей с унылыми сероватыми лицами, небогатых экономных людей в одежде из секонд-хенда, неизбалованных людей, радующихся обильной грубой еде — кнедлику, рохлику, секане; персональные истории обожателей пива, болельщиков "Спарты", читателей "Блеска" и почитателей Карела Гота с Хеленой Вондрачковой. А город стоит, вещь в себе, каменный, безучастный к собственному площадному великолепию и провинциальному убожеству, прекрасный, как памятник исчезнувшей цивилизации, в которой города создавались не только из камня, но и из слов. Если навести оптику до предельной резкости, можно увидеть и автора этих строк, одного из последних уцелевших жителей книжной цивилизации, на Карловой площади, на той самой скамейке, где герой Грабала проснулся в нынешнем мире, в глазах моих пляшут хронопы, реют штандарты принца Флоризеля, в руках — "Дневники Кафки", книга открыта на записи от 18 ноября 1911 года: "Чужие города принимаешь как факт, их обитатели живут не проникая в наш образ жизни, как и мы не можем проникнуть к ним, надо сравнивать, не надо отбиваться, но хорошо известно, что это не имеет моральной или хотя бы психологической значимости, в конце концов можно и отказаться от сравнивания..."

Прага, май–июль 2003

"Наш журнал – это, по сути, объединение идеалистов"

В минувшем году в гостях у "Иностранной литературы" побывали "патриарх" австрийского литературного авангарда Альфред Коллерич, Владимир Фадеев, переводчик книги "Убийцы персиков. Сейсмографический роман" (1972) — первого произведения А. Коллерича, опубликованного на русском языке[1], — и Александр Белобратов, петербургский филолог-германист, руководитель издательского проекта "Австрийская библиотека", в рамках которого вышла эта книга. На встрече присутствовал также австрийский журналист Александр Грасмук. Мы предлагаем вниманию читателей запись беседы.

Александр Белобратов. Альфред Коллерич – известный австрийский писатель, который с конца 1960-х – начала 1970-х много публикуется, автор нескольких романов и стихотворных сборников, он – лауреат престижных литературных премий, в том числе и Австрийской государственной премии по литературе.

Есть еще одна, не менее известная линия его литературной работы: Коллерич сумел объединить молодых поэтов и писателей и в 1960 году создал в Граце журнал "Манускрипты", который существует и поныне. Это единственный "толстый" журнал в Австрии, немного похожий на "Иностранную литературу", только "Манускрипты" печатают в основном литературу немецкоязычную. Господин Коллерич больше сорока лет остается бессменным редактором этого журнала. Журнал – независимый, он не связан ни с какими коммерческими издательствами и существует иногда вопреки обстоятельствам.

Третье направление деятельности господина Коллерича – участие в работе грацкого художественного форума "Городской парк", который разросся в ежегодный сентябрьский фестиваль "Штирийская осень", где встречаются представители литературного и художественного авангарда со всего света. Из этой молодой команды сложился литературный союз (Объединение писателей из Граца), с конца 1960-х вступивший в жесткую конфронтацию с австрийским ПЕН-клубом, который в то время был очень консервативным. Сейчас противоречие между двумя этими литературными направлениями уже не такое резкое, как в 1970–1980-е годы, но в свое время господин Коллерич активно участвовал в этих "битвах".

"Иностранная Литература". Мы рады приветствовать наших гостей и для начала хотели бы попросить господина Коллерича подробнее рассказать об истории "Манускриптов".

Альфред Коллерич. Спасибо, что пригласили меня сюда и дали возможность представить наш литературный журнал. "Манускрипты" существуют с 1960 года, все начиналось очень скромно. Мы, группа поэтов, художников, кинематографистов, музыкантов из Граца, в 1958 году основали форум "Городской парк". Собирались в кафе, сами привели его

1. См. рецензию на эту книгу: Т. Баскакова. О кулинарном искусстве, убийцах персиков и "неистинности истины" ("ИЛ", 2004, № 7).

в порядок и читали там свои стихи. А потом в гектографическом варианте вышел первый номер "Манускриптов". Мы не знали, получится ли что-нибудь дальше, но вскоре появился второй. И мы стали привлекать к сотрудничеству писателей из Венской группы[1]: Конрада Байера, Освальда Винера и других. Журнал все еще печатался на гектографе, что было очень дешево. В то время ни один австрийский журнал не публиковал современную литературу. Всю политику определял ПЕН-клуб, и представьте себе, что ни Томас Бернхард, ни Ингеборг Бахман, ни Эрнст Яндль, ни Фридерика Майрёкер не были там желанными гостями... Третий номер получился маленьким по объему, хотелось печатать прежде всего наших местных авторов и продвигать молодежь. Мы сами были поражены, что у нас что-то получилось, к нам стали приезжать люди, читать отрывки из своих произведений, собиралась публика. Мы почти ничего не платили авторам. В качестве гонорара давали номера журнала, но писатели продолжали посылать нам свои рукописи, поскольку для многих из них это была единственная возможность публикации. Дожив до шестого или седьмого номера, мы попытались поменять внутреннюю структуру журнала, составить себе четкое представление о том, что и как дальше делать. Поддерживавшая нас Венская группа решила передать нам часть своих текстов для публикации. Нам повезло: некоторые из авторов, чьи произведения впервые были напечатаны именно у нас, через два-три года добились международного признания, это тоже способствовало нашему развитию. Вначале – драматург Вольфганг Бауэр, прозаик Барбара Фришмут. И Петер Хандке, который впервые напечатался в нашем журнале, и Клаус Хоффер, который стал первым лауреатом Литературной премии Граца, а потом получил премию в Дублине за роман "У Бирешей" (1979). С конца 1960-х к нам присоединились Герт Йонке и Эльфрида Елинек. К этому времени мы стали самостоятельным литературным объединением, возникло понятие "Грацкая группа, или Объединение писателей из Граца". Фактически его придумали немецкие журналисты, которые, например, писали: "Литературная Вена теперь в Граце". Мы сотрудничали и с иностранными авторами: скажем, многие произведения Филипа Рота (США) впервые представили читателям мы. Живая литература опережала то, что печатали солидные литературные издательства вроде "Зуркампа". Мы решили, что стоит установить контакты с другими странами, приглашать, например, словенских и хорватских авторов. Наиболее активно за эту работу взялись Эрнст Яндль и Фридерика Майрёкер. Яндль поддерживал связи с представителями чешской "конкретной поэзии". А еще из зарубежных авторов у нас публиковались американцы, представители южноамериканской "конкретной поэзии", авторы из Штутгартской группы... В № 14–15 мы опубликовали роман Освальда Винера "Улучшение Центральной Европы", потом его напечатало немецкое издательство "Ровольт", а меня суд признал виновным в том, что я как издатель распространяю порнографические тексты. Я тогда по основной специальности был школьным учителем, и меня, естественно, тут же выгнали с работы, напечатали в газетах мои фотографии. Шел 1968 год. Но если теперь оглянуться назад, для нас этот скандал оказался наилучшей рекламой, нас узнали в немецкоязычном культурном пространстве. Ситуация тогда была тяжелой, нам сказали, что помогать журналу больше не будут, что мы не получим никаких субсидий ни от земельного, ни от федерального правительства, и вообще "Манускрипты" пора закрывать. Пришло 40–50 писем известных авторов в нашу

1. Венская группа – литературное объединение, сформировавшееся в 50-е гг. и продолжавшее традиции дадаистов и сюрреалистов.

поддержку, они писали, что "Манускрипты" играют очень важную роль в культурной жизни страны. Ситуация была далеко не однозначной...

Еще одна линия, которая интересна: мне очень нравится старое поколение дадаистов, и они тоже были представлены в журнале. Мы публиковали тексты Рауля Хаусмана, Ханса Арпа, Курта Швиттерса. А из тех, кто писал после 1970 года, – Герхарда Рота, Хельмута Айзендле, очень известного ныне Петера Ватерхауза... Одним словом, мы сотрудничали со всеми молодыми авторами немецкоязычного региона и с другими литературными изданиями.

Я забыл сказать еще одну вещь: в середине 1960-х у нас были очень хорошие отношения со швейцарскими авторами – с Питером Бикселем, Адольфом Мушгом, Йоргом Штайнером. Мы устраивали выездные чтения – в Швейцарии, в восточноевропейских странах (скажем, в Варшаве, Праге, Загребе, Любляне), в Париже, в Италии.

В 70-е годы мы начали проводить литературные симпозиумы. Раз в год организовывали большой литературный симпозиум. Сначала активно сотрудничали с австрийским радио, они очень нам помогали, потом эту работу продолжили самостоятельно. Мы приглашали не только хороших авторов, но и хороших историков и теоретиков литературы. У нас возникли связи с американцами, поляками. На одном из таких симпозиумов Эрнст Яндль выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что нынешний ПЕН-клуб не представляет современную литературу. Присутствовавшие авторы подписались под этим манифестом, и меня делегировали в Вену. Я встретился там с другими нашими авторами, в частности с Петером Туррини, и мы решили организовать, так сказать, Анти-ПЕН. И тут же в Вене создали свое объединение, которое назвали Объединение писателей из Граца. Публиковались у нас в "Манускриптах" почти все авторы, которые вошли в это Объединение. Оно возникло в 1973–1974-м годах, в нем были представлены все активно пишущие австрийские авторы, за исключением Ингеборг Бахман и Томаса Бернхарда. Бахман в 1973 году ушла из жизни, а Бернхард не подключился, вероятно, из-за особенностей своего характера. Яндль попытался сделать так, чтобы международный ПЕН признал существование в Австрии двух ПЕН-клубов – все восточные ПЕН-клубы выступили на конгрессе за нас, а также и юго-восток (в Югославии было несколько писательских союзов), однако французы были против. Мы тогда даже думали: может, стоит вступить в словенский ПЕН отдельной группой – все-таки мы с ними соседи. Сейчас между ПЕНом и нашим Объединением нет такой жесткой конфронтации. А вот тогда, в 1972-м, узнав, что Бёлль получает Нобелевскую премию, Александр Лернет-Холения, в то время президент австрийского ПЕН-клуба, покинул свой пост, обосновав это тем, что Нобелевскую премию дали коммунисту. Мы, естественно, не могли на это не прореагировать... Позже известный писатель Фридрих Торберг в еженедельнике "Цайт" в самой резкой форме выступил против нас, мы ответили. Мы были молодыми, активными и предъявили Торбергу очень серьезный счет, в том числе припомнили его сотрудничество с ЦРУ – американцы помогали ему издавать журнал. Торберг подал на меня в суд, я проиграл: нас обвинили в нанесении публичного оскорбления. Все это воспринимается теперь лишь как забавные детали нашей прошлой "литературной войны".

С другой стороны, в нашей же компании были очень разные люди, и в какой-то момент Эльфриде Елинек, например, показалось, что Хандке и Коллерич слишком буржуазны, она на нас обрушилась, и мы стали ей отвечать. Эта полемика заняла два номера журнала, сейчас часто цитируется открытое письмо Елинек, наш ответ... Слава богу, та история не имела

литературного продолжения, через год или два мы восстановили сотрудничество, и сейчас Елинек – один из авторов, которые постоянно дают нам свои материалы.

Если интересно, я расскажу в нескольких словах, как наш журнал продержался эти сорок лет в экономическом плане. Не знаю, откуда вы берете деньги, а у нас деньги дает или земельное правительство, или же союз австрийских земель, федеральное правительство. У нас в Граце в основном выбирают консервативное правительство, так называемых "черных", то есть христианских демократов, на федеральном уровне – в основном социалистов. В 1970–1983-х годах, когда у власти было социалистическое правительство Бруно Крайского, мы оказывались порой в довольно сложной ситуации. Сейчас настали более толерантные времена. А тогда нас отчасти отождествляли с "венскими акционистами": их "акции" (например, с использованием экскрементов), проводившиеся в Венском университете, многих шокировали. Это сейчас фотографии их перфомансов публикуются во всех энциклопедиях, а их деятельность считается важнейшим культурным событием тех лет...

"ИЛ". А какой тираж у вашего журнала и целиком ли вы живете на помощь тех инстанций, о которых говорили?

А. К. Наш тираж никогда не превышал пяти-шести тысяч, это связано с тем, что австрийская книготорговля вообще не занимается журналами. Это касается всех литературных журналов, мы не исключение. Наши же постоянные читатели – люди пожилые, они читают нас двадцать-тридцать, а то и сорок лет, поэтому их число постепенно убывает. Сейчас у нас ситуация такая: мы получаем поддержку от федерального правительства. Но, в отличие от издательств, которые получают поддержку от земельных правительств, мы должны каждый год обосновывать свои ходатайства. Часть денег приходит от подписчиков, другая – от свободной продажи журнала, кое-что приносят рекламные объявления. В конце года мы представляем отчет, мы должны "пройти по нулям": сколько нам дали – столько мы использовали, ничего не осталось. Слава богу, мы постоянно получаем эту поддержку. С одной стороны, наш журнал – некоммерческое предприятие, но, с другой, мы ведь многим в Австрии даем работу. Те, кто печатается у нас, или вовсе ничего не получают, или очень мало, зато они участвуют в современном литературном процессе.

"ИЛ". Сколько у вас сотрудников?

А. К. Я и еще один редактор – на полставки. Форум "Городской парк" и наш журнал – это, по сути, объединение идеалистов. Наверное, я сумасшедший, раз еще не отказался от этой деятельности. Ведь уже больше сорока лет прошло... Пожалуй, читатели удерживают.

"ИЛ". А переводы вы в журнале печатаете?

А. К. Да, но не так много. Тут проблема: переводчикам, которые с нами сотрудничают, мы не можем много платить.

"ИЛ". Господин Коллерич, хотелось бы, чтобы вы подробнее остановились на литературе самых молодых и на отношениях вашей группы с этими авторами: не кажетесь ли вы им недостаточно радикальными? Сейчас в России появляются очень молодые писатели, восемнадцати- и двадцатилетние. Они заставляют о себе говорить и в какой-то степени влияют на литературную ситуацию.

А. К. Я постоянно ощущаю чувство вины. Молодые авторы приходят к нам или присылают свои рукописи, но сам я могу прочитать не больше 10 % материалов. В основном это лирика. Я надеюсь найти интересных молодых авторов, которые родились в 1970–1980-е годы. Проблема в том, что я должен решать, кто лучше, а кто хуже. Каждый номер журнала для

меня как хорошая футбольная команда, и я как тренер подбираю ее состав. В Граце сейчас сформировалась группа молодых писателей. Иногда у нас с ними возникают трения, которые мне не очень приятны. Но я вновь и вновь пытаюсь привлечь кого-то из этой компании. Вообще же молодые сейчас имеют возможность печатать практически все, что пишут. Сейчас, как вы сами понимаете, ситуация очень неоднозначная. Когда мы начинали, к нам приходило больше качественных текстов, сейчас — больше слабых, сырых, иногда мы отвечаем: "Пришлите что-нибудь еще. Мы посмотрим". Но так просто, с разбегу публиковать все, что нам присылают, невозможно — ни технически, ни с точки зрения качества этих рукописей.

"ИЛ". Печатаете ли вы публицистику, эссеистику? И второй вопрос: как планируется номер, существует ли тематическая заданность?

А. К. Начну со второго вопроса: материал, который у нас имеется, достаточно разнообразен. Я советуюсь с коллегами, в том числе с Феликсом Ингольдом, известным швейцарским славистом и переводчиком. Мы не делаем как правило тематических номеров. Потому что, во-первых, намеренно оставляем "свободную зону". А во-вторых, это было бы давлением на авторов, если бы я просил их писать на определенные темы. Что касается эссеистических и публицистических работ, то да, мы их публикуем. Тут только одна трудность, финансовая: за них приходится платить. Иногда все же бывают и тематические номера, но такое случается редко. Были номера, посвященные американской и чешской литературе.

"ИЛ". Мы уделили много времени обсуждению проблем издания журнала и забыли о том, что у нас в гостях известный писатель, а не только издатель — а может, и не столько издатель. Поэтому традиционный журналистский вопрос к писателю: ваши творческие планы?

А. К. Я очень занят в журнале. Сейчас я в основном пишу стихи, для этого требуется меньше времени. Если у меня освобождается хотя бы половина дня, я концентрируюсь, и в голове появляется некий образ, форма... Потом приходит ощущение — получилось. Прозу я, конечно, пишу долго, но я ведь ежедневно провожу по пятнадцать часов в редакции... Я всегда медленно писал и трудно и начал поздно. Долгое время боялся публиковаться вместе с моими друзьями, они же мои любимые авторы, некоторых я даже открыл — Хандке, Бауэра, Фришмут. Мой первый роман Хандке буквально вырвал у меня из рук и сам отнес в издательство. И когда роман опубликовали, я сказал себе: "Коллерич, ты тоже можешь писать". До того я только редактировал журнал, а тут параллельно стал еще и писателем... Мои книги позже переводились на английский, хорватский, словенский, польский, французский, итальянский языки. Итальянцы перевели даже мои стихи. И я счастлив, что все это написал.

"ИЛ". Назовите, пожалуйста, наиболее поразивших вас авторов из немецкоязычных стран. Ваши любимые авторы последних десяти лет?

А. К. Я не слежу за новинками наших издательств. Могу назвать Анну Вебер. Ее философский роман я читал...

А. Б. Что вы думаете о таких авторах, как Патрик Зюскинд, Роберт Шнайдер, Бернхард Шлинк, Даниэль Кельман, о том поколении, которое можно было бы определить как "новые рассказывающие"?

А. К. Кельман мне очень нравится. А Шлинк — это берлинец, да? Первую его книгу я прочитал с огромным удовольствием, вторую уже не так... Что касается Роберта Шнайдера, то "Сестру сна" я смог осилить только до половины. Зато я всегда с огромной радостью "мучаю" себя чтением Фридерики Майрёкер, ее поэзии, действительно очень трудной. Мой вам совет: хотите читать хорошую литературу, читайте Майрёкер. Ее интерес-

ные тексты многое в нас пробуждают, но при этом остаются очень трудным чтением.

Александр Грасмук. Могут ли сегодняшние писатели, и в частности австрийские, жить только за счет своей писательской работы? Хотя это, может, не совсем тактичный вопрос... Для вас писательство скорее было увлечением, вы ведь работали учителем в средней школе. А второй вопрос касается моего профессионального цеха: как, собственно, сегодня обстоит дело с разного рода региональными журналами, большими и малыми, и в частности с "Манускриптами"? Не кажется ли вам, что интерес читателей к этому журналу постепенно падает? Может, дело в почти полном отсутствии рекламы?

А. К. Да, рекламы очень мало. Мы пытались что-то делать, но это требует слишком больших денежных затрат. А то, что "Манускрипты" — только региональный журнал, это и верно, и не совсем... В 1960—1970-е мы печатали авторов, о которых тогда больше всего говорили и спорили. Да и в 1980-е... Даже фильмы снимались про "Манускрипты". Те времена, конечно, прошли, но все-таки журнал по-прежнему остается важным явлением и обсуждается в прессе. А трудность состоит в том, что сейчас в Австрии не так много читателей, да и ярких авторов тоже.

Что касается другого вопроса, то да, некоторые писатели могут жить за счет своей профессии. Петер Хандке, например, прекрасно может. И Вольфганг Бауэр — более-менее. У многих это получается. Но часто авторы вынуждены публиковать одну книгу за другой, или они пишут эссеистику, а многих выручает то, что в Австрии популярны публичные чтения, которые оплачиваются совсем неплохо. Но такая жизнь требует большого напряжения сил.

А. Б. Я хотел бы спросить Владимира Владимировича Фадеева, переводчика книги "Убийцы персиков. Сейсмографический роман", о его впечатлении от этого текста.

Владимир Фадеев. Я с большой осторожностью отношусь к так называемой экспериментальной литературе. Она меня никогда не устраивала эстетически — иногда, правда, радовала как игра ума, как некая полуматематическая задача, — и я до сих пор верен этой точке зрения. Но когда мне в руки попал роман "Убийцы персиков", по мере углубления в него я стал понимать, что в данном случае экспериментальность насыщена живой эстетической кровью. Чем больше я думал об этом тексте, уже после того, как перевел его, тем больше его понимал. Речь там идет о вещах грандиозных — кому-то в жизни удается, а кому-то нет провести эксперимент — социальный, экзистенциальный. Допустим, перестроить свою жизнь. У персонажей этой книги, князя и других аристократов, имеются средства и возможности, чтобы удовлетворить свой каприз (что, кстати, могли позволить себе и наши Шереметьевы или Юсуповы, правда опиравшиеся на другую философию). А те персонажи, у которых нет возможности материализовать свои фантазии, тоже пытаются оказывать сопротивление действительности. Это сопротивление роднит всех героев романа, каждый из них создает свою "контрдействительность", субъективную. Это не досужая выдумка, это в какой-то степени действительно присутствует у каждого, кто пытается создать внутри самого себя наступательное оружие против реальности.

Не скрою, что некоторые вещи так и остались для меня непонятными. Почему один мальчик именуется О., а другой — А.? Что значат эти буквы? Еще были какие-то неясности... Я не стал беспокоить автора, потому что по опыту знаю, что, во-первых, автор ничего путного не скажет, а во-вторых, скорее всего согласится с любой моей версией. Роман "Убийцы

персиков" эстетически насыщен, и как у всех стоящих текстов, у него есть послевкусие.

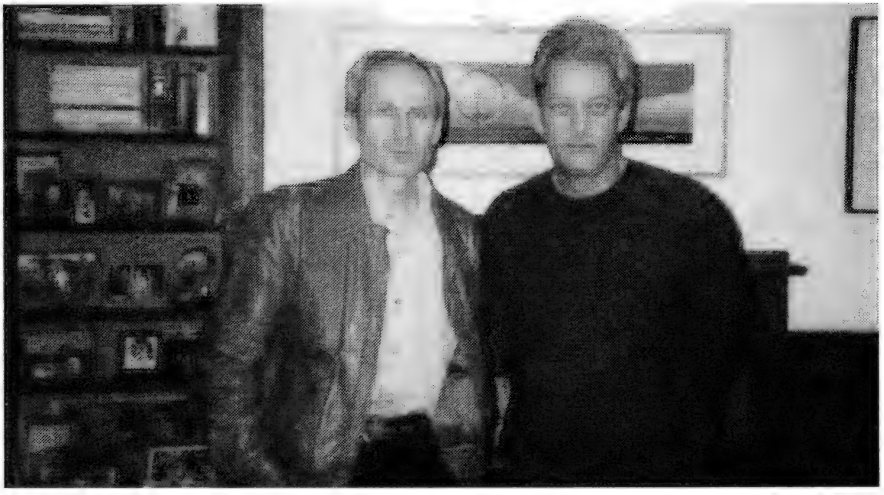
Если же говорить о переводе, то мною были допущены некоторые перекосы. Оригинал подчеркнуто символичен, но обеднен в смысле плоти, а русская традиция требует пластической полноты что ли, поэтому я добавлял "смака" там, где его нет. Но, с другой стороны, мы ведь должны не только перекодировать произведение с языка на язык, но в известном смысле и переместить его из одного пласта жизни в другой. Александр Васильевич Белобратов тому свидетель, он был редактором, нам обоим было интересно работать над этой книгой.

"ИЛ". Последний маленький вопрос к господину Коллеричу: а свои произведения вы в этом журнале печатаете?

А. К. В самом начале – да, печатал, а потом перестал. Я постоянно печатаюсь в издательстве "Резиденц". Неловко стало у себя в журнале печататься. Я ведь по долгу службы многим в напечатании их текстов вынужден отказывать. И как тут себя печатать?

Пол Остер. Искусство жить

Русскому читателю Пол Остер известен по романам "Мистер Вертиго" (1994), "Тимбукту" (1999)[1], "Книга иллюзий" (2002), "Ночь оракула" (2003). В издательстве "Эксмо-пресс" скоро выйдет его "Нью-йоркская трилогия", куда вошли романы "Стеклянный город" (1985), "Призраки" (1986), "Запертая комната" (1987). Киноманы знают Пола Остера по таким фильмам, как "Дым", "С унылым лицом" и "Лулу на мосту". А еще он поэт, эссеист, переводчик. С американским писателем беседует Сергей Таск.



Пол Остер (справа) и Сергей Таск

Сергей Таск. Поговорим об искусстве жить в противоположность "искусству сочинять"[2]. Когда в 1989 году я впервые приехал в эту страну, она показалась мне такой гигантской съемочной площадкой, очень деловой и сюрреалистичной. Позже фильм Вима Вендерса "Париж, Техас" подтвердил мои подозрения, что Америка – это просто миф, неизвестно кем придуманный. И вот мне недавно попадается ваше интервью, где я читаю: "Америка – это единственная на свете вымышленная страна". Не поясните свою мысль?

Пол Остер. Дело в том, что Америка возникла как идея. Наше правительство есть продукт эпохи Просвещения, страна зиждется на определенных представлениях, и в этом смысле она является некой абстракцией. В то время как другие страны сильны своими корнями, своими предками, своим прошлым, Америка связана с будущим, с тем, как жизнь людей *могла бы* сложиться. Идеалы этой страны по-прежнему чрезвычайно актуальны, они оказали существенное влияние на весь мир, но ирония заключается в том, что мы как нация никогда этим идеалам не соответ-

1. "ИЛ", 2001, № 8. Также в "ИЛ" были опубликованы эссе "Зачем писать" (1996, № 10) и роман "Стеклянный город" (1997, № 6). (*Прим. ред.*)
2. Пол Остер. Искусство сочинять. Интервью Майкла Вуда / Paris Revue, 2003, № 178. (*Здесь и далее – прим. С. Таска.*)

ствовали. Мы начали с истребления индейцев и долго сохраняли худший вид рабства, которое поставило страну на грань катастрофы, когда разразилась первая война новейшей эпохи. Около миллиона солдат — у себя дома — погибло в Гражданскую войну. Америка всегда была страной кровавой и лицемерной, оставаясь при этом необыкновенно идеалистичной. Вот почему так трудно быть американцем. Одни вещи достойны восхищения, а другие приводят тебя в бешенство. Чтобы здесь жить, надо постоянно искать некое равновесие.

С. Т. Дом — что он для вас значит? Это жилище, видимо, так же мало похоже на родительский дом, как вы — на своего отца. Что-то я не вижу лампочек вполнакала[1].

П. О. (*смеется*). Это точно!

С. Т. Когда вы его покупали, в этом был определенный подтекст? Что было для вас главным — атмосфера, удобство, свой угол, место для уединения?

П. О. Прежде всего, это был практический шаг. Я женат на Сири почти двадцать три года. Когда мы познакомились, мы были бедны как церковные крысы. Среди ночи она просыпалась с мыслью: "Надо купить мыло, а на какие шиши?" После того как мои книги начали печататься, а затем и переводиться, я, к своему удивлению, обнаружил, что у нас завелись деньги. Для меня это явилось полнейшей неожиданностью. Я считал, что мой удел — это жизнь нищего поэта. Мы тогда ютились вчетвером — Сири, я, наша дочь Софи и Дэниэл, мой сын от первого брака, — в маленькой квартирке. Целый год мы искали подходящее жилье и, наконец, нашли этот дом[2]. Он понравился мне тем, что днем здесь много света. Это счастливый дом. Все, что вы здесь видите, есть плод воображения Сири. Я тут ни при чем.

С. Т. Но все это появилось с вашего одобрения?

П. О. Мне здесь очень хорошо, да. Сам по себе я человек неприхотливый. Если бы я был один, меня вполне устроила бы пустая клетушка со столом и кроватью. Я жил так в молодости и при необходимости могу так жить и сейчас. А этот дом возник из ощущения... как бы это сказать... что жизнь может быть прекрасной. И это ощущение Сири воплотила в реальность.

С. Т. Он производит впечатление основательности. Эта и, возможно, какие-то другие особенности вашего быта случайно не попали на страницы ваших книг?

П. О. Нет. Мне кажется, мои книги навеяны молодостью. Скорее ощущением неприкаянности, чем основательности. Двенадцать лет назад, когда мы сюда въехали, мне было сорок пять. Уже немолодой человек с приличным жизненным багажом и сложившимся мировоззрением. У меня свои "тараканы", и среда, в которой я теперь обитаю, в сущности, не влияет на мое воображение. На жизнь — да, на воображение — нет. В двадцатилетнем возрасте меня всегда поражало, насколько опытные писатели безразличны к тому, что делают их молодые коллеги. Например, Сэмюэл Беккет, с которым мы подружились в Париже и потом поддерживали отношения. И только сейчас, став старше, я понял: ни одна из книг, которые я в настоящий момент читаю, не способна сбить меня с курса. Наверно, я переехал в этот дом в такой поздний момент своего развития, что он уже не мог повлиять на меня.

С. Т. Здесь есть какие-нибудь "прекрасные возвышенные вещи", не считая знаменитой пишущей машинки "Олимпия"[3], которые особенно любезны вашему сердцу?

1. Намек на отцовский дом, описанный им в книге "Изобретение одиночества".
2. Район Парк-Слоуп в Бруклине, Нью-Йорк.
3. Все романы и сценарии Пол Остер печатает по старинке, на пишущей машинке.

П. О. Мои девочки, прекрасные и возвышенные. В этом доме царят не вещи, не книги и рукописи, а те, с кем я живу.

С. Т. А в каких вы отношениях с домовыми?

П. О. По-моему, в отличных. В этом доме я живу дольше, чем где-либо, даже считая детство. Мне здесь хорошо — надеюсь, и дальше так будет. Дома в Бруклине, сами знаете, какие: узкие, вытянутые вверх. С годами карабкаться по лестницам станет труднее, но пока нам это не грозит. Здесь хочется жить и жить.

С. Т. Детские страхи, наваждения все еще преследуют вас? Доверяя их бумаге, можно совершить акт "изгнания дьявола"?

П. О. Нет, нельзя. Пока пишешь, это помогает снять напряжение, облегчить ношу. Но поставил точку — и все вернулось на круги своя. В процессе работы над "Изобретением одиночества" мне казалось, что это как раз станет таким изгнанием дьявола. Это действительно был по-настоящему гальванизирующий и вдохновенный акт. А закончил — и как будто ничего не было. Снова подступила реальность. Например, мне часто снится отец, который умер двадцать пять лет назад. В отличие от более поздних впечатлений, детские потрясения, мне кажется, остаются с тобой навсегда. Они как клеймо в душе: на всю жизнь.

С. Т. Вы собирались стать профессиональным бейсболистом, а стали писателем. Насколько трудным был для вас переход от командной атмосферы к одиночному заключению?

П. О. Вообще-то я всегда был одиночкой. Я рано увлекся книжками. В девять или десять лет кропал беспомощные стишки и мечтал стать писателем. Мне казалось, на свете ничего благороднее нет. Мои родители не учились в колледже, ничего не читали, а меня от книжек было не оторвать. Спорт тогда сыграл очень важную роль, он ввел меня в мир других людей, помог завязать с ними отношения. Позже, после многолетнего затворничества, работа в кино в каком-то смысле вернула меня во времена бейсбола: коллективные усилия, совместное достижение результата. Это было очень приятно и просто полезно — на несколько лет вырваться из заточения.

С. Т. А затем вы снова затворились?

П. О. Затем я снова затворился. В какой-то момент, работая над своим третьим фильмом "Лулу на мосту", я понял, что нельзя усидеть на двух стульях. Если ты снимаешь картины, то больше ни на что времени не остается. Кино забирает тебя всего, душевно и физически. Когда фильм запущен в производство, работать приходится по восемнадцать-двадцать часов в сутки. Я тогда подумал: "Кажется, у меня начинает получаться. Пожалуй, если продолжать, я смогу чего-то достигнуть". Но, если бы я продолжал, я бы не смог написать книги, которые живут во мне. Я сделал сознательный выбор: уйти из кино и сосредоточиться на романах. Но я ни о чем не жалею. Работа в кино многому меня научила.

С. Т. В кино вы уже не вернетесь?

П. О. Ну почему. Только что я закончил новый роман[1]. Обычно, закончив книгу, я вхожу в глубокое пике — депрессия и прочие прелести. В этот раз я нашел лекарство от тоски. Я пишу в соавторстве киносценарий...

С. Т. Для французского режиссера?[2]

П. О. ...для французского режиссера, но по-английски, и сниматься это будет в Штатах. Я получаю большое удовольствие, но к съемкам в данном случае не буду иметь никакого отношения. Я просто сценарист.

С. Т. Есть подозрения, что вы собачник, а не кошатник.

1. "Бруклинские чудачества".
2. Имеется в виду Патрис Леконт.

П. О. На самом деле я очень люблю кошек, но у меня на них аллергия. Глаза краснеют, чихаю. Поэтому мне с ними просто не ужиться. Но между нами существует взаимная симпатия. Всякий раз, когда я оказываюсь в доме, где есть кошка, она тут же забирается ко мне на колени. Иногда мне кажется, что в своей прошлой жизни я был котом. Но в этом доме мы все собачники. С нами живет, точнее, доживает свой век, старая дворняга.

С. Т. Не этот ли пес вложил свои мысли в голову мистеру Зельцу, известному также под именем Спаркатус?[1]

П. О. Самое смешное, я начал писать историю Вилли и мистера Зельца *до* того, как мы завели собаку. В первоначальном замысле им отводилась роль второстепенных персонажей в большом романе — том самом, кстати, который я только что закончил. Но я так влюбился в эту парочку, что решил посвятить им отдельную повесть, оторвав их таким образом от большого сюжета. И только год спустя мы подобрали в Бруклине нашего пса. Но он очень мне помог в работе. Я пристально за ним следил, и он многому научил меня.

С. Т. Не поделитесь откровениями из собачьей жизни?

П. О. Откровениями из собачьей жизни... По-моему, собаки очень похожи на нас, но игральные кости эволюции выпали таким образом, что их мозг, в отличие от нашего, остановился в своем развитии. Наш пес — это такой девятимесячный ребенок. Дальше, в умственном отношении, он уже не пойдет. Но ему знакомы страсти и привязанности, страхи и печаль, и в этом смысле он мало чем отличается от нас с вами. А с другой стороны, они ведь бездельники. Иногда я не выдерживаю: "Слушай, Джек, может, ты хоть посуду помоешь!" Но он предпочитает дрыхнуть. Привязанность собаки к человеку удивительно напоминает привязанность ребенка к матери. Сейчас он старенький и буквально не отходит от нас ни на шаг. Больше всех он любит Сири. Она пишет, а он часами лежит у нее в ногах, блаженствует. Для него это высшее счастье: лежать и ничего не делать.

С. Т. Может, он подает ей разные идеи?

П. О. Не исключено.

С. Т. Ваша жизнь в паузах между романами?

П. О. Близкая к отчаянию. Состояние растерянности, потерянности. У меня в голове всегда роились замыслы. Каждую книгу я вынашивал по десять лет. А тут — тупик. Так, смутные идеи, отрывочные мысли...

С. Т. Но нет истории.

П. О. Полноценной истории нет. Все другие книги медленно вынашивались, и, приступая к делу, я довольно хорошо себе представлял, в каком направлении двигаться. Сейчас я на перепутье. Впереди — неизвестность. Интересный, прямо скажем, момент в моей жизни.

С. Т. Вас это пугает? Есть ощущение тупика?

П. О. Нет-нет. Я же пишу этот сценарий. Через месяц-другой закончу — тогда поглядим.

С. Т. Плывем по течению?

П. О. Плывем по течению.

С. Т. Ваша жена, Сири Хустведт, тоже писательница. Как уживаются два медведя в одной берлоге? Есть момент творческого соревнования? Когда обсуждаете друг друга, где проводите границу?

П. О. Никакого соревнования между нами нет. Мне кажется, главное, почему мы вот уже двадцать четыре года вместе, — это то, что мы не перестаем удивлять друг друга. Пожалуй, я не знаю более талантливого человека. Сири — мой первый читатель. Я абсолютно доверяю ее вкусу. "Твой чи-

1. Персонаж романа "Тимбукту".

татель" — это тот, кто всегда на твоей стороне и при этом безжалостно честен. Мы заключили пакт. Я читаю ее, она читает меня. И если нам кажется, что вещь где-то пробуксовывает, мы рубим сплеча. Мы честны друг с другом, и это делает наши отношения прозрачными.

С. Т. У вас разные агенты и издатели?

П. О. Агенты у нас разные, а издатель в Штатах сейчас один, но все это не имеет значения.

С. Т. А как насчет читателей?

П. О. Читатели, вероятно, у нас разные, хотя, с другой стороны, я своих читателей не знаю. Тайна сия велика есть. Наверняка кто-то читает нас обоих. Наши книги настолько разные, что их нет смысла сравнивать. И конечно ни о каком состязании не может быть и речи. Иначе бы мы так долго не продержались. Я восхищаюсь тем, что Сири пишет, и не только ее романами, которые становятся раз от разу лучше. Она уже лет десять пишет об изобразительном искусстве: Джорджоне, Вермер, Гойя. В прошлом году, когда мы были в Испании, она сделала удивительное открытие. Ее заинтересовала картина Гойи "Третье мая" — французские солдаты расстреливают испанских повстанцев. Огромное полотно, как эта стена. На репродукциях трудно что-либо разглядеть, особенно в замутненном левом нижнем углу. Мы отправились в музей "Прадо", и Сири часа два провела перед картиной. И вот в этом серо-черно-коричневом мареве, среди груды искалеченных трупов, она разглядела то, чего не увидел до нее никто за сто девяносто лет: кричащий Гойя. На этой неделе она как раз летала в Испанию, чтобы встретиться с куратором музея. Момент был напряженный. Кураторы — народ тертый, и эта женщина заведомо относилась скептически ко всякого рода "открытиям", но глаза не обманешь: перед ней был Гойя! Она пообещала с помощью сканирования определить, датируется ли автопортрет тем же годом или кто-то дописал его позднее.

С. Т. Впечатляет.

П. О. В этом вся Сири. Она начинает с нуля: посмотри, почувствуй, прочитай. Революционная простота.

С. Т. Ваши дети пошли по вашим стопам?

П. О. Нет. Мой сын работает с животными, а Софи готовится стать певицей и актрисой. Она только что записала свой первый альбом. Я вспоминаю забавный случай. Однажды, когда она была маленькая, мы ехали в метро, и вдруг она нам говорит: "Не понимаю, как вы можете целый день сидеть и писать. Это же ужасно! Я хочу быть среди людей".

С. Т. Мы успели привыкнуть к окружающему насилию. Но каково обнаружить это в собственной семье? Я говорю об эпизоде в вашей автобиографической книге[1]. Что побудило вас обнародовать эти обескураживающие факты?

П. О. Это давняя история, и я не считал, что, рассказывая ее, я оскорбляю чью-то память. Все это было в старых газетах. Я писал портрет отца, и этот эпизод был одним из ключевых для понимания его личности. Я сказал себе: "Если уж ты взялся за это дело, рассказывай все как есть".

С. Т. Вы думаете о том, как уберечь себя и свою семью в этом опасном мире? Я имею в виду уличную преступность и все такое прочее.

П. О. Я не хочу жить в страхе. В этой жизни все возможно. Есть такое понятие — несчастный случай. Непредвиденные обстоятельства, которые изменяют твою жизнь. Два года назад Сири, Софи и я попали в автомо-

1. 23 января 1919 года в Кеноше, штат Висконсин, бабушка писателя Анна Остер застрелила своего мужа Гарри Остера. Спустя два месяца брат убитого стрелял в Анну, но промахнулся.

бильную аварию. В нас на полной скорости врезался лихач. Машина всмятку. Дверь вырезали автогеном. Мы чудом выжили. Каждую минуту что-то происходит. Да, мы живем в опасном мире, но если постоянно втягивать голову в плечи, если затворяться в четырех стенах и не выходить на улицу, то кому нужна такая жизнь? Лучше погибнуть от удара молнии или в автокатастрофе или от бомбы террориста.

С. Т. Ну вот. Заговорили об искусстве жить, и тут же замаячила зловещая буква "С". Эта тема постоянно на уме у ваших персонажей. Когда вы отдаете им свои мысли, для вас главное поделиться чем-то важным с читателем или это еще и попытка, так сказать, переложить груз на чужие плечи?

П. О. Этот вопрос занимал меня всегда. Вероятно, он фундаментален для всех моих книг и уж точно — для каждого человека. В один прекрасный день мы все умрем, и никто не знает, когда пробьет его час. Это может превратить жизнь в кошмар — или в увлекательное путешествие. С годами начинаешь больше задумываться о своей смертной природе. Мне пятьдесят семь. Каждый день я прочитываю некрологи в газете и вижу, что многие были моложе меня. Я знаю, что позади больше, чем впереди. Вероятно, в моих последних книгах эта тема заметнее, оно и понятно. Сейчас мы встанем и пойдем ужинать, и прямо в ресторане меня может хватить кондрашка. Я к этому готов. Я ко всему готов.

С. Т. Как менялись ваши представления о смерти?

П. О. Один из моих любимых авторов, Монтень, в молодости написал: "Жизнь — это приготовление к смерти". А в зрелом возрасте он выразился так: "Смерть учит человека жить". С возрастом сильнее цепляешься за жизнь, начинаешь ценить разные мелочи. Наша беседа, вино на столе, свет за вашей спиной — все это потрясающе красиво... Два года назад умерла моя мать. В какой-то момент замечаешь: люди, которых ты любил, люди, которые любили тебя, их уже нет, ты разговариваешь с призраками. Мне кажется, наступил такой момент, когда окружающих меня призраков не меньше, чем живых. Что ж, обычное дело.

С. Т. Но каждый реагирует на это по-своему, не правда ли?

П. О. Вот вам история. У моего шурина, скульптора, есть дядя, который когда-то работал в Голливуде по связям с общественностью. Знал всех звезд пятидесятых. Сейчас ему за девяносто. Все называют его дядя Берни, и я тоже так его зову, хотя он мне никакой не дядя. Короче, он читал книгу о Кеннеди и дошел до описания борделя, куда тот захаживал. Берни оживился: он хорошо знал этот бордель и его хозяйку. Он снял телефонную трубку, чтобы поделиться своей радостью с друзьями, и вдруг до него дошло: все, кто в свое время отдал дань этому почтенному заведению, уже на том свете. Он был последним свидетелем.

С. Т. На эту тему есть реплика из фильма: "Жизнь не закончена, пока есть история и тот, кто может ее рассказать".

П. О. В самую точку. Кстати. Одна история, связанная с дядей Берни, имеет отношение к России. Во время Второй мировой войны, когда мы были союзниками, сюда привезли фильм про русских солдат... "Два бойца". Премьера должна была состояться в Канзас-Сити. И вот Берни пришла в голову мысль, что каждый, кто сдаст кровь для русской армии, сможет посмотреть кино бесплатно. И вот сеанс начался, а Берни опаздывает. Он подходит к кинотеатру и слышит, как владелец ругается с каким-то солдатом, который ушел с картины. Берни подходит ближе, и владелец кинотеатра говорит ему: "Ну, каким местом ты думал? Этот парень требует, чтобы я вернул ему кровь!"

Бруклин. Вечер Хэллоуина, 2004

"Ты Бога облетел и вспять помчался..."

Джон Донн *По ком звонит колокол. Обращения к Господу в час нужды и бедствий. Схватка смерти, или Утешение душе, ввиду смертельной жизни и живой смерти нашего тела.* / Пер. с англ. А. В. Нестерова, О. А. Седаковой; Составление, предисловие, статьи, комментарии А. В. Нестерова. — М.: Энигма, 2004

Прошло почти полвека с тех пор, как книга с тем же названием увидела свет в нашей стране. То был самый известный — и в те времена еще крамольный — роман Хемингуэя, взявшего в качестве названия и эпиграфа для своего произведения о Гражданской войне в Испании цитату из мало кому известного тогда английского поэта XVII века, одного из тех, кого специалисты "почему-то" прозвали "метафизиками", Джона Донна.

За эти пятьдесят лет последние слова длинной, глубокомысленной, настраивающей на грустный лад сентенции английского поэта и проповедника "Никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол: он звонит и по тебе" стали изречением ходовым, широко известным, чуть ли не общим местом, однако оставались — как это нередко бывает с общими местами — вырванными из контекста и от этого не до конца понятными.

И только теперь, когда московское издательство "Энигма" выпустило том проповедей Донна с названием, которое издатели и составители словно бы вернули законному владельцу, мы получили возможность не только прочесть целиком рассуждение о колокольном звоне, но и всю семнадцатую Медитацию, куда это рассуждение вошло, а также все двадцать три Медитации, составившие главное прозаическое произведение Донна "Обращения к Господу в час нужды и бедствий". Спустя пятьдесят лет, таким образом, контекст известной цитаты, начинающейся с вещих — и почему-то оставшихся в тени — слов "Смерть каждого человека умаляет и меня. Ибо я един со всем человечеством", наконец-то восстановлен.

"Обращения к Господу в час нужды и бедствий", написанные Донном, настоятелем лондонского собора Святого Павла и придворного капеллана, зимой 1623 года, когда поэт тяжело заболел и был уверен, что умирает, совмещают в себе дневник, медицинский бюллетень, богословский трактат и молитвенник и представляют собой опыт приближения к смерти, вынесенный Донном из болезни, или, говоря словами самого поэта, "рождение... превышающее порядок природы". Размышления о смерти сочетаются в трактате с непосредственным, прослеженным шаг за шагом опытом физического умирания: каждый из 23 разделов соответствует определенной стадии болезни и состоит из трех частей: Медитации, Увещевания и Молитвы, которым предпосланы латинские стихотворные эпиграфы, например: "Medicusque vocatur. Призывается врач", или "Medicamina scribunt. Они предписывают лечение", или "Metusque Relabi. Они предупреждают меня об ужасной опасности повторного заболевания".

При всей своей философской глубине и поэтичности "Обраще-

ния", о чем пишет в предисловии составитель тома и переводчик А. Нестеров, не оригинальны: Донн отталкивается в них от популярных в конце XVI — начале XVII века трактатов, этих своеобразных ars moriendi, которые поучают добропорядочных христиан, как следует переносить тяготы болезни, как прощаться с близкими и отрешаться от земных забот, как готовить себя к встрече с Создателем, и в которых прослеживается сквозной мотив переменчивости человеческого удела, делается постоянный акцент на ничтожности, слабости человека, непредсказуемости тягот, его поджидающих: "Переменчива и жалка участь человека: мгновение назад был я здоров — но вот я болен" (Дж. Донн); "Сегодня мы здоровы и крепки, а завтра больны; сегодня счастливы, а завтра — поражены скорбью..." (Роберт Беллармин "Об искусстве достойной смерти").

Во всех посвященных "искусству умирания" трактатах проводится мысль о том, что умирающий должен перед кончиной произнести символ веры — вот и каждый раздел "Обращений", в строгом соответствии с традицией, заключается молитвой. В Увещеваниях, следующих за Медитациями и предваряющих Молитвы, Донн, однако, с традицией практических наставлений для умирающих порывает и, точно библейский Иов, вызывает Бога на спор: "... как Иов, хотел бы я говорить к Вседержителю и желал бы состязаться с Богом". На "состязание" с Богом из всех "наставителей" отважился только Донн; впрочем, за то, что поэт "позволяет себе" в Увещеваниях, он затем просит прощения в Молитвах, словно бы покоряясь Богу и судьбе.

В "Обращениях к Господу" прослеживается и немало сквозных метафор, также характерных для подобных наставлений: сопротивление болезни сравнивается с обороной крепости; дьявол — с полководцем, возглавляющим армию болезней, недугов и напастей. Наиболее же очевидный, идеологически значимый троп этого произведения — зародившееся еще в античности представление о человеке как малом подобии Универсума, как о "наброске или образе — или краткой повести всей истории мироздания", если воспользоваться сравнением другого замечательного английского поэта, старшего современника Донна Уолтера Рали. Именно так следует воспринимать в свое время поразившее читателей романа Хемингуэя уподобление человека смываемому морем утесу, каменной скале, "твоему собственному дому", от уничтожения которых "станет меньше вся Европа". Вот откуда ставшее теперь классическим "Смерть каждого человека умаляет и меня". Вот почему воспринимается вполне риторическим вопрос "Кто сможет остаться глух к колокольному звону, когда тот оплакивает уход из мира частицы нас самих?".

Помимо "Обращений к Господу в час нужды и бедствий", в собрание богословской, а лучше сказать, философской прозы Донна вошла и его последняя, прочитанная перед королевским семейством за неделю до смерти проповедь "Схватка смерти" (1631), задуманная поэтом как свое собственное надгробное слово, а также две большие статьи А. Нестерова "Алхимическое богословие Джона Донна" и "Циркуль и окружность. К вопросу о датировке 'Прощания, запрещающего грусть'"; завершает книгу Краткая хронология жизни писателя.

За пятнадцать с лишним лет свободы печати в России в классическом наследии — русском и зарубежном — удалось заполнить немало белых пятен. Вместе с тем свобода печатать все, что издатели и специалисты сочтут неспра-

ведливо забытым и культурно значимым, нередко оборачивается вольницей, сопровождается грубыми ошибками переводчиков, легковесностью и небрежностью вступительных статей и примечаний, не всегда разумным выбором переводимых произведений, какой-то общей поспешностью и непродуманностью издательских замыслов, от которых пострадало — и, боюсь, еще не раз пострадает — не одно доброе имя "вновь открытого" классика. В этой связи поневоле задумываешься: а может, лучше было бы классика и вовсе не "открывать", чем представлять его на суд читателя перевранным, искаженным, упрощенным? Ждал бы и дальше своего часа...

Джону Донну-прозаику (о Донне-поэте разговор особый) и его русскому читателю несомненно повезло. "По ком звонит колокол" и составлен, и переведен, и откомментирован и, что тоже немаловажно, оформлен мастерски, с любовью и со знанием дела. И это при том, что задача перед переводчиками (О. Седакова, А. Нестеров) метафизической прозы Джона Донна стояла невероятно сложная, в чем читатель русского текста, думаю, без труда убедится.

А. Ливергант

Русская литература: взгляд из Швейцарии

Ilma Rakusa *Von Ketzern und Klassikern: Streifzuge durch die russische Literatur.* — Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2003

Ильма Ракуза *О классиках и еретиках: набеги на русскую литературу.*

Известная швейцарская писательница и поэтесса, профессор славистики Цюрихского университета, член Дармштадтской академии немецкого языка и литературы Ильма Ракуза выпустила книгу о русской литературе, собрав под одной обложкой свои подчеркнуто личные впечатления от русских писателей разных эпох. Несмотря на кажущуюся независимость отдельных очерков друг от друга, собранные под одной обложкой они складываются в цельную картину русской литературы XIX и XX вв., прочитанной знатоком и ценителем словесности, просто тонким творческим человеком подчеркнуто субъективно, но в то же время глубоко и во многом отлично от традиционных для Западного мира.

Русская литература Ильмы Ракузы начинается с Баратынского, "истинно метафизического поэта", перебросившего мост от литературы XVIII в. непосредственно в XX в. Прорабатывая болевые точки, ключевые антиномии страдания, создавая нигилистическую панораму падения и разрушения, Баратынский, по мнению исследовательницы, шел от анализа к *ви́дению*, чтобы в конце пути превратиться в подлинного поэта-визионера.

Творчество Достоевского швейцарская писательница рассматривает через призму его женских образов. Не соглашаясь с героем Пруста, видевшим во всех женских персонажах Достоевского одну и ту же женщину, Ильма Ракуза объясняет это довольно распространенное на Западе заблуждение бросающимися в глаза "отклонениями" героинь Достоевского от "нормального" женского типа (жены, матери). Сама она делит их на три группы: "нежных" ("красивая душа", "чистое сердце" — Неточка Незванова), "гордых" (Настасья Филипповна), "юродивых" (Лизавета).

В основе "феномена Толстого" лежит, по ее мнению, "проти-

воречие как принцип": писателем владело постоянное стремление двигаться против потока. К следствиям такой его особенности можно причислить и кризис 1870-х, когда Толстой выступил "религиозным реформатором", и присущий ему на протяжении всей жизни принципиальный протест против цивилизации, увлечение естественностью, домострой в собственной семье и, наконец, уход из дома в возрасте 82 лет. Не придавая слишком большого значения "религиозному реформаторству" и "морально-дидактическому новаторству" русского писателя, швейцарская исследовательница признает в нем великого классика мировой литературы — "и это уже навсегда".

Особое место в книге занимает очерк "Целый маленький мир", исследующий образ ребенка в русской классике. Согласно сложившемуся на Западе представлению, ребенок как олицетворение слабости и беззащитности неизменно предстает в русской литературе жертвой общественных отношений и обстоятельств. Ильма Ракуза считает такой взгляд упрощенным, приводит и другие примеры. Так, у Достоевского, всегда готового встать на защиту слабого и безгласного, уделявшего особое внимание положению детей в обществе (в частности, колониям для малолетних преступников), ребенок не только невинная жертва социальной несправедливости и жестокого обращения, но и самостоятельная, "взрослая" личность, пусть и лишенная права на детство. Ребенок для Достоевского — величина абсолютная, а вот близкий народникам Глеб Успенский сосредоточивается в первую очередь на социальном аспекте формирования личности — взяв за образец судьбу крестьянского мальчика ("Петькина карьера"). Секрет сильного эмоционального воздействия чеховского рассказа "Ванька" — взгляд на мир глазами ребенка. Трудно считать жертвой социальной несправедливости и Егорушку ("Степь"), чью судьбу определяет исключительно честолюбие матери: многодневное путешествие по степи в гимназию уездного города становится для мальчика первым опытом экзистенциального одиночества. Придерживаясь скорее обозначенного выше "традиционного" понимания образа ребенка, М. Горький в ранних своих произведениях строит на детских образах масштабную социальную критику, носящую нередко плакатный характер. Завершается очерк "беглым взглядом" в начало XX в.: Федор Сологуб в рассказе "Поцелуй нерожденного" подводит к самоубийству — под давлением личных обстоятельств и политической ситуации — своего гимназиста, увидевшего в "бегстве" Толстого подтверждение худшим своим опасениям.

Во втором разделе своей книги Ильма Ракуза обращается к писателям малоизвестным, а то и вовсе неизвестным на Западе: Алексею Ремизову — "одной из самых необычных фигур русской литературы"; Михаилу Пришвину — создателю своеобразной "смешанной формы", сочетающей аутентичный документализм и вымышленное повествование; северо-русскому крестьянскому поэту Николаю Клюеву; пессимистическому визионеру Андрею Платонову; умеющему заставить вещи говорить Леониду Добычину; "еретику" от модернизма Евгению Замятину (на примере романа "Мы"); "такому же как все, но только лучше" обэриуту Даниилу Хармсу, который мог бы дать фору Беккету.

В третьем разделе несколькими яркими штрихами автор книги рисует свою картину русской поэзии XX в. Выбор поэтов тоже весьма субъективен, однако достаточно широк и опять-таки отличен от традиционного. Поэт и

художница Елена Гуро (1877–1913), близкая кругу Малевича, Матюшина, Крученых, в очерке швейцарской писательницы предстает тонким лириком, навсегда очарованным северной природой, испытавшим влияние как символизма, так и футуризма. Несколько ее стихотворений (в переводе И. Ракузы) включены в книгу. Рассматривая далее роман Андрея Белого "Котик Летаев" – произведение, композиция которого во многом определяется магической звукописью, – исследовательница доказывает правомерность причисления этой прозы к поэзии. Будучи давней поклонницей и переводчицей Марины Цветаевой, Ильма Ракуза в своем эссе "Марина Цветаева. Опыт портрета" дает масштабную картину ее творчества, не соглашаясь с традиционной для западного восприятия его недооценкой. Отдельное эссе посвящено особенностям цветаевской пунктуации. Ахматова, героиня следующего очерка, чьего величия исследовательница нисколько не отрицает, как бы невзначай отодвигается в тень только что воздвигнутого колосса – Цветаевой. Очерк "Воспоминания об Иосифе Бродском", наверное, наиболее субъективен: на первый план выведена история личного знакомства И. Ракузы с тогда еще питерским поэтом. В центре заключительного эссе – глубинное родство поэтики Геннадия Айги (тоже близко знакомого со швейцарской писательницей) с супрематизмом Казимира Малевича; приведены несколько стихотворений поэта в прекрасном переводе швейцарского слависта и переводчика Филиппа Ингольда.

Раздел, завершающий книгу, дает срез литературы последних лет. От "В тени Гоголя" Андрея Синявского и "Человека в пейзаже" Андрея Битова до "Шатунов" Юрия Мамлеева, рассказов Анатолия Гаврилова, романов Валерии Нарбиковой. Анализируются также мало известные у нас дебютный роман Алексея Шипенко "Жизнь Арсения" и "Прогулки по пустому миру" Олега Юрьева.

В очерке "Прорыв русских писательниц" представлена современная женская проза. Как полагает автор, на российской литературной сцене в настоящее время доминируют женщины: они пробуют силы в разных жанрах – от криминального романа до экспериментальной прозы, от публицистики до воспоминаний. И если, по мнению исследовательницы, преобладание женских голосов в русской поэзии ощущалось на протяжении всего XX в., то в прозе прорыв произошел в самые недавние годы.

Единственный из рассмотренных в книге современных писателей, чье творчество оценивается Ильмой Ракузой скорее отрицательно, – Владимир Сорокин. Называя его первый роман "Очередь" безусловно талантливым, исследовательница подчеркивает, что в последних произведениях, в частности в романе "Голубое сало", невероятно интересном оригинальными языковыми решениями, неуемная фантазия заводит писателя слишком далеко – "а уж о вопросах морали лучше вообще не говорить". Даже "провокативные игры" требуют некоторой "этической обоснованности", Сорокин же, по ее мнению, относится к ним слишком легко, и от этого страдает его искусство.

Е. Соколова

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Черчилль У. Индия, Судан и Южная Америка. Походы британской армии 1897–1900. Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2004. – 560 с. – (Колониальные войны и локальные конфликты). 5000 экз. (п)

Конец XIX века – пик могущества Британской империи. Но ее периодически сотрясали пограничные конфликты, из которых англичане неизменно выходили победителями. Как там пелось в зонге Брехта из "Трехгрошовой оперы"? "От Гибралтара до Пешавара..." Везде гремела слава английского оружия, свидетелем чему стал юный сэр Уинстон Черчилль, офицер-кавалерист и военный корреспондент. Наверное, из всех политиков Черчилль – самый литературно одаренный. Российские читатели могли в этом убедиться, познакомившись с его "Второй мировой войной". Африканские приключения ничуть не менее увлекательны: настоящий авантюрный роман, только придуманный не автором, а самой жизнью.

Штейнгарт Г. Приключения русского дебютанта. Пер. с англ. – М.: Фантом Пресс, 2004. – (Зебра) 640 с. (п)

Родители Владимира Гришкина эмигрировали из Ленинграда в Нью-Йорк, когда ему было всего семь лет. Теперь ему двадцать пять, и он не может понять, к какой же общности он принадлежит? И не русский вроде бы, и не американец. Гришкин мечется от компании к компании, от тусовки к тусовке, из страны в страну, и эти метания описаны Гарри Штейнгартом так остроумно, что сразу несколько крупных американских газет назвали "Приключения русского дебютанта" лучшим дебютом 2002 года. Книга Штейнгарта – не роман эмигранта и не роман про эмигранта; скорее, это роман про состояние души неприкаянного скитальца, который никак не может найти свое место в жизни. Что-то вроде героя Вуди Аллена. Хотя Штейнгарту до Вуди Аллена еще далеко.

Послания из вымышленного царства / Сост. и пер. с лат. Н. Горелова. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – (Азбука-средневековье)

Странница Феклуша из "Грозы" Островского рассказывала про далекие страны, где живут люди с песьими головами. Но не одна Феклуша верила в подобные чудеса. Сохранилось множество средневековых текстов с описаниями небывалых земель, расположенных на самом краю света. В те времена люди, например, страстно мечтали найти царство Пресвитера Иоанна. Что они об этом царстве знали? Что оно расположено где-то в Азии между Великой Степью и Страной Шёлка, окружено варварами и язычниками, но само, конечно же, христианское. Там покоятся мощи апостола Фомы, там укрылись десять потерянных еврейских колен, там правит великий и мудрый Пресвитер Иоанн, и ему подчиняются сотни диковинных племен. А еще там водятся люди-рыбы, которые выходят на сушу собирать хворост и потом жгут его у себя под водой. Стоит особо отметить работу Николая Горелова, который примерно раз в два месяца выпускает очередной сборник замечательных средневековых текстов.

Хеллер Ф. Входят трое убийц: Роман / Пер. с швед. Ю. Яхниной. — М.: Издательство Ольги Морозовой, 2004. — 288 с. — (Преступление в стиле...). 5100 экз. (п)

Изящный детектив, написанный знаменитым шведом Франком Хеллером (1886—1947, настоящее имя Гуннар Сернер) и переведенный недавно скончавшейся Юлианой Яковлевной Яхниной. 1930-е годы, курортный городок на юге Франции. Преступление еще не совершено, оно только зреет, но его уже начинают расследовать три чудака-скандинава — норвежский поэт Эбб, датский банкир Трепка и шведский доцент Лютенс. Все трое — большие поклонники детективного жанра. Теперь у них есть прекрасный повод и самим превратиться в сыщиков. Ситуация многообещающая: богатая старуха, три балбеса-наследника и пропавший яд...

Голландцы и бельгийцы в России. XVIII—XX вв. / Под ред. Э. Вагемса, Х. Конингсбрюгге; Пер. Д. Сильвестрова. — СПб.: Алетейя, 2004. — 448 с. — (Библиотека нидерландской литературы). 1000 экз. (п)

Сборник статей российских и голландских историков о необычайных приключениях в России южных и северных нидерландцев — дипломатов, кораблестроителей, купцов, военных. Одни уезжали домой, не понимая, как можно жить в дикой стране, другие оставались и основывали дворянские и купеческие роды. В книге подробно описана история дипломатических отношений России и Голландии, есть биографии голландцев, сыгравших важную роль в этих отношениях. И небольшие, но очень забавные бытовые зарисовки. В исторических книгах равновесие между серьезностью и увлекательностью — вещь редкая. Одни пишут доказательно, но занудно, другие — весело, но веры им нет. В этой книге искомое равновесие налицо.

Каррер д'Анкосс Э. Императрица и аббат. Неизданная дуэль Екатерины II и аббата Шаппа д'Отероша / Пер. с фр. О. Павловской (с. 5—224). — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. — 463 с. 4000 экз. (п)

В 1761 году французский аббат и астроном Жан Шапп д'Отерош отправился в далекий сибирский Тобольск наблюдать за прохождением Венеры по диску Солнца. Помимо небесных светил д'Отерош внимательно наблюдал за жителями страны, по которой он путешествовал, и в итоге написал едкий антирусский памфлет "Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761 году". Императрица Екатерина II оскорбилась и выпустила ответ клеветнику — книгу "Антидот", то есть, по-русски говоря, противоядие. Следить за дуэлью аббата и императрицы очень интересно, к тому же Элен Каррер д'Анкос написала обстоятельное предисловие. Подкачало только название: слово "inédit" имеет по-французски два значения, и в данном случае "дуэль", конечно же, не "неизданная", а небывалая, неслыханная. Какая уж тут "неизданность", если обе книги были напечатаны еще в XVIII веке?

Бельгия

Кухня Амели Нотомб

Несмотря на относительную — по писательским меркам — молодость, бельгийка Амели Нотомб уже может считаться автором со стажем. Выпустив свой первый роман "Гигиена убийцы" в 1992 году, она с тех пор регулярно публикует новые книги, которые пользуются неизменным читательским спросом и активно переводятся на иностранные языки (роман "Антихриста" печатался в "ИЛ", 2004, № 10).

Недавно в издательстве "Альбен Мишель" увидело свет очередное ее произведение — "Биография голода". Книга во многом автобиографическая, перекликается с "Метафизикой труб", рассказывающей о первых годах жизни девочки-вундеркинда по имени Амели Нотомб, которая растет в семье бельгийского дипломата. В новом романе Амели вместе с родителями передвигается по маршруту Кобе—Пекин—Нью-Йорк—Дакка—Брюссель и по ходу неторопливого странствия философствует об исторических, социальных и даже культурологических аспектах голода. Голод, в представлении героини, является источником внутренней энергии, главным жизненным стимулом. Этот незамысловатый тезис и положен в основу ее суждений о городах и странах: "мифологизированной" Японии, "пугающем" Китае, "суматошном" Нью-Йорке, "умирающей" Бангладеш, "непонятной" Бирме и "покорном" Лаосе. Познакомив читателей со своей необычной теорией, Нотомб переключается на воспоминания детства и юности, которые и занимают большую часть книги.

Великобритания

От Пифеаса до норфолкского барда

Одним из самых крупных событий в культурной жизни Великобритании стал выход в свет нового издания Национального биографического словаря, подготовленного совместно Британской академией и издательством "Оксфорд юниверсити пресс".

Энциклопедия состоит из шестидесяти томов и содержит более пятидесяти тысяч статей о людях, которые оставили свой след в истории британской цивилизации, — от греческого морехода Пифеаса (IV века до н. э.), первым давшего описание Британских островов, до скончавшегося два года назад исполнителя народных песен и барда Аллена Сметерста.

Словарь под новым углом зрения освещает деятельность Невилла Чемберлена, чью политику "умиротворения Гитлера" англичане привыкли связывать с втягиванием их страны во Вторую мировую войну. В своем очерке историк Эндрью Кросьер доказывает, что предотвратить военный конфликт не могли никакие политические решения. Наибольший интерес у рецензентов вызвала статья о "народной принцессе" Диане, автор которой, учитывая болезненность темы, постарался проявить беспристрастность: "Среди принцесс Уэльских были женщины порочные, домашние тираны, даже (если вспомнить супругу короля Георга IV) двоемужницы. Но все они выходили замуж, сознавая свои будущие обязанности. Одним удавалось полюбить мужа, другим — нет, однако это обстоятельство мало что значило в династическом браке. Диана, выходя замуж по любви, слишком многого ожидала от супружества, и, естественно, ее постигло разочарование".

У истоков первого издания Национального биографического словаря, публиковавшегося с 1882-го по 1900 год, стоял известный литературовед и философ Лесли Стивен (отец Вирджинии Вулф). Позднее, примерно раз в десять лет, появлялись дополнительные тома с поправками и новыми статьями.

На подготовку обновленной версии издательство Оксфордского университета потратило 12 лет и 25 миллионов фунтов. В работе участвовали 10 тысяч специалистов из разных стран. Каждый том насчитывает примерно тысячу страниц и помимо статей содержит множество иллюстраций. Вот только цена словаря — 7,5 тысяч фунтов — неподъемна для большинства читателей, которые, впрочем, за умеренную плату могут получить доступ к электронной версии, размещенной в Интернете.

Германия

Где похоронен Шиллер?

"В преддверии 200-летия со дня смерти великого немецкого поэта и драматурга в Германии наблюдается настоящая шиллеромания", — пишет лондонская "Гардиан", отмечая всплеск читательского интереса к жизни автора "Разбойников". Так в список бестселлеров журнала "Шпигель" попали сразу две новые книги о немецком классике: "Жизнь Фридриха Шиллера" Зигрид Дамм и "Фридрих Шиллер и рождение немецкого идеализма" Рюдигера Сафрански. Не остались в стороне и кинематографисты. Сейчас заканчиваются съемки художественного фильма, в основу которого положена биография Шиллера, и уже в этом году он появится на экранах.

Казалось бы, о Шиллере известно все или почти все, однако один немаловажный вопрос так и остается нерешенным: где покоится прах великого поэта? По официальной версии, Шиллер похоронен в склепе на Веймарском кладбище рядом со своим старшим другом и соратником по "Буре и натиску" Гёте. Но, как рассказывает в своей книге Дамм, изначально немецкий классик был погребен в общей могиле вместе с другими неимущими, поскольку у его семьи не было собственного склепа. Перезахоронение было произведено лишь двадцать лет спустя по распоряжению веймарского бургомистра Карла Леберехта Швабе. Однако нет абсолютной уверенности в том, что под могильным камнем действительно лежит прах немецкого поэта. Однажды власти уже предприняли попытку установить истину. В конце 1950-х группа немецких и советских ученых провела эксгумацию и тщательным образом изучила останки, однако тогда эксперты так и не пришли к однозначному выводу.

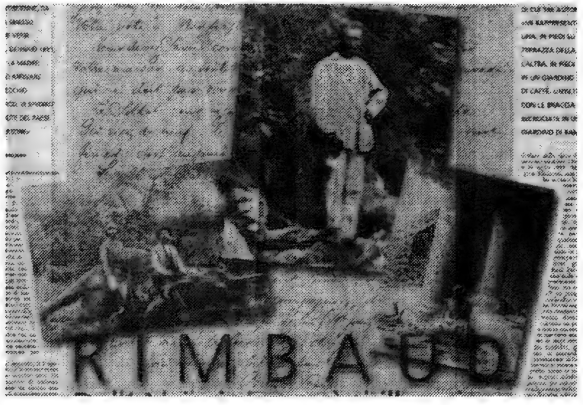
Италия

Артюр Рембо-фотограф

Издательство "Мондадори" опубликовало любопытное исследование Джузеппе Марчено "Фотография как литература" о месте визуальных образов в творчестве писателей разных стран. Среди заметных фигур, попавших в поле зрения исследователя: Гюстав Флобер, Шарль Бодлер, Вальтер Беньямин, Льюис Кэрролл, Эмиль Золя, Ролан Барт. Одна из глав рассказывает об Артюре Рембо и его фотоснимках.

Фотографией Рембо увлекся в Абиссинии, где находился в качестве агента торговой фирмы и корреспондента Географического общества. 15 января 1881 года он писал матери и сестре: "Мы заказали фотоаппарат, и вскоре я пришлю вам снимки". До нас дошло всего восемь фотографий, сделанных поэтом, в том числе три его автопортрета. Особый интерес вызывает снимок, запечатлевший сцену охоты на слонов, где Рембо позирует рядом с императором Эфиопии Менеликом II.

Фотографии получились бледными, не самого лучшего качества. Но Рембо, видимо, не считал свои первые опыты неудачными, ибо отослал карточки доброму знакомому в Аден. Он даже лелеял мечту поставить фотодело на широкую ногу и попытаться извлечь выгоду из этого занятия, заинтересовав европейцев африканскими экзотическими пейзажами и фауной. При этом Рембо лишь поверхностно был знаком с искусством фотографии, изучив его по популярному пособию.



Сцена охоты на слонов

США

Литература против СПИДа

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря, ге-

неральный секретарь ООН Кофи Аннан торжественно объявил о выходе в свет антологии рассказов крупнейших писателей современности. Сборник "Рассказывая истории" появился одновременно на витринах книжных магазинов 11 стран — на 9 языках. Вся прибыль от его продаж будет перечислена в фонд южноафриканской благотворительной организации "Тритмент экшн кампейн".

В книге представлены рассказы 21 автора, в том числе: Гюнтера Грасса, Кэндзабуро Оэ, Сальмана Рушди, Джона Апдайка, Вуди Аллена, Габриэля Гарсиа Маркеса, Артура Миллера, Пола Теру и Сьюзен Сонтаг. Инициатор издания — знаменитая южноафриканская писательница, нобелевский лауреат Надин Гордимер. Обратившись к собратьям по перу с просьбой поддержать начинание, она уточнила, что в произведениях не должна вестись речь о СПИДе или каких-либо иных болезнях. "Мне хотелось, чтобы включенные в сборник истории воспевали жизнь", — пояснила Гордимер.

В США по случаю выхода антологии состоялись пресс-конференции и чтения, в которых приняли участие Артур Миллер, Сальман Рушди и сама составительница.

Зовите меня Шарлоттой Симмонс

В американском издательстве "Джонатан Кейп" вышел новый, третий по счету, роман Тома Вулфа "Я — Шарлотта Симмонс".

Том Вулф создал себе имя в середине 60-х как основатель школы "новой журналистики" и как автор острых очерков о различных аспектах американской культуры, которые в свое время наделали немало шума. Работая на стыке журналистики и художественной прозы, Вулф исходил из того, что главными своими достижениями литература обязана мелким жизненным фактам, которые придают произведению достоверность и делают его чтение захватывающе интересным. Будущее американского романа он видел в "скрупулезном реализме, основанном на репортаже", считая, что увлеченность авангардистов поисками новых приемов чревата тем, что литература безнадежно отстанет от современности.

Том Вулф

Примером подобного сочетания беллетристики и документалистики стал первый и наиболее известный роман Тома Вулфа "Костры амбиций" ("ИЛ", 1991, № 10—11), который только в Америке разошелся более чем миллионным тиражом.

В таком же жанре написана и последняя книга Вулфа "Я — Шарлотта Симмонс". Действие ее разворачивается в некоем вымышленном учебном заведении для отпрысков богатых и знаменитых семей. В этот элитарный университет попадает провинциалка Шарлотта, которая благодаря способностям и отменному трудолюбию получает возможность учиться бесплатно. Нетрудно догадаться, чем оборачивается для неиспорченной и здравомыслящей девушки соприкосновение с миром "золотой молодежи". Вместо рафинированных интеллектуалов, тянущихся к знаниям, она видит юных оболтусов, помешанных на музыке и сексе. Впрочем, от части иллюзий Шарлотта избавляется уже к середине романа, что и предопределяет ее последующее падение...

Критика весьма бурно отреагировала на новинку, правда, благожелательных откликов оказалось не так уж много. Большинство рецензентов, сдержанно похвалив сатирический талант автора, сошлись на том, что Вулф не сумел облечь "жизненный материал" в должную форму и создать психологически убедительные образы, и потому его почти 700-страничный труд — не более чем добротная журналистская работа, которая не может претендовать на художественность.

Тем не менее роман занял в США почетное третье место в списке лучших книг минувшего года, составленном крупнейшей торговой интернет-компанией "Амазон".

По материалам газет "Гардиан" [Великобритания], "Стампа-Туттолибри" [Италия], "Нью-Йорк таймс" [США], "Либерасьон" [Франция] и журнала "Лир" [Франция]

Йозеф Шкворецкий
Josef Škvorecký
[р. 1924]. Чешский прозаик, драматург, критик. Лауреат международных премий, кавалер ордена Белого Льва и ордена Канады. С 1968 года живет в Канаде.

Автор романов *Трусы* [*Zbabělci*, 1958], *Танковый корпус* [*Tankový prapor*, 1971; экранизация 1991], *Инженер человеческих душ* [*Příběh inženýra lidských duší*, 1977] и др., а также нескольких сборников повестей и рассказов, в том числе *Конец нейлонового века* [*Konec nylonového věku*, 1968; рус. перев. 2004].
Публикуемый роман – первое произведение автора на английском языке. Печатается по изданию *Two Murders in My Double Life* [New York: Picador USA/Farrar, Straus and Giroux, 2001].

Мишель Уэльбек
Michel Houellebecq
[р. 1958]. Французский писатель, поэт. Лауреат Гран-при по литературе [1998].

Автор сборников эссе *Г. П. Лавкрафт* [*H. P. Lovecraft*, 1991], *Мир как супермаркет* [*Interventions*, 1998; рус. перев. 2003], романов *Расширение пространства борьбы* [*Extension du domaine de la lutte*, 1991; рус. перев. 2003], *Элементарные частицы* [*Les particules élémentaires*, 1998; рус. перев. – *ИЛ*, 2000, № 10] и *Платформа* [*Plateforme*, 2001; рус. перев. – *ИЛ*, 2002, № 11], повести и фотоальбома под общим названием *Лансароте* [*Lanzarote*, 2000; рус. перев. 2003]. В *ИЛ* также напечатаны беседа с писателем [1999, № 10], эссе и стихи [2001, № 5; 2003, № 3], эссе *На пороге растерянности* [2002, № 3].
Публикуемые стихи взяты из сборников *Смысл борьбы* [*Le sens du combat*. Paris: Flammarion, 1996], *Оставаться живым. Погоня за счастьем* [*Rester vivant* suivi de *La poursuite du bonheur*. Paris: Flammarion, 1997], *Возрождение* [*Renaissance*. Paris: Flammarion, 1999].

Ольга Николаевна Докучаева
Историк, кандидат исторических наук.

Автор многих статей по истории Латинской Америки. В *ИЛ* публикуется впервые.

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик, социолог. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], им. Анатоля Леруа-Больё [1996], им. Мориса Вакмахера [1998].

Автор статей по социологии культуры и книг *Слово – письмо – литература* [2001] и *Интеллектуальные группы и символические формы* [2004]. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12; 2000, № 1; 2003, № 10; 2004, № 12]. В *ИЛ* в его переводе публиковались стихи Э. Ади [1997, № 12], эссе И. Бонфуа [1996, № 7] и Ф. Лежёна [2000, № 4], отрывки из записных книжек Ф. Жакоте [2002, № 9] и др.

Петр Шабах
Petr Šabach
[р. 1951]. Чешский писатель.

Автор книг *Шакальи годы* [*Šakalí léta*, 1993], *Редкая проблема Франтишка С.* [*Zvláštní problém Františka S.*, 1996], *Бабушки* [*Babičky*, 1997], *Путешествие морского коня* [*Putování mořského koně*, 1998], *Как потопить Австралию* [*Jak potopit Austrálii*, 2000], *Пьяные бананы* [*Opilé banány*, 2001], *Четверо мужчин на воде* [*Čtyři muži na vodě*, 2003].
Публикуемая повесть *Voda se stavou* печатается по изданию *Hovno hoří* [Praha: Paseka, 1994].

Ярослав Сейферт
Jaroslav Seifert
[1901–1986]. Чешский поэт, эссеист, критик, публи-

Автор многочисленных поэтических сборников: *Город в слезах* [*Město v slzách*, 1921], *Сама любовь* [*Samá láska*, 1923], *Соловей поет плохо* [*Slavík zpívá špatně*, 1926], *Яблоко из лона* [*Jablko z klína*, 1933], *Руки Венеры* [*Ruce Venušiny*,

цист. Лауреат Нобелевской премии [1984].

1936], *Погасите огни* [*Zhasněte světla*, 1938], *Каменный мост* [*Kamenný most*, 1944], *Отливание колоколов* [*Odlévání zvonů*, 1967], *Комета Галлея* [*Halleyova kometa*, 1967], *Быть поэтом* [*Býti básníkem*, 1983] и др.
Публикуемые эссе взяты из сборника *Все красоты мира. Истории и воспоминания* [*Všecky krásy světa. Příběhy a vzpomínky*. PRAHA: ČESKOSLOVENSKÝ SPISOVATEL, 1982].

ПАТРИК ОУРЖЕДНИК
PATRIK OUŘEDNÍK
[р. 1957]. Чешский лингвист, поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Лауреат премии Йозефа Юнгманна за лучший перевод [1995]. С 1985 года живет во Франции.

Автор словаря чешских вульгаризмов *Гроссбух чешского языка* [*Šmírbuch jazyka českého*, 1992], путеводителя по библеизмам *Нет ничего нового под солнцем* [*Aniž jest co nového pod sluncem*, 1994], поэтических сборников *Или* [*Anebo*, 1992], *Если не сказать...* [*Neřkuli*, 1996], *Дом босого* [*Dům bosého*, 2004], экспериментального биографического эссе *Год двадцать четыре* [*Rok čtyřiadvacet*, 1995] и др. Публикуемый отрывок взят из книги *Evropeana. Stručné dějiny dvacátého věku* [PRAHA-LITOMYŠL: Nakladatelství Paseka, 2001].

ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ШИМОВ
[р. 1973]. Историк, журналист, специалист по новой и новейшей истории стран Центральной и Восточной Европы. Работает редактором отдела новостей радио *Свобода*. Живет в Праге.

Автор многих научных и публицистических статей, выходивших в научно-популярных изданиях и СМИ. Автор монографии *Австро-Венгерская империя* [2003] и сборника статей *Перекресток: Центральная Европа на рубеже тысячелетий* [2002].

КИРИЛЛ РАФАИЛОВИЧ КОБРИН
[р. 1964]. Эссеист, прозаик, историк, радиожурналист. Живет в Праге.

Автор многочисленных публикаций в периодических изданиях и книг: *Подлинные приключения на вымышленных территориях* [совместно с В. Хазиным, 1995], *Профили и ситуации* [1997], *От "Мабиногион" к "Психологии искусства"* [1999], *Описания и рассуждения* [2000], *Книжный шкаф Кирилла Кобрина* [2002], *Письма в Кейптаун о русской поэзии и другие эссе* [2002], *Гипотезы об истории* [2002], *Где-то в Европе* [2004].

ПОЛ ОСТЕР
PAUL AUSTER
[р. 1947]. Американский поэт, прозаик, эссеист. Лауреат премии Американской академии и Института искусств и литературы [1990].

Автор ряда сборников стихов и эссе, романов *Стеклянный город* [*City of Glass*, 1985], *Призраки* [*Ghosts*, 1986], *Запертая комната* [*Locked Room*, 1987], составивших *Нью-Йоркскую трилогию* [*The New York Trilogy*]; *Лунный дворец* [*Moon Palace*, 1989], *Мистер Вертиго* [*Mr. Vertigo*, 1994; рус. перев. 2004], *Книга иллюзий* [*The Book of Illusions*, 2002; рус. перев. 2003], *Ночь оракула* [*Oracle Night*, 2004; рус. перев. 2004] и др., сборника эссе и интервью *Красная тетрадь* [*The Red Notebook*, 1995]. В *ИЛ* были напечатаны его эссе [1996, № 10] и романы *Стеклянный город* [*City of Glass*, 1997, № 6] и *Тимбукту* [*Timbuktu*, 2001, № 8].

СЕРГЕЙ ЭМИЛЬЕВИЧ ТАСК
[р. 1952]. Поэт, прозаик, переводчик.

Публиковал стихи, прозу, пьесы и литературную критику в российских и зарубежных журналах и издательствах. Переводил пьесы современников У. Шекспира и современную драматургию, прозу Дж. Оруэлла, Дж. Сэлинджера, П. Остера, С. Кинга; поэзию Дж. Китса, У. Б. Йейтса, С. Малларме, Э. Лира, Э. Йонг и др.

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Елизавета Ильинична Домбаян
Преподаватель, переводчик с английского и французского языков.

В ее переводе публиковались произведения Г. Грина, Г. Пинтера, Дж. Янга, Д. Ноге, Ф. Лина. В *ИЛ* в ее переводе напечатан роман Э. Бёрджесса *Железо, ржавое железо* [совместно с А. Пинским, 2004, №1—3].

Илья Валерьянович Кормильцев
[р. 1959]. Поэт, переводчик с английского, итальянского и французского языков.

В его переводе издавались "малая проза" Дж. Р. Р. Толкиена, рассказы Р. Дала, Ф. Макдональда, Дж. Балларда и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Юлия Борисовна Покровская
Поэт, переводчик с французского и польского языков.

Автор поэтических сборников *Выбор* [1996] и *Солнечное сплетение* [2004]. В ее переводе опубликованы стихи В. Гюго, П. Валери, П. Элюара, П. Луиса, А. Эбер, Ж. Троллье, Ц. К. Норвида, К. Галчинского, проза А. Жида. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны стихи Анн Перрье [2002, № 9].

Ирина Исаевна Кузнецова
Переводчик с французского. Лауреат премии *Инолитт* [1997] и премии им. Мориса Ваксмахера [1999]. Награждена французским орденом Академической пальмовой ветви.

Переводила стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, прозу А. де Виньи, М. Пруста, Н. Саррот, Колетт, А. Камю, Х. Семпруна и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть *Ни завтра, ни потом* В. Денона [1997, № 5], *Письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрену* [1998, № 7], стихи и эссе Уэльбека [2001, № 5], романы *Повинная голова* Р. Гари [2001, № 12] и *Маленькое чудо* П. Модиано [2003, № 7] и др.

Наталья Дмитриевна Шаховская
Переводчик с французского. Лауреат премии *ИЛ* [1993].

В ее переводе публиковались стихи Ж. Расина, В. Гюго, Л. Лабе, Клода ле Пти, стихи и проза Ж. Кокто и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны рассказ Колетт *Больной ребенок* [1993, № 10], роман А. Макина *Французское завещание* [в соавторстве с Ю. Яхниной, 1996, № 12].

Антон Леонидович Ширяев
[р. 1974]. Сотрудник русской службы радио *Свобода* в Праге.

Автор путеводителя по Праге, изданного журналом *Афиша*.

Инна Геннадьевна Безрукова
Славист, переводчик с чешского, словацкого и польского языков.

В ее переводе публиковались произведения В. Гавела, Б. Грабала, Л. Фукса, И. Кратохвила, Р. Вайнера и др. В *ИЛ* напечатаны ее эссе об И. Коларже [1997, № 10], а также перевод повести Л. Фукса *Крематор* [1993, № 8].

Екатерина Ивановна Бобракова-Тимошкина
Переводчик с чешского языка, докторант Карлова университета.

В ее переводе опубликован сборник прозы М. Айваза *Другой город*. В *ИЛ* публикуется впервые.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины чешского художника Альфонса Мухи [1860–1939]. *Фрукты* [1897].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок обращаться в отдел распространения и рекламы:
тел. 8-926-528-51-48,
факс (095) 953-50-61,
e-mail: journalinostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 22.09.2004
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 237.
Тираж 8250 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

В следующем номере:

Утц – последний роман известного английского писателя, путешественника и журналиста **Брюса Чатвина**, с творчеством которого журнал впервые знакомит русского читателя. Захватывающее и ироничное повествование о судьбе Каспара Утца, коллекционера фарфора, с трудом выживающего в условиях тоталитарного режима. И это только внешний пласт: "Очень скоро на вас – как из глубины зеркального стеллажа с утцевой коллекцией мейсенского фарфора – начнут наплывать гораздо более загадочные и гораздо более захватывающие сюжеты..." Переводчик романа – Дмитрий Веденяпин.

Литературный гид ***Роза Никому: поэзия Пауля Целана. Пауль Целан*** – один из крупнейших поэтов XX века, изменивший само представление о возможностях поэтического слова, в России до сих пор практически не издан. Поэтому публикация новых переводов стихов Целана, выполненных **Ольгой Седаковой** и **Марком Белорусцем** – настоящее событие. Дополнением к поэзии Целана служат его письма, позволяющие глубже понять этого сложного поэта. О творчестве Целана размышляют в своих статьях **Борис Дубин** и **Ольга Седакова**.

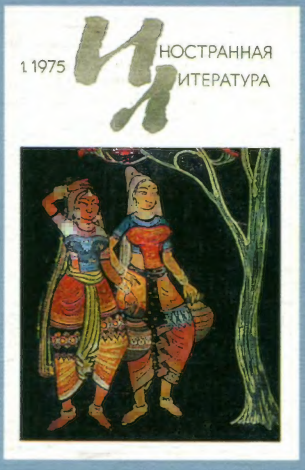
В рубрике "Литературное наследие" журнал представляет **Джона Клэра**, Зеленого Человечка английской поэзии, полузабытого крестьянского поэта романтической эпохи, который в наше время переживает у себя на родине нечто вроде ренессанса. Переводчик стихов и автор очерка о Джоне Клэре – **Григорий Кружков**.

---

[4] 2005

РОМАНЫ ВИРЖИНИ ДЕПАНТ "TEEN SPIRIT" И БРЮСА ЧАТВИНА "УТЦ" / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "РОЗА НИКОМУ: ПОЭЗИЯ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА" / РАССКАЗ ГЕРТЫ МЮЛЛЕР "БОЛЬШАЯ ЧЕРНАЯ ОСЬ" / "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ": СТИХИ ДЖОНА КЛЭРА / ВАН МЭН В РУБРИКЕ "НАШИ ГОСТИ"

Нам 50 лет!



Журнал «Иностранная литература»

1955–2005

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2005, №3, 1-288